Ф. С. Сонкина

Юрий Лотман в моей жизни

Воспоминания. Дневники. Письма

НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Личность выдающегося филолога, литературоведа, культуролога Ю.М. Лотмана (1922–1993), одного из основателей знаменитой Тартуской школы, его жизнь и творчество сегодня вызывают особый интерес исследователей. Именно поэтому М.В. Сонкина решилась на публикацию не только воспоминаний своей матери Ф.С. Сонкиной, но также ее дневников и переписки с Лотманом, представляющей живой взволнованный разговор двух любящих людей. Знакомые со студенческих лет, Ю.М. Лотман и Ф.С. Сонкина сблизились спустя два десятилетия и с тех пор их отношения играли огромную роль в жизни каждого. В отличие от писем многих известных корреспондентов-коллег Лотмана, их переписка почти не затрагивает научных проблем, она обращена к жизни частной, бытовой, душевной, освещая как внутренний мир Юрия Михайловича, так и характер женщины, которую он любил долгие годы. Как сказал сам Лотман, «история проходит через дом человека, через его частную жизнь». В этом смысле переписка Лотмана и Сонкиной войдет в русскую культуру не только как яркое свидетельство чувства, редкого по накалу и высоте, но и как свидетельство эпохи.

- Ф.С. Сонкина
  - ○
  - ○ Предисловие публикатора
  - ○ Ф.С. Сонкина
    - ■
    - ■ 1
    - ■ 2
    - ■ 3
    - ■ 4
    - ■ 5
    - ■ 6
    - ■ 7
    - ■ 8
    - ■ 9
    - ■ 10
    - ■ 11
    - ■ 12
    - ■ 13
    - ■ 14
    - ■ 15
    - ■ 16

- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25

- Из дневника Ф.С. Сонкиной
- Письма Ю.М. Лотмана и Ф.С. Сонкиной
  - 21 апреля 1967 года [142]
  - 2 мая 1967 года
  - 18 февраля 1968 года
  - 29 апреля 1968 года [144]
  - 28 декабря 1968 года
  - 5 марта 1969 года
  - 28 апреля 1969 года
  - 12 июня 1969 года [145]
  - Сентябрь 1969 года [147]
  - 3 ноября 1969 года [148]
  - 24 декабря 1969 года
  - Август 1970 года[149]
  - 10 ноября 1970 года
  - 9 декабря 1970 года [150]
  - 19 декабря 1970 года
  - 7 марта 1971 года
  - 7 июля 1971 года
  - Конец 1971 или начало 1972 года [154]
  - 28 апреля 1972 года
  - 7 июня 1972 года
  - Июль 1972 года [155]
  - 6 августа 1972 года
  - 22 ноября 1972 года [157]
  - 22 ноября 1972 года
  - 2 декабря 1972 года [161]
  - 6 декабря 1972 года
  - 28 декабря 1972 года
  - Март 1973 года
  - Май 1973 года [165]
  - 25 мая 1973 года
  - 19 июля 1973 года
  - Около 26 декабря 1973 года [172]
  - Начало января 1974 года [174]

- 21 февраля 1974 года
- 21 февраля 1974 года
- 13 – 14 марта 1974 года
- 27 мая 1974 года
- Сентябрь 1974 года [182]
- 1 октября 1974 года [184]
- 5 октября 1974 года
- Дорогой Юрий Михайлович!
- 5 декабря 1974 года
- 31 января 1975 года [189]
- 9 марта 1975 года
- Конец апреля 1975 года [192]
- 15 июля 1975 года [193]
- Конец июля 1975 года [194]
- 12 сентября 1975 года
- 20 ноября 1975 года
- Январь 1976 года [199]
- 5 марта 1976 года
- 25 апреля 1976 года
- 1 июня 1976 года
- Июнь 1976 года
- 11 августа 1976 года
- 5–6 октября 1976 года
- 31 октября 1976 года
- 26 декабря 1976 года
- 4 марта 1977 года
- 2 апреля 1977 года
- 28 апреля 1977 года
- Лето 1976 (1977?) года
- 19 сентября 1977 года
- 13 декабря 1977 года
- 10 января 1978 года
- 12 апреля 1978 года
- 13 апреля 1978 года
- 15 апреля 1978 года [222]
- 20 мая 1978 года [225]
- 2 июля 1978 года
- 18 августа 1978 года
- 22 ноября 1978 года
- 25 декабря 1978 года
- 30 декабря 1978 года
- 9 марта 1979 года
- 9 июня 1979 года
- 10 января 1980 года

- 6 марта 1980 года
- 17 марта 1980 года
- 23 апреля 1980 года
- Декабрь 1980 года (телеграмма)
- 23 февраля 1981 года
- 4 марта 1981 года
- 11 марта 1981 года
- 11 апреля 1981 года
- Июнь 1981 года
- 30 июня 1981 года
- 2 июля 1981 года
- 12 июля 1981 года
- 21 июля 1981 года
- 3 августа 1981 года
- 10 августа 1981 года
- 24 августа 1981 года
- 5 сентября 1981 года
- 12 сентября 1981 года [252]
- 19 сентября 1981 года
- 24 сентября 1981 года
- 26 сентября 1981 года (телеграмма)
- 30 сентября 1981 года
- 5 октября 1981 года
- 16 ноября 1981 года
- 20 декабря 1981 года
- 27 декабря 1981 года
- Конец декабря или начало января 1982 [264]
- 28 декабря 1981 года
- 6 марта 1982 года
- 14 марта 1982 года
- 20 марта 1982 года
- 5 апреля 1982 года
- 1 июня 1982 года
- 9 июня 1982 года
- 11 июня 1982 года
- 25 июня 1982 года
- 25 августа 1982 года [280]
- 14 сентября 1982 года
- 22 февраля 1983 г
- 5 марта 1983 года
- 12 июня 1983 года
- 28 августа 1983 года
- 19 октября 1983 года
- 5 июля 1984 года

- 10 июля 1984 года
- 23 июля 1984 года
- 9 ноября 1984 года
- 16 ноября 1984 года
- 9 марта 1985 года
- 15 марта 1985 года
- 5 апреля 1985 года
- 17 августа 1985 года
- 25 сентября 1985 года
- 4 октября 1985 года
- 9 октября 1985 года
- Осень 1985 года [329]
- 20 января 1986 года
- 23 февраля 1986 года
- 1 августа 1986 года
- 4 марта 1987 года
- 20 марта 1987 года
- 12 июля 1987 года
- 6 августа 1987 года
- 11 августа 1987 года [344]
- 11 августа 1987 года
- 14 августа 1987 года [346]
- 8 ноября 1987 года
- 17–18 ноября 1987 года
- 3 февраля 1988 года
- 20 февраля 1988 года
- 6 мая 1988 года
- 30 мая 1988 года
- 18 июня 1988 года
- 25 июня 1988 года [350]
- 1 августа 1988 года
- 14 августа 1988 года
- 19 августа 1988 года [356]
- 28 сентября 1988 года
- Начало октября 1988 года [360]
- Начало февраля 1989 года
- 20 февраля 1989 года
- 28 февраля 1989 года
- 10 марта 1989 года
- 30 марта 1989 года
- 6 апреля 1989 года
- 11 апреля 1989 года [365]
- 15 апреля 1989 года [370]
- 30 апреля 1989 года

- 5 мая 1989 года
- 6 мая 1989 года
- 9 мая 1989 года
- 24 мая 1989 года
- 6 июня 1989 года
- 23 июня 1989 года
- 20 июля 1989 года
- 17–18 сентября 1989 года
- 8–9 октября 1989 года
- 23 октября 1989 года
- 29 мая 1990 года
- 18 ноября 1990 года
- 21 ноября 1990 года
- 26 ноября 1990 года
- 8 декабря 1990 года
- 17 декабря 1990 года [406]
- 31 декабря 1990 года
- 1 января 1991 года
- 21 января 1991 года
- 24 января 1991 года
- 9 февраля 1991 года
- 25 февраля 1991 года
- 10 марта 1991 года
- 14 марта 1991 года
- Около 14 марта 1991 года
- 20 марта 1991 года
- 7–10 апреля 1991 года [422]
- 20 апреля 1991 года [423]
- 27 апреля 1991 года
- 14 мая 1991 года
- 19 мая 1991 года
- 19 мая 1991 года
- 2 июня 1991 года
- 4 июня 1991 года
- 3 июня 1991 года
- 13 июня 1991 года
- 15 июля 1991 года
- 20 июля 1991 года
- 20 июля 1991 года
- 22 июля 1991 года [442]
- 4 августа 1991 года
- 5 августа 1991 года
- 8–9 августа 1991 года
- 19 августа 1991 года

- 27–28 августа 1991 года
- Конец августа – начало сентября 1991 года [462]
- 28 сентября 1991 года
- 9 октября 1991 года
- 26 октября 1991 года [465]
- 18–19 ноября 1991 года
- 12 ноября 1991 года
- 19 ноября 1991 года
- 3 декабря 1991 года
- Около 21 декабря 1991 года [475]
- 25 декабря 1991 года
- 9 января 1992 года
- 15 января 1992 года
- 25 января 1992 года
- 30 января 1992 года
- 5 февраля 1992 года
- Около 3–9 февраля 1992 года [487]
- Начало февраля 1992 года
- 25 февраля 1992 года
- 1 марта 1992 года
- Март 1992 года
- 12 марта 1992 года
- 13 марта 1992 года
- 14 марта 1992 года
- Апрель 1992 года [493]
- 6 апреля 1992 года
- 19–20 апреля 1992 года
- 26 мая 1992 года
- 28 июня 1992 года
- 5 июля 1992 года
- 25 июля 1992 года
- 10 августа 1992 года
- 21 августа 1992 года [510]
- 29–30 августа 1992 года
- 10 сентября 1992 года
- 28–29 сентября 1992 года
- 5 октября 1992 года
- 13 октября 1992 года
- 25 октября 1992 года
- 10 ноября 1992 года
- 28 ноября 1992 года
- 2 декабря 1992 года [522]
- 27 января 1993 года
- 28 февраля 1993 года

        - 11 марта 1993 года
        - 14 марта 1993 года [530]
        - 13 апреля 1993 года
        - 26 апреля 1993 года [535]
        - 3 мая 1993 года
        - 6 мая 1993 года
        - 13 мая 1993 года
        - 13 мая 1993 года [538]
        - 21 мая 1993 года
        - 1 июня 1993 года
        - 14 июня 1993 года
        - 15 июня 1993 года
        - 26 июня 1993 года
        - 28 июня 1993 года
        - 3 июля 1993 года
        - Начало июля 1993 года
        - 23 августа 1993 года
        - 16 августа 1993 года
        - 2–3 сентября 1993 года
        - 8 сентября 1993 года
        - 16 сентября 1993 года [558]
        - 1 октября 1993 года
        - 1 октября 1993 года [562]
        - Письмо Ф.С. Сонкиной к Т.Д. Кузовкиной 8 сентября 1993 года
        - Письмо Ф.С. Сонкиной к Т.Д. Кузовкиной 1 октября 1993 года
        - Письмо Т.Д. Кузовкиной Ф.С. Сонкиной 4 октября 1993 года
    - Фотографии
- notes
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
    - 9
    - 10
    - 11
    - 12
    - 13

- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57

- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101

- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119
- ○ 120
- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123
- ○ 124
- ○ 125
- ○ 126
- ○ 127
- ○ 128
- ○ 129
- ○ 130
- ○ 131
- ○ 132
- ○ 133
- ○ 134
- ○ 135
- ○ 136
- ○ 137
- ○ 138
- ○ 139
- ○ 140
- ○ 141
- ○ 142
- ○ 143
- ○ 144
- ○ 145

- ○ 146
- ○ 147
- ○ 148
- ○ 149
- ○ 150
- ○ 151
- ○ 152
- ○ 153
- ○ 154
- ○ 155
- ○ 156
- ○ 157
- ○ 158
- ○ 159
- ○ 160
- ○ 161
- ○ 162
- ○ 163
- ○ 164
- ○ 165
- ○ 166
- ○ 167
- ○ 168
- ○ 169
- ○ 170
- ○ 171
- ○ 172
- ○ 173
- ○ 174
- ○ 175
- ○ 176
- ○ 177
- ○ 178
- ○ 179
- ○ 180
- ○ 181
- ○ 182
- ○ 183
- ○ 184
- ○ 185
- ○ 186
- ○ 187
- ○ 188
- ○ 189

- ○ 190
- ○ 191
- ○ 192
- ○ 193
- ○ 194
- ○ 195
- ○ 196
- ○ 197
- ○ 198
- ○ 199
- ○ 200
- ○ 201
- ○ 202
- ○ 203
- ○ 204
- ○ 205
- ○ 206
- ○ 207
- ○ 208
- ○ 209
- ○ 210
- ○ 211
- ○ 212
- ○ 213
- ○ 214
- ○ 215
- ○ 216
- ○ 217
- ○ 218
- ○ 219
- ○ 220
- ○ 221
- ○ 222
- ○ 223
- ○ 224
- ○ 225
- ○ 226
- ○ 227
- ○ 228
- ○ 229
- ○ 230
- ○ 231
- ○ 232
- ○ 233

- ○ 234
- ○ 235
- ○ 236
- ○ 237
- ○ 238
- ○ 239
- ○ 240
- ○ 241
- ○ 242
- ○ 243
- ○ 244
- ○ 245
- ○ 246
- ○ 247
- ○ 248
- ○ 249
- ○ 250
- ○ 251
- ○ 252
- ○ 253
- ○ 254
- ○ 255
- ○ 256
- ○ 257
- ○ 258
- ○ 259
- ○ 260
- ○ 261
- ○ 262
- ○ 263
- ○ 264
- ○ 265
- ○ 266
- ○ 267
- ○ 268
- ○ 269
- ○ 270
- ○ 271
- ○ 272
- ○ 273
- ○ 274
- ○ 275
- ○ 276
- ○ 277

- ○ 278
- ○ 279
- ○ 280
- ○ 281
- ○ 282
- ○ 283
- ○ 284
- ○ 285
- ○ 286
- ○ 287
- ○ 288
- ○ 289
- ○ 290
- ○ 291
- ○ 292
- ○ 293
- ○ 294
- ○ 295
- ○ 296
- ○ 297
- ○ 298
- ○ 299
- ○ 300
- ○ 301
- ○ 302
- ○ 303
- ○ 304
- ○ 305
- ○ 306
- ○ 307
- ○ 308
- ○ 309
- ○ 310
- ○ 311
- ○ 312
- ○ 313
- ○ 314
- ○ 315
- ○ 316
- ○ 317
- ○ 318
- ○ 319
- ○ 320
- ○ 321

- ○ 322
- ○ 323
- ○ 324
- ○ 325
- ○ 326
- ○ 327
- ○ 328
- ○ 329
- ○ 330
- ○ 331
- ○ 332
- ○ 333
- ○ 334
- ○ 335
- ○ 336
- ○ 337
- ○ 338
- ○ 339
- ○ 340
- ○ 341
- ○ 342
- ○ 343
- ○ 344
- ○ 345
- ○ 346
- ○ 347
- ○ 348
- ○ 349
- ○ 350
- ○ 351
- ○ 352
- ○ 353
- ○ 354
- ○ 355
- ○ 356
- ○ 357
- ○ 358
- ○ 359
- ○ 360
- ○ 361
- ○ 362
- ○ 363
- ○ 364
- ○ 365

- ○ 366
- ○ 367
- ○ 368
- ○ 369
- ○ 370
- ○ 371
- ○ 372
- ○ 373
- ○ 374
- ○ 375
- ○ 376
- ○ 377
- ○ 378
- ○ 379
- ○ 380
- ○ 381
- ○ 382
- ○ 383
- ○ 384
- ○ 385
- ○ 386
- ○ 387
- ○ 388
- ○ 389
- ○ 390
- ○ 391
- ○ 392
- ○ 393
- ○ 394
- ○ 395
- ○ 396
- ○ 397
- ○ 398
- ○ 399
- ○ 400
- ○ 401
- ○ 402
- ○ 403
- ○ 404
- ○ 405
- ○ 406
- ○ 407
- ○ 408
- ○ 409

- ○ 410
- ○ 411
- ○ 412
- ○ 413
- ○ 414
- ○ 415
- ○ 416
- ○ 417
- ○ 418
- ○ 419
- ○ 420
- ○ 421
- ○ 422
- ○ 423
- ○ 424
- ○ 425
- ○ 426
- ○ 427
- ○ 428
- ○ 429
- ○ 430
- ○ 431
- ○ 432
- ○ 433
- ○ 434
- ○ 435
- ○ 436
- ○ 437
- ○ 438
- ○ 439
- ○ 440
- ○ 441
- ○ 442
- ○ 443
- ○ 444
- ○ 445
- ○ 446
- ○ 447
- ○ 448
- ○ 449
- ○ 450
- ○ 451
- ○ 452
- ○ 453

- ○ 454
- ○ 455
- ○ 456
- ○ 457
- ○ 458
- ○ 459
- ○ 460
- ○ 461
- ○ 462
- ○ 463
- ○ 464
- ○ 465
- ○ 466
- ○ 467
- ○ 468
- ○ 469
- ○ 470
- ○ 471
- ○ 472
- ○ 473
- ○ 474
- ○ 475
- ○ 476
- ○ 477
- ○ 478
- ○ 479
- ○ 480
- ○ 481
- ○ 482
- ○ 483
- ○ 484
- ○ 485
- ○ 486
- ○ 487
- ○ 488
- ○ 489
- ○ 490
- ○ 491
- ○ 492
- ○ 493
- ○ 494
- ○ 495
- ○ 496
- ○ 497

- ○ 498
- ○ 499
- ○ 500
- ○ 501
- ○ 502
- ○ 503
- ○ 504
- ○ 505
- ○ 506
- ○ 507
- ○ 508
- ○ 509
- ○ 510
- ○ 511
- ○ 512
- ○ 513
- ○ 514
- ○ 515
- ○ 516
- ○ 517
- ○ 518
- ○ 519
- ○ 520
- ○ 521
- ○ 522
- ○ 523
- ○ 524
- ○ 525
- ○ 526
- ○ 527
- ○ 528
- ○ 529
- ○ 530
- ○ 531
- ○ 532
- ○ 533
- ○ 534
- ○ 535
- ○ 536
- ○ 537
- ○ 538
- ○ 539
- ○ 540
- ○ 541

- ○ 542
- ○ 543
- ○ 544
- ○ 545
- ○ 546
- ○ 547
- ○ 548
- ○ 549
- ○ 550
- ○ 551
- ○ 552
- ○ 553
- ○ 554
- ○ 555
- ○ 556
- ○ 557
- ○ 558
- ○ 559
- ○ 560
- ○ 561
- ○ 562
- ○ 563
- ○ 564
- ○ 565

Ф.С. Сонкина
Юрий Лотман в моей жизни. Воспоминания. Дневники. Письма

© М.В. Сонкина. Составление, подготовка текста, вступительная статья, комментарии, 2016
© Б.Ф. Егоров. Комментарии, 2016
© ООО «Новое литературное обозрение», 2016

Предисловие публикатора

В марте 2014 года моя мама Фаина Семеновна Сонкина передала мне заботливо уложенные и рассортированные бумаги своего архива, предоставив право распоряжаться ими как сочту нужным. В архиве оказалось около двухсот[1] писем, открыток и телеграмм Ю.М. Лотмана, ей адресованных; пять толстых тетрадей (около тысячи тетрадных страниц) ее дневников, подробно описывающих встречи и разговоры с Ю.М. на протяжении двадцати семи лет их общения; конспекты его лекций, рисунки, а также календари, отмечающие каждую из 456 встреч с января 1968 года до времени ее отъезда в Канаду в октябре 1990 года. На основе этих дневников через три года после кончины Ю.М. мама подытожила все, что помнила о нем, в своих воспоминаниях.

Не отнимая у автора права самой рассказать о прожитом, хочу лишь упомянуть, что Ф.С. Сонкина познакомилась с Ю.М. Лотманом в 1947 году еще на студенческой скамье, а возобновилось это знакомство спустя двадцать лет. Выпускники филологического факультета Ленинградского университета к тому времени разъехались по стране: мама, выйдя замуж, переехала в Москву, а Ю.М. Лотман оказался в Тарту, единственном городе, не отказавшем ему в скромной должности преподавателя в учительском институте.

Нужно сразу отметить, что мама никогда не предназначала свои воспоминания для публикации. Они писались для памяти, для семьи и двух-трех ближайших друзей. Когда Борис Федорович Егоров работал над биографией Ю.М. Лотмана, мама предоставила свои записи в его распоряжение как полезный источник информации, относящийся к жизни и творчеству всемирно известного ученого. Но публиковать их она по-прежнему не собиралась. Мне пришлось приложить немало усилий, чтобы получить, в конце концов, на это ее согласие. Одним из моих аргументов было то, что имя ее уже знакомо читателю по изданной в 1997 году Б.Ф. Егоровым переписке Лотмана с друзьями и коллегами. В томе переписки, в частности, содержалось 92 письма Ю. Лотмана к Ф. Сонкиной. Таким образом, имя Ф.С. Сонкиной вошло в научный оборот. Другой аргумент касался обстоятельства, маме неизвестного: оказалось, что Юрий Михайлович сохранил большую часть ее писем. Таким образом, специалистыфилологи лотмановского круга, имевшие доступ к архивам, знали не только подробности ее биографии, но и детали ее внутренней жизни. Живя в Канаде, мама об этом и не

подозревала.

Получив копии ее писем из Тартуского и Таллинского архивов, я, таким образом, располагала двусторонней перепиской между Ю.М. Лотманом и Ф.С. Сонкиной, охватывающей почти тридцатилетний период. (Первое письмо Лотмана к маме датируется апрелем 1967 года. Последнее написано за 27 дней до его кончины в октябре 1993 года.)

Двойная переписка позволяет прочитать письма Юрия Михайловича совершенно в новом свете. Это уже не эпистолярный монолог, обращенный к неизвестному адресату. Напротив, это живой взволнованный разговор двух знакомых с юности людей, освещающий и внутренний мир Юрия Михайловича, и характер женщины, которую он любил долгие годы.

Но если мне удалось все же – после длительных уговоров – склонить маму к мысли печатать воспоминания и не опубликованные ранее письма Юрия Михайловича, то с ее собственными письмами дело обстояло еще труднее. Считая себя человеком частным и вполне заурядным, она полагала и полагает сейчас, когда я пишу эти строки, что письма ее могли быть интересны только тому, кому когда-то предназначались: Ю.М. Лотману.

С этим ее убеждением я не могу согласиться.

Действительно, письма Ф.С. Сонкиной, в отличие от писем многих известных корреспондентов-коллег Ю.М. Лотмана, почти не затрагивают научных проблем; они обращены к жизни частной, жизни бытовой, жизни душевной. Но, как сказал сам Юрий Михайлович, «история проходит через дом человека, через его частную жизнь». В этом смысле переписка Лотмана – Сонкиной войдет в русскую культуру как живое свидетельство чувства, редкого по накалу и высоте.

Теперь, когда эти письма прочитываются как единый текст, перед нами предстает полная драматизма, борьбы, счастья и страдания жизнь. Жизнь эта, разумеется, вписана в более широкий контекст времени, отсвет которого лежит на обоих корреспондентах.

Контраст между высотой творческого духа и каждодневными условиями этой жизни поистине разителен: так, из писем Ю.М. мы узнаем, что заменить перегоревшую лампочку можно было, лишь обратившись в Союз писателей, и что, хотя почтовые марки и подорожали до 40 рублей, Лотман все-таки сумеет отправить в Канаду два письма в месяц. Эти мелкие, вскользь упоминающиеся детали сохранят для будущих поколений картину нищего советского быта, в котором жила и творила русская

интеллигенция, ее цвет, ее гордость.

Двойная переписка между Лотманом и Сонкиной имеет и иную ценность: она приоткрывает не общественное, а частное лицо ученого, тот его не менее замечательный облик, который был известен только самым близким людям. Все, кому выпало счастье общаться с Лотманом, помнят ниспосланный ему дар удивительной благорасположенности и сердечной внимательности, неизменно притягивавший к нему сотни людей. В его научных работах эти душевные качества не выходят на первый план. Частная переписка свидетельствует о них с живостью, уступающей лишь непосредственному присутствию человека.

По своему стилю и тону письма Ф.С. Сонкиной разных лет отличаются друг от друга. Выверяя по дневникам события прошлого, можно предположить, что не все письма раннего периода переписки 60 – 70-х годов сохранились. Возможно, они еще найдутся в неразобранной части лотмановского архива. Верно и то, что в эту пору (время обыска у Ю.М.) мама воздерживалась от переписки, чтобы случайно не навредить своему адресату. В любом случае, письма 60 – 70-х годов отправлялись на адрес русской кафедры Тартуского университета и были коротки. (О том, что они могли перлюстрироваться, ни на минуту не забывали участники переписки.) Написанные в довольно официальном ключе, послания этого времени часто представляли собой поздравительные открытки или короткие записки. Из дневников Ф.С. Сонкиной явствует, что по необходимости сухой стиль писем этих лет воспринимался ею как насилие над чувствами, как вериги. Так в дневниковой записи от 17 сентября 1975 года Ф.С. описывает мучительный сон, когда «он (Ю.М.) меня обвиняет в том, что я думаю только о себе, пишу ему плохие, сухие, короткие, не нежные письма, как это последнее из Саранска[2]. Вот он его сейчас найдет в портфеле. И он отходит от меня к какому-то столу, где его бумаги, и ищет это письмо, а я в ужасе стою и плачу и думаю о том, что это конец. И все так тривиально – и слов нет, и незачем (ведь сам меня учил ни о чем не писать, и сам так же пишет). Тут я думаю, что он может иносказанием в письме что-то выразить, потому что он талантливый, а я не могу – и понимаю, что это совсем последний конец и что объясняться не в чем и незачем – и просыпаюсь в ужасе…»

В свою очередь и Ю.М., до начала 80-х годов не имевший телефона и всегда предельно занятый, часто сообщал о своих приездах в Москву, где жила мама, короткими открытками. Но и в лаконичные записки Юрий Михайлович умел вложить намеки,

понятные лишь адресату. В бедной полиграфическими возможностями стране нелегко было найти открытки с семантически значимыми видами, архитектурными памятниками, произведениями искусства, отсылавшими адресатов к совместно пережитому опыту и очень личным ассоциациям. Иногда Юрий Михайлович подписывался – отчасти для конспирации, отчасти ради шутки – женским именем.

После отъезда мамы в Канаду на общение между Лотманом и ею влияли уже другие обстоятельства. В начале девяностых годов дозвониться из Канады в Эстонию, ставшую независимым государством, стало практически невозможно. Переписка оказалась единственным способом связи между Ю.М. и Ф.С., притом способом весьма ненадежным, так как многие письма пропадали. Этим объясняются повторы, встречающиеся в переписке. Однако стиль и форма писем Ю.М. в последние годы его жизни определялись не столько этими внешними фактами, сколько трагическими обстоятельствами его длительной и тяжелой болезни. Из-за инсультов, поразивших центры чтения и письма, Ю.М. не мог ничего ни прочесть, ни написать. Он вынужден был диктовать своим секретарям не только научные статьи и книги, но и личные письма. На свои физические и нравственные страдания, столь усугубившиеся после безвременной и неожиданной кончины его жены З.Г. Минц, Ю.М. никогда не жаловался. Напротив, чем больше он страдал, тем тщательнее маскировал тяжесть своего положения шутками и свойственной ему самоиронией. Человек исключительного мужества, Юрий Михайлович стоически скрывал от мамы то, что несомненно знал сам: жизнь его подходила к последнему пределу. Доказательства этого знания – в его прощальных письмах коллегам-друзьям. Так, за девять месяцев до смерти, 19 февраля 1993 года, он писал Б.Ф. Егорову: «Дорогой Борфед! Посылаю Вам сие письмо и одновременно просьбу, которую пишу, как Владимир Мономах сказал в своем завещании, “сидя на костЂхЂ”. Если бы я начал писать Вам все то сердечное, что я хотел бы сказать Вам уходя, бумаги не хватило бы»[3]. За два месяца до кончины, 26 августа 1993 года Юрий Михайлович прощается с В.Н. Топоровым: «Не знаю, долго ли еще буду здесь (в смысле Жуковского), но я не перестаю – и хочу Вам это ясно сказать – благодарить судьбу за нашу с Вами встречу (человеческую и научную)»[4]. Однако последнее свое письмо к последнему адресату Ю.М. заканчивает прозаическим и нигде им ранее в письмах к ней не употребляемым «до свидания», возвращая слову его буквальный смысл, а адресату – надежду на встречу. В отличие от стоически-шутливого тона последних писем

Ю.М., письма Ф. Сонкиной из эмиграции трагичны. Это особенно поражает тех, кто близко знал ее: человека, обладавшего живым и сильным характером, натуру деятельную, всегда готовую к шутке, умевшую с большой непосредственностью радоваться самому малому проявлению красоты в природе, жизни и людях.

Скрывая от окружающих свое одиночество, одному только Юрию Михайловичу, как самому близкому ей человеку, она поверяла глубокую тоску. Что же произошло? Чем объяснить такую душевную надломленность? По складу человек высокоэмоциональный, романтический в лучшем смысле этого слова, и вместе с тем человек «домашний», то есть любящий упорядоченный быт и умеющий его организовать, в эмиграции Ф.С. Сонкина лишилась дома, «гнезда», друзей, привычных занятий. Эта ее ностальгия вполне сопоставима с тоской по дому Лотмана, уехавшего по гумбольдтовской стипендии почти на год в Германию. «Да и вообще все чужое, душа тянется в свой угол», – пишет он ей из Мюнхена в 1989 году[5].

И все же не в этом, как мне кажется, кроется главная причина трагизма последних писем мамы.

Если научное творчество было неотъемлемой и главнейшей частью жизни Юрия Лотмана, определявшей его бытие буквально до последних дней, то главным стержнем жизни Ф.С. была любовь к Лотману. Чувство, связывавшее этих людей, было чувством высоким, редко встречающимся в жизни. Оба осознавали это и относились к нему как к необыкновенному дару судьбы. Пока оба жили в одной стране, пусть и в разных городах, это чувство было живым импульсом, согревавшим и одухотворявшим каждый день жизни моей мамы и поддерживавшим ее долгие годы в тяжелых жизненных коллизиях. Разлука с Ю.М., его предсмертная болезнь и физические страдания делали для нее разлуку непереносимой. Признающая только действенную любовь, любовь-помощь, любовь-соучастие и сострадание, – она оказалась в худшем, даже невозможном, для себя положении, когда не могла помочь человеку, чью жизнь ценила превыше собственной. Ее письма последних лет, этот живой крик души через океан, были единственной формой поддержки, которую она могла оказать умирающему. Жертвенная любовь, неиссякаемая тревога и забота о Ю.М. – вот та сквозная нить, которая соединяет их в одно скорбное, особенно в годы предсмертной болезни Ю.М. Лотмана, повествование. По словам сына Ю.М. Лотмана Михаила, отец просил его не публиковать никаких частных документов в течение 15–17 лет после его смерти. С кончины Юрия Михайловича Лотмана прошло 23 года. Таким образом, мне

кажется, я не нарушаю воли покойного.

Дневник Ф.С., выдержки из которого приводятся в этой книге, естественно, сильно отличается по стилю и от ее писем, и от воспоминаний о Ю.М. Лотмане. Как и всякий дневник, для Ф.С. он был инструментом памяти: «Я боюсь забыть мелочи – ими живу – и я хочу записать их всех и вспоминать все время, но как только они оказываются на бумаге и нет красок его голоса, я не вижу его рук, его глаз – все не то (“мысль изреченная есть ложь”)» – записывает она в 1972 году. Но несмотря на осознаваемую неадекватность слов чувству, Ф.С. не устает фиксировать в Дневнике рассказы Ю.М., его мысли, его реакцию на самые разные события. В той мере, в какой они передают устную, спонтанную речь Лотмана, их ценность неоспорима. Этот аспект Дневника я использовала в качестве комментария к письмам и воспоминаниям. Более полные выдержки из Дневника я привожу в отдельной рубрике.

Разумеется, Дневник был еще и инструментом самоанализа, попыткой разобраться в чувствах, которые стали доминантой жизни мамы, принося счастье, но и значительно эту жизнь усложняя.

Оставляя за бортом этот второй и очень личный аспект документа, я, тем не менее, хочу упомянуть о том неожиданном свете, которым он освещает их автора. Ф.С. – человек быстрого, проницательного ума, с полуслова и полувзгляда «прочитывающего» людей и их намерения; человек, в силу решительности и бесстрашия характера неизменно становившийся опорой для других, предстает со страниц своего дневника неуверенной в себе, легко уязвимой и нуждающейся в защите женщиной. Даже для тех, кто хорошо знал Ф.С., разница между ее скрытым и «общественным» лицом парадоксальна. Но не сходное ли противоречие выявляется и в образе Ю.М. Лотмана: теоретика, блестящего лектора-просветителя, организатора, первопроходца в науке, не сгибающегося под бременем официальных запретов и гонений, и вместе с тем человека, десятилетиями живущего на последнем пределе своих сил?

Тут нащупывается, возможно, еще одно пересечение судеб двух людей, при всей разности, в глубинных чертах своего характера близко созвучных друг другу.

Не нужно было быть ученым, чтобы почувствовать гениальность и редкую притягательность личности Лотмана. Он был интереснее, остроумнее, мудрее, мужественнее и душевно щедрее большинства людей, которых мы встречаем в жизни. Слова не могут заменить общения с личностью такого масштаба. Они могут лишь по касательной передать ощущение праздника, о

котором свидетельствуют все, кому посчастливилось к этому празднику быть причастным.

Книга, которую вы держите в руках, – еще одно тому подтверждение.

Я глубоко признательна О.Г. Ревзиной, с внимательной благосклонностью прочитавшей рукопись книги, а также М. Касьян и С. Касьян, Г. Азарх, Дж. Розенгранту и В.С. Парсамову, подтвердившему ценность писем Ф.С. Сонкиной в их историческом контексте. Приношу свою благодарность Т.Н. Шаховской и Т.Д. Кузовкиной, любезно предоставившим мне эти письма из тартуского и таллинского архивов, а также Б.Ф. Егорову, чьи примечания к переписке вошли в книгу. Высокий редакторский профессионализм Т.Л. Тимаковой оказался незаменимым при работе над рукописью.

Марина Сонкина

Ванкувер

Ф.С. Сонкина
Юрий Лотман в моей жизни. Воспоминания

Прошло более трех лет[6], как Юры[7] не стало – пришло и мое время повспоминать о нем. Я перечитываю все, что написано его друзьями, коллегами, учениками, которые захотели поделиться памятью о нем. Эти воспоминания очень разные, часто их авторы противоречат друг другу: создал научную школу – не создал научной школы, был очень мягок – нет, был суров и сдержан. Такие противоречия естественны: все, кто встречался с Ю.М. на протяжении многих лет, видели его в разных жизненных ситуациях. Да и сами воспоминатели менялись. Несмотря на разночтения, все, что написано об этом удивительном человеке, интересно, все значительно.

Пишущие о Ю.М., в большинстве своем, меня не знают. Я же видела и слышала почти всех ученых его круга, потому что много лет подряд не пропускала ни одного его выступления в Москве. Поэтому, когда я читаю статьи-некрологи или статьи-воспоминания, я узнаю их авторов. Я не могу писать о Ю.М. – ученом, да и не ставлю перед собой такую задачу. Но неужели то личное, что связывало нас, не имеет права быть объектом воспоминаний? Не думаю. Каждая черта такой крупной личности, каковой был Ю.М., оставившей столь заметный след в русской культуре, интересна не только его современникам, но и потомкам. Поэтому похоронить то, что мне известно о нем, я считаю неразумным. Пишу не для публикации: хочу оставить написанное на память о нем моей дочери, моим внукам и близким друзьям Юры, в частности Борису Федоровичу Егорову, прошедшему с ним рядом долгие годы и делающему теперь столь многое для его памяти.

Однако озаглавить эти записки «Мои воспоминания о…» я не могу, потому что не претендую ни на обобщение, ни на анализ. Моя задача много скромнее: я хочу показать Юрия Лотмана на протяжении 25 лет нашей любви, каким я его знала, каким он был. Таким образом я мысленно снимаю упреки в том, что мне придется говорить и о своей жизни. Когда-то я сказала Ю.М., что моя жизнь состоялась, потому что он был в ней долгие, долгие годы. Если вычесть 17 лет детства и юности, то получается 25 лет, половина моей жизни. Даже если и было в ней много чуждого и ненужного, жизнь моя оправдана присутствием в ней Юрия

Михайловича Лотмана.

Сегодня я даже не знаю, во что выльются эти записки и сколько места они займут. Быть может, совсем немногое из того, что хранят память и тетради дневников, которые вела на протяжении двух с половиной десятилетий, окажется или покажется мне важным или интересным для рассказа… А может быть, как я надеюсь, многое попадет на следующие страницы воспоминаний.

Скажу только, что, общаясь с Ю.М., я очень скоро поняла, что нужно в какой-то форме сохранить то, что узнала от него, о чем он сам рассказывал мне, что случилось раньше в его жизни или чему я была свидетелем: его отношение к людям, коллегам, детям, внукам и многое другое. Привычной и возможной для меня формой записи был дневник. Я начала его в 1971 году, внеся сначала все ретроспективно с 1968 года. Так за все годы, включая три моих канадских года, я исписала пять толстых (так называемых «общих») тетрадей. Память – инструмент ненадежный, и я была уверена, что мне захочется эти записи перечитывать. Я часто так и поступала: это помогало мне переносить разлуку с Ю.М.

В отличие от Байрона, который считал, что дневники всегда полны противоречий и что мы не говорим в них правды, в том числе и самим себе, – я ни разу не испытала сомнений в правдивости написанного мною. Ю.М. знал, что я веду дневник, иногда шутливо просил не записывать всех глупостей, которые он произносит. Всерьез же он действительно опасался (слово «боялся» он ненавидел всей душой, какой бы стороны его жизни, или действий, или решений оно ни касалось) не за себя, а за друзей и коллег, которые, как он знал, там могли упоминаться. Опасения особенно усилились после обыска у него дома в январе 1970 года. По просьбе Юры я после этого кое-что вычеркнула, главным образом то, что касалось других людей. Горько сожалею о том, что это потеряно и что я не догадалась перенести эти записи в другое место.

Опасения по поводу дневников возникли и тогда, когда стало ясно, что вслед за дочерью и я могу уехать за границу. Мы тогда решили, что если мне не удастся провезти дневники или, в крайнем случае, отдать провожающим в аэропорту, я их тут же уничтожу. К счастью, при отъезде никого они не заинтересовали, равно как и пачка писем Ю.М. ко мне, которых тогда уже было около 150. Таким образом, мои воспоминания основаны на этих многолетних записях, охватывающих около четверти века. Не все записи равнозначны. Однако в дневниках много важного о жизни, личности, семье, друзьях Ю.М. Важны записи его мыслей,

чувств, – даже если часто они противоречивы. Его шутки, его «mot» представляют несомненный интерес. Его манера подписывать дареные им мне книги кажется стоящей того, чтобы ее упомянуть. Из всего этого складывается облик Ю.М. Лотмана. Показать его с новой, неизвестной никому стороны – моя задача. Не могу не упомянуть, что Ю.М. много раз просил меня ничего не рассказывать о нас после его смерти. Не нарушаю ли его волю? Но по тому же побуждению, что отдала часть его писем для публикации, пишу сейчас и эти страницы: я не хочу, чтобы то, что оставил Ю.М. на земле, – не только в науке, в статьях и книгах, но и как человек удивительных, редких качеств, – чтобы это исчезло вместе с его уходом. О Лотмане пишут его друзья, его сестры. Думаю, что когда-нибудь опубликуют сыновья и то, что всю жизнь записывала за ним его жена Зара Григорьевна Минц. Ее записки, безусловно, будут отличаться от моих. Но, как справедливо заметил один мой коллега, мои воспоминания будут важны как любой голос из хора, описывающий нашу эпоху. Мне не избежать рассказа о наших отношениях, иначе было бы странным и невозможным объяснить то, что связывало нас на протяжении стольких лет. Сложность моей задачи еще и в том, что взгляд из настоящего в прошлое может быть иным, чем в то время, когда прошлое было настоящим. Нужно постоянно удерживать себя от внесения корректив, нужно быть правдивой. Приложу все силы, чтобы выполнить последнее. Есть еще одна трудность. Когда любишь, то восхищаешься всеми свойствами любимого человека, не замечая слабостей, а замечая, не придаешь им значения.

Приступлю к своей непростой задаче.

1

Мы с Ю.М. были однокурсниками. Только я поступила на филфак Ленинградского университета в 1945 году (со школьной скамьи), а Юра в это время еще не демобилизовался из армии. Он пришел к нам сразу на второй курс в 1947 году[8], как и многие наши мальчики, за плечами которых была война. В полувоенной одежде, он был худ, невысок, темноволос и с усами. Я запомнила его улыбку. В то время она мне казалась несколько ироничной. Наша первая русская группа была сплошь девичьей, как и большинство других групп филфака. Многие были из провинции. Группа, в которой начал свои занятия Юрий, напротив, состояла не из одних лишь девушек. Там была коренная ленинградская интеллигенция. В его группе учились Лев Дмитриев, будущий членкор Академии наук, ближайший сотрудник Д.С. Лихачева по сектору древнерусской литературы Пушкинского дома, Марк Качурин, профессор и доктор, автор учебника по русской литературе XIX века для школьников и какое-то время завкафедрой в педагогическом институте. Назову еще Владимира Гельмана (Бахтина)[9], с которым очень сдружилась, известного фольклориста, Виктора Маслова, Николая Томашевского, сына профессора Томашевского. На романо-германском отделении учились талантливая Наташа Трауберг, будущая известная переводчица с английского, французского, итальянского, португальского языков, а также Наталия Брауде. По группам распределялись в зависимости от иностранного языка: в нашей он был немецким, у Юры – французским.

Никто из девочек нашей группы не стал ученым, исследователем литературы или журналистом. Большинство стали учителями, как и я. Исключениями были печально прославившийся в 1950-х своей ролью на кафедре русской литературы Тотубалин (он пришел позднее), а также В. Ганичева, всегда все знавшая, со странными, какими-то безжизненными знаниями: желание сделать карьеру в ней легко прочитывалось. Говорили, что именно она заняла место Юрия в аспирантуре. Впрочем, ничего из нее не вышло, видно, ее знаний для исследовательской работы не хватило, и след ее для меня потерялся. Тотубалин же нам, девчонкам, казался необыкновенно тупым. Своим монотонным голосом с не то северным, не то волжским «оканьем» он задавал примитивнейшие вопросы на наших семинарах. Но зато если это были семинары по общественным дисциплинам, его выступления с непременным «А вот у нас в деревне…» нельзя было остановить. На это не

решались и преподаватели, чувствуя в нем уже тогда безапелляционность власти. Такие, как Тотубалин, в то время легко делали карьеру. Их способности или отсутствие оных не играли роли.

Я приехала в Ленинград из Саратова, куда семью эвакуировали во время войны. Родным моим городом был Днепропетровск (бывший Екатеринослав). Город был достаточно крупным культурным центром, у нас был прекрасный оперный театр, на гастроли приезжали известные актеры и музыканты, так что с детства была доступна любимая мною классическая музыка в очень хорошем исполнении.

Почему выбрала филфак? Сначала я хотела поступать на философский факультет Московского университета, но отцу моему, который специально ездил в Москву узнавать, сказали, что туда берут «особую категорию» людей. Я в эту категорию явно не входила, хотя и кончила школу с золотой медалью, то есть имела право поступать в университет без вступительных экзаменов. Тяга к гуманитарным наукам после войны вообще была очень сильной. А в Саратов во время войны был эвакуирован весь блестящий состав филологического факультета Ленинградского университета. Манил сам город, манили неизвестность и желание уйти во «взрослую» жизнь от родителей.

В послевоенном Ленинграде жить было очень непросто, холодно и голодно. Не могу припомнить позже 1945–1947 годов таких суровых зим, как в мои первые студенческие годы. Лучше валенок обуви не было, в них сидели на лекциях в аудиториях. На голове не шапка, а шерстяной платок. Общежитие университета находилось на Малой Охте, добираться туда приходилось полтора часа на двух трамваях. Трамвай № 12 сворачивал на Васильевский остров, потом надо было пересаживаться на 5-й, это вечное ожидание трамвая в темноте и холоде – сидела в библиотеке до ее закрытия – навсегда осталось в памяти. Трамваи зимой не отапливались, да и здание университета отапливалось плохо, в аудиториях, как правило, сидели в пальто.

Голодно было до самой отмены в 1948 году карточек на продукты. А в магазинах, естественно, продуктов не было. Иногородние студенты получали еду по талонам один раз в день (обед). Но были студенты в ситуации еще худшей, чем у меня. Например, Миша Бурцев, мой сокурсник и близкий друг. Человек гениальных способностей и огромной – к двадцати годам – эрудиции. Родителей его арестовали и, как он считал, расстреляли. На его худобу смотреть было страшно. Как было его не подкормить, не поделиться талонами? Мишу Бурцева арестовали в 1949 году, и он погиб в Воркуте, не дожив до

двадцати пяти лет. Голод особенно мучил по вечерам. От него я спасалась или на концертах в филармонии, куда по дешевым входным билетам легко было проникнуть, или в Публичной библиотеке. А был и другой способ заглушить голод: танцами, которые регулярно устраивались в общежитии по субботам и которые я очень любила.

Когда Нева замерзала, можно было сократить полуторачасовой путь в общежитие, перейдя часть Малой Невки по льду. Однажды я чуть не утонула. Лед оказался тонким, и я провалилась в ледяную воду. Какой-то прохожий услышал крик, бросил мне доску и вытянул меня.

Что же такое была я, восемнадцатилетняя девочка, в которую безоглядно, сразу, как только увидел у кассы, где выдавали стипендию, влюбился Юра? Провинциалка, вступившая в нелегкую самостоятельную жизнь. Работала ночью (калькировала чертежи железнодорожных мостов для управления, в котором тогда служил мой дядя), а днем жадно училась. Все дни проводила в Публичной библиотеке, на сон оставалось три-четыре часа. Читать, читать, наверстывать упущенное в детстве и голодной военной юности, когда днем приходилось учиться, а ночью работать на военном заводе, поскольку работа давала еще одну хлебную карточку семье. Я тогда уже несколько лет была влюблена в моего будущего мужа и никак не разделяла чувств Юрия.

Спустя много лет, уже после того, как мы снова встретились в Москве, он вспоминал все аудитории и залы Публичной библиотеки[10], где мог меня увидеть, – я ничего этого не помнила. У нас с ним в то время, как теперь говорят, были разные ценности, я бы сказала, разные интересы и устремления. Например, я не имела понятия о существовании на филфаке мощного научного студенческого общества, не знала, что Юра был его активным членом, что тогда он сделал свое первое научное исследование о преддекабристском Ордене русских рыцарей, опубликованное в «Вестнике» Университета. Не знала я также, что на третьем и четвертом курсах он был сталинским стипендиатом, – высшая награда для студента той поры. Чувство Юры ко мне было серьезным, и, как выяснилось позже, ему было трудно, он страдал.

Хотя я училась вполне успешно, мне всегда казалось, что я ничего не знаю: дрожала перед каждым экзаменом. Юра знал эту мою особенность, приходил и стоял со мной в коридоре, пока я ждала своей очереди. Он говорил: «Ну скажите, что для вас самое трудное?» – «Я ничего не помню, ничего не знаю». А Юра отвечал: «Успокойтесь, Фрина! Я вам сейчас все расскажу». И рассказывал,

цитируя наизусть из русской и западной литератур. Но страх мой не унимался, открыть дверь в аудиторию я боялась. Тогда Юра говорил: «Давайте я вас на руках отнесу!».

Однажды купил нам два билета на «Жизель» в Мариинский театр с Галиной Улановой в главной роли, кумиром того времени. Он был нищ, и эта была большая для него трата. Вела я себя глупо, держалась абсолютно неестественно, и он даже не решился проводить меня домой. Двадцать два года спустя все сокрушался: «Ну как я мог, как смел я не проводить тебя до дому?!» Но тогда не мог решиться: ему казалось это самонадеянным и потому неприличным поступком.

Шел 1948 год, второй курс Университета – моя группа сдавала очередной экзамен по западной литературе С.С. Смирнову, и Юра, как обычно, стоял тут же, в коридоре, подстраховывая меня. Я, как всегда волнуясь, спросила его о Гейне. Юра с готовностью рассказывал, а сам (как потом мне признался) думал о том, что если я спрашиваю, значит, подарок его даже не раскрывала: незадолго до экзамена он подарил мне редкое издание Гейне 1883 года с трогательной надписью:

«Nichts ist dauernd als der Wechsel, nichts best Ändig als der Tod. Jeder Schlag des Herzens schlägt uns eine Wunde, und das Leben wäre ein ewiges Verbluten, wenn nicht die Dichtkunst wäre. Sie gewährtuns, was uns die Natur versagt: eine goldene Zeit, die nicht rostet, einen Frühling, der nicht abblüht, wolkenloses Glück und ewige Jugend».

Ludwig Boerne[11].

«Поэзия, она любезна
Приятна, сладостна, полезна
Как летом сладкий лимонад».

Державин

«Желаю Вам в Новом Году большого счастья и исполнения всех Ваших желаний, даже если они будут наперекор моим.

Ю.»

2

Приходится с грустью и стыдом (хотя что же здесь стыдного?) признать, что знаки внимания Юры для меня становились тягостны. Однажды, в один из перерывов между лекциями, он спросил у меня, как я отношусь к письму, которое он передал мне за пару дней до этого. Письмо содержало путанное и горячее признание в любви.

Я ответила ему банальностью, которую и теперь неловко вспоминать: «Я другому отдана и буду век ему верна…» Такая вот «Татьяна»… Юра произнес тогда странную для меня фразу: «Как это смешно!»[12]. Но ему было вовсе не смешно, напротив, весьма грустно. После этого он как-то исчез. Юра был горд и, как показало время, достаточно влюбчив. Больше он не помогал мне перед экзаменами[13].

Не могу обойти молчанием случай, который вспоминать мне не очень приятно, однако он характеризует Юру в молодости. Относится он, по выражению Толстого, к числу «стыдных воспоминаний» жизни. Было это весной 1949 года, когда я вдруг решила, что надо оставить туманные надежды на замужество с тем, кого любила, и выйти замуж за Юру. Все мои университетские подруги оказались «за», ибо симпатии, разумеется, были на стороне Юры, а меня слегка презирали за то, что предпочла другого. А мой избранник, боясь ослушаться родителей, жениться не спешил. Родители его, бывшие мелкие партийные работники, чувствовали во мне «девочку из другого круга» и никак не принимали.

Итак, я стала «организовывать» «возвращение» Юры. Проучил он меня необыкновенно сурово и очень похоже на того Ю.М., какого я узнала спустя двадцать лет. В это время, уже на четвертом курсе, я снимала угол, то есть делила комнату с артисткой миманса Малого оперного театра Верой Павловной Кирьяновой на углу Рубинштейна и Невского. Был весенний солнечный день, моя хозяйка на репетиции. Я была одна и тщательно приготовилась к Юриному визиту. Время полуголода миновало, я испекла вкусное печенье, тщательно убрала нашу с домохозяйкой крохотную комнатенку, приоделась и ждала Юру. Сейчас мне смешно вспоминать, что я рассчитывала представиться ему жертвой любви, на которую мой избранник не мог или не хотел ответить браком. И вот, дескать, потому я предлагаю Юре себя в жены. Юра очень вежливо выслушивал мои благоглупости, как-то особенно иронично посмеивался в усы, пил чай, хвалил мое кулинарное искусство и корректно, но твердо

дал мне понять, что, сочувствуя моим неудачам, сам помочь мне ничем не может. Стыдно было ужасно, подруги сокрушенно качали головами. Однако отповедь была мне дана в том изящном и строгом стиле, как он это умел делать всю свою жизнь, когда нужно было. Нет, без любви я не была ему нужна.

Стыд мой долго держался, но молодость не так мучается, как старость, – в конце концов, боль прошла и даже забылась. Тем более что время требовало иных раздумий.

3

1949 год. Все серьезно размышляют о том, как сложится наше будущее. Видимо, то же беспокоит и Юру. Его научное поприще казалось несомненным, но сгущались тучи. Арестован Г.А. Гуковский, уволен Б.М. Эйхенбаум. Арестованы многие студенты филфака по абсурдному обвинению в создании проамериканской шпионской группы. Арестован и мой близкий товарищ, блестящий филолог и философ Михаил Бурцев, о котором я уже упоминала.

Надо сказать, что чудовищные проработки, процессы-собрания на факультете как-то обошли меня стороной. Мы, как ни грустно признать, отчасти верили в справедливость того, что происходит. Это кажется сейчас чудовищным, постыдным, но так было. Общий ход событий был мне непонятен. И это несмотря на то, что в моей семье, как и в других семьях, начиная с 1937 года шли аресты. За непонимание я не обвиняю ни себя, ни своих друзей. Ведь Сталин стрелял в тех, кто стрелял в наших отцов, как тут было не запутаться, не растеряться. Мы ходили на первомайские и октябрьские демонстрации, презирали тех, кто, как Е. Колмановский, отказывался нести транспаранты.

Получалось, что он все понимает и не боится, а мы вот, трусы, безропотно подчиняемся. Такое поведение пахло провокацией, доносом, Юра понимал и осуждал это[14]. У меня окончательно пелена спала с глаз, когда на третьем курсе арестовали Мишу Бурцева. Я, конечно, ни одной минуты не верила в «организацию» или в вину Миши. Как стало потом известно, донесла на него – из ревности к нашей дружбе – его собственная жена.

Юра понимал больше, чем я тогда, что следует из его воспоминаний о наших профессорах. Глядя на прошлое из настоящего, хочу подчеркнуть, что тогда вслух не только ничего не обсуждалось и не произносилось, но и намекать было опасно: каждый жил, затаив в себе страх. Помню очень хорошо, как боялась возвращаться из библиотеки домой, – все казалось, что за мной следят и что именно вечером, по дороге домой, меня арестуют. Мы тогда уже по намекам, по косвенным свидетельствам знали, каковы были методы допросов в тюрьмах. Миша ждал ареста и предупредил меня, чтобы я никогда, если вызовут, не говорила о нашей дружбе, а уж он и словом обо мне не обмолвится. Всех наших бедных мальчиков в 1953 году реабилитировали, многих, как Бурцева, посмертно.

Уже в Москве, в 1953 году, меня вызвали к следователю по

делам реабилитации Бурцева и его друзей. И следователь показал мне результаты допросов, из которых четко следовало (эти строчки были отчеркнуты красным карандашом), что, по показаниям самого Бурцева, лучшим другом его на филфаке и человеком, который хорошо его знал, была я. Тот же следователь искренно поведал мне, что не совсем понимает, почему «ленинградские товарищи» не пригласили меня «по этому делу». «Мы за вами следили, знали, что работаете в Костроме. Знали, что ждете ребенка, может быть, поэтому ленинградские товарищи решили вас тогда не трогать».

Только пытки могли вынудить Мишу назвать мое имя.

Я рассказываю это, чтобы показать, какова была атмосфера того времени, когда мы заканчивали университетский курс, как быстро мы взрослели…

И очень уже скоро все мы, выпускники, почувствовали на себе этот ледяной ветер, который разметал все наши надежды, что после войны наступит замечательная жизнь, в которую мы верили или, вернее, в которую нас заставляли верить. Иллюзии быстро рассеялись.

Надвигалось серьезное время: распределение на работу. Об истории Ю.М. написано много, я не буду входить в подробности того, как в обмен на якобы потерянную блестящую Юрину характеристику Бердников предложил ему так называемое «свободное» распределение. Ему, самому талантливому из всего выпуска, было отказано в аспирантуре… Мы, средние, но успешно окончившие курс студенты, вообще ни на что не могли претендовать. Наших девочек – ленинградок по рождению – отправили в Псков или Новгород, меня, в то время уже вышедшую замуж, из милости послали в Костромскую область, даже не в саму Кострому. Мотивировали тем, что якобы это наиболее близкое к Москве, где жил мой муж, место. О том, чтобы освободить меня от распределения, и речи быть не могло. По законам того времени, если муж по образованию был ниже жены, он должен был следовать за ней. Муж мой учился в то время на втором курсе института, и предполагалось, что Костромская область, где, кстати, и не могло быть института нужного ему профиля, – очень удачное место для завершения его образования. К слову сказать, Сусанинский район, куда меня направили, известен непроходимыми болотами и назван в честь Сусанина потому, что именно в эти болота, по официальной легенде, герой-крестьянин завел врагов-поляков. Колхозы там как-то существовали, но добираться мне до предполагаемого места работы, небольшой деревушки (имя которой теперь забылось), из Костромы можно было только на местном самолете. Все это я

узнала уже позже, в самой Костроме, где, к счастью, меня оставили работать в институте усовершенствования учителей методистом по русскому языку и литературе. (Весь «институт» состоял из одной плохо отапливаемой комнаты.)

Таковы анекдоты того времени.

Мой диплом давал мне формальное право преподавать в московской школе или хотя бы в педагогическом институте в Костроме. Но и в том и в другом мне было отказано: «анкетные данные» не подходили. А вот учить учителей – по странной прихоти костромского начальства – почему-то разрешалось, хотя учителя, как я выяснила, уже имели многолетний стаж работы, а я только окончила университет. Тут как раз приспело время, когда «лингвист» всех времен и народов товарищ Сталин начал развенчивать учение Марра, которое до этого сам же повсеместно внедрял. Костромское начальство, видимо, еще не было искушено в новых веяниях, в марровских теориях не разбиралось, а уж критиковать то, что было одобрено Сталиным, тем более не решалось.

Громить Марра, однако, надо было. Вот мне и предложили пропагандировать новые лингвистические теории вождя и учить учителей идти «новым курсом», пользуясь сталинскими «мудрыми указаниями». С этой именно целью меня, новоиспеченного преподавателя, даже послали в Москву на престижный инструктаж для завучей и директоров школ. Слать больше было просто некого. Но это уже другая история, да и я забежала вперед. Вернусь в Ленинград, в последний мой университетский год.

На пятом курсе я, как и все, писала дипломную работу, готовилась к государственным экзаменам. Но вот выпускной вечер: июнь, белые ночи. Нас пригласили в Мраморный зал Дома ученых. Сшито какое-то немыслимое, первое в жизни крепсатиновое платье. Нам вручают дипломы. Больше я не помню ничего, кроме непереносимой грусти, вдруг охватившей меня на вечере: впору было не радоваться, а плакать тут же, в присутствии друзей и начальства. И вот, собираясь уйти раньше времени, на сверкающей мраморной лестнице, ведущей к выходу, я случайно встречаю Юру Лотмана. Подхожу к нему первая и говорю ему: «Юра, мы, наверное, больше никогда не увидимся, я хочу попрощаться с вами. Пожелать вам счастья». Юра пожимает мне руку, тоже желает в жизни самого лучшего, и я убегаю с вечера. Помню много мелочей из прошлого об этом же событии; кроме диплома у меня в руках, процесса его вручения и этого прощания с Юрой, ничего не осталось в памяти. Было почему-то тяжело, тоскливо до такой степени, что дома я горько плакала, словно

случилось несчастье. Может быть, то был выход накопившейся усталости, а может – и скорее всего – это было прощание с юностью и страх перед неведомым, перед будущим.

Юра же запомнил все в деталях и спустя двадцать лет говорил об этом вечере с благодарностью: был тронут тем, что я решила с ним попрощаться. Тогда-то я узнала от него, что у истории этой было продолжение. Оказывается, он пошел за мной следом, намереваясь меня «умыкнуть». Простоял под моим окном всю ночь до рассвета (это были белые питерские ночи), но осуществить свое намерение не решился. Ушел.

Так завершился первый период нашего знакомства в студенческие годы. Это было летом 1950 года…

Многие вопросы, что задает нам жизнь, остаются без ответа: нам не дано знать, почему судьба сложилась так, а не иначе. Всматриваясь в далекое прошлое, я думаю, что Юра глубоко затаил боль от неразделенной любви, ведь она была первой. Вероятно поэтому он долго, даже и через восемнадцать лет после нашей встречи, в 1968 году, не любил вспоминать ничего из того, что чувствовал, или делал, или писал мне в студенческие годы. Я писала уже, что сокурсники меня судили строго. Юра был для всех так недосягаемо высок, что отсутствие взаимности с моей стороны воспринималось как несправедливость судьбы и моя глупость.

Последнее я и сама разделяю – теперь, хотя тогда и в голову не приходило. Я просто не доросла до него тогда, не видела, не понимала и совершила одну из главных ошибок в своей жизни. Юра же считал, что судьба распорядилась правильно: она соединила нас тогда, когда мы оба были к этому готовы и из настоящего, окрашенного глубокой взаимной любовью, могли смотреть на прошлое с улыбкой.

4

Шел 1967 год. Я ничего не знала о жизни Ю.М., его семье, о нем самом. Слышала только, что он живет в Тарту, работает в университете, что женился на Заре Минц. Могу теперь признаться, что и не интересовалась его жизнью. Все эти годы я работала в школе, сначала в Костроме, потом в Москве. Свою работу очень любила, и в профессиональном смысле все шло хорошо. Миновали тяжелые пятидесятые годы, и после смерти Сталина стало немного легче дышать. Приходилось, правда, работать больше, чем было мне по силам, но это считалось нормальным в те годы. Однако уже в 1963 году «оттепель» постепенно начала превращаться в «заморозки», что стало очевидным после одного эпизода, в котором пришлось участвовать.

Я работала тогда в школе для слабослышащих детей, и мне велели с их помощью озвучивать для кинохроники знаменитое совещание в Кремле по идеологическим вопросам, на котором Хрущев громил творческую интеллигенцию. На совещание не пустили звукооператоров, так что снимали без звука. И недаром: выражения, которые употреблял тогдашний глава государства, явно не годились для звукозаписи. Страшно было сидеть с моими старшеклассниками в маленьком просмотровом зале и наблюдать за тем, что происходит на экране. Участники совещания, например Евтушенко, буквально вжимались в кресла, а Хрущев между тем, тыкая пальцем в кого-нибудь в зале: «Вот вы! Вы! Вы! Вы!», – вытаскивал на трибуну очередную жертву каяться. Кричал: «Долой из страны! Уезжайте на Запад!»

На поэта Вознесенского, вызванного Хрущевым на трибуну судилища, посыпался град начальственной нецензурной брани. «Кто научил вас писать стихи так, что они непонятны советскому человеку!» – потрясал кулаком Хрущев. «Мой учитель Маяковский», – ответил поэт, а губы его при этом дрожали. Мои ученики по движению губ все понимали и боялись мне пересказать то, чему являлись свидетелями.

К 1967 году уже и Хрущева сместили, а последние остатки свободы для меня и моих друзей выражались, быть может, только в песнях Окуджавы, жадно записываемых нами на огромные катушки пленок первых наших неуклюжих магнитофонов.

Работу в школе я очень любила, но она требовала «полной гибели всерьез». Мне всегда надо было зарабатывать на семью, и двойная нагрузка, огромное количество старших классов, не оставляла времени для чтения специальных филологических

журналов; а кроме того, чтобы подработать, я каждый вечер читала лекции в институте, так что возвращалась домой всегда поздно. Очень грустно признавать, что мне, филологу, слушавшему в университете знаменитых профессоров, не удавалось продолжать свое филологическое образование. Для себя успевалось только читать «Новый мир» Твардовского; это чтение было нашим «глотком свободы». Однако и журнал скоро прекратил свое существование в своем прежнем виде. Разогнали его редакцию, а потом пришлось уйти и самому Твардовскому. Все поменялось…

Весной 1967 года гостья моей московской подруги Л.С. Лагун восторженно рассказывала собеседникам о своем посещении Тарту. О лекциях Ю. Лотмана, о гостеприимстве его семьи, о жене и детях, но главное – о самом Ю.М., которого слушают не только студенты-филологи и студенты других факультетов, но и гости из других городов. Рассказывала о почетном праве участвовать в студенческих конференциях и особенно о том, как трудно, но и престижно печататься в «Трудах» ТГУ.

Прошло семнадцать лет с тех пор, как мы виделись с Ю.М. в последний раз, и, признаюсь, ничего из услышанного я не знала. «Трудов» не читала, о популярности его не ведала. Вообще была далека от мира науки, от его мира. Даже в Ленинграде после 1950 года я была всего несколько раз, виделась с друзьями, а главное, ездила туда со своими старшеклассниками, стремясь расширить, как только могла, их кругозор, дополнить их образование. Слушая рассказы о Ю.М. и его семье, я вспомнила, как когда-то Юра был влюблен в меня и какой крах я потерпела, решившись ему, столь гордому, предложить себя в жены, не любя. Я написала ему письмо[15], пересказывая слышанный мною рассказ о нем. Писала о том, как он популярен и известен преподавателям МГУ, где в то время работала еще одна моя подруга. Все было правдой, ничего я не придумала. Я уже успела в Ленинке (Ленинской библиотеке) найти работы сотрудников Юриной кафедры и узнать, чем они занимаются. Сообщала ему, что у меня дочь и что она кончает школу, а я учительствую. Ответ пришел буквально через неделю.

Сличая даты на письмах и конвертах, я поняла, что Юра ответил мне в тот же день, как получил мое письмо, а оно шло в Тарту всего три дня. И вот я открываю желтый[16] конверт, читаю письмо на желтой бумаге. Скупо, четким Юриным почерком написано, что он благодарит меня за память, что его старший сын тоже кончает школу. Но что «напрасно я напоминаю ему свою девичью фамилию» – он и «почерк мой помнит». А я искренно думала, что он меня за семнадцать лет совершенно забыл, потому

не поймет, кто выражает ему все эти восторги. Помню также, что последняя его фраза наполнила меня чем-то вроде гордости, а может даже чисто женским тщеславием: «Вот не забыл же!», – но и какой-то неосознанной беспричинной радостью.

Навсегда осталось в памяти, как важнейшее в жизни, как в ту весну, ранними майскими днями на даче в Хотьково, что недалеко от Загорска[17], уже щелкали соловьи в кустах у речки Вори и как хороши были тогда поздние закаты. Однажды вечером шла пешком до станции (километра четыре), чтобы сесть на электричку до Москвы. Было еще светло; вольно и весело дышалось, пели птицы, дул свежий и уже теплый по-летнему ветер; и хорошо думалось о будущем. Была одна из тех редких в жизни минут, когда особенно чувствуешь гармонию, ощущаешь свое единство со всем живым миром – и радуешься этому. Что-то неясное ждало меня впереди; что именно, неизвестно, но настроение было такое, словно вот-вот должно произойти что-то особенно радостное. Я хорошо помню это ощущение, это предвестие чего-то; оно несомненно связывалось в сознании с этим Юриным письмом на желтой бумаге, с его «я и почерк Ваш помню».

5

Профессиональная жизнь моя в это время резко поменялась. Школы, наравне со всеми предприятиями страны включенные в социалистическое соревнование, должны были выдавать «отличную продукцию». Дирекция требовала теперь выполнения плана по успеваемости, то есть завышения оценок ученикам. Работать в таких условиях мне не представлялось более возможным, и я решила уйти из школы, хотя очень любила свою работу и у меня были прекрасные отношения с учениками. Я получила должность старшего научного сотрудника Всесоюзной Книжной палаты. Нужно было готовиться к совершенно новой для меня стезе.

В семье все было достаточно благополучно. Дочь, отмучившись с математикой в младших и средних классах школы, хорошо училась по гуманитарным предметам, что меня радовало. После долгих лет жизни втроем в 14-метровой комнате наша семья из трех человек наконец переехала в отдельную двухкомнатную квартиру – неслыханная по тем временам роскошь! Мы всей семьей катались на лыжах, любили наши компании за городом в нерабочие дни. Я еще не забыла и свое молодое пристрастие к танцам, к игре на фортепьяно. Песни Окуджавы, столь любимые нами, словно предвещали какую-то новую жизнь нашим чувствам, которые эпоха так старательно пыталась в нас заглушить. Одним словом, все было хорошо.

Второго моего письма в Тарту я не помню, не помню и когда его послала. В нем я просила Юру позвонить мне, когда он снова приедет в Москву. Кажется, я даже предложила встретиться гдето. Мы – старые знакомые, отчего же не повидаться. Вероятно, письмо писалось летом, а может быть и осенью.

Написавшись, забылось.

Новая работа требовала от меня больших усилий и времени. Нужно было освоить неизвестную мне область знания – научно-техническую терминологию книгоиздательского дела. Унифицированная терминология и стандарты издательского дела и полиграфической промышленности у нас в стране только зарождались, и никто толком не знал, что это такое. Но чиновникам хотелось ездить за границу. Как всегда, им нужно было щеголять успехами, в том числе в книгоиздании. Ответственность, возложенная на меня, пугала и заставляла работать втрое. Никто подсказать мне ничего не мог. Пришлось засесть за лингвистику, информатику и другие науки. Как заведующий сектором терминологии, я должна была отвечать за

выпуск Словаря издательских терминов. А поскольку нужно было наконец, чтобы нас понимали на Западе, терминологические стандарты готовили на четырех языках: русском, немецком, английском и французском. За напряженностью новой работы предощущения прошлой весны выпали из памяти.

Но вот совершенно неожиданно вечером 27 января 1968 года меня позвали к телефону, и голос в трубке сказал: «Здесь Лотман. Фрина, я в Москве и хотел бы вас видеть». Заикался он ужасно, больше, чем в юности. Голос срывался, становился тонким и пронзительным. Я ответила, что живу там-то и там-то и буду рада встретиться, когда он сможет приехать. На это – уже абсолютно твердо, без заикания – последовал ответ, что он остановился в гостинице «Украина»[18] и что хотел бы встретиться со мной именно там. Я согласилась, быстро собралась и отправилась.

Юра встретил меня у входа в гостиницу. Он был в тяжелом зимнем пальто, с шалевым меховым воротником, в высокой меховой шапке. Не помню, увидела ли я, как он изменился, может быть, не обратила внимания. Мы поднялись на лифте, кажется, на 24 этаж, в его крохотный номер. На столе стояла тарелка с тремя апельсинами. Потом Юра объяснил мне, как долго решал, что мне предложить: пригласить поужинать ему казалось фривольным, принять меня в пустом номере он тоже не мог, и вот остановился на апельсинах. В то время в Москве проходила конференция, посвященная юбилею С. Эйзенштейна, на которой Юра выступал. Мы мало говорили в тот вечер. Он спросил меня, счастлива ли я, и если несчастлива, то как бы я написала это слово – слитно или раздельно. На это я честно ответила: «Раздельно».

Он пошел проводить меня до метро у Киевского вокзала. Падал мягкий снег, и мне было так радостно, как никогда в жизни до этого зимнего вечера. Я понимала, что это начало чего-то совершенно нового, счастливого. Юра позже признался мне, что он тогда так не думал. Ему казалось, что все, что произошло, – только счастливое приключение. Он боялся возврата прежней боли. Года через три он вспомнил, что ему было горько. Эта его боль стала понятной мне позднее. А в то время я думала о главном: что не забыл меня, что помнил все эти годы. У меня хранятся два его «любовных» письма, и первое из них – присланная через две недели после той встречи в Москве открыточка из Риги. В ней два слова: «О-о-чень скучаю». Юра пробыл тогда в Москве еще неделю, и мы виделись с ним еще два раза. Каждая встреча делала меня счастливее. Мои предчувствия счастья обратились в глубокое ощущение радости моей новой жизни.

6

Двадцать два года, с января 1968-го до октября 1990 года, времени моего отъезда в Канаду, мы встречались, писали друг другу письма, разговаривали по телефону. Местом наших встреч была главным образом Москва, гораздо реже Ленинград, иногда Таллин и Кемери и несколько раз Тарту, куда однажды пришлось ехать в командировку, и еще раз – прощаться с Ю.М. перед отъездом из России. Каждый день наших встреч я отмечала в карманных календариках. Сейчас, когда я подсчитала, сколько дней всего за эти годы мы были вместе, то получилось 485 дней, то есть всего полтора года за двадцать два года нашей любви! И только одиннадцать дней из этих 485 мы были вместе каждую минуту.

Пытаясь осмыслить наш долгий путь вместе, вижу, что отрезки этого пути не одинаковы: они разделяются событиями, настроениями, положениями. Я делю все эти годы на три периода.

Первый – это 1968–1972 годы. Второй – с 1972-го до 1985-го; и третий – с 1985 года до кончины Ю.М в 1993 году. Высшая точка первого периода – наша встреча в Кемери летом 1972 года, «три блаженных дня», как сказал Юра.

Завершает период болезнь Ю.М. осенью-зимой того же 1972 года. Моя любовь становилась все глубже, меняя меня и мой мир. Для Ю.М. это было временем, когда уходила горечь от обиды двадцатилетней давности и он постепенно начинал понимать, что наша любовь не просто счастливый эпизод в его жизни, а судьба и счастье. Он писал мне в эти годы мало и редко, чаще короткие открытки. Но интенсивная работа не прекращалась. Он всегда чувствовал бег времени, знал, к чему идет в своей работе. Так, в 1972 году он писал книжку о кино, которую любил. Считал, что она начата как популярная, а окончена как специальная. Иногда, уставая от «семиотики», начинал «вышивать», то есть, по его выражению, «разматывать» исторические «клубки». В 1971 году работал над легендой о Федоре Кузьмиче и пушкинским «Анджело».

Вспоминается история тех лет, которую я, по просьбе Юры, вычеркнула в дневнике и теперь могу привести только по памяти, приблизительно. А. Солженицын, прочитав как-то одну из ругательных статей против структурализма, сказал: «Это о Юре Лотмане». Ю. заметил, что все меньше людей называют его «Юра». Солженицын бывал у него, но рассказывал об этом Ю.М., по понятным причинам, скупо. А история была связана с

передачей на Запад рукописи «Мастер и Маргарита» Булгакова.

Со вдовой Булгакова у Ю.М. были теплые доверительные отношения, и по его протекции один из молодых знакомых Солженицына взял у Елены Сергеевны роман. Почитать. На самом деле знакомый собирался передать роман на Запад, что сделало бы публикацию его в России невозможной. Ю.М сумел устыдить молодого человека, убедить его вернуть роман…

Работал Ю.М. ночами, спал мало, уставал.

И моя жизнь тоже требовала напряжения. Само по себе овладение новой для меня областью логики и, отчасти, лингвистики представляло известные трудности. Но хуже всего было то, что работа имела ведомственный характер и напрямую соприкасалась с косной бюрократической системой, где все только командовали, но никто не хотел думать. Поэтому каждый мой приход на работу в первые три года был связан с неприятными обсуждениями в Комитете по печати, жесткими сроками сдачи официальным органам материалов, с бесконечными стрессовыми сиутациями. И вот, каждое утро, спускаясь в метро, я мысленно отодвигала от себя предстоящие сложности и думала только о Юре: полчаса перед началом работы были нашим с ним временем. Я смотрела на замкнутые, печальные, озабоченные лица людей, спускающихся и поднимающихся по эскалатору, и думала, что ни один из них даже не подозревает, как я счастлива. Я желала им мысленно испытать такое же счастье.

Помню свой день рождения в 1972 году, в июне. Собрались наши обычные друзья. Но я была другая: мне хотелось быть особенно радушной, особенно приветливой хозяйкой. Я менялась. Это было время высокого подъема.

В июне 1972 года, после весенней усталости и спада научной активности, в голове Ю.М. опять кипели идеи; он надеялся, что ему будет отпущено судьбой еще десять лет, чтобы замыслы его главных работ о культуре осуществились.

Зима и весна 1972 года были временем сплошных проверок и комиссий, и он очень уставал. Рассказывал мне так: отбиваешься, отбиваешься, кажется, что победил великанов, а оказывается, то были какие-то мелкие комариные укусы. Ожидал, что им еще «врежут» за пятый том «Семиотики», и рассказывал, как сражался со старым Брагинским[19] из Института востоковедения и издательства БСЭ. Тот учил Ю.М., как нужно писать, читал ему лекции о базисе и надстройке в присутствии Дементьева[20] и Тимофеева[21]. Обсуждались при этом статьи Ю.М. для седьмого тома Краткой литературной энциклопедии (КЛЭ). Ю. ответил, что все то, что Брагинский ему внушает, он (Юра) знал еще на первом

курсе университета. На что Брагинский ему: «Голубчик, так это же я вас оберегаю». И Ю.М. в ответ: «Отличие мое от вас состоит в том, что вы боитесь, как бы чего не вышло, а я – как бы не было стыдно уже через два года».

Ю.М. хорошо понимал, как и чем раздражает своих недругов, но не сдавался.

Осенью 1972 года Ю.М. заболел инфекционной желтухой, о чем коротко сообщил мне открыткой по почте. И опять: полная неизвестность, слухи о том, что он чуть ли не умирает, мои звонки его сестре Виктории Михайловне в Ленинград, доставание какого-то экспериментального лекарства, по ее просьбе и по настоянию тартуских врачей (лекарство так и не было ими применено) – и наконец спасшая меня от страхов поездка моей дочери Марины в Тарту[22]. В декабре того же года удалось поехать в командировку в Таллин и Вильнюс. Провела в Таллине три очень насыщенных работой дня. Но в шикарной по тем временам гостинице «Выру» особенно чувствовала свое одиночество. Ведь Ю. был совсем рядом, и невозможность видеть его была тяжела. Он сумел встретиться со мной на вокзале в Тарту – уже вышел из больницы, но был все еще очень слаб, – мы провели два часа в каком-то кафе у моста над Айамыгой. Я видела его мельком уже на обратном пути в Литву. Поезд должен был стоять в Тарту пять минут, но опоздал, отпустив нам вместо пяти минут всего две. Тяжела мне была эта встреча-расставание…

Большая любовь редко в жизни встречается, и нам многие завидовали. А мы делали вид, что легко принимаем сложившуюся у каждого из нас ситуацию. Однако в нашем возрасте и при наших обстоятельствах двойная жизнь не могла быть легкой. Уже года через три стало очевидно тяжкое бремя, которое мы на себя взвалили. Наше сближение обращало наши жизни дома в тяжкое мучение: уж очень труден бывал переход… Этим полны мои дневниковые записи 1971–72 годов. Говорил об этом и Ю.М.: «Наказан дома страшно – одиночеством». А о тех, кто нам завидовал, сказал как-то: «Крестную муку нашу они не видят, да и вряд ли бы согласились нести ее».

В 1972 году, во время болезни Ю.М., я объявила дома, что люблю Ю.М. и что ничего изменить в отношениях с ним не могу. Мне казалось, что любое решение моего мужа облегчит наше с Юрой положение в Москве и вообще мою жизнь. Увы, этого не случилось. Муж попросил оставить все как есть, и жизнь пошла будто прежним порядком. Но легче не стало, потому что вина тайная, как я ее чувствовала перед мужем, стала явной; все остальное осталось прежним и порою даже более невыносимым, чем раньше.

Так, я считаю, закончился первый этап наших отношений: на ноте высокой любви, которую мы воспринимали как небывалый подарок судьбы, требующий, однако, немалых жертв.

7

Второй период наших отношений, как мне кажется, длился до 1985 года. Любовь наша была теперь надежным оплотом и помощью в тяжелых жизненных ситуациях, которые не могут не возникать в жизни каждого человека. Мы жили в разных городах, были связаны только нашей весьма формальной перепиской. Я писала на кафедру, он мне – на домашний адрес, обращаясь ко мне то на ты (мы же однокурсники!), то на официальное Вы[23]. Телефон, появившийся у Лотманов только в восьмидесятых годах, не облегчил нам возможности общаться, поскольку в большой семье всегда кто-то был рядом. Ю. вообще считал телефон дьявольским изобретением. Это и понятно: Ю.М. стал более доступен для тех, с кем ему подчас вовсе не хотелось разговаривать. А нам оставалось все то же: очень редкие встречи в Ленинграде, что было не очень удобно для Ю.М., и в Москве, где ему было удобнее всего, поскольку я подстраивалась под Юрино интенсивное расписание. В 1978 году мы отмечали нашу десятую годовщину (ведя счет с 1968 года), и удивлялись оба, что за все годы ни разу не поссорились, не выразили неудовольствия друг другом. Ю.М. сказал мне: «Это потому, что все трудности ты взяла на себя».

Принято говорить о романтической любви, в отличие от какой-то реальной. Но что такое реальная любовь? И почему наша – романтическая? Я бы еще могла назвать ее возвышенной, потому что просто не знала никого в жизни, кто, как мы, любил бы друг друга так нежно, преданно и ВЫСОКО.

Но когда Ю.М. помогал моей дочери Марине или буквально вытаскивал меня из пропасти во время тяжелой болезни мужа; когда я доставала для его семьи лекарства, или утешала в домашних и рабочих бедах, или возила его к зубному врачу, или просто чинила ему одежду, – разве все это «романтическая» любовь? Конечно, в моем отношении к Ю.М. всегда был элемент обожания, как и в его – ко мне. Я не стану приводить здесь наших слов и обращений друг к другу, которые нам не казались ни выспренними, ни сентиментальными. Иногда только Юра говорил мне шутя: «Ну что ты ко мне, как к памятнику Пушкину?». Так или иначе, мы нужны были друг другу, были необходимейшей опорой в жизни.

За все годы нашей любви Юра три раза приезжал в Кемери на Рижское взморье, где я проводила свой отпуск почти каждое лето. Он воевал в этих местах. В болотах под Тукумсом шли страшные бои, там засели отборные войска СС и долго не сдавались, хотя

вся почти Латвия уже была освобождена от немцев. Он рад был показать эти места мне. Остальные же наши встречи иногда длились два часа, иногда несколько минут перед отходом его поезда из Москвы. Иногда удавалось увидеться в Библиотеке имени Ленина, где он занимался почти в каждый свой приезд в Москву. Мы были абсолютно бесприютны, ибо молча, не обсуждая, взяли на себя обязательство жить и любить друг друга так, чтобы как можно меньше обижать близких нам людей, наши семьи. Иногда удавалось увидеться в Ленинграде, к которому у Юры было, как он сам выразился, «больное» отношение. Ведь родной город отверг его. Чаще он и писал и говорил о нем, как о городе, где «люди – лед, сердца – гранит»…[24] Но иногда Ленинград был для него «наш город», где был «наш» Васильевский, «наш» Летний сад; город нашей юности, где было наше прошлое, которое не забывалось.

Но и в Москве много мест, связанных для меня с Юрой навсегда: Сокольники, Гоголевский и Тверской бульвары, Александровский сад и кафе «Аромат» на Суворовском бульваре, где мы могли (пока там все не изменилось к худшему) спокойно выпить кофе и посидеть за столиком, поглядеть друг на друга; после Ленинки, где каждый второй приветствовал Ю.М. и где поговорить, постояв у каталога, чаще всего не удавалось, маленькое кафе было праздником.

Ленинка вообще была местом отчасти заколдованным. Я часто работала в третьем зале. Бывало так, что моя тоска по Юре и вечный страх, не случилось ли чего (а писем долго нет), становились невыносимы. И вот, мучительно думая о нем и не различая слов на странице, иной раз подниму глаза и вижу, что он идет по проходу между рядами столов, разыскивает меня. Причем в таких редких случаях действительно не было никаких знаков, что он может приехать. Но ожидание, стремление его видеть становилось непереносимым… и он вдруг появлялся.

Одним из любимейших наших мест в Москве был памятник Гоголю, тот, который убрали с бульвара, заменив его помпезным не-Гоголем, перенеся «настоящего» Гоголя во двор дома на Суворовском бульваре, где писатель скончался. Там мы могли посидеть рядом со старушками на одной из скамеек, стоявших вокруг постамента, поговорить или помолчать. Мы оба любили Сокольники: парк этот был недалеко от моего дома. Там было немноголюдно и Юра не должен был без конца раскланиваться со знакомыми. В одном из писем ко мне есть такие строчки: «Я так люблю летний дождь. И бежать под грозой»[25]. Он, видимо, вспоминал, как в Сокольниках нас однажды застал сильный дождь, грянул гром, я испугалась, мы бросились к выходу, и Юра

на бегу подтрунивал над моим страхом.

Разумеется, в Москве Юра был очень занят. Он приезжал чаще всего с докладами на разные научные конференции и семинары: в Институт славяноведения, в ГМИИ им. Пушкина, в Дом ученых, где мы нередко обедали, в МГУ. Ему нужно было встречаться с коллегами, с редакторами своих книг или статей, иной раз специально приезжавшими из-за границы, где выходили его работы, поскольку самого его власти долго никуда не выпускали. Иногда, хоть и редко, он приезжал специально, чтобы нам повидаться. Известно, что Москва в те годы была местом, где человеку и поесть-то негде. Я очень переживала, что не могу его покормить, а он смеялся: «Ну что ты себя чувствуешь виноватой за всю Москву?». Когда Дом ученых закрыл свой ресторан (это было уже в конце 80-х годов), мы ужинали в Доме литераторов. Чаще же всего, когда у него было хоть часа полтора времени, Юра приезжал ко мне домой. Иногда сразу по приезде вынимал рукопись из портфеля и говорил: «Прошу тебя, выправь статью. Зара в этот раз не успела считать. Не могу же я сдать рукопись в таком виде!» Юра считал, что делает ошибки, что он «безграмотен»!

Вечерами друзья и коллеги старались развлечь его: приглашали на концерты Рихтера, в театр, на выставки. Сначала было мне грустно. Каждая минута с Юрой была на счету, и жаль было отдавать это время другим, но я приняла это. Иногда удавалось вместе пойти на выставку, чаще всего в ГМИИ.

Самыми лучшими, спокойными и ничем не омраченными днями мы оба считали те дни, когда Юра приезжал ко мне в Кемери. Они остались в памяти у нас обоих как самые счастливые. После своего первого приезда туда на три дня летом 1972 года Юра прислал мне школьный томик Лермонтова, в котором красными чернилами отчеркнул в поэме «Мцыри» три строчки: «И жизнь моя без этих трех блаженных дней была б печальней и мрачней». Туда же он приезжал еще в 1976 году, и всего на два дня в 1981-м, когда тяжело заболел мой муж, и после тяжелого годового ухода за ним я смогла вырваться из дому передохнуть на неделю.

Несколько раз мы встречались в Ленинграде: зимой 1975 года, когда он принял участие в специальном заседании кафедры филфака, посвященном памяти Мордовченко; поздней весной 1978 года, во время Пушкинской конференции в Пушкинском доме. Дважды виделись на наших встречах с однокурсниками – в 1980 и 1985 годах. Об этих встречах я расскажу ниже.

Никогда мы не отравляли радость наших встреч сетованиями на бесприютность, даже если иногда удавалось только полчаса

погулять под редким осенним дождем. Это «не жаловаться», а быть счастливыми возможностью просто увидеться было нашим общим желанием и правилом. Мы, правда, могли позже вспоминать (а Ю.М., как и я, помнил всё: все места и все встречи), что в прошлый раз «было как-то грустно». Но – и только. Ни при каких обстоятельствах я не позволяла себе при прощании вслух сожалеть об его быстром отъезде, роптать на то, что мало виделись. И прощаясь до его следующего приезда – неизвестно через сколько месяцев, – мы старались быть веселыми, не омрачать отпущенного нам времени.

Не могу не говорить об этом, поскольку любовь к Юре стала главным, что определяло мою жизнь. Наши отношения воспитали мои чувства, расцветили по-новому каждый миг, сделали меня лучше и добрее к людям, научили терпению, научили любить так, как мечталось в молодости, а осуществилось только благодаря Ю.М. Думаю, что такого Лотмана никто, кроме меня, не знает. Наши отношения сделали и Юру счастливым.

В 1980 году Ю.М. говорил мне об этом так: «Когда потеряешь, а через двадцать лет обретешь, так знаешь этому цену». Я могу сказать то же и о себе.

8

Вернусь, однако, к началу наших новых отношений. Мы не виделись с Ю.М. полтора года после июля 1968 года. Но в свой день рождения Юра прислал мне статью «Руссо и русская культура XVIII века» с таким посвящением: «Сегодня мне исполнилось 46 лет – в напоминание об одном старике. Ю. Лотман. 28 февраля 1968 года».

А в августе того же года, в Саулкрасты, где он отдыхал с семьей, Ю.М. узнал о вторжении советских войск в Чехословакию. Это потрясло его: сердечные приступы следовали один за другим, настроение было тяжкое. Он два раза был в Москве, но не находил в себе сил звонить мне. В январе 1970 года в квартире Ю.М. был обыск. Он признался мне позже: ему казалось, что после обыска я испугаюсь и не захочу с ним видеться.

Появился же снова в Москве лишь в апреле 1970 года. Слухи об обыске уже долетели до меня: мой начальник Е.А. Динерштейн узнал что-то через Правдину[26] и сообщил мне. Это, естественно, привело меня в ужас. Ведь в те годы за обыском часто следовал арест, иногда с промежутками во времени, иногда уводили сразу.

Поэтому когда Ю.М. неожиданно появился у меня на работе, на Метростроевской[27], я, увидев его, не удержалась и от радости громко вскрикнула. В комнате было человека три. Узнав Ю.М., они сразу вышли. В руках у Ю.М. была палитра, которую он успел купить для Гриши[28]. Я бросилась к нему с криком «Жив!», вызвав – потом, когда мы остались одни, – неодобрительное:

«Ну что ты меня хоронишь!»[29].

А время было трудное. «Оттепель» кончилась, шло настоящее наступление на культуру, образование, искусство. Одна аспирантка как-то позже спросила у своих «друзей» из Тартуского КГБ, за что их профессора не пускают за границу, а те ей любезно объяснили, что на Лотмана накопилась такая пачка доносов, что пустить просто невозможно. Сам же Ю.М. относился к тому, что был «невыездным», спокойно, говорил, что еще и в Киеве не был… Он пробыл тогда в Москве всего два дня, а потом приехал снова только в ноябре. Нельзя забыть, что несколько лет после обыска ему часто казалось, что за ним следят. Это чувство не покидало его даже днем в ресторане гостиницы «Ленинградская», куда мы заходили пообедать перед его отъездом с Ленинградского вокзала, находившегося неподалеку. Я это чувствовала, хотя Юра, как обычно, скрывал от меня свою тревогу и, пока мы ждали заказа, чтоб развеселить меня, делал быстрые зарисовки на салфетке. Я помню, что однажды заказала креветки,

а он шутя запрещал мне их есть, поскольку они однолюбы и верны друг другу до смерти.

Юра умел смеяться и тогда, когда жизнь подавала для этого мало поводов. В 1976 году Данин на «круглом столе» в «Вопросах литературы» спросил у него: «Когда это вы успели так поседеть?» Ю.М. ему в ответ: «Начиная с августа 1968 года»[30].

Однажды я провожала Юру в ЦГАЛИ (Центральный государственный архив литературы и искусства), который теперь расположен на месте, где раньше была последняя станция перед Москвой – Черная грязь, о которой писал в «Путешествии» Радищев. Юра посмотрел вокруг и процитировал слова А. Тургенева, как-то сказанные Пушкину: «Вот начало нашего просвещения!» На что Пушкин ответил: «Да, черная грязь».

С 1970 года начались Юрины регулярные приезды в Москву и наши с ним встречи. Иногда он приезжал три-четыре раза в году, но чаще пять-семь раз. Каждый, кто видел нас вместе, не мог сомневаться в нашей любви: мы молодели на глазах знакомых, моей дочери, моих друзей. Я и сама чувствовала, что даже внешне меняюсь. Первые годы эти встречи прогоняли усталость, приносили такую радость, что мы преображались и, как бывает это с людьми безоглядно счастливыми, много смеялись и шутили. Я помню, как однажды (это было в 1974 году) Юра сказал мне: «Серьезности ты от меня не дождешься»[31].

Несмотря на очевидные отличия, в чем-то важном и главном мы были очень похожи. И понимали эту схожесть, нашу «в душе душа» (так говорил Гоголь о Языкове). Ю.М. говорил, что мы две половинки, что мы душевно очень близки. По желанию Ю.М. у нас были важные заветы, обещания друг другу. Вот они. Я моложе, поэтому должна пережить его и долго не печалиться, когда он умрет. Если разлюблю – не лгать, сказать прямо и сразу. И последнее, очень для него важное в тяжелой обстановке 70-х годов:

не жалеть его, если он все потеряет, «станет истопником» (так он выражал это).

В трудных жизненных ситуациях Юра всегда мне советовал: «Если худо, думай о нас».

Он приезжал в Москву измученный работой, а больше всего обстановкой в университете, общей удушающей атмосферой. В Москве же отдыхал душой, говорил, что словно живой воды напился. Шутил, что может потерять галстук в бумагах Б.А. Успенского[32], но забыть, перепутать, где и когда мы должны увидеться, не может никогда. Жизнь однажды опровергла это его утверждение, но об этом – дальше.

9

Первые годы Юра не разрешал мне приходить на свои выступления: волновался при мне. Только начиная с 1973 года (через пять лет!) я стала регулярно посещать все собрания, где он был. Впервые Ю.М. пригласил меня на свой доклад в Институт славяноведения. Никто меня там не знал, а Ю.М. всегда разговаривал с десятками лиц, но когда он после своего доклада через весь зал подбежал ко мне с вопросом: «Я не провалился перед тобой?» – мне казалось, что все обращают на меня внимание, и было очень не по себе. Запомнилось мне это первое мое посещение Института славяноведения смешным казусом, странно объединившим меня с Е.Б. Пастернаком (сыном поэта): во время лекции у нас обоих украли с вешалки меховые шапки. Воистину, от великого до смешного (хотя в морозы без теплой шапки отнюдь не весело) – один шаг.

В этом же институте я впервые слышала Л.Н. Гумилева[33]. Я его совершенно не знала, но ревнивый и недобрый характер его сразу почувствовала. Доклад Гумилева был поставлен после перерыва, последним. А доклад Ю.М. ему предшествовал. Поразило откровенно недружественное выражение лица Гумилева, когда он увидел, что после доклада Ю.М. половина собравшихся покинула зал. Обычное дело: приходили на Лотмана, и Гумилев ревновал к нему аудиторию.

Добрые деловые отношения в те годы сложились у Ю.М. с заместителем директора по научной работе ГМИИ им. Пушкина Е. Даниловой. В музее регулярно проводились Випперовские чтения, уровень которых всегда был высок. Ю.М. был там желанным гостем. Кто только не выступал в небольшом, битком набитым зале музея! Слушатели приходили самые разные: знакомые, знакомые знакомых, студенты Успенского. Сидели молодые часто на полу, у стен, стояли в проходе. (Это было делом обычным: помню, как в Доме ученых доклады Ю.М. транслировали по радио, так как люди не помещались в небольшом зале и сидели в гостиных.) В ГМИИ выступали Толстые[34], Мелетинский[35], Успенский, Живов[36]. Ю.М. докладывал о лубке, о театральном пространстве, о мире вещей. Ни одного неудачного выступления там не было, хотя часто незадолго до начала, у меня дома Юра говорил мне, что ничего не знает, не помнит, не готов, провалится, что вообще не может… Кто знал такого Лотмана? Я, конечно, ободряла, говорила, что просто устал, а пока доедем, он все вспомнит. Он выпивал у меня чашку горячего чая (никогда ничего не ел перед выступлением),

умывал лицо холодной водой, и мы ехали на Моховую.

Улыбающееся лицо, спокойный голос, доброжелательное отношение к присутствующим, внимание к каждому, кто говорил с ним перед началом, – ничто не выдавало волнения, которое он испытывал за час до выступления. Надо ли говорить, что читал лекции Ю.М. без бумажек? Однажды попросил меня найти какой-нибудь листок бумаги, чтобы положить на кафедру: мол, неудобно совсем без ничего.

Разумеется, я всегда осознавала нашу разность, иногда опасалась, что мой невысокий уровень его тревожит, мешает ему.

Говорила, что не понимаю семиотику. А Юра смеялся в ответ: «Да и не надо ее вовсе понимать, семиотику! Ты, главное, меня понимай и люби!». Как-то рассказал мне притчу о человеке, который женился на Большой Энциклопедии: сначала он «любил» первый том, затем второй…

Как мгновенно мог он меня развеселить, и как хорошо нам было вместе смеяться! Как преображалась при нем жизнь! Нас роднили общее видение мира, одинаковое отношение к людям, одинаковая шкала ценностей. Были мы схожи и в мелочах: наши вкусы в одежде, в пище совпадали. Как и я, Юра остро воспринимал запахи. «Есть люди, для которых запахи безразличны. Мы люди запахов», – говорил он.

Оба мы любили сумерки: можно сидеть долго, молча, не зажигая света. Нам нравился ночной город и мокрый от летнего дождя асфальт. Эта общность вкусов и моя естественная, безо всяких усилий, настроенность на его волну позволяли Ю. считать, что у меня ангельский характер (что, разумеется, неправда). От Юры я услышала все, что хотела бы услышать от любимого каждая женщина. Высшей для меня его похвалой было «мне с тобой хорошо думается». Приведу некоторые суждения его о нас буквально, как они записаны в моем дневнике:

«Мне так часто тебя не хватает. Я пишу тебе длинные-длинные письма, но записать их на бумаге не умею».

«Словами не выразить, что между нами. И не пытайся».

«Какое счастье, что встретились, ведь был один шанс против тысячи»[37].

10

Чаще всего я знала дату приезда Ю.М. в Москву. Но иногда он не мог мне ее сообщить, потому что и сам не знал, когда вырвется, или надеялся, но не мог приехать. Я же, если известно было в пределах нескольких дней, старалась оказаться на вокзале, чтобы встретить таллинский пассажирский поезд № 75. Он был прямым и шел через Тарту. Помню красный электровоз, который присоединяли где-то по дороге к составу весьма не новых вагонов. Поезд медленно появлялся из-за поворота, а я, никогда не знавшая наверняка, приедет ли Юра, стояла у самого входа на перрон и ждала, молясь про себя… Увы, сколько раз бывало, что я уходила с вокзала одна! Вот уже вся толпа схлынула, вышли и последние пассажиры, а Юры нет!

Но и не идти на вокзал тоже не могла. Знала: надеется, что встречу, хотя и не сумел сообщить заранее о дне приезда[38].

Если меня не оказывалось на перроне, то он прямо на вокзале звонил мне на работу. Были у вокзала, как он говорил, «счастливые» автоматы, те, что помогали меня найти, и были «несчастливые» – те, по которым не дозванивалось. С вокзала Ю.М. прямо с чемоданом летел в Ленинку, где я чаще всего работала. Говорю «летел», потому что Юре были свойственны быстрота, легкость, точность движений.

Я отчетливо помню, как много лет подряд (пока были еще физические силы) он первым из всех пассажиров соскакивал с подножки на перрон и быстрым шагом, почти бегом, приближался ко мне. Мы оба хватались за его чемодан (Ю.М. всегда сопротивлялся, но с годами все меньше) и бежали к выходу. Жила я довольно близко от Ленинградского вокзала, минут двадцать ходьбы, на Красносельской улице, таксисты туда не везли – им было невыгодно. Когда здоровье стало сдавать, и чемодан, вечно набитый книгами, было тащить не под силу, мы старались оставить его в камере хранения. Потом кто-нибудь из молодых коллег, чаще всего, кажется, Витя Живов[39], его забирал.

Когда возможно было, мы приходили ко мне домой – единственное место, где Ю.М. мог прийти в себя: умыться (природная брезгливость мешала ему привести себя в порядок в грязном и тесном туалете поезда), попить чаю, полежать отдохнуть и просто отдышаться. Иной раз усталость его доходила до такой степени, что он говорить не мог, извинялся, ложился на кушетку и, пока я грела чай, тут же засыпал. Не могу вспомнить такого времени, когда, приехав, Ю.М. не жаловался бы на усталость. Жалобы его могли быть шутливы по форме, но они

были постоянны. Привожу его слова буквально, цитируя за разные годы. Когда собрано это вместе, видишь, в каких условиях Ю.М. работал и какого постоянного мужества требовала от него жизнь, та ноша, что он нес. Декабрь 1971 года: «Знаешь, я уже почти устал жить. А ведь люди умирают от того, что устают жить».

1975 год: «Нельзя же работать, когда не бывает подряд трех часов покоя».

1976 год: «Первый раз закрылся в кабинете и плакал от усталости, необходимости притворяться».

1979 год: «Не проснуться бы…»

1980 год: «Ни один человек на свете не может понять, как я устал».

1982 год: «Лежу изжеванный и иссосанный, как рыба, выброшенная на песок, и хлопаю жабрами».

1985 год: «Еще одна игла на спину – и упал бы замертво».

Вспоминая все это, я с горечью спрашиваю себя и сейчас: как же он тянул и как выдерживал такую нагрузку десятилетиями?

Разумеется, хотелось сделать любую малость, чтобы помочь ему. Работая во Всесоюзной книжной палате, я была косвенно связана с Комитетом по печати, который решал все вопросы книгопечатания, сотрудничала с Большой Советской энциклопедией. От Комитета по печати зависели все советские издательства: Комитет мог «зарезать» любую книгу. Когда Ю.М. стал выпускать свои знаменитые «Семиотики», у него появилось много талантливых авторов, статьи которых он рад бы был напечатать. Одним из способов цензуры было ограничение объема бумаги. Делали это якобы эстонские власти. Конечно, стоило бы московскому комитету приказать – бумага нашлась бы. Я много раз пыталась добиться от чиновников увеличения объема выпуска Тартуских семиотик[40]. Удавалось это редко, по-моему, всего дважды.

11

По приезде Ю.М. чаще всего у нас было часа два свободных, до того, как он включался в плотное расписание московских дел. После этих двух часов Ю.М. «материализовался», как не без яда говорил Б. Успенский (этот термин тогда был очень в ходу: мы смотрели «Солярис» А. Тарковского, где слово часто повторялось). Дом Б.А. Успенского до 1987 – 88 годов был не только пристанищем Ю.М. в шумной, хаотичной Москве, но и его штабквартирой. Все, кому Ю.М. был нужен, звонили туда.

При жизни первой жены Б.А. Успенского Гали летом вся его семья жила на даче в Храброве под Москвой. Ю.М. и туда наезжал. Там двоим ученым работалось лучше всего. Со смертью Гали храбровская дача больше не посещалась. Дом Успенского, наконец, был местом, где Ю.М. все любили и где он всех любил. И конечно, Юра принимал самое горячее, сердечное участие в жизни семьи Б.А. Когда в школе у Вани и Феди (детей Б.А.) возникали сложности, Ю.М. в качестве «родственника» Гали ходил разговаривать с учительницей: у Б.А., человека легко ранимого, на это, как говорил Ю.М., не было сил. Описывая одно из своих посещений, Ю.М. сказал: «Учительница оказалась из породы тех учителей, которые могут дать хороший урок, но… в пустом классе».

Ю.М. представил меня Успенскому на каком-то совещании в 1977 году. Но по-настоящему я познакомилась с ним через год, когда в Институте им. Бурденко после неудачной операции на мозге умирала Галя. Понадобилось для нее какое-то лекарство, которое мне удалось достать, и я передала его Б.А.[41] Бедная Галя скончалась, кажется, в сорок с небольшим лет.

Со слов Юры знаю, как тяжело переживал смерть первой жены Б.А. Он часто плакал, каждую неделю вместе с сыновьями посещал ее могилу и церковь, кабинет был уставлен ее фотографиями. И это продолжалось долго, даже после его второй женитьбы. Было очень непросто в доме.

Пишу об этом потому, что хочу еще раз сказать, как близко к сердцу принимал Ю.М. все, что происходило в семье его друга. После похорон Гали он сразу забрал Б.А. с детьми к себе, но и позже приглашал его к себе на дачу уже с Таней, второй женой. Сам уходил спать на сеновал, чтоб их не беспокоить.

Я в те годы могла писать Ю.М. письма только на адрес Университета. Телефон у Лотманов появился лишь в 1983 году, и, когда известий долго не было, я, как всегда волнуясь за Ю.М., изредка позволяла себе позвонить Успенскому. Он отвечал

холодно, говорить мне с ним было тяжело. Вообще, в его присутствии я чувствовала себя не очень свободно.

Он был принципиален и прям, в частности, в оценке работ Ю.М. Известно было, что некоторые из них Борис Андреевич просто не любил. Ю.М. относился к этому спокойно, но, разумеется, и доверял ему, и считался с его мнением. В начале 70-х годов они много и плодотворно работали вместе. В 1972 году написали вместе известную статью «Миф, имя, культура». Именно в это время Ю.М. считал, как и много раз позже, что он на пороге нового этапа культурологических исследований, и сожалел, что в каталогах больших библиотек нет специальной рубрики «Культура». Говорил, что ему нужно пять лет, чтобы написать хорошую книгу о культуре. Критиков своих он не боялся, но в них никогда не было недостатка, так что он добавлял в своей всегдашней манере: «Это только леса, а они, дураки, думают, что это готовое здание. Им, дуракам, неудобно стоять (леса же!)».

Вместе с Б.А. они навестили в 1973 году больного и одинокого М. Бахтина. Их удручила обстановка, в которой старенький «благостный» (по словам Ю.М.) Бахтин заканчивал свою жизнь: из кухни раздавался звук репродуктора, и командовала там какая-то толстая женщина, домработница; висело объявление «Профессор Бахтин принимает…».

Много раз, не только после этого визита, Ю.М. говорил мне, что они с Борисом «нежно любят друг друга». Когда участились толки об отъездах на Запад (казалось, что одна часть московской интеллигенции сидит на чемоданах, а другая решает, подавать ли заявление на отъезд), Ю.М. повторял, что если бы уехал Успенский, это бы его «осиротило совершенно».

Сколько было волнений, когда Б.А. оставил лабораторию прикладной лингвистики и перешел на кафедру русского языка МГУ! Он волновался перед каждой лекцией; например, однажды отказался за столом выпить спиртного, потому что назавтра утром должен был читать в университете студентам. «Не у всех такая дубленая кожа, как у меня», – с нежностью говорил о Б.А. Юра, всегда готовый к снисходительности, пониманию и защите друга.

Я вспоминаю блестящий доклад Б.А. на Виноградовских чтениях в МГУ в январе 1979 года. Я видела, как он волнуется. Его трудно было слушать из-за некоторого не то заикания, не то понижения голоса и замедления речи. Но его доклад (а он читал об этом и студентам на своем спецкурсе, несколько лекций из которого я ходила слушать) о диглоссии в XVIII веке Ю.М. оценил как открытие, опровергающее теорию Шахматова. Вообще я много раз слышала от Юры о талантливости Б.А., о том, сколь многое он

может еще совершить. Судя по тому, что Б. Успенский издал собрание своих работ, кажется, в пяти томах, прогнозы Ю.М. не оказались ошибочными.

На тех же Виноградовских чтениях Ю.М. с блеском прочитал доклад о речевой структуре «Евгения Онегина». И это было поразительно: он появился в зале прямо с поезда, а несколькими днями раньше у него был сердечный приступ («поговорил с ректором»). Ректор А.В. Кооп сменил прогрессивного Федора Клемента, которого «ушли с должности». А.В. Кооп всячески препятствовал начинаниям Ю.М. Лотмана, и я очень за Юру волновалась.

В январе 1979 года сдавали том «Писем русского путешественника» Карамзина в «Памятниках»[42]. Ю.М. болел, и пришлось делать это Успенскому. Однако Ю.М. очень опасался его резкости и непримиримости с редакторами. И действительно, книгу чуть не «зарезали». Потом все равно биться за нее пришлось Ю.М. В конце концов, книгу передали в Ленинградское отделение «Науки», где она и вышла опять же с великими трудностями.

Когда план организации семиотической лаборатории в Тарту созрел, обсуждался возможный переезд туда Успенского, который должен был эту лабораторию возглавить. Планы не осуществились, лабораторию открыть не удалось, но само намерение показательно.

Последний раз, уже после смерти Зары Григорьевны Минц, в 1992 году, проездом в Прагу, Ю.М. читал в Москве доклад о своих новых идеях. (Он сообщил мне об этом в письме, не говоря конкретно, о чем именно идет речь.) Собрались все, кто его знал и любил. Был там и Успенский. И Ю.М. написал мне в Канаду, что его доклад Борису понравился.

Я говорила в последний раз с Б.А. после того, как он в 1989 году вернулся из Мюнхена. Это было незадолго до моего переезда в Канаду. Он сообщил мне, что видел Ю.М. после операции и что тот выглядит гораздо лучше, чем в последние два года, до нее. Он даже как-то утешал меня.

Портрет Б.А., написанный Гришей («средний», как оценил его Ю.М.), стоял в кабинете Ю.М. вместе с фотографиями Зары, внучек и Б.Ф. Егорова.

Бориса Федоровича я в первый раз встретила на 25-й Пушкинской конференции в июне 1978 года в Пушкинском доме. Это было мимолетное свидание, как всегда сопровождающееся для меня тяжело скрываемым смущением, когда рядом оказывались друзья Ю.М., тесно связанные с его семьей. Во второй раз я видела Б.Ф. 30 мая 1980 года в музее-квартире

Пушкина на Мойке. Он вел собрание и встречу с Ю.М., который прочел тогда доклад «Структура авторского повествования в романе “Евгений Онегин”». Б.Ф. с юмором оповестил всех, что у них с Ю.М. тоже юбилей: они отмечают тридцатилетие своей дружбы. И добавил, что за это долгое время разные звери перебегали им дорогу, но черная кошка – никогда. Еще раз мы с Ю.М. встретили Бориса Федоровича в Доме литераторов в Москве, кажется, году в 1987-м. Ю.М. чувствовал себя очень больным. Незадолго до этого у него была первая «почечная колика». Так он диагностировал тогда причину боли. Думаю, что это и было началом его смертельной болезни. Он сильно перемогался, все время мерз. Настроение у нас тоже было не из лучших. Я этой встречи почти не помню. Но хорошо запомнился один знаменательный разговор с Ю.М., состоявшийся значительно ранее, в 1972 году. Он сказал мне, что самые близкие друзья его – Б.Ф. Егоров и Б.А. Успенский, и неожиданно добавил: ему показалось, что дружба с Егоровым кончается и что он написал ему письмо, которое далось очень трудно…

Дружбы их это, однако, не ослабило. После смерти Ю.М. мы с Борисом Федоровичем переписывались, и он прислал мне копию прощального письма, которое написал ему Ю.М. за полгода до своей кончины. Там есть такие слова: «Если бы я начал писать Вам все то сердечное, что я хотел бы Вам сказать уходя, бумаги не хватило было. Если имеет смысл слово дружба в самом высоком и подлинном его значении, то это им можно назвать то, что меня привязывает к Вам (я боюсь писать “любовь”, хотя это было бы более точно, но в наших отношениях всегда была сдержанность выражений, основанная на доверии и со-чувствии (т. е. единстве чувств, т. е. сдержанности выражений). <…> Обнимаю Вас и за все благодарю. Соне сердечные мои поцелуи. Храни вас господь! Ваш Ю. Лотман. Тарту 19.2.93».

12

Об удивительном отношении Ю.М. к людям написано много. Он всегда готов был о людях думать только хорошее. «Милая», «славная» – постоянные эпитеты в его устах по отношению к женщине. В нем жила старомодная галантность, я сказала бы рыцарственность, в сочетании с аристократической простотой манер. Он был как-то естественно легок в поведении, заранее благорасположен к людям. Старался не обременять других своими трудностями или тяжелым настроением, свойственным любому человеку. В этом не было ни позы, ни просчитанной тактики поведения, это была суть его характера, проявлявшаяся при любых, даже самых тяжелых обстоятельствах.

Ю.М. не мог долго сердиться и на тех, кто его не любил. Заметив как-то, что у него есть враги в ректорате, тут же добавил, что «не по личным мотивам». Но завистников у него, конечно, было множество. Завидовали блеску его ума, многогранной эрудиции, талантливости; завидовали его бесстрашию, внутренней свободе, которая сразу в нем чувствовалась, завидовали огромному его обаянию. Не могли не завидовать! Достаточно вспомнить эскапады в его адрес Скатова[43] и Билинкиса[44]. Они поносили Ю.М. с университетских кафедр, но Ю.М. никогда не унижался до ответа им. Однажды, после того как Билинкис провозгласил Лотмана творцом масс-культуры и сравнил его с эстрадной певицей Аллой Пугачевой[45], я, по наивности, решила написать ему письмо. Рассказала о своем намерении Юре; долго не мог он унять смеха. Отсмеявшись, сказал мне, что «критика» подобного рода его задеть не может. Конечно, говорил он, я всем мешаю. «Был бы я известным мерзляковедом[46], всем было бы спокойнее».

Он гордо шел своим путем, не унижаясь до полемики со злопыхателями. Я, тем не менее, тяжело переживала нападки на Юру. Зная это, он меня иной раз предупреждал, что вот может появиться такая-то статья, чтоб я не очень волновалась. Говорил, что ярые его критики ничего в его работах не понимают, однако ставят везде свои подписи, но потомки, мол, разберутся. Когда некоторые футурологи предсказывали гибель человечества через три поколения, Ю.М. шутя замечал: «Ну вот, а я надеялся, что через три поколения меня как раз начнут понимать».

Удивительная доброта и душевная отзывчивость не означали мягкотелости или нерешительности. Ю.М. был человеком твердого характера, и то, насколько крепко убеждения его были спаяны со словами и действиями, всегда в нем чувствовалось. Он

не знал лицеприятия, а трудности и опасности встречал с открытым забралом. Если нужно ему было высказать точку зрения, противоположную общепринятой, он не боялся этого делать.

При этом скромность его была поразительна. Многих своих коллег он искренно считал образованнее, эрудированнее себя. Объектом его доброй зависти, а лучше сказать восхищения, был В.Н. Топоров[47]. Юра восхищался способностью В.Н. в мельчайших деталях воссоздавать облик Москвы и Петербурга XVIII века. Во время их совместных прогулок Топоров так мог описать каждую улицу и каждое здание, как если бы сам жил в то время. Завидовал Ю.М. и владению Топорова многими языками.

Ю.М. вообще уверял меня, что языков ему не хватает[48], что он невежда: берется писать о культуре, а европейскую культуру знает плохо.

Еще одна черточка характера Ю.М.: в людях его безоглядно восхищало мужество. Вот Ю. Лекомцев[49] – без ноги, из-за диабета в отчаянном положении уже и вторая нога, а он веселый, рисует в больнице! То же чувство Ю.М. испытывал к В.И. Беззубову. Когда сообщил мне о его безвременной кончине, снова написал, что человек он был смелый: личную смелость Ю.М. ставил выше научных достижений.

А вот еще один случай. Пока заниматься структурализмом было модно, Чудаковы семейно дружили с Лотманами, но когда семиотика оказалась опальной наукой и запахло жареным, Саша Чудаков[50] моментально отошел в сторону. Мариэтта Чудакова[51] – всегда остававшаяся близким другом Лотманов – стала защищать мужа, прося Ю.М. не думать о Саше плохо. Ю.М. выслушал ее объяснения и сказал, что «разумеется, не думает о нем плохо, потому что обязан теперь не думать плохо». Подоплека была та, что Саша, работавший в Институте мировой литературы в Москве, стал официозным и думать о нем плохо было бы небезопасно. Сказано это было, конечно, с большой иронией.

Ю.М. терпеливо возился со студентами и аспирантами, отдавая им время, силы, знания. Будучи человеком в принципе толерантным, он прощал им многие грехи. Но зазнаек и невежд не выносил. 1978-м годом датирую его рассказ об одном студенте-философе из Киева. Тот в письме спрашивал у Лотмана, кто такой Якобсон[52], кто такая Фрейденберг[53] (студент только что купил сборник ее статей) и что происходило в Ленинградском университете в 50-е годы. Он якобы ничего этого не знает, потому что сам-де родился только в 50-е годы. По неписаным правилам научного этикета того времени любому студенту, претендующему

на научную серьезность, задавать вопросы, обличающие невежественность, весьма не к лицу – сперва надо образовать себя.

Ю.М. собирался ответить незадачливому «незнайке», что поскольку Наполеон родился в XVIII веке, то, вероятно, студентфилософ о Наполеоне тоже никогда не слышал. А мне заметил: «Такому наши сборники просто вредны».

Вообще же Ю.М. считал своим долгом отвечать на все письма, а если при его фантастической занятости (за свою жизнь он написал более 800 работ, а лекций и семинаров бывало по 22 часа в неделю) ему это не всегда удавалось, он себя укорял[54]. Однажды долго не отвечал на письмо одного молодого человека, а когда наконец ответил, то получил сообщение, что адресат умер. Ю.М. повесил известие о смерти как «memento mori» в своем кабинете себе в назидание. Есть воспоминания сестер Ю.М. о том, как любили, как уважали его фронтовые друзья. Добавлю к этому то, что сама наблюдала: его трепетное отношение к оставшимся в живых после войны фронтовикам, хоть и были они совсем простыми людьми. Юра очень дорожил дружбой с двумя фронтовыми своими товарищами. Об одном из них (имени его я, к сожалению, не запомнила) доносились слухи, что он пьет, опустился и т. д. А тот вдруг совершенно неожиданно, как снег на голову, свалился вместе с женой к Юре в Тарту, и оказалось, что ничего подобного с ним и не происходило, что контакт его с Юрой полностью сохранился. Другой, теперь уже тоже покойный, Николай, жил на Украине в Кировоградской области, в деревне Верблюжка. Они с Юрой все годы тепло переписывались. Но Юра, не желая огорчать друга, простого колхозника, тем, что он уже профессор и прочее, не сообщал ему об этом. А тот узнал и написал Юре гневное письмо, обвиняя профессора в зазнайстве. Юра жаловался мне, что нет спокойного времени сесть и написать Коле письмо, объяснив свои побуждения. И вот в 1979 году Юра специально решил поехать в Верблюжку повидать Колю и его семью. Оказалось, что тот, простой колхозник, живет трудно и даже в Кировограде, что в двух часах от деревни, не бывает. Городские проблемы ему чужды, но есть любимые книги, есть своя жизнь. Коля остался хорошим человеком. Все недоумения быстро разрешились.

Юра рассказывал, как тяжело добирался в ночь до деревни, но зато как тепло его там принимали. Зажарили курицу на обратный путь, дали шматок сала. Даже и мне привез Юра оттуда то, что я попросила на память о бывшей своей родине: початок молодой кукурузы. Юра воевал на Украине, хорошо понимал ее язык, привез как-то В. Бахтину народную казачью песню. Я даже

думаю, что Юрино «было́» с ударением на последнем слоге – оттуда, с войны. Он любил украинские песни, которые я иногда ему напевала, знал множество поговорок на украинском и пользовался ими не только в разговорах, но и в письмах.

13

В биографии Пушкина Ю.М. писал, что Пушкин был талантлив в дружбе. В полной мере это было свойственно и самому автору биографии. Недаром Юру так любили друзья Марк Качурин[55], Левушка Дмитриев[56], Женя Маймин[57], студенты, аспиранты, коллеги. Он был центром притяжения для сотен самых разных людей. Об этом теперь написано немало. Я же вспомню только два эпизода.

В 1975 году Володя Бахтин взял на себя организацию встречи выпускников филфака нашего, 1950-го года выпуска в доме писателей в Ленинграде. Юра, хотя и очень хотел, но приехать на встречу не смог. Было шумно, весело и молодо. Валя Базанова решила вернуть мне Евангелие, когда-то подаренное мне Юрой (о чем я, к сожалению, и не помнила в студенческие годы!). То есть, видимо, слух о нас с Юрой в то время уже прошел в Питере. Как ни странно, это Ю.М. не смущало, мне даже кажется, что он все делал, чтобы не скрывать этого. Иначе как объяснить тот факт, что пять лет спустя, в 1980 году, на следующей встрече выпускников филфака он уже вовсе не отходил от меня? Тогда же я спросила Дмитриева, как же Юру не выбрали в академики. А он: «Если бы выбрали Юру, всех, включая и меня, надо было бы разогнать».

Человек щедрой, сострадательной души, Ю.М. остро чувствовал чужую беду, неприкаянность, одиночество. И… безотлагательно действовал. Примеров этому – множество.

Так, будучи в Москве, он считал своим долгом навестить состарившегося историка Зайончковского. Несмотря на хронический цейтнот, Юра просидел с ним шесть часов. И с болью рассказывал мне потом, как жаль его, одинокого, оставленного дочерью, а еще так недавно любимого женщинами… Когда в апреле 1982 года отмечали 70-летие нашего профессора Макогоненко[58], Юра счел необходимым приехать специально, потому что того отстранили от кафедры и он нуждался в утешении. Юра также специально приезжал в Москву выручать книгу Б. Успенского, которую обвиняли в клерикализме и антипатриотизме, о чем какой-то клеветник писал в «инстанции».

Я иногда расспрашивала Ю.М. о коллегах, об их вкладе в науку.

Юра, который в принципе не любил судить людей, к научным достижениям коллег относился беспристрастно. Говорил так: «Если труды Веселовского[59] оценить на “пять”, то тогда

Мейлах[60] – это “три с минусом”, а М. Алексеев[61] – милый, европейски образованный человек, все так, но ведь он не ученый…» Радовался за Мелетинского и Неклюдова[62], когда те получили международную премию за исследования в области фольклора. Особенно выделял и М.Л. Гаспарова[63], восхищаясь его талантом. Не отрицал и талантливости Б. Гаспарова[64]. Будучи в принципе доброжелателен в оценках, Ю.М. не всегда и не все принимал в работах коллег. Вообще считал, что разность подходов и мнений необходима для науки. Например, он оспаривал некоторые работы Д.С. Лихачева[65], что не мешало его глубокому дружескому расположению к выдающемуся ученому.

Как-то сказал, что если Дмитрий Сергеевич мог прийти на доклад со сломанным ребром[66] в семьдесят лет, то все остальное уходит в тень.

Также с большим уважением говорил о П.Г. Богатыреве, замечательном филологе-фольклористе, переводчике «Похождений бравого солдата Швейка» Гашека. Богатырев (несмотря на репрессии пятидесятых годов) остался оптимистом, любил жизнь, работал до последнего. Был участником всех летних школ в Кяэрику, и (мелкая, но запомнившаяся по Юриным рассказам деталь), не гнушаясь походными условиями спортивной базы Тартуского университета, где проводили летние школы по вторичным моделирующим системам, лазал под потолок на двойную койку-кровать, уверяя всех, что прекрасно устроен.

Ю.М. очень переживал смерть П.Г. Богатырева, летом 1971 года был на его похоронах в Москве, на обеих панихидах, гражданской и церковной. К изумлению Ю.М., В. Шкловский[67], который уже давно отрекся от своих молодых идей, громовым голосом известил на панихиде, что выступает от ОПОЯЗа. Ю. очень устал, было ему тяжело, сразу после похорон позвонил мне, и мы встретились. Вспоминал, что минувшей зимой умер В.М. Жирмунский[68]. «Уходят последние», – с горечью говорил он. Когда его слегка отпустило, стал рассказывать о Пушкине, который мог сохранять бодрость духа даже в тяжелые, несчастливые времена. А вот у Лермонтова все наоборот: «Ему было плохо даже тогда, когда он ел мороженое», – сказал Юра.

Я говорила уже, что Ю.М. был человеком решительных поступков. Мне кажется, рефлексия вообще не была ему свойственна. Проявлялось это в крупных, серьезных жизненных ситуациях, но также и в мелочах. Вот одна из историй, мне рассказанная и, как мне кажется, точно его характеризующая. Еще в 50-е годы в Тарту был куплен довольно дорогой по тем временам проигрыватель. Что-то в нем не работало, и Ю.М.

несколько раз вынужден был отсылать его из магазина в мастерскую и обратно. В конце концов ему это надоело, он пришел в магазин, продавший негодную вещь, со всего маху бросил проигрыватель на прилавок так, что все винтики полетели, и ушел. Продавец магазина потом десять лет почтительно здоровался с ним, встречая на улице.

Робость тоже была Юре свойственна, но он скрывал ее. Борясь с нею, преодолевая ее, он воспитывал себя с самого детства. В детстве боялся змей («все приматы ненавидят змей, так что я не исключение…»). Чтобы преодолеть в себе этот страх, специально пошел в кружок юннатов и там возился со змеями.

По его словам, на фронте до 1943 года он вел себя неразумно, бросаясь в самое пекло. Побудительные причины те же – преодоление страха. Только после поумнел и стал осмотрительнее.

14

Ю.М. привязался к моей дочери Марине, как к родной, и повторял это часто. Когда было худо у нее в семье, он, считая, что работа стимулирует интерес к жизни и помогает бороться с невзгодами, в 1978 году предложил Марине тему диссертации, над которой ей было бы интересно работать. Он относился к этому очень серьезно: посылал ей нужные статьи, рекомендовал источники, сидел иногда по три часа, читая то, что она уже написала. Уверял меня, что она делает интересные наблюдения, что у нее есть способности. Однажды прислал ей оттиск статьи некоего Юсупова с Урала, у которого был оппонентом на защите диссертации, сам просил у него разрешения для Марины ознакомиться с его работой. Марина работала с большим увлечением и всегда вспоминает это время как счастливейшее в своей жизни.

Марина сердечно полюбила Ю.М. Посещала его доклады и очень любила даже короткие встречи с ним. Каждый его приезд в Москву был для нее праздником. В честь Ю.М. она назвала своего младшего сына Юрой[69].

Ю.М. часто и с благодарностью вспоминал, как Марина на один день приехала в Тарту, чтобы передать ему от меня «бесцензурное» письмо и лекарства. В 1972 году Ю.М. заболел инфекционной желтухой, и я была лишена возможности переписки, а главное, ничего не могла узнать о его состоянии. Привезенному письму Ю.М. так обрадовался, что писал мне, как «светилась тумбочка»[70], в которой оно лежало. Неожиданное появление Марины в больнице он запомнил навсегда. Сначала он Марину не узнал. Смущаясь, она сказала: «Я от мамы». Но болезненный вид Ю.М. настолько поразил ее, что она еле сдерживала слезы, а встать и уйти не могла. Рассказывала о своей учебе, о том, что ее грозят исключить из института за ошибки в немецких падежах – преподаватель требовала безукоризненного знания грамматики в первые же месяцы изучения нового языка. Ю.М. советовал ей учить немецкие стихи наизусть. Тревожился о том, что она будет делать одна в Тарту до отхода поезда обратно в Москву.

Марина еще раз побывала в Тарту летом 1979 года в трудное для Ю.М. время. Он говорил мне, что буквально умирал в то лето. Тяжелое состояние продолжалось весь июнь после сильного творческого подъема в мае, когда он одним махом написал четыре статьи. Приходя домой из университета, Ю.М. валился и спал, не мог никому, даже сестрам, отвечать на письма. Были

перебои в работе сердца, и ему казалось, что дни его сочтены. Именно в таком состоянии Ю.М. начал принимать государственные экзамены. Марина была в Тарту проездом из Литвы. Купив букет пионов, она подошла к аудитории, где шли экзамены.

По ее словам, такой тяжелой мрачности она никогда до этого не замечала в Юрии Михайловиче, он был пугающе угнетен[71]. Но, увидев ее, он преобразился, заулыбался, повел в буфет, а потом пригласил домой и беседовал с ней у себя в кабинете. Она поразилась тому, как «не по-профессорски» выглядит его рабочий стол. Стола-то, собственно, и не было. Вместо него – низкий журнальный столик, на нем пишущая машинка, стеллажи книг по стенам и в углу узкая койка, покрытая полосатым пледом. Потом Ю.М. показывал ей Тарту.

Марина и в этот раз спасла меня от неизвестности и тревоги, потому что три месяца не было от Ю.М. ни одного письма. Он сказал мне, что после приезда Марины он начал выздоравливать и приходить в себя. Когда позже Марина переводила для своих студентов литературу по психолингвистике и составляла для них словарь психологических терминов, Ю.М. предложил прочитать для них лекцию[72]. Дважды Ю.М. был у Марины дома. В первый раз, когда еще не разладилась окончательно ее семейная жизнь, он рассказывал про внучек (как всегда, владел разговором он), но развеселить или разговорить моего бывшего зятя даже он не смог, хотя очень старался. И после визита, в который Марина вложила немало сил и любви, – сказал мне, что у Андрея, мужа Марины, невыносимый характер.

В 1985 году, когда Марина осталась одна с двумя детьми и душевное ее состояние было тяжелым, Ю.М. сам предложил мне навестить ее дома. Мы сидели и пили чай по-домашнему, но Ю.М., со свойственной ему проницательностью, многое подметил в поведении и характере детей. Маленький Юра, которому было тогда пять лет, с детской непосредственностью вскарабкался к Ю.М. на колени и спросил, не согласится ли тот быть его папой. Это больно поразило Ю.М., и на обратном пути в такси он все сокрушался. Вернувшись в Тарту, написал Марине, как он выразился, «ненаучное» письмо. В нем он не только делился с ней своими наблюдениями, но и предлагал некую стратегию поведения, направленную на восстановление душевного равновесия ее и сыновей. «Рану детей надо лечить, – писал он. – Это задача, перед которой должны отступить все личные переживания. Как лечить? Знаю, что скажу трудную, почти невозможную вещь: надо успокоиться самой. И не внешне. Притворное спокойствие не поможет. Дети (особенно

импульсивный Юра), как собаки, ловят не слова, а флюиды и токи. Обмануть их нельзя. Юра внутренне чудовищно напряжен. Только тихая, спокойная атмосфера дома может его постепенно разрядить. Иначе детские неврозы могут дать потом тяжелейшие последствия и для характера, и для здоровья. Вам надо пересилить себя. Не бередить себе душу старыми переживаниями и воспоминаниями, а решительно перевернуть страницу». Кончалось письмо словами: «Пишу волнуясь»[73].

Тогда же, еще в Москве, он предложил ей новую научную тему, которая могла бы ее заинтересовать: «Женская культура в Англии». Посоветовал рассмотреть Мэри Шелли и женские романы ужасов. Полагал, что можно провести эту линию вплоть до поздней традиции фантастов. Заметил, что ни в России, ни во Франции такой линии не существовало.

Когда Марина получила визу на выезд из СССР, Ю.М. специально приехал раньше в Москву перед поездкой в Финляндию, чтобы проститься с ней[74].

Уже позже писал ей письма в Канаду, подсказывая структуру книги о русском юморе и анекдотах, которую она задумала. Дал ей также сопроводительное письмо к Мельчуку[75], работавшему тогда в Монреальском университете. Много раз потом в письмах[76] ко мне спрашивал, помогла ли ей рекомендация. К сожалению, Марине не удалось связаться с Мельчуком.

В тех случаях, когда я не могла отправить Ю.М. письма (лежала в больнице или жила на даче, где не было почты), Марина сообщала ему о положении дел в нашей семье, поскольку Ю.М. всегда тревожился, когда не получал долго известий.

15

Наши жизни были слиты много лет, естественно, что мы постоянно делились заботами сначала о детях, потом и о внуках, вообще о наших семейных делах. Во времена, когда начался массовый отъезд интеллигенции на Запад и во многих семьях такая возможность обсуждалась, дети Юры не хотели уезжать без него, а он не мыслил своей жизни за границей. Семидесятые годы, время брежневского застоя, казались беспросветными, и Юра говорил мне, что его сломить трудно, но одного он не вынес бы: если бы мучили его детей. Он всегда с беспокойством думал и говорил о Грише. Когда стали появляться внуки – дети Миши и, позже, Леши, – Юра не мог говорить о них без волнения, сам удивляясь тому, как много они значат теперь в его жизни. Обожал внучку Машу, в которой все его восхищало. Одна из внучек (кажется, Саша) переживала, когда ей было пять лет, что у человека только одно сердце. Хотела, чтобы было два, поскольку одно у дедушки больное, а второе было бы запасное.

Конечно, не все поступки детей мы одобряли. Часто, пытаясь осмыслить мотивы их поведения, мы говорили себе, что наши дети не умеют терпеть, как умели мы. Ю. говорил, что они «детские» дети и напоминают ему детей, запутавшихся в лесу, одиноких, не знающих правильного пути, из сказки братьев Гримм. Он считал, что виноваты и мы, что не можем помочь им, не умеем создать другую жизнь, в которой было бы им легче. Но мы любили их, страдали их страданиями и, как могли, помогали.

Невозможно понять, как случилось, что в 1991–1992 годах, когда умерла Зара, развалился этот Дом, столь важный для Юры. Разве не на Юре он держался? Как могло случиться, что Ю.М., который всем был так нужен, любим сыновьями, невестками, внуками, вдруг стал «в сущности никому не нужен»[77], как он мне писал? Как случилось, что начались там бытовые размолвки, на которые тоже намекал он мне в письмах того времени? Я знаю, что у детей была нелегкая жизнь: работа, собственные дети, все понимаю. И все же: как случилось, что именно секретарши и ученицы – а не родные дети – были с Юрой в больнице, работали с ним, кормили и помогали ему, потерявшему от множественных инсультов способность читать и писать?

До самых последних минут жизни Юра оставался самим собой, и самообладание не покинуло его. В реанимационное отделение, из которого Ю.М. уже не вышел живым, допускали только Мишу. В редкие минуты, когда просветлялся больной умирающий мозг, Юра рисовал для сына карикатуры на самого

себя.

* * *

Зара была старше нас с Юрой курсом. В университете я была поверхностно с ней знакома. Она была красива лицом, точеным и одухотворенным, бедно, как и все мы в послевоенные годы, но и без особого внимания к своей внешности одета: в ее кругу и кругу ее подруг внимание к одежде почиталось мещанством. Помню, что еще студенткой она занималась научной работой и, кажется, была весьма активна в общественной работе. Помню также, что нисколько не удивилась, когда узнала от кого-то, что Лотман женился на Заре Минц. Мне казалось, что они очень подходят друг другу. В. Гельман вспоминал, что в юности Зара была очень веселой. Бедная Зара незадолго до своей безвременной и столь несправедливо ранней смерти как бы с надеждой спросила меня: «Фрина, вы, кажется, были фифой в студенческие годы?». Мы все вкладывали в слово «фифа» одинаковый смысл: пустышка, не интересующаяся серьезными вещами. Тряпки, танцы и мальчики – вот мир фифы. Я ответила ей, что фифой не была. Чем я сильно отличалась от Зары-студентки, так это малыми способностями и знаниями, что и заставляло меня догонять, догонять, просиживая в Публичной библиотеке от звонка до звонка. Пополнять пробелы воспитания и образования, уходить от глубокой провинциальности, от мещанской среды, с которой я порвала намеренно. Да, я любила и танцы, и музыку: мир чувств был моим миром, я не жила наукой, как Зара. То, что я училась на пятерки, ничего для меня не значило: я достаточно критически относилась к своим возможностям.

В конце ноября 1971 года в Доме литераторов в Москве состоялись Блоковские чтения. Больной в то время Орлов[78] не приехал. Что-то бормотал Антокольский[79], открывая вечер, и в это время очень робко и с улыбкой вышла на сцену и села за стол в президиуме Зара. Ее доклад «Блок и революционно-демократические традиции» оказался основным. Перепишу свою запись в дневнике, сделанную в тот же вечер после ее доклада.

«Черное платье, поверх – толстая серая кофта, коричневые сапоги и толстые чулки. <…> Поразило меня сразу, как много в ней Юриного. Лексика, жесты, даже слегка заикающийся голос, даже сжатая у боковой стенки кафедры рука – его обычный жест. И эта застенчивая улыбка, и просьба к президиуму: “Можно мне еще две минуты?” Красивое моложавое лицо все с теми же правильными чертами, идущая к ней седина, и эта прическа с

косой – все в ней было прелестно…» Доклад был блестящим, и вот, в первый раз слушая ее, я поняла, что Юра ей не помогает, что все это – ее собственные достижения в науке. Первое же время, несколько первых лет, думала, что Юра ей помог стать тем, кем она стала в науке о Блоке. А тогда, после доклада было желание немедленно написать Юре, отказаться от него, сказать, что нельзя ее так мучить.

Через две недели после этого вечера Ю. приехал в Москву «просто так», как он сказал мне, «встретить с тобой Новый год». Я прямо на улице, возле Библиотеки Ленина быстро-быстро стала рассказывать, что я чувствовала, слушая Зару. А чувствовала я ужасную вину перед ней, и тогда же дала себе слово, что постараюсь как можно меньше травмировать ее. Но разве это было в моих силах? Это жизнь не дала, это Юра не смог. От этого, правда, моя вина перед нею не меньше его вины.

Этим полны мои дневниковые записи 1971–72 годов. Как больно мне было слышать от Юры, что когда он уезжает из Москвы, то сначала заледеневает внешне, перестает улыбаться, потом начинает чувствовать лед внутри – это нечто вроде анабиоза у рыб, и тогда, говорил он, понятно, что надо опять ехать в Москву. Горько мне было слышать от него и другое: «Я могу прийти домой с одним усом, и Зара не заметит. Но если я изменю в своих исследованиях что-то – вот это будет ее серьезно заботить».

Семейные привычки, тем не менее, сохранялись: часто прямо на вокзале, при мне, Юра давал домой телеграмму, что доехал благополучно (телефона тогда у Лотманов еще не было), а когда появился телефон, Зара регулярно звонила, справлялась о делах и самочувствии. Я уверена, что Юра чувствовал постоянную вину перед нею. И, цитируя «старого циника» Ларошфуко, говорил, что мы еще можем простить вину тем, кто виноват перед нами, но никогда не прощаем тех, перед кем сами виноваты.

С другой стороны, он в принципе не считал любовь грехом, и когда меня мучила греховность нашей любви, часто утешал меня, неизменно повторял любимые им слова Апостола Павла из Первого послания Коринфянам: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею; То я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны И имею всякое познание, и всю веру, так что могу и горы переставлять, А не имею любви, то я ничто» (1Кор. 13:1).

Но говорил он и другое: «Зара очень одинока и понимает это». И – страдал за нее. Знал, какие боли она терпит от артроза, переживал и говорил об этом со мной постоянно. Страдал, когда в Мюнхене пришлось истратить все деньги на его собственное

лечение, хотя поехали они туда для того, чтобы сделать ей операцию. Лина Соломоновна (жена Осповата) говорила мне, что пока Ю.М. был здоров, «он держал Зару».

Лекарства, которые я доставала для Зары, помогали лишь на короткое время. Когда ее боли в конце 80-х годов усилились, я показывала ее снимки опытному специалисту, у которого лечилась сама. Он сказал мне, что операция не необходима, что можно жить и так, а боль облегчить, пользуясь костылями. Я передала эти слова Юре, но он решился на операцию. Говорил, пока жив, должен сделать все возможное для нее, потом некому будет… Его главной заботой стало найти деньги для операции.

Я видела Зару в последний раз 25 сентября 1990 года в Москве в квартире Осповатов, ровно за месяц до ее смерти. Они с Юрой тогда готовились ехать в Италию для операции, а я уезжала в Канаду.

Мне не дано узнать, но я могу понять, что именно передумал и перечувствовал Юра, когда, больной и одинокий, остался один после ее кончины.

Возможно, в посвящении ей книги «Культура и взрыв» – отголоски этих тяжелых, мучительных раздумий. В письмах ко мне в 1991 году он писал: «Думаю о тебе, а ночами плачу о Заре»[80]. Он видел повторяющийся сон: он догоняет поезд, в котором, он знает, едет Зара. Он готовил ее к своей смерти, себя – к ее смерти – не приготовил…

16

Я думаю, что любовь – чувство трагическое в своей основе. Не только классические примеры, но и наша с Ю.М. жизнь подтверждает это. Любовь и смерть, любовь и разлука – вечные спутники. Склонность анализировать и с недоверием принимать доставшееся нам счастье давали ощущение риска, неожиданности и вместе с тем предчувствие конца. «Мы – притаившиеся мыши, которых высматривает кошка, сидящая в углу», – говорил Юра, и этот его образ до сих пор стоит у меня перед глазами. Вспоминаю и вечную его присказку: «Не улучшать, не надеяться на лучшее, было бы не хуже». В доказательство он приводил теорию одного армянского ученого, который считал, что человечество погибнет, потому что старается все улучшить. И рисовал такую, приблизительно, картину: вот уже в пещерах появился огонь, половые связи людей стали более избирательны, начались драки за женщин (животные дерутся реже, чем люди). Жизнь становится все более удобной и – тяжелой. «Поэтому, – говорил Юра, – не надо улучшать». О том, что нам многое дано и как мы счастливы, мы говорили с ним много и подолгу и не переставали изумляться этому. Но я почему-то считала, что настанет день, когда Ю.М., умученный жизнью, скажет мне, как герой пьесы Гауптмана «Перед восходом солнца»: «Я вижу тебя, я знаю, что это твои руки, но я ничего не чувствую». Я постоянно боялась, что разлюбит, что неинтересна ему, что невыносимо вести эту двойную жизнь… Он, также как и я, боялся потерять то, что обрел. «Не бросай меня, мне будет невыносимо», – сказал он мне однажды в Кемери, хотя и намека на какие-либо сложности в наших отношениях не было.

Отсюда наши тяжелые сны, которые повторялись регулярно и все на одну тему с разными вариациями. Его сон, как правило, связан был с войной. Я где-то рядом, головой на его плече, и сейчас мы погибнем, конец всему, и он знает это. Мой: он сух и замкнут со мной, недоволен, упрекает меня, что я заставляю его приезжать и делать доклад в те места, где он доклада делать вовсе не желает (например, в Пушкинский дом). Упрекает меня за сухие письма… одним словом, все очень плохо, а я беспомощна и изменить ничего не могу.

Хотя за четверть века мы ни разу не поссорились, не было и намека на размолвку, я (может быть, из-за какого-то суеверия) считала, за четыре-пять лет до того, как судьба развела нас по разным континентам, что не смерть Ю. оборвет нашу любовь, а болезни и крайняя усталость. Как-то, шутя, я сказала Ю., что ему никак нельзя умирать, потому что он еще не сказал последних

ругательных слов ректору[81], на что он вполне серьезно отвечал: «Как знать, может быть, последние слова перед смертью я скажу тебе».

Не сказал, а может быть сказал, да я их никогда не узнаю.

* * *

Таким образом, мы постоянно боролись за то, чтобы быть вместе, боялись потерять друг друга. Я думаю, что отсюда подписи в его письмах: «вечно твой», «всегда и на-всегда твой», «навеки твой». В 1980 году, когда вышел «Комментарий» к «Онегину», он надписал мне его так: подчеркнул букву «Е» в имени Евгений и «Л» в своей фамилии: «Единственной Любимой». Привожу и другие посвящения:

«Книгу бывает легче написать, чем надписать» (на книге «Анализ художественного текста»)[82];

«М – М» (Мастер – Маргарите) (на книге «Трудов по знаковым системам»);

«На память от ученого соседа»;

«На память об одном старике» (статья о традициях просвещения в России).

Мотив старости, варьируясь в разнообразных шутках, присутствовал с самого начала нашего общения. Юра, например, называл себя «старая калоша, седатый пес». Или говорил: «Старики бывают разные: красивые, средние, некрасивые. Однако все достойны внимания».

Подарив мне поздно, только в 1975 году, свои «Лекции по структуральной поэтике», он шутливо надписал их так: «Она сидела в Александровском саду, когда к ней подсел Азазелло».

В этой надписи прочитывается несколько аллюзий: намек на то, что Юра считал себя некрасивым (Азазелло), и конечно, напоминание о том, как мы любили сидеть в Александровском саду, куда Булгаков привел смятенную Маргариту, подсадив к ней посланника дьявола.

Мы всегда осознавали, что наша любовь неповторима, особенна, что ее невозможно описать другим и что только мы понимаем, что мы друг для друга. Боясь заезженного и затрепанного слова «любовь», Юра удивлялся тому, как часто сам его повторяет. Был открыт, нежен, щедр в проявлении чувств. Часто поэты помогали нам выразить то, что сами мы выразить не могли.

В 70-е годы Юра часто читал мне Пастернака. У него он находил самые верные характеристики своих чувств и

настроений.

«Как будто бы железом, обмокнутым в сурьму, тебя вели нарезом по сердцу моему».

Одиночество, о котором нам столько думалось и говорилось, он выражал пастернаковским «…а на улице вьюга все смешала в одно, и пробиться друг к другу никому не дано».

Будучи в Венгрии в 1987 году, Юра перечитал там «Доктора Живаго» и, остановившись в Москве по пути домой, сказал мне, что «роман Пастернака – о нас». При этом добавил, что хотя язык героев там вовсе не соответствует языку людей времени революции, Пастернак там наделяет всех своим собственным языком, и что все характеры и обстоятельства там другие, тем не менее, о любви там сказано так, будто были описаны наши чувства.

К какому-то Новому году Юра прислал мне большую фотографию шотландского терьера, которого он считал из-за грустного выражения глаз своим «лирическим героем», а на обороте посылки написал следующий обратный адрес: «Ленинград, ул. Фрины, 5. НИНИ АН. Ю. Усатову».

Когда я лежала в очередной раз в больнице, Юра прислал мне туда письмо с вложенными лепестками роз. Письмо я не получила, видно, его перехватили любители гербариев из больничной администрации. Разумеется, я Юре об этом не сказала, чтобы не огорчать его.

Как-то я подарила Ю.М. одну из авторизованных «Симфоний» А. Белого. Юра радостно воскликнул: «Ну, душа моя, в следующий раз обязательно автограф Пушкина, а там – и “Слово” в подлиннике!»[83]

17

Все годы постоянно и неизменно волновал Ю.М. главный вопрос бытия: что есть жизнь и что есть смерть. Говорил, что многое понимает, а вот это ему постичь трудно[84]. Часто размышлял о смерти, иногда, к моей печали, и вполне конкретно. Уже в 1971 году, когда запретили летние Тартуские школы и началась широкая атака на структурализм, Ю.М. снова и снова брал с меня слово, что не стану его жалеть, если ему придется «работать истопником».

Первые разговоры о самоубийстве как о выходе из тупика начались именно тогда. «Один немец, – говорил мне Юра, – довел собаку до инфаркта (раньше таких случаев не было) только тем, что делал с ней все наоборот: собака хочет спать – ее ведут гулять; хочет гулять – велят спать, и так все время. Собака умерла. Вот и с нами поступают также».

Но чего же хотели от таких, как он? А чтобы «быть перестали», как писал Щедрин. Не надо ни меняться, ни служить режиму, надо – просто вообще не быть. Понятно, что такое были Тимофеев или Барабаш[85]. Но даже наши учителя, даже Ямпольский[86] – тоже дышал ненавистью. Однажды Юра приехал и сказал мне, не объясняя деталей, что понял, если будет уж очень худо, он сможет уйти. Кажется, тогда я в первый раз при нем заплакала, чего никогда себе не позволяла, зная, как огорчили бы его мои слезы. «Я не могу видеть тебя печальной, я готов сгинуть, когда ты грустишь».

Мне казалось, что атмосфера ранних 70-х была для Ю.М. особенно тяжела не потому отнюдь, что это было худшее время. Просто нужен был какой-то переход от некоторой свободы 60-х годов к оголтелой реакции, какое-то привыкание, что ли. Может быть, во время хрущевской оттепели казалось, что станет легче. Но шли годы, а легче не становилось, и надо было жить и работать. Отсюда Юрино: «Другой жизни не будет, надо жить этой жизнью, она одна». «Не откладывать ничего!» – тоже было его девизом. Он научился этому на войне. Как-то тянул провод по непростреливавшемуся пространству. И надеялся вернуться к окопчику – ближе к немцам. В окопе было тепло, была еда и начатый им перевод стихотворения Гейне, который он хотел закончить. Не вернулся никогда – не стало окопчика…

Нам всегда не хватало времени о чем-то нашем, важном поговорить, и мы оба это замечали. Время было так насыщенно, так спрессовано, что иногда два часа, отпущенные нам, казались долгими. А иногда две недели пролетали как один день. Мы

никогда не загадывали, никогда не обсуждали, когда увидимся в следующий раз. Чаще всего и нельзя было загадывать. Вот почему бывало, что, уже расставшись до следующего приезда, Юра вдруг неожиданно звонил: у него образовался час времени. Какая эта была радость: еще один час вместе! И знали: ничего не откладывать… А Ю.М. рассчитывал, сколько ему надо прожить, чтобы завершить свои замыслы: то это было восемь-десять лет, то шесть-семь. Но уже в 1975 году так стало трудно, что он с горечью заметил: «Поздно, мало осталось тебя любить». Так вполне конкретно думал он о смерти. А ведь прожил после этого еще восемнадцать лет!

Наши разговоры о смерти всегда завершались одним: он старше, он должен умереть раньше и просит меня не тосковать, когда его не станет, помнить, что он был счастлив. Он учил меня жить и улыбаться после его ухода, ибо «только улыбающийся человек может помочь другому». «Надо уметь в жизни терять», – говорил он. Ах, как плохо я умела терять!

Ю. сетовал на то, что вот уже восемь лет не был на кладбище у родителей. Вообще-то он не придавал особого значения посещению кладбища, говорил, что если его не будут помнить близкие, вот это тяжело, а кладбище… ну что ж![87]

Я же относилась к кладбищам иначе, даже часто успокаивалась там. И однажды попросила Ю.М. съездить со мною на Волково. Но он как-то не захотел и предложил мне взамен прогуляться по «нашим» местам. Это было в 1980 году. Он показал мне дом, где зубным врачом работала его мама. В другом доме, графа Хвостова, умирал Суворов. Около хвостовского дома – и это Юра хорошо помнил – он сажал меня в троллейбус после «Жизели» в Мариинке в 1948 году. Зашли мы в мой любимый Никольский собор, где отпевали А. Ахматову. Пошли к Измайловскому собору, где Достоевский венчался с Анной Григорьевной. Там росли купы черемухи, которую оба мы любили. А в Екатерининском садике любовались огромным цветущим каштаном. Юра вспоминал зал Публичный библиотеки, где я всегда занимались и куда он часто приходил в 1949 году. «Все какое-то нереальное, – тихо заметил он. – Будто бы мы одни на свете».

Незабываемой была встреча пятью годами раньше, в декабре 1975 года. Мы гуляли тогда по Васильевскому, и медленно падал снег. Совсем незадолго до этого Юра писал мне грустное, пушкинское: «Город чопорный, унылый…». Теперь же нам так хорошо было вместе и так счастливо! И Юра тихо тогда сказал: «Сейчас только щелкай кадры… Прокручивать, проявлять, смотреть, записывать и вклеивать в альбом – потом. Пока только

наслаждаться всем вместе и отдельно».

Вот пришло время вклеивать в альбом…

18

Те двадцать пять лет, что мы встречались, писали друг другу и любили, представляются мне как долгий-долгий путь вместе. Мы были очень душевно близки, и помогать друг другу было нашей естественной потребностью.

У меня всегда или почти всегда были какие-то «задания»: чаще всего достать ту или иную книгу, нужную для работы. Правда, Ю.М. всегда добавлял: «Если это тебе не трудно». Разумеется, книги доставать тогда было очень трудно, часто невозможно, да ведь и не достать нельзя было. Хотелось достать!

Никто из моих сотрудников, имевших отношение к тогдашнему книготоргу, не был мне близко знаком, и просить их об одолжении я могла редко. Достать нужную Ю.М. книгу требовало огромных усилий, труда и часто – унижений.

Особенно запомнился случай с книгой Хоцурагаву Хосю «Краткие вести о скитаниях в Северных морях»[88]. Она очень нужна была Ю.М., как одно из первых свидетельств иностранца о России XVIII века. Этого автора Ю.М. не раз упоминает в своей книге о русской культуре. Чтобы раздобыть Хоцурагаву Хосю, пришлось бегать по разным ведомствам, но ничего не получалось, всюду отказывали. В конце концов, выбившись из сил, я уселась на очередном книжном складе на скрипучую табуретку, чтобы передохнуть. Вошла сотрудница, спросила, чего же я жду, раз книги нет. Я сказала, что не могу уйти без этой книги. Вид я, видимо, имела странный. Сотрудница куда-то исчезла надолго… и явилась уже с книгой.

Получив Хоцурагаву Хосю, Ю.М. прислал мне свою статью с такой надписью: «С изумлением, восхищением и благодарностью получил Хоцурагаву Хосю (после того, как мне точно сообщили со всех сторон, что достать эту книгу абсолютно невозможно) – кладу к ногам сей слабый дар. 28.2.79»[89].

Как я радовалась его радостью! Важно мне было и то, что надпись он сделал в день своего рождения, к которому я могла быть причастна только через это посвящение. Понимая это, Юра часто старался сам в день своего рождения подарить мне что-то из своих книг или новых статей, иногда и позвонить. Говорил, что всегда помнит обо мне в этот день и мысленно поднимает за нас бокал. Вернусь, однако, к книгам. Труднее всего было доставать издания, которые могли быть только у букинистов. Вот сохранившийся у меня список нужных Ю.М. книг, который я сделала в 1971 году.

1. Г.В. Верховский. Учреждения духовной коллегии и

духовный регламент. Р/Д., 1918, т. 1–2
2. Д. Кобеко. Цесаревич Павел Петрович (изд. 2-е, 1887)
3. Е. Шумигорский. Императрица Мария Федоровна. СПб., 1892
4. Е. Шумигорский. Император Павел Первый (1909?)
5. В. Бильбасов. История Екатерины II, т. 1–2, 1890 – 1891
6. Н. Шильдер. Император Павел Первый
7. Н. Шильдер. Император Александр I, тт. 1–4, 1897
8. С. Соловьев. Император Александр I, Политика-дипломатия, Спб., I
9. Ф. Терповский. Характеристика имп. Александра I. 1878
10. Тыртов. Анекдоты об императоре Павле. М., 1807
11. Философ горы Алаупской. М., 1807
12. Храповицкий. Дневник. 1874
13. Шишков. Записки. Берлин, 1870
14. Шумигорский. Е.И. Нелидова, Спб., 1897
15. Великий князь Николай Михайлович. Князья Долгорукие
16. Великий князь Николай Михайлович. Императрица Елизавета Алексеевна.

Частые приезды в Москву Ю.М. использовал, чтобы увидеться с авторами «Трудов» и «Семиотик». В Москве, кроме Б.А. Успенского, жили В.В. Иванов, В.Н. Топоров и другие. Институт славяноведения был местом частых собраний. Там после безвременной кончины высоко ценимого Юрой И. Ревзина[90], регулярно устраивались Ревзинские чтения, на которых Ю.М. неизменно выступал. Начав работать с Игнатьевым[91] и институтом авиаприборостроения в Ленинграде, он приезжал к академику Бергу[92], встречался с Ю. Шрейдером[93] и математиками. Он считал, что бионика не оправдала надежд. Она кое-что дала биологам и ничего – кибернетикам. Моделировать человеческий организм оказалось делом очень трудным. А вот модели искусства, которые, с одной стороны, не являются живым объектом, но, с другой стороны, человеком созданы, могут быть продуктивным объектом исследования для кибернетиков. Так что Ю.М. с удовольствием работал с ними. Не всегда эти выступления в Москве его удовлетворяли, не все его идеи были понятны аудитории. Но брался Ю.М. за новое для себя дело с большим энтузиазмом. Кроме всего прочего, это давало ему возможность чаще бывать в Москве. Когда союз с Игнатьевым распался, кончились и командировки…

Когда Успенский оставил работу в лаборатории МГУ, выступления Ю.М. там стали редки. Иногда Юра приезжал в Москву просто, чтобы нам повидаться. При этом принимал

приглашения, которые ему были вовсе не интересны.

Так было в 1976 году. «Круглый стол» журнала «Вопросы литературы» собрал, по меткому слову Юры, «половину братьев Стругацких», Мамардашвили, Данина и других. Предметом обсуждения было что-то вроде «Литературоведение и НТР». Мрачный и уставший, Ю.М. развеселился, услышав, что Дэй «призывает ученых к терпимости, когда структуралисты ведут активное наступление». Мгновенная способность к каламбурам не подвела его и тут: «В доме терпимости, конечно, нужно проявлять терпимость», – говорил он мне потом. Когда предложили какие-то очень дорогие бутерброды, он спросил: «Интересно, за счет какой статьи это угощение? Вероятно, за счет передовой?»

А вот литературный музей на Петровке, в котором тогда работал А. Гуревич, Ю.М. любил и выступал там с удовольствием. Милые молодые дамы, сотрудницы музея, особенно сердечно принимали Ю.М. Однажды он спросил меня, о чем бы я хотела послушать. Я сказала: «О Пушкине в 1830-е годы». Собрались в подвальчике, обстановка почти домашняя. В небольшой комнате народу умещалось не так много, но лица все замечательные, интеллигентные. Ю.М. сделал очень хороший доклад. Не сильно напрягая голос, говорил о взглядах Пушкина на историю, жизнь и смерть, на искусство – по седьмой главе «Онегина», по «Графу Нулину», «Полтаве», «Моцарту и Сальери». О том, как понимал Пушкин семейную жизнь, любовь; рассуждал о том, что в Пушкине было близко и важно ему самому. Нужно специально отметить, что все годы я чувствовала особую близость Ю.М. к личности Пушкина, всегда знала, еще до появления «Биографии», что для Ю.М. жизнь поэта была неким эталоном мужества, оптимизма и даже, не боюсь этого слова, некоторой дерзости. Не случайно, как я замечала, стихотворные строки Пушкина он повторял в разных своих работах, отнюдь не посвященных поэту. Юра хотел строить свою жизнь, как строил свою Пушкин.

После лекции сотрудницы до полуночи показывали Ю.М. запасники музея: портреты, миниатюры, письменные собрания. Ю.М. восхищался богатством собрания и удивлялся, что музей не прикрыли за вольнолюбие…

19

Но были в Москве и неудачные выступления, к которым Ю.М. относился самокритично. Например, в 1973 году я передала Юре просьбу своего начальника Динерштейна поговорить с сотрудниками нашего отдела книговедения. Имелись в виду общие проблемы изучения книги. Мы все чувствовали, что, как бы ни старался Н.М. Сикорский, будущий директор Ленинки, а тогда «глава» книговедения и завкафедрой в Полиграфическом институте, что-нибудь придумать, нет главной идеи, которая бы объединила усилия книговедов, и нет человека, способного эту идею подсказать. Не думаю, что Динерштейн точно сформулировал задачу перед Ю.М., скорее надеялся на его всеобъемлющий талант и рассчитывал, что тот задачу сам сформулирует.

Мы собрались в Ленинке, в небольшой, казенного и довольно унылого вида комнате. Ю.М. выбрал тему «Книга в системе культуры XVIII века». Как всегда, фактическая часть доклада, примеры были очень интересны, но чего-то главного, какого-то стержня не хватало.

Сидел довольно мрачный Сикорский, совершенно ведомственный барин, наши «ученые» дамы, которым все, кроме собственных домашних дел, было мало интересно. Видимо, и выражение их лиц не могло быть безразлично Ю.М. Ни одного вопроса, показывающего интерес к выступлению, никакого обсуждения после него не последовало. Динерштейн остался не очень доволен. Дамы весело щебетали, какой Лотман замечательный, я же была порядком расстроена. Юра, как он это всегда умел, строго сказал мне: «Забыть – и все». На том и порешили.

Весной 1975 года Ю.М. должен был сделать сообщение для кибернетиков в Питере. Перед этим он приехал на несколько дней в Москву «проверить» свои идеи на московских математиках и кибернетиках. Тогда же выступил в МГПИ им. Ленина. Что-то по теме культурологии, для преподавателей. И этот доклад был неудачен: все как-то распадалось, не хватало цельности. Ю.М. и сам остался недоволен и, когда мы вышли после доклада на сверкающую солнцем и молодой зеленью Пироговскую улицу, сказал мне, что ему «мешало присутствие Ревякина[94]». Конечно, любое сообщение требует внимания и некоторой отзывчивости аудитории. Мне ли, учителю, не понимать…

1979 годом датирую еще один доклад, когда Ю.М. остался собою серьезно недоволен. Речь идет о выступлении перед

сотрудниками журнала «Театр», в котором готовилась к выходу статья Ю.М. «Семиотика театра». Он и физически чувствовал себя в тот приезд не лучшим образом, и сразу после доклада пришел ко мне домой в тяжелом настроении. Особенно Ю.М. было неприятно, что перед докладом его представили как доктора наук, профессора и членкора Британской Академии наук. Хотя все это и было правдой, чинопочитания он не любил и считал, что представлять его таким образом публике – значит задавать неверный тон общению. И хотя в те же дни он сам оценил свое выступление в Литературном музее («Биография и Культура» – на материале Пушкина) как сделанное «по первому классу», был более всего огорчен предыдущим, прочитанным перед сотрудниками журнала. Горько сказал мне: «Я распустился, не готовлюсь, жду, чтобы меня похвалили». На этот раз он пробыл в Москве около трех недель.

В это время в Москве, проездом из Тбилиси, был Р.О. Якобсон, который почти все дни проводил с Ю.М. и Б.А. Успенским. Ю.М. очень высоко оценил его доклад в МГУ у Толстых[95], но сам отказался там выступать из-за нездоровья. Увы, усталость Ю.М. в то время превышала все возможные границы. Я это видела и прекрасно понимала, что он делает больше, чем возможно по его физическим силам. Но что можно было тут поменять? Он и сам винил себя, говорил, что жаден, что берется за все, что Зара справедливо осуждает его за это. Я понимала, что он иначе не может и что бесполезно его упрекать. Но как сделать, чтобы ему было легче, не знала, только страдала за него молча.

Доклады, выступления, встречи с редакторами – только одна сторона его работы в Москве. Другая – долгие часы занятий в библиотеке. Перед моими глазами и сейчас стоит первый, профессорский зал, гора книг на третьем столе налево от входа и Юрина склоненная над ними голова. В профессорском зале Юру знали, любили, старались подобрать нужные ему книги как можно скорее. Моя приятельница Оля Агриколянская, много лет работавшая там библиотекарем, особенно помогала ему. Я приходила иногда, садилась рядом, просматривала заказанные им книги. В разное время разные. То это были книги о карточной игре, то о процессах ведьм в Германии, то воспоминания СмирновойРоссет, и много, много другого. Ю.М. своим быстрым и четким почерком делал выписки – заготовки для будущих статей и книг. Звездным часом Ю.М. был день, когда он наконец отыскал дневники будущего декабриста, а в пору писания дневников – юного офицера Доброво, отступавшего вместе с русской армией из Москвы в 1812 году. Ю.М. искал эти дневники много лет.

Говорил, что наталкивался на «стену, которая не пробивалась». Искал везде: в ГИМе[96], в архиве Исторической библиотеки, в ЦГАЛИ[97]. А нашел в Отделе рукописей Ленинки, что помещался на углу Моховой и ул. Фрунзе. Дневники оказались в совершенно неожиданном для него фонде. Мы до этого сговорились встретиться на улице: без пропуска в архив меня бы не впустили. Жду два часа, а его все не нет. Ничего не понимаю: ведь Юра никогда не опаздывал. И вот наконец выходит Ю.М., веселый, счастливый; удивляется, увидев меня, рассказывает о редкостной находке, которую сейчас же, немедленно надо отпраздновать. Уверен при этом, что я на углу оказалась случайно – вот ведь удача, и какое счастливое совпадение! Забыл, абсолютно забыл, что обещал прийти два часа назад. Радость быстро передалась и мне, а Ю.М., когда понял, в чем дело, ужасно огорчился своей забывчивости.

Понадобилась редкая филологическая находка, чтобы ему запамятовать о встрече. Хотя надо сказать, что житейские мелочи он часто не держал в голове. И тогда я выступала в роли некоей записной книжки.

Вот идем с ним по улице, и он мне говорит: «Фринуся, меня такой-то просил передать привет такому-то, а еще нужно это вот, и это, и это. Я могу забыть. Ты, пожалуйста, запомни, а потом мне скажи». Идем дальше, и он говорит: «А ты точно будешь помнить, что мне надо то-то и то-то? А то если я не передам, будет очень неудобно перед таким-то». Я успокаивала его: говорила, что, разумеется, ничего не забуду.

20

Кажется, году в 1973-м, не помню почему, Ю.М. стал серьезно думать об идеях З. Фрейда. Мы даже читали его по очереди вслух, и Юра твердо сказал, что, видно, Фрейд был хорошим врачом, но теории его – чепуха. «А то, что доктор напридумал, – усмехнулся Юра, – это я и сам мог бы придумать не хуже». В тезисах летней Школы 1974 года Ю.М. опубликовал статью, в которой спорит об Эдиповом комплексе с Фрейдом. Он связывал идеи Фрейда со своими собственными мыслями о коллективных неврозах. И даже спустя девять лет, в 1989 году, говорил о том, что, по его мнению, коллективные неврозы не обязательно вызваны социальными катаклизмами. Замечал при этом, что эпохи, в которых наблюдается резкое изменение коллективного сознания, приводят к катаклизмам, но вместе с тем и создают что-то талантливое. (Приводил в качестве примера, XVI век с его «охотой на ведьм».) По мысли Ю.М., спокойные периоды, периоды равновесия мало оставляют после себя интересного[98].

Рассуждения о дьяволе, занимавшие одно время и Б. Успенского, привели Ю.М. к мыслям об Иване Грозном. Мы с Ю.М. специально пошли вновь посмотреть фильм Эйзенштейна «Иван Грозный». Иван Грозный – воплощенный дьявол, говорил Ю.М., но дело в том, что в XVI веке дьявол осознает себя богом, могущественным богом и стыдится, что должен делать зло. Юра был глубоко уверен, что ренессансный XVI век был страшнее высокого Средневековья. Теперь, когда творческий путь Ю.М. окончен, видно, как долго, как упорно вынашивал он свои заветные мысли о культуре, намереваясь изложить их в «сквозной», как он ее называл, книжке о культуре, которую ему хотелось после себя оставить.

Вот пример того, что Ю.М. успел сделать только за одно лето 1983 года. Сдал большую рецензию на вышедшую в ЖЗЛ книгу Гастева о Леонардо да Винчи. Написал четыре листа для сборника МГУ о литературе XVIII века, почти закончил книгу о Н.М. Карамзине для издательства «Книга» (серия «Писатели о себе»), написал сценарий для своих телепередач.

* * *

Ему становилось все труднее приезжать в Москву, и не только из-за занятости, но и потому, что все хуже становились поезда Тарту – Москва. Он, как правило, простужался в поезде. Его

мучили грязь, пьяные попутчики, с которыми приходилось разговаривать. Самолеты же из Тарту летали только летом, а Юра, как и я, самолеты не любил. Это было отчасти чувство страха, а главное – общее неприятие этого вида транспорта, оставшееся у него до конца жизни. Но и в эти годы, когда он выступал в Москве, слушать его собирались полные залы, и сообщения раз от разу становились все значительнее. Запомнилось выступление в Институте славяноведения, когда он поделился с нами реконструкцией пушкинского замысла о Христе. Это было захватывающе интересно! Конечно, теперь его мысли можно прочитать в соответствующих статьях, но печатное слово не передает ту особую манеру, тот внутренний артистизм, который превращал его лекции в эстетический и интеллектуальный праздник.

Быстрой легкой походкой подходил он к кафедре и слегка заикающимся голосом начинал: «Как вы, конечно, знаете» или: «Как вы, конечно, помните», мгновенно ставя слушателей на одну с собой планку и предваряя таким скромным вступлением блестящую импровизацию, фейерверк приводимых наизусть цитат.

Менее всего лекции Ю.М. были сухим сообщением фактов. Скорее, они были доверительными беседами, приглашающими к совместному творчеству, к заманчивому путешествию, маршрут которого до поры до времени оставался скрытым от слушателя.

Но вот, по ходу, обнаруживалась внутренняя связь между самыми разнохарактерными проявлениями жизни и искусства, так что все приобретало строй и лад, наполнялось новыми смыслами, каким-то чудом проявленными.

Мне много довелось услышать за жизнь блестяще одаренных, энциклопедически эрудированных ученых. Но эта вот лотмановская особенность – неожиданные сближения, соединение в одно целое по видимости разнородных явлений, этот синтез, универсализм – были уникальной его чертой.

В Москве Ю.М. готовил свой спецкурс по Тютчеву. Читал письма поэта и рассказывал мне, как из них видно, что Тютчев был человеком, страстно любившим то, что терял. В Европе – Россию, Денисьеву, с которой ссорился при жизни и которой, как она ни просила, не согласился посвятить сборник стихотворений, хотя бы и не называя ее имени. После того как Е. Денисьева скончалась, Тютчев сокрушался: «Ну что бы мне стоило?». Под конец жизни часто влюблялся и плакался жене о своих печалях. Юра сравнивал последние тютчевские пристрастия с чувствами Фета, желавшего отравиться из-за влюбленности в десятилетнюю девочку.

Одно из писем ко мне, которое я называю «любовным», написано в 1985 году в Доме творчества в Дубултыы[99]. Оно содержит такие строки: «Давно ли Вы перечитывали Тютчева?» «Я встретил Вас и все былое…» Он очень хотел, чтобы книжку о Тютчеве я имела, и выслал ее в Канаду в 1991 году, но, увы, она пропала. Книги Ю.М. переводили и печатали в Европе и Японии, в Америке. Но получить за это деньги с ВААП[100], занимавшегося якобы охраной авторских прав, а на самом деле авторов обворовывавшего, было чрезвычайно трудно. Сколько раз мы ездили с Юрой на Большую Бронную выбивать для него деньги – все бесполезно. Сколько времени он потратил на звонки, висел на телефоне, пока его, бедного, «футболили» от одного функционера к другому. Дамы с именами, достойными Салтыкова-Щедрина (одну, например, звали Элита Вениаминовна), отвечали, что ничего не знают или что, по их сведениям, он уже деньги получил. А когда все-таки что-то платили, это были сущие копейки. А ведь денег у Ю.М. никогда не было[101]. У Лотманов был открытый дом, стол, за которым вечно кормились гости, приезжие, студенты. Помощь, гласная и негласная, оказывалась многим нуждающимся.

21

Эти условно выделяемые мною двенадцать лет, с 1973 по 1985 год, то, что я называю вторым периодом нашей любви, были годами интенсивного творческого подъема Юрия Михайловича. В 1975 году он говорил мне, что «идеи кипят, видно, как сквозь увеличительное стекло». И не раз повторял свою заветную мысль: ученый не должен все публиковать при жизни, нужно что-то и оставить, только тогда ясно, как он работал…[102]

Когда умер М. Бахтин, Ю.М. на вечере его памяти в Литературном музее сказал, что портреты усопших меняются после их смерти, как меняются суждения о книгах, когда уходят их создатели. Так, изменились представления о романе «Евгений Онегин», когда скончался Пушкин. Хотя В.В. Иванов назвал Бахтина «великим ученым XX века», а «высоконравственный» Кожинов что-то такое говорил о нравственности творчества Бахтина, Ю.М. закончил свое выступление тем, что «пока трудно утверждать бессмертие работ Бахтина, но надо, чтобы живущие не измельчили его наследия в бесполезных спорах, а содействовали своим единством пониманию главных идей Бахтина».

Я сидела в зале, слушала Юрин негромкий уставший голос и видела, как сильно он постарел, как сдал и чего стоит ему держаться, работать и жить. Он знал себе цену и понимал, что ему теперь быть во главе филологической науки вместо Бахтина, но не считал себя готовым к этому, о чем прямо писал мне в одном из писем[103].

Политическая ситуация того времени, битвы, которые Ю.М. вынужден был постоянно вести, стоили ему сил и здоровья. Он чувствовал себя теперь всегда уставшим. Болело сердце, участились перебои. Впервые он сказал мне, что у него болит сердце, уже в 1982 году. Один тартуский врач связал эти боли с депрессией, «плохим настроением», по Юриной терминологии, и… аллергией. Юрина сестра, врач-кардиолог, тоже полагала, что болезнь сердца брата аллергическая. Дело, конечно, не в терминах. Главное, что у него началась мерцательная аритмия, останавливалось сердце. Эти перерывы в работе сердца повергали меня в ужас. Однажды он мне их продемонстрировал: когда сердце заработало снова, я не выдержала и убежала в ванную комнату смыть слезы. И этот человек, с таким вот сердцем, работал по двадцать часов в сутки, жил двойной жизнью в течение двадцати двух лет! Выносил оскорбления от начальства, недругов и невежд, смевших руководить его действиями, предлагавших ему самому «достать где-нибудь» бумагу для

семиотических сборников, десятилетиями не пускавших его за границу и в конце концов лишивших ученого кафедры!

Но несмотря ни на что Ю.М. был патриотом – в самом высоком смысле этого слова – страны, в которой родился и за которую воевал. Он гордился своей работой, коллегами, следил за их ростом (достаточно вспомнить, как он переживал, что остановился в своем научном движении И. Чернов, один из любимых его учеников).

Писал мне в 1991 году, что сделал доклад «по-нашему, потартуски». И конечно, ему хотелось успеть, успеть как можно больше. Оттого так тяжело воспринимались препоны, которые перед ним постоянно ставили.

Когда в 1975 году было принято решение о сокращении наполовину объема «Семиотик», Ю.М. чувствовал себя так, словно «режут его живое тело». Битвы за каждый том «Семиотик» продолжались до конца жизни Ю.М. В историю с запрещением «Семиотики» № 13, по просьбе Ю.М., пришлось не в первый раз вмешаться и мне. Том послали в Москву, в Комитет по печати, в отдел ведомственных изданий, которым заведовал некто В. Власов, добрый знакомый В.С. Агриколянского, нашего сотрудника. В Тарту Ю. сказали, что сборник задерживают в Москве; Власов же на наши хлопоты отвечал, что его отдел просил ТГУ вообще не присылать этих сборников на рецензию в Москву, а решать самим, выпускать том или нет. Мы, мол, им уже сказали, а эстонцы все равно присылают.

С одной стороны, это была типичная для советской власти бюрократия, но с другой – испытанный способ круговой поруки, когда перед тобой безликая стена и виновных нет. По той же схеме отказывали Ю.М в поездках за границу: мотивировали их чаще всего так называемой задержкой документов в Москве. В 1979 году Ю.М. сражался за «Письма русского путешественника» Карамзина с ученым секретарем «Памятников» Гришуниным[104]. После «боя» он приехал ко мне совершенно больной. Тотчас свалился и спал. Когда пришел в себя, рассказал мне, как все было. Оказалось, Гришунин, ничего в Карамзине не понимавший, его поучал, как нужно писать о «Письмах русского путешественника». «А как же наши школьники, ведь им будет трудно читать письма Карамзина? Нужно доходчиво писать», – внушал Гришунин (словно издание готовилось для школьников). Ю.М. отвечал ученому секретарю, что уже тридцать лет занимается Карамзиным, и за все тридцать лет ни одной работы Гришунина о Карамзине не встречал.

1980 годом датируются битвы за выпуск биографии Пушкина. Крундышев, редактор ленинградского отделения издательства

«Просвещение», донимал Ю.М. бесконечными поправками и вопросами. Видимо, хотел показать свою осведомленность, не ударить в грязь лицом. Дело дошло до того, что Ю.М. готов был забрать у него рукопись.

Все это подтачивало если не моральные, то физические силы Ю.М. А как важны для творчества физические силы, он прекрасно понимал. Как-то заметил, что Окуджава потому не смог, как хотел бы, закончить роман «Путешествие дилетантов», что сил не хватило. Считал, что Гоголю не хватило «веселья», чтобы завершить «Мертвые души».

От постоянной усталости Юра мечтал о том, что, состарившись, не будет больше сидеть в библиотеках, а сделается бродягой и станет странствовать по свету.

22

В 1978 году Ю.М. полагал, что жить ему осталось шестьвосемь лет. Но несмотря на такую пессимистическую оценку собственной судьбы, несмотря на атмосферу гонений и травли, он считал своим долгом подбадривать других, не показывать им, что сам испытывает. Он должен «будить» их, прибавлял он, вспоминая образ героя повести Владимова «Три минуты молчания». В повести есть сцена, когда корабль тонет, а матросы от нечеловеческой усталости засыпают. Так случается в самые трагические минуты. Тут появляется некто (в повести он назван нецензурным именем), кто всех будит, спасая тем самым им жизни. Вот такой видел Ю.М. свою роль в жизни.

В 1979 году готовился в Москве к выходу том «Литературного наследства», посвященный А. Блоку. Зара приехала в Москву вместе с Ю. хлопотать о томе, редактором которого она, кажется, была. Палиевский[105] выбросил, после рецензии Тимофеева[106], Юрину статью о «Двенадцати» Блока. В рецензии Тимофеев писал, что статья интересная, но годится больше для сборников типа «Контекст», которые тогда выпускал Институт мировой литературы, а не для юбилейного тома. Такою ценой в сборнике осталась бы статья И. Правдиной[107] и другие. Зара готова была даже снять и некоторые свои материалы ради Юриной статьи (как она благородно не раз это делала в их Тартуских трудах). А Зильберштейн[108] уговаривал ее не делать этого, мол, бесполезно. И добавлял в качестве «утешения»: «Даже если целый том не выйдет, тоже никто не заметит». Его реплики очень верно обрисовывают ситуацию, которая, как в зеркале, отражает реальность жизни крупных ученых: постоянные битвы с ветряными мельницами.

Кто приводил их в движение? Зачем, кому это было надо?

В январе 1980 года я получила от Ю.М. лаконичное, но трагическое письмо[109]; он сообщил, что вынужден уйти на другую кафедру. Отняли то, что создавал своими руками тридцать лет. В 58 лет надо было все начинать сначала. «Даже весело!» – печально заключал он. С той же легкостью, с какой его отставили от заведования кафедрой несколькими годами раньше, «чтобы ему, ученому, можно было сосредоточиться на научной работе», – теперь громили это его детище – созданную им кафедру[110]. Настали, как рассказывал он мне, приехав в марте этого года в Москву, ждановские времена: рылись на кафедре в рабочем столе у Зары в ее отсутствие и выяснили, что в ее личном плане вычеркнут Шолохов, а вместо него вписан Мандельштам.

Это и подтолкнуло решение комиссии о переводе Ю.М. и Л. Вольперт[111] на другую кафедру. Бедный Ю.М.! Как неприятно ему было говорить об этом. «Если бы не девочки, не Лешка, не ты, ничего не держало бы меня на этой земле», – сказал он мне тогда. Даже работа не волновала его, как прежде: силы уходили. Бесполезно было и спрашивать, как помочь ему; я знала, что ничего не могу, а все же спрашивала. Ответ его был неизменен: «Ты – будь». Это и был наш мир, тот мир, «где жили мы с тобою»…[112]

К счастью, характер у Юры был такой, что он умел забываться и, несмотря на все неприятности, – радоваться. Так было на нашей университетской встрече летом того же 1980 года, где он, по его выражению, «гусарил», будто жизнь вокруг была сплошным праздником. Так же радовался он, когда его провожали аплодисментами учителя в Таллине. Его лекция в Учительском институте была о том, как преподавать литературу в школе так, чтобы ученикам не было скучно. Оказалось, что в Таллине работает много его учеников, и это подняло его дух; какое-то время ему казалось, что интерес студентов к серьезной науке падает: им легче было написать в две недели диплом по методике, чем долго и напряженно работать[113]. Юра любил лекции, любил быть Учителем и продолжал учить, пока силы позволяли, до конца. Лекции были его воздухом, его отдыхом, его жизнью.

Непросто складывались отношения у меня в доме. Чувство вины перед мужем угнетало меня, а положение было безвыходным. Если бы я даже решила расстаться с мужем вопреки его желанию, это наложило бы на Ю. определенные обязательства, чего допустить я тоже никак не могла. Следовательно, все шло по-старому. Но на такую жизнь уходили мои физические и душевные силы. Я начала болеть. Определили полное истощение нервной системы, что, как известно, трудно поддается лечению.

После каждого визита Юры в Москву я, как правило, болела больше двух недель, не могла работать. Начались больницы, но сроки, когда я себя чувствовала прилично, все сокращались, через короткое время после лечения я опять теряла силы, и все начиналось сначала: высокое давление, бессонницы, мигрени. На время Юриных приездов я изо всех сил старалась быть «прежней», то есть бодрой, готовой ездить с ним по его делам, встречаться, когда ему удобно, и т. д. При этом вести дом (что всегда входило в мои обязанности) так, словно ничего не происходит. Главное, надо было дать Ю. тот покой и отдых, ту тишину, ту теплоту, которые ему были так необходимы.

Юра видел, что я сдаю все больше и больше. Понимая причины, сокрушался ужасно, что ничего не может поделать. Говорил, что он трус, что испортил мне жизнь, что вот мне бы «любить Андрея Дмитриевича»[114], а не его. Я же ни минуты не считала и не считаю, что он испортил мне жизнь; напротив, безмерно ее украсил.

Об этом я постоянно твердила ему.

И все же после его отъезда я опять в буквальном смысле валилась с ног и доходила до того, что желала, чтобы он разлюбил меня, чтобы я осталась одна. Иной раз мне казалось, что, верно, сама разлюбила, если так ужасно, безнадежно устаю. Проходили эти состояния только тогда, когда нам удавалось хоть несколько дней побыть вдвоем – в Кемери ли, в Ленинграде ли, или, редко, в Москве. Так мы и жили, по мере сил «держа» друг друга.

И вдруг все резко изменилось. В июне 1981 года свалился с тяжелым инсультом мой муж. Он занимался вольной борьбой, и во время тренировки была зажата артерия на шее, что привело к инсульту.

Две недели он был без сознания, и врачи считали, что не выживет. В это критическое время Юра приехал из Ленинграда мне помочь: две недели жил у меня, каждый день ходил со мной в больницу, покупал продукты для больного, утешал, как только мог и умел. В это время у меня жила и дочь, оставив на мужа пятимесячного младшего сына. Уехав же, Юра часто писал письма, очень меня поддерживающие. И какие только аргументы ни находил, чтобы обнадежить, убедить, что все как-нибудь образуется. Чтобы был понятен ход событий, нужно сказать несколько слов об обычных советских – непривилегированных – больницах восьмидесятых годов. Врачи попадались и знающие, и хорошие специалисты, но без тщательного ухода, одними лекарствами, они мало что могли сделать для спасения жизни после обширного инсульта. А ухода как раз и не было. В отделении для парализованных не только не имелось никаких приспособлений, чтобы переворачивать тяжело больных для предупреждения пролежней, но не было даже инвалидных кресел, не было лифта. Пациенты лежали в полной неподвижности, а те, кто начинал понемногу шевелиться, всей тяжестью парализованных тел висли на родственниках. Никто не менял мокрых простыней, да простыней и не хватало, я приносила из дому свои, рвала на полосы, чтобы делать из них пеленки. Помню отчетливо такую картину: в палату няньки вносят тарелки со щами, ставят на грудь каждого больного и уходят. Через полчаса возвращаются, снимают нетронутые тарелки с неподвижных тел:

обед закончен. Если у больного нет родственников, то некому и накормить. Сестры брали взятки, но это не помогало, рассчитывать на их уход не приходилось.

Так что я проводила в больнице целый день, уходя домой только ночью, чтоб поспать несколько часов. Обмывать, вытаскивать из-под парализованного тела мокрые простыни во избежание пролежней, клизмы, уколы, физиотерапию и массаж – все это пришлось быстро освоить. Хотя формального медицинского образования у меня не было, но некоторые познания в медицине имелись – в моей семье было много врачей, а интуиция подсказала остальное. Особенно трудно было поднимать и тащить на себе парализованное тело, когда муж начал делать первые шаги. Когда кризис миновал и ясно стало, что муж будет жить, ему стали давать одно экспериментальное, неопробованное лекарство – естественно, без согласия близких. Состояние мужа тут же резко ухудшилось. Наблюдая различные симптомы и сопоставляя факты, я поняла, что дело именно в новом лекарстве, и потребовала от врачей его отменить. Это вторично спасло его от гибели.

Не стану описывать два первых года после инсульта, скажу только, что жизнь моя абсолютно переменилась. Физические силы мои были к тому времени так малы, что я до сих пор не понимаю, как одна справилась со всем – не только спасла, но и выходила мужа, поставила его на ноги. Жизнь «на коротком поводке» сильно изменила меня. На какое-то время как бы ушел и Юра.

Помню, как весной 1982 года мне удалось пойти в Институт славяноведения послушать его выступление. Он тогда занимался вопросами организации мозга, полушарной асимметрией. Я сидела, слушала и ничего не понимала и не запоминала. Это не было «отключение» от радости слышать его голос, как иногда бывало раньше. Нет, тут было другое: голова не способна была ничего воспринять.

Я очень медленно приходила в себя и приноравливалась к новому укладу дома, где жизнь сосредотачивалась вокруг нужд лежачего больного. Приехала с Украины мама, чтобы отпустить меня на неделю отдохнуть. Я сообщила Юре, что еду в Кемери. Он, не помня адреса, но, как всегда, помня место, где ему хоть раз привелось быть, примчался на два дня меня утешать. Очень меня жалел и всячески успокаивал.

А через два года, в июле 1983 года, случилось еще одно несчастье: средний сын Ю.М. Гриша упал со строительных лесов церкви, которую расписывал. В результате перелом основания черепа, дрожательный паралич правой руки. Ужас и боль у Юры в доме. Инвалидность, растущая инфантильность, столь знакомая

мне по мужу после инсульта. Горькое раскаяние и неизбежное ощущение вины у Юры. Он вспоминал, что ведь у Гриши трижды было сотрясение мозга, но кто обращал внимание на их последствия? Наши судьбы, как сказал Юра, оказались в некотором смысле зеркальными.

Потом он увидит зеркальность еще и в том, что они с Зарой, как и мы с мужем, останутся одни, когда младший сын Леша уедет из Тарту. Юра, как и я, жил теперь на «коротком поводке», а когда в 1984 году вырвался в Москву, то говорил мне, что не в силах улыбнуться. Я записала в дневнике, что в таком состоянии я его еще никогда не видела. Смотреть на него было больно.

Помнится мне одна с виду несущественная деталь, показывающая, до какой крайней степени усталости он дошел. Муж в это время был в санатории, и домоуправление, выполняя свою плановую разнарядку, не сообразуясь с тем, удобно это жильцам или нет, перекладывало у меня в квартире паркет. Квартира состояла из двух маленьких комнат, отделенных друг от друга коридорчиком в два метра. В большей комнате рабочие укладывают паркет, а в меньшей спит на диванчике Юра. Я сижу, как всегда, на полу, держу его руку, боясь шелохнуться, а он спит и не слышит стука молотков… Наверно, вот так на фронте он спал во время канонады.

А жизнь шла… У меня на работе к тому времени сместили прогрессивного директора Книжной палаты П.А. Чувикова. Вместо него прислали руководить книжным делом группу «комсомольских вождей», из тех, которым в принципе было все равно, чем руководить. Во главе Комитета по печати оказались люди, понятия не имевшие, чем занимается Всесоюзная книжная палата и каковы ее цели. Для оправдания высоких зарплат и постов им нужно было, однако, создавать видимость кипучей деятельности. На нас сыпались задания и распоряжения, не имеющие никакого отношения к делу. Только займемся одним, как тут же надо перебрасываться на что-то другое.

Чувиков, действительно заинтересованный в научной работе, еще как-то мог отбиваться от бессмысленных заданий. Новый же директор, напротив, чтобы угодить Комитету, соглашался на все. Я была руководителем сектора. Мой непосредственный начальник Е.А. Динерштейн, милейший человек, к которому мы все прекрасно относились, ни от чего оградить, защитить или отказаться, однако, не умел или не смел…

В 1983 году издательство «Книга» выпустило «Словарь издательских терминов». Я была руководителем авторского коллектива словаря. Статьи, которые писала, проходили с трудом. Помню, что показала Ю.М свою статью «Актуальные

проблемы терминологии книговедения и книжного дела», напечатанную в 1984 году. Просила его поправить, но он только отмахнулся: нечего тут, мол, и поправлять. Однако Юра много помогал мне[115]. Можно сказать, что начиная с 1984 года Юра включался во все мало-мальски серьезное, что мне приходилось делать на работе. Это не касалось терминологии, моей специальности. Но задания бывали самые разные: то надо было разработать принцип издания собрания сочинений, то ведомственных изданий; приходилось решать и текущие проблемы книгоиздательства. Ю.М. знал все. Он часто надиктовывал мне три-четыре-пять страниц. Давал идеи, указывал литературу, где можно было поискать. А самое важное – давал направление. Остальное я могла доделать сама, написав два-три листа с примерами из практики и сделав обобщения. Не стану писать об этом подробно, скажу только, что в тех тяжелых обстоятельствах, которые сложились у нас всех на работе, Юрина помощь спасала меня, ставила на ноги, но и учила тоже.

Да и раньше, когда мне приходилось писать программные статьи по терминологии, подготавливать словари и словники по книговедению, Ю.М. прочитывал их и давал свои замечания. Я уверена, что мой рост на работе произошел благодаря ему.

К 1985 году я наконец свыклась с уходом за парализованным мужем и, как мне казалось, оправилась после своего полубольного состояния. Юра и Зара, как ни тяжело было, тоже привыкли жить с «новым» Гришей. В том же году моя дочь осталась одна с двумя маленькими детьми, и хотелось сколько-нибудь помочь ей.

23

После всего пережитого и Юра, и я чувствовали себя очень уставшими. Уже не хватало сил ни на долгие прогулки, ни на поездки за город. Можно было только вспоминать, как чудесно мы лет десять назад провели время в Дубровицах, когда Юра знакомил меня с имением Дмитриева-Мамонова. Как бродили по осеннему лесу в Монино[116], где сохранилось имение петровского Брюса. Даже слепни, мучившие нас, пока шли по лесу, вспоминались теперь почему-то с нежностью. Воспоминания не были горькими, все еще было хорошо, только деваться нам было совершенно некуда. У меня дома – больной парализованный муж. В доме Б.А. Успенского, где подросли сыновья, стало очень тесно, и Ю.М. теперь останавливался у его матери Густавы Исааковны, давно уже не выходившей из дома. Она его любила и старалась принимать как можно лучше, но он видел, что ей это тяжело, и при своей деликатности не хотел затруднять ее. Таким образом, в Москву Юра приезжал все реже.

Мы с ним отмечали, как все вокруг нас старятся, сгибаются под грузом постоянной усталости. Помню, что и я иногда стала жаловаться ему, что сил нет, когда он звонил из Тарту. Он прекрасно понимал меня, но говорил, что нам нельзя уходить: «Мы подпорки и держим других». О себе же говорил, что всегда и везде чувствует себя стариком, что со мною еще бывает иногда весел и улыбается, а дома мрачен, может не улыбаться неделями. Но, опять-таки, стоило нам побыть вместе хотя бы несколько часов, как мы забывали о горестях, и смеялись, и шутили. Никогда не покидало Ю.М. убеждение, что нам много дано: «с походом и пароходом». Эта присказка осталась у него с тех давних времен, когда в голодные годы его, как он выражался, «лихая» мама повезла всех своих детей откармливать в Крым. Мужик на рынке, что-то ей отвешивая, приговаривал, что дает «с походом и пароходом».

Да, мы еще держались, и Юра говорил: «Голова полна идей и замыслов, а старое тело так быстро выматывается!» Способность к творчеству была для него определяющей: сильнее всего Ю.М. боялся, что «откажет голова». Как Пушкин, он боялся безумия. Помнил – хотя говорил об этом редко, – как, почти потеряв разум, в течение двух лет умирала его мама.

Кажется, еще до 1985 года он позволял себе выпить водочки, хотя врачи ему и запретили это. Выпить Юра любил, и я, шутя, называла его старым пьяницей, а он поправлял: «Старый. Пьяница».

В 1984 году Ю. привез мне сборник Мичиганского университета «Semiosis», в котором вдовой Р. Якобсона была посмертно опубликована статья ученого, рассказ-комментарий к стихотворению Маяковского «Товарищу Нетте». Статья начиналась такими словами: «Прозорливый до ясновидения Ю.М. Лотман дал в своем недавнем труде (Роман Пушкина “Евгений Онегин”) образцовый комментарий не только к сложнейшему из пушкинских творений, но и заодно, и в первую очередь, к методам и задачам комментирования».

12 ноября 1984 года Ю.М. вернулся из Венгрии, где успешно, даже триумфально, выступал с докладом о культуре XVIII века, который за одну ночь переподготовил на французском языке. Вернувшись, сделал блестящий доклад о русском романе в Пушкинском музее в Москве на конференции «Мир Пиковой Дамы». Кто только не пришел на его доклад! Как обычно, он привлек цвет московской интеллигенции.

Но по-прежнему, несмотря на общее признание, Юре продолжали чинить препятствия, мешая ему реализовать свои замыслы. Так, работая в ЦГАОРе[117] и перечитывая письма Лунина из Сибири, написанные по-французски, Ю.М. задумал составить антологию русских писателей, писавших на французском, – «Французский Парнас русских писателей». Он с увлечением работал, готовя книгу для издательства «Прогресс». Но там испугались текстов Чаадаева. Полтора века назад их автора объявили сумасшедшим. Теперь главный редактор советского издательства отказывался включить эти тексты в планируемую Ю.М. книгу. Ю.М. при мне звонил главному редактору «Прогресса» и сказал ему буквально следующее: «Наша квалификация не позволяет нам подписаться под текстами, где не будет Чаадаева». Не пойдя на компромисс, они с Розенцвейгом[118] забрали книжку из издательства.

В 60-е годы Ю.М. воспринял вторжение советских танков в Чехословакию как личное несчастье; в 80-е у него болела совесть за развязанную советским правительством войну в Афганистане. Провоевавший четыре года на фронте и имевший много наград за храбрость, Ю.М. считал, что в Афганистане убивают и его именем.

В 1985 году Ю.М. звали печататься в «Огоньке». Было это за год до прихода туда знаменитого редактора Виталия Коротича, сделавшего «Огонек» рупором гласности и перестройки. Ю.М. прочитал статью Стаднюка в «старом», еще официозном «Огоньке». Она объясняла расстрелы советских военачальников в 30-е годы… белогвардейским заговором. Ю.М. твердо сказал в редакции: «Я ознакомился с материалами “Огонька” и, к

сожалению, ничего в таком роде дать вам не смогу».

* * *

Мне казалось, что с иссякающими физическими силами уходит и наша любовь. Я писала об этом в своих дневниках с сердечной печалью. А Юра, раздумывая о нашей ситуации, не раз замечал, что ситуация не направлена против нас лично, что это энтропия, общий хаос – против всех.

На моем письменном столе в Канаде стоит наша с ним последняя фотография: мы на юбилейной встрече с однокурсниками в Ленинграде в июне 1985 года. Только, кажется, мы с Юрой одни и улыбаемся на ней. Он, как всегда, в центре и меня держит рядом с собой. Это наша с ним последняя встреча в любимом городе нашей юности. Юра настоял, чтобы я села рядом с ним, за один стол с его группой. Настроение было хорошим. Мы сбежали до конца вечера. Были белые ночи, и пошел теплый июньский дождь, любимый нами. И назавтра мы гуляли по городу. Было тихо, тепло, и не думалось ни о чем печальном. Ю.М., как всегда, рассказывал мне о своих замыслах. Он тогда написал важную, как ему казалось, статью – «“Фаталист” и проблемы Востока и Запада в творчестве Лермонтова»[119].

Ю.М. говорил, что Андроников[120] привнес в жанр исследований о Лермонтове несерьезную, развлекательную струю, и теперь принято писать, как он выразился, в духе «Тайн Н.Ф.И.»[121]. Написанная статья имела для Ю.М. принципиальное значение. Но то, что мы принимаем за классику, за устоявшиеся идеи Ю.М., требовало от него раздумий. Написав статью, он не был уверен, что дает правильную оценку Лермонтову. Выражал Ю.М. свои сомнения таким образом: «Не знаю пока, не хрюканье ли это». На военном жаргоне времен Великой Отечественной хрюканьем называли звук, который издавал летящий мимо цели снаряд.

Из Ленинграда мы вместе возвращались в Москву. Было грустно, казалось, что что-то безвозвратно потеряно. Появились в наших разговорах какие-то новые ноты. «Мы ведь не только муж и жена. Мы и душой очень близкие люди», – повторял Юра. И снова – раздумья о смерти. Хотя он не верил в Бога, но часто мыслью обращался к тому, что будет за последней чертой. Говорил, что не боится смерти, что ушло детское «значит, никогда больше?», а появилось что-то космическое: не боится чувствовать себя атомом, который станет землею. Говорил, что иногда воображает себя маленьким огоньком, и очень счастливым. Тогда же сказал,

что будет завещать не говорить о нем речей на панихиде.

24

Начинаю писать о последнем периоде наших отношений, с 1986 года до моего отъезда в Канаду в 1990 году. Самое трудное и самое мучительное время. Ю.М. приводил мне слова Ахматовой, слышанные ею от Модильяни: иногда бывает так трудно, что нельзя думать о самом дорогом. Это вполне относилось и к нам. Мы даже и виделись изредка, но для меня ушло то главное, что держало меня на земле, – чувство Юриного постоянного присутствия в моей жизни. Ведь когда Ю.М. писал мне: «Неважно, где мы живем, мы же все равно вместе», – я думала и испытывала то же самое. Но раньше я знала, что нужна ему, что бы ни случилось в жизни. А теперь это ощущение нужности ушло.

Юра, можно сказать, теперь не приезжал, а только проезжал через Москву. Мы виделись все как-то на бегу, очень мало, и это повергало меня в отчаяние. Причем мне было очевидно, что времени у него действительно нет, но принять это новое оказалось чрезвычайно трудно. Ю.М. понимал, что я чувствую, и не уставал произносить «Я тебя люблю», но это как-то теряло свой прежний смысл. Он соглашался, что если бы удалось хоть несколько дней побыть вместе, то горечь ушла бы, уверял меня, что все еще у нас впереди. И себя уверял в этом, но, мне кажется, уже и сам не верил в это и часто грустно заключал: «Так сложилась жизнь». Или: «Прости меня: я испортил тебе жизнь». Я писала в дневнике: «Прошу у Бога покоя, смирения. Принимать все, как есть, не желать ни другого, ни лучшего».

Разумеется, трудные обстоятельства, болезни близких подтачивали силы. Все тяжелее становился Гриша[122]. Его мучила крупная дрожь парализованной руки. Я советовалась с врачом, лечившим моего мужа, и он, как и тартуские врачи, рекомендовал операцию. Сам Гриша был даже доволен тем, что получил инвалидность и сможет не работать. Ему, к тому же, строилась отдельная квартира…

Когда в мае 1984 года цензура вырезала очередной том «Трудов», то ни Зара, ни Юра уже не могли воспринимать это так тяжело, как раньше. Написанное, говорил Ю., все равно выходит. Зару теперь больше волнуют внуки и непосредственная преподавательская работа.

Ю.М. отдал в «Новый мир» рецензию на книжку Гастева о Леонардо – плод его размышлений о жизни исторической личности, о том, как писать биографию. По-прежнему говорил, что голова работает и идеи кипят.

В Вильянди приезжал Б. Окуджава. Молодой театр ставил его «Путешествие дилетантов». Ю.М. консультировал актеров по изображенной в романе эпохе. После спектакля Окуджава пел новые песни, и Ю. радовался проведенному с ним вечеру. Также как и я, Юра любил Окуджаву. Рассуждая с Зарой о феномене поэта и его популярности, они пришли к выводу, что секрет успеха кроется в языке: Окуджава сумел сделать разговорный язык своего времени языком поэзии. Ю. любил не только стихи-песни Окуджавы, но и внимательно читал его прозу, отмечая, что в ней точно подмечен дух эпохи. Историзма в прозе поэта больше, чем в исторических разысканиях исследователей, пользующихся архивами, говорил Юра. Еще в 1972 году, передавая мне для Б. Окуджавы[123] «Тезисы докладов IV Летней школы в Кяэрику» со своей статьей «Стыд и страх в механизме культуры», Ю.М. сделал на ней следующую надпись: «Прошу рассматривать эту статью как предисловие к еще не написанному письму о Ваших исторических повестях». Я думаю, что роль этого ненаписанного письма и сыграла работа Ю.М. с театром в Вильянди, ставившим окуджавскую прозу.

Летом 1984 года Ю.М. прочитал в ГМИИ доклад «Натюрморт и малый мир». Говорил мне, что стал больше волноваться, когда выступает, и что преодоление волнения хотя и удается ему, но стоит большого напряжения, «стоит дорого», как он выразился. Юра чувствовал бег времени: теперь и Москва обросла воспоминаниями, словно все, что было, было давно…

Грише предстояла операция, и Юра с Зарой и с ним приехали в Москву. С точки зрения невропатологов операция прошла успешно: крупная дрожь в руке сменилась мелкой, с которой можно было как-то жить. Но Юру с Зарой результат операции расстроил. Юра уехал из Москвы раньше, сказав, что лекции горят. Перед его отъездом мы гуляли в Сокольниках, и Юра все повторял: «Не бросай меня», но все равно мы оба чувствовали, что старое ушло без возврата. Дом мой теперь был закрыт для нас. Даже ресторан Дома ученых не работал. Как в сказке Андерсена о Гадком Утенке, зеркальце чистой воды затягивалось льдом, становясь все меньше. Так, за 1988 год мы встретились всего два раза.

Между тем начиная с 1986 года меня заботит судьба Марины, которая одна с двумя сыновьями решила уехать на Запад. Нарастает чувство одиночества. Мы с Ю.М. по-прежнему не ссоримся, но на мои сожаления, что редко видимся, он отвечает: «Так я же не мог», или «Так я же болел», или «Должен же я был увидеться с сестрами». Никогда раньше он не говорил так со мной. Я внутренне вся сжималась… Но в 1986 году мне начинает

казаться, что дело не только в его крайней (теперь привычной) усталости, но что он болен. Он физически все время чувствовал себя плохо, но перебарывал себя и, казалось, не понимал, что болен.

Много говорит о недоделанных работах, о том, что нужно спешить, что нужно больше (как если бы это было возможно!) работать.

Мелкие, но о многом говорящие симптомы только подтверждали мою тревогу: Юра совершенно перестал выносить поезд[124] и все больше страдал от холода. Наши прогулки по Москве мучили его: он беспрестанно мерз. Единственным нашим приютом стал Дом литераторов, где Юра мог побыть в тепле. Там было всегда шумно, накурено, много знакомых, но другого места нам не было. Мои редкие записи в дневнике этого времени полны горечи. Но я радовалась, конечно, что Юра, которого советская власть десятилетиями не пускала за границу, наконец смог увидеть мир. В начале 1987 года он был в Осло, потом поехал на Кубу. Видались мы коротко, на людях. В мае 1987 года вся его кафедра отправилась в Финляндию. Летели через Москву. Он приехал в Москву раньше, специально, чтобы проститься с Мариной, навсегда покидавшей Россию. Подарил ей свой фотографический портрет с автографом.

Осенью того же года в Венгрии на конгрессе по просвещению Ю.М. руководил секцией. Задумал там большую работу по созданию международного словаря эмблематики XVIII века. Шутил, что и мне там найдется работа. (Я к этому времени ушла на пенсию, ухаживала за мужем.)

Вместе с тем он стал осторожно уговаривать меня уехать к дочери, которая жила теперь с детьми в Канаде. Уехать навсегда. Говорил, что одна я в России погибну. Теперь-то я понимаю, что руководило им и что значило «одна»: он чувствовал, что подходит к последней черте, что истекает отпущенный ему на земле срок. 27 января 1988 года мы отмечали наше двадцатилетие, и Юра специально приехал в Москву. За долгие годы, кажется, в первый раз он не был в Ленинграде в День снятия блокады и в день рождения сестры Виктории Михайловны. Я изо всех сил старалась быть прежней, и Юра тоже. Мы ведь оба понимали, что не виноваты, что не чувства ушли, а жизнь лишила нас сил, наша двойная жизнь, болезни близких. Мы тянули сколько могли – и вот исчерпали свои силы.

Празднуя свою годовщину, мы сидели в кафе в ЦДЛ, Юра заказал бутылку шампанского и, как всегда при наших подсчетах, шутил: «…кто отмечает двадцать лет, а кто – сорок». Опять и опять твердил мне, что мы друг другу нужны, где бы ни жили. В

апреле 1988 года я уехала в первый раз в гости к Марине в Канаду.

25

В феврале Юра с Зарой поехали в Мюнхен, воспользовавшись премией Гумбольдта. Они должны были там прожить десять месяцев. Главная цель, как я уже говорила выше, была операция Зары[125]. Я писала ему в Москву до востребования. Мои письма из Москвы почему-то пропадали, что причиняло Юре тоску и беспокойство. Последнее письмо от Юры пришло, датированное 9 мая 1989 года, а потом – ни строчки!

И тут вдруг – как снег на голову! От племянницы Наташи узнаю, что Ю.М. перенес операцию. Госпитализировали с инсультом, а обнаружен рак! Удалена почка, но теперь поправляется! Значит, давно мучившие его «почечные колики» оказались раковой опухолью, не диагностированной в России…

Осенью 1989 года мы с мужем снова должны были ехать в Канаду. Туда мне пришли от Юры два таких больных письма! Он писал, что возвращается к жизни, что интеллект не пострадал, что «верный друг Зара спасла его»[126]. Как только мы вернулись в Москву (в ноябре), я звонила в Ленинград, но узнать детали не удалось. Подробности, и особенно прогноз, я узнала от жены А. Осповата Лины. Она обещала передать Ю.М., что я звонила.

Мне ли не знать, что делает инсульт с человеком! Юру задело не очень сильно, гораздо опаснее был прогноз с метастазами. Вероятно, немецкие врачи спасли ему жизнь, продлив ее еще на четыре года.

Вернулись Юра и Зара назад в Москву 30 ноября и завтра же должны были ехать в Тарту. Юра позвонил мне вечером по приезде. Голос был слаб, непривычен, не его голос. Я чувствовала, что он совершенно не свободен. Позже это объяснилось: Зара не отпускала его от себя ни на минуту – в результате инсульта он потерял боковое зрение, и она, естественно, боялась за него, особенно в Москве.

Верный себе, Ю.М. не уступил ни инсульту, ни раку и продолжал работать. Еще до болезни он задумал провести в Тарту конференцию, посвященную 200-летию Французской революции, и осуществил задуманное. Не только сделал свой доклад, но еще и провел прения по докладам коллег. Планировал также турне по Европе с чтением лекций.

Иногда звонил мне в Москву. Если попадал на моего мужа, спокойно разговаривал с ним. Мне передавал приветы от Зары, просил прислать ей какое-то лекарство. Звонила и я. Если Юры не было дома или он не мог подойти, я разговаривала с Зарой, которая охотно и подробно рассказывала мне, как Юра себя

чувствует.

19 февраля 1990 года я впервые увидела Юру на экране телевизора. Прошел год с тех пор, как мы виделись в последний раз, и, боже мой, как он переменился! Как осунулось его лицо, как весь он похудел и постарел! Я глядела не него и тихо плакала: увидеть его на экране – тоже свидание!

Время было переломное. Еще год, и строй, погубивший миллионы жизней, рухнет; СССР развалится, уйдет в небытие. Ю.М. слышал «гул времени», предчувствовал катаклизмы, назревающие внутри общества. Непримиримость, ненависть, православный национализм, монархизм, антисемитизм (стоит вспомнить общество «Память») – все то, что долго сдерживалось диктаторским режимом, теперь беспрепятственно выплескивалось наружу, определяя тон жизни и стиль общения людей.

Обращаясь с экрана к миллионам сограждан, этот больной, на грани последней черты человек призывал к взаимной терпимости, основанной на уважении иного, не совпадающего с твоим, мнения. «Различие в природе – данность, – говорил он. – Люди должны быть различны и имеют право думать по-разному. Если бы все были одинаковы, – как если бы все были однополы, – это была бы катастрофа. За инакомыслие нельзя мстить, нельзя проливать кровь, нельзя отвечать насилием на насилие».

«Мы все на одном корабле, – говорил он. – И или нам плыть вместе, или тонуть». По сути, он проповедовал нравственные основы создания нового общества на новых, почти не испытанных Россией, демократических началах.

Зимой Юра вновь начал читать лекции: шесть часов в неделю. Многочисленные мелкие инсульты убили в нем способность к чтению и письму, и теперь на лекциях единственным подспорьем ему была феноменальная память.

Зимой же Юра с Зарой посетили Бельгию. Летели из Ленинграда; увидеться нам не удалось, но Юра звонил по телефону и снова уговаривал меня ехать в Канаду, говорил, что все будет хорошо, что не надо бояться, а надо сказать себе: так изменилась жизнь…

Я наконец решилась. Отъезд в Канаду был назначен на октябрь, и я поехала в Ленинград проститься с друзьями, проститься с любимым городом.

15 апреля 1990 года поездом из Таллина поехала в Тарту, чтобы проститься с Юрой. Опасалась, что это последняя возможность его увидеть.

Юра встретил меня на вокзале с фрезиями в руках. Квартира их на Лаулупео показалась мне мрачной, темной. Светлым был только кабинет Юры. Я пробыла в нем так мало времени и так

жалею об этом. Поставила фрезии в вазочку в Юрином кабинете, посмотрела на полки с книгами, на его машинку на низком журнальном столике, на кресло… И вышла. Почему? Зачем? Старалась быть с Зарой, чувствовала себя неловко. А теперь вот жалею, что не задержалась подольше в его кабинете. Пришли Леша с Мартином и Кая с Алиной. И с ними не поговорила. На кухне студент (а может быть, аспирант) топил печку. Зара работала в своей комнате. Юра как-то очень решительно и даже, мне показалось, резко сказал ей: «Мы с Фриной пойдем погулять». И мы с ним около часа погуляли в парке, который, так мне показалось, начинался у самого дома. Когда вернулись, Мартин все так же играл в песке возле дома, Алина тихонечко лежала на кровати в комнате Зары, а Зара по-прежнему работала. Я была смущена, что-то перекладывала из своего ужасного чемодана в подаренный мне Юрой лучший, а переночевав, даже что-то забыла у них из своей одежды (невиданное для меня дело!). Юра потом с кем-то послал мне забытую вещь в Москву.

Зара опять рассказывала мне подробности болезни Юры, как все это было в Мюнхене: Юра не сознавал, где он. Ему казалось, что это война, что он попал в плен к немцам. Зара говорила, что теперь, когда поняли, как он болен, сделали его, наконец, членом эстонской академии, и что в Бельгии он получил звание профессора Honoris causa.

Я думала, что не увижу больше Юру, но судьба дала нам еще один шанс повидаться. Летом Юра с Зарой отправились на съезд славистов в Лондон. Возвращались из Англии через Москву, и я навестила их у Осповатов. Юра выглядел хорошо, гораздо лучше, чем до операции. Меня только поразило благостное, несвойственное ему и так знакомое мне после инсульта мужа выражение лица. Осповатов не было в городе, еды в доме тоже не было; помнится, мы втроем пили чай с колбасой. Я принесла виноград и конфеты. Зара сказала: «А, такие я как раз люблю!». Зара любила сладкое, но у нее был диабет и конфеты ей есть было нельзя, но Юра не среагировал.

Юра делился новыми планами: организовать в университете русский факультет для студентов из трех балтийских республик, учить семиотике иностранных студентов – зарабатывать валюту. Об Англии говорил мало. Сказал, что его доклад квалифицированно могли бы судить человек пятнадцать, но они заняты своими проблемами. В ту же встречу Зара рассказывала мне, как Юра болен, как не помнит, когда и какие надо принимать лекарства, как ей с ним трудно. И все приговаривала: «Вы же знаете Юру! Вы можете его уговорить». У меня именно тогда появилось необъяснимое чувство, что она каким-то образом

передает его мне. Когда я узнала о ее смерти, ощущение, что она чувствовала свою близкую кончину и как бы завещала мне заботиться о Юре, перешло в уверенность.

Оказалось, что в Англии у Юры украли портфель с бритвой и «Семиотиками». Нужен был портфель, и надо было добыть какие-нибудь сумки, – подарки, купленные в Англии, переложить было некуда. Мы с Юрой отправились покупать сумки в кооператив, а портфеля, конечно, достать не могли. Я вспомнила, что у меня остался один от мужа. Решили взять такси, ехать ко мне за портфелем.

Дома отдала Юре портфель и остававшуюся у меня писчую бумагу. Отдала ненужные мне теперь – в связи с отъездом в Канаду – научные книги. Пусть Осповат отдаст своим студентам. Побыли у меня недолго. Зара звонила, сказала: «Если он с вами, я не беспокоюсь». Юра роптал, что Зара мучает его опекой, не дает выздоравливать самостоятельно. Я, как всегда, напоила его чаем. Он отдохнул у меня немного, и мы опять, в последний раз, слушали нашу любимую музыку. Как и двадцать два года назад, говорил мне самые родные, самые теплые слова любви… всячески ободрял, просил не уходить в прошлое, а еще жить, путешествовать, когда окажусь в Канаде. Не позволял мне думать и говорить, что видимся в последний раз. Неожиданно сказал, что, может быть, был не прав, отвергнув меня в 1949 году, что теперь-то понял, что мы могли бы прожить вместе очень счастливую жизнь. Ведь не поссорились же за двадцать два года ни разу.

И, в который уж раз, говорил, что завершил какой-то этап, что переходит теперь к новому. Книжку о культуре XVIII века, которую надиктовывает Заре, он закончит быстро, осталось всего листа четыре. Но чтобы все успеть, ему нужно лет пять-шесть. Уверял меня, что немецкие врачи дают ему еще десять лет жизни. Обманывал, обманывал меня специально, теперь-то я знаю это, а тогда так хотелось верить ему! Ему, а не Лине Соломоновне, сказавшей мне правду, что жизни всего два-три года… И опять о главном – что смерти не боится, что это как длинный-длинный коридор. Идешь и по очереди снимаешь одежки. В конце – последнюю. Не оглядываться и не жалеть одежек.

И когда я посадила Юру в такси и он уехал, я – чудо из чудес! – как долгие-долгие годы, опять чувствовала себя защищенной, спокойной, не боящейся жизни.

Это и было нашим прощанием.

Последнюю короткую встречу даже нельзя считать свиданием с ним. 24 сентября я встречала его и Зару на вокзале. Они приехали в Москву перед своей последней поездкой в Италию на

операцию Зары. Назавтра я еще раз пришла к Осповатам. Волновалась так, что по дороге упала, пальто выпачкалось в грязи. (Потеряла сознание от волнения, что со мной случалось в жизни и раньше.) У них была суета, все время приходили какие-то люди. Поговорить нам с Юрой не удалось. Потом они с Зарой проводили меня до метро. В первый раз – за двадцать два года! – Юра не оглянулся, когда я вошла в метро. Медленно, под руку с Зарой, Юра прошел мимо, как проходят тени. Зара как бы уходила в небытие. Она скончалась всего через месяц после этого последнего прощания.

Ни его, ни Зары я больше уже не увидела.

5 октября 1990 я вылетела с мужем в Канаду.

25 октября 1990 – трагически, на пятый день после вполне успешной операции по замене сустава в бедре, неожиданно скончалась Зара.

«Фрина, пожалей и помолись обо мне. Зара умерла после операции в Италии» – вот начало Юриного письма[127], в котором сообщал он мне о несчастье.

Если бы я знала предначертанный ход событий, я, конечно, никуда бы не уехала.

Когда-то Юра говорил мне: «Когда умру, обе пойдете за гробом. Я эгоист, хочу умереть первым». Я уверена, что Юра знал, сколько ему отпущено, потому готовил Зару к своей смерти.

«Себя-то не приготовил», – писал[128]он мне в Канаду.

Трагичны его письма последних трех лет жизни. Юра писал, что новой жизни не понимает, что живет прошлым. Что не нужен детям и внукам, что совершенно одинок. Невозможно поверить, что он радовался больнице, потому что там была горячая еда. Да, много раз раньше он говорил мне, что в старости остается только работа. Но разве он мог знать, что его дети, внучки, невестки, Пирет, которую он обожал, не найдут для него времени, оставят его умирать одного? По-прежнему просил меня врастать в новую жизнь, и, как я ни просила его, не позволял мне приехать: «Этой жертвы я принять не могу. Невозможно думать, что будет с тобой здесь, если я умру»[129]. А мне все равно нужно было приехать, несмотря на его запрет: помогать, жалеть, держать его руку, когда были боли…

В 1991 году Юра прислал мне две последние свои фотографии. На одной из них он стоит у себя в кабинете с книгой в руках. На другой – он на фоне «пушкинского уголка» своей библиотеки. Состарившийся, весь седой, как-то даже ниже ростом. Но твердой рукой на обороте первой фотографии пишет: «Я теперь такой». И я внутренне слышу его твердый голос. Я знаю этот его голос: когда надо принять как безусловную данность то,

что происходит не по его воле. Инсульт лишил его возможности читать и писать, но все же, как ни трудно, он сам пытается написать мне письмо: «Воображаю, как… при твоей грамотности тебе тяжело читать письмо, полное ошибок. Прими как есть».

С той же твердостью он решил не сообщать мне, что умирает, обещав приехать за год до смерти. Верил, что мы еще увидимся на этой земле.

Когда я уезжала в Канаду, то казалось ясным, что болезнь изменила Ю.М. необратимо. Я не совсем отдавала себе отчет в том, что перемены вызваны сузившимися возможностями, непривычной для него зависимостью от других. Но жизнь в чужой стране изменила и меня. Думаю, этого не понимал и Ю.М., все еще обращаясь ко мне прежней… Та моя жизненная сила, которую он призывал отдать дочери, покидала меня.

Оказалось, что так называемая спокойная жизнь, без угроз, без хаоса, вполне, по моим меркам, благополучная, то есть дающая то «коренное благополучие», которое одно, как Юра думал, и есть важнейшее, – оказалось, что всего этого недостаточно для душевного равновесия. Полное отсутствие друзей, знакомых, привычных занятий сказывалось… Но я не сдавалась: учила язык, пыталась наладить хоть какие-то знакомства, посещала курсы в университете, даже подготавливала выступления по музыке, занималась плаванием, физическими тренировками, читала, слушала музыку, старалась. Именно тогда я осуществила свое желание и поселилась в отдельной от мужа квартире. Мы жили рядом, и я по-прежнему помогала ему, но теперь имела возможность отдыхать. Муж к этому времени достаточно восстановился и даже ездил с олимпийской канадской командой по вольной борьбе смотреть соревнования в Нью-Йорке.

Я боялась, что Юра, перенесший инсульт, из солидарности осудит мое решение. Он его одобрил безусловно. Написал мне[130], что имею на это право, что стоит того, если такой ценой куплю себе покой. Про себя я думала, что обрадую его. Видимо, так оно и было. Когда Ю.М. исполнилось семьдесят лет, он, после смерти Зары, не хотел широко эту дату отмечать, я послала ему ко дню рождения из Канады посылку с продуктами. Я знала по его письмам, как плохо в 1992 году обстояло дело с продуктами в только что добившейся независимости Эстонии, а мне так хотелось его, больного, хоть чем-то обрадовать!

И все же письма Юры я читала как-то странно, многого не понимая. (Разумеется, речь идет о письмах до его последних месяцев, до лета 1993 года.) Его приписки с неизменно нежными уверениями я приписывала болезни и не обращала на них

внимания, а его поездки в Венесуэлу, в Прагу мне казались как бы развлекательными, и я сокрушалась, что ко мне в Канаду ехать не рискует. Да, признаюсь, что думала именно так. Боже, боже, как я была неправа! Так мы и жили, не очень понимая друг друга… через океан.

Он жаловался мне в письмах, что не может читать, а вынужден слушать, как ему читают. Диктуя, не имеет возможности перечитать текст, не видит, как связаны части… Именно так, надиктовывая, он создал свой завещательный труд «Культура и взрыв». Не помню, чтобы раньше он так сомневался в качестве своих работ, как в эти три года. Сравнивал себя с курицей, снесшей яйцо и кудахчущей от радости, что снесла что-то важное. То есть не был уверен при окончании работы в ее результатах.

Теперь, перечитав письма в Канаду, я так многое поняла. Мне открылось и то, как Юра тосковал по мне, как нуждался в моем присутствии, как делился со мной самым заветным: замыслами, настроениями, мыслями о жизни и смерти, о детях и коллегах. Пишет[131] мне, например, как тяжело пережил смерть В.И. Беззубова в 1991 году, что любил Беззубова, что тот был человеком смелым. Пишет, как навестили с Мишей одиноких старушек и как после этого у него сердце рвалось от жалости. Пишет мне отовсюду, где бывал: из Венесуэлы, из Швеции, после поездки в Прагу. А как заботится о моей дочери! В каждом письме: «Как Марина?» или «Ты мало пишешь о Марине».

Мужественно поехал снова в Италию. Поездка была ему нужна – Зара скончалась в Италии; пишет, что потом отпустило. Пишет об удачном докладе Миши в Норвегии, волнуется, что не успеет написать все, что задумал… И снова жалуется на одиночество, на то, что никому не нужен.

И опять за работу. Работа, работа, работа – о ней в каждом письме до самого последнего.

В апреле 1992 года он поехал в Ленинград заработать денег. Видимо, там его мучили сильные боли. Ему казалось, что у него рак печени или желудка, – так он писал мне оттуда. Но тамошние врачи уверили его, что ничего, кроме камня в печени, нет, что просто это изношенность организма. Мне писал, что поверил. Или писал так, чтобы утешить? Или врачи не сказали ему правды, как это заведено было в России?

Ю.М. всегда с трудом переносил физическую боль, панически боялся зубной боли, переживал, когда болело горло и садился голос («рабочий инструмент»). Боли измучивали его, а судьба заготовила ему тяжкий жребий: я знаю, какие у него могли быть боли при метастазах. Не изменявший своим понятиям о чести и

хорошем тоне даже в критических ситуациях, Юра просил секретарш выйти из комнаты, когда приходилось терпеть боль. Сокрушаюсь, что меня там не было, что некому было держать его руку…

Юра принял решение прожить последнее отпущенное ему судьбой время свободно, в высоком, в пушкинском значении этого слова: отдаться творчеству – высшему проявлению жизни – и этим зачеркнуть все унижения, всю несправедливость, что пришлось ему вынести. И жил и работал до последнего дыхания. Внутренняя свобода, самостояние человека были определяющими чертами его личности. У него можно было отобрать кафедру, резать «живое тело» его книг и статей, распускать о нем чудовищные сплетни, одновременно хвастая его именем на Западе. Это было доступно властям.

Сломить его никто не мог.

Я так и не знаю, что он имел в виду, когда говорил о «сквозной книге» о культуре, которую хотел «оставить на своем столе» для публикации после смерти. Может быть, это «Культура и взрыв», которую Ю.М. сам считал итоговой? По счастью, ему довелось увидеть ее опубликованной, подержать в руках.

Но даже его многочисленные интервью в газетах, цикл лекций по телевидению, его направленно-просветительская деятельность, когда идеологические распри сотрясали Россию, его прощальная поездка в свободную Прагу, его завещательное письмо с мыслями о кафедре, смелый и очень успешный доклад в Москве, собравший всех его прежних друзей и коллег, – все это завершающий аккорд его мужественной и самоотверженной жизни.

Мне не дано было подняться до полного, скрупулезного понимания трех последних лет жизни Ю.М. Конечно, расстояние и время не сближали нас, но главное было в другом: двадцать два года он был обращен ко мне своим любящим сердцем, своей высокой, человечной душой и, продолжая жалеть меня, мне одной не писал о своем состоянии до самой смерти, не хотел, чтобы я умирала вместе с ним. Теперь я все это понимаю.

Гения нельзя мерить и судить обычными мерками. «Для того, чтобы рассказать о гении, который есть ведь некое чудо природы, надо самому быть им, или, по крайней мере, иметь способность вообразить его образ силой вчувствования» (о. С. Булгаков).

Булгаков же писал о Флоренском, что «настоящее творчество (…) суть даже не книги и слова, но он сам, вся его жизнь, которая ушла уже безвозвратно в век будущий».

Я хотела рассказать о том, что знаю о Юрии Лотмане, что дал он мне и кем был он в моей жизни.

Пусть малая моя лепта послужит воссозданию живых черт, живого образа того уникального явления русской культуры, которым был и навсегда останется Юрий Лотман.

25 марта 1997 года,

Монреаль, Канада

Я держу в руках книгу «Ю.М. Лотман. Письма», в которой им самим явлены «труды и дни», «поэзия и правда» его жизни. После прочтения «Писем» мне ясно, что мои, да и любые воспоминания – лишь слабый и несовершенный к ней комментарий.

20 июля 1997 года,

Монреаль

Из дневника Ф.С. Сонкиной

Некоторые выдержки из Дневника, цитирующие самою речь Лотмана, Ф.С. Сонкина перепечатала на отдельных листах, видимо, считая их объективно важными. В отличие от основного Дневника, где каждая запись, как правило, датируется числом, месяцем и годом, на этих листах проставлены год и месяц, иногда только год. Содержание этих листов воспроизводится здесь не полностью. Те записи, где указаны число, год и месяц, взяты из основных тетрадей Дневника.

* * *

«Знаешь, – сказал он[132] как-то, стоя у окна и задумавшись, – я многое понимаю. Не понимаю только, что такое жизнь и что такое смерть» (декабрь 71 г.).

* * *

«Надо стараться писать ясно о вещах трудных, чтобы привлечь на свою сторону тех, кто ничего не знает. Есть три этапа, которые проходит серьезный исследователь в своих работах. Сначала ему самому многое непонятно, он и пишет непонятно. Позже ему уже все самому понятно, но пишет он все еще неясно. Наконец и ему все ясно и пишет он о сложных вещах – просто» (1971 г.).

* * *

В марте 71 года в Театре на Таганке оказался выходной день, и Юра до ночи просидел у Любимова, обсуждая будущий сценарий о Пушкине. Придумал Любимову, если он примет, такую сцену: в Москве, после Михайловской ссылки, когда Пушкин все рассказывает Николаю I, за стол садятся пять повешенных декабристов, и Пушкин повторяет для них то, что рассказал Николаю. Только после этого читаются стихи «В надежде славы и добра…» (1971 г.).

* * *

Вчера гнусная статья в «Н. мире» Тимофеева[133] вывела меня из колеи не меньше, чем смерть космонавтов[134]. Старый Тимофеев, видимо, не может простить молодому Лотману теоретических изысканий. Утверждая, что первая книжка Юры так многое обещала, а вторая ничего из обещанного не выполнила, он иллюстрирует теоретическую несостоятельность структурализма критическим его воплощением (конечно, никуда не годным!) в работах Зары о Блоке. Может быть, Юре на все это плевать, но я не могу, мне больно, меня не утешают ни мартирологи великих в России, ни его якобы спокойное отношение к перспективе писать «в стол». Господи! Сделай так, чтобы он был великим при жизни – ведь он не тщеславен, пусть будет исключением, сделай его счастливым (1 июля 71 года).

* * *

Одна лингвистка из института иностранных языков дала Ю. прочитать свои рассказы, написанные хорошо, искренно. 1. Первая брачная ночь. 2. Роды. 3. Аборт. Он все приговаривал: «Как мне вас, женщин, жалко! Неужели это все правда?» Еще раз повторял, что написано очень правдиво и потому хорошо (71 г.).

* * *

«У кошек бывает три языка. Один – самый развитой – примерно 10 “слов” для общения с кошками же. Другой – менее развитой и по совершенно другой системе, – там всего четыре “слова”, есть и угрожающие – для общения с собаками. И третий, типа сюсюкающих наших “агу-агу” с маленькими детьми, – для разговоров с людьми, которых кошки презирают и удостаивают как низших вот только такого общения» (71 г.).

* * *

Юра как-то летом на хуторе помог Алеше построить по всем правилам блиндаж, он очень увлекся, и тогда папа сказал: «Я боюсь, что ты станешь милитаристом». – «А кто это?» – «А это человек, который любит войну». Малыш обиделся, долго молчал и только к вечеру, глядя исподлобья, произнес: «Почему ты думаешь, что я глупее, чем есть?» (71 г.).

* * *

Особенно сложен Гриша, он и приносит много огорчений. (…) На вопрос о детях Юра непременно отвечает: «Пьют кровь» (71 г.).

* * *

По-моему, это было в мае 1970. Мы гуляли в Сокольниках. (…) Юра плохо себя чувствовал, болело сердце, и недалеко от Детского городка мы посидели немножко. Он очень устал. Но никогда не знаешь, как с ним себя вести. Если слишком заботиться о его самочувствии, все время остроты типа: «Пока еще дышу», «Ты что – табельщица?» и т. п. Иногда я просто не понимаю, до какой степени – и хожу, молчу, а он – Господи! – еле дышит. А раньше мне казалось, что он, который так любит быстро ходить, из-за меня бредет… Вот ведь… (3 декабря 1971 г.)

* * *

…Пошли с ним погулять на Верхнюю Красносельскую… Был мрачен, голову опустил, молчал. Я взяла его под руку, привела его в небольшой садик посидеть, ни о чем не спрашиваю. Он мне: «Ты не обижаешься на меня?» – «Ну что ты, Юрочка, я – обижаюсь?» Знаю, что придет в себя, если захочет, расскажет (1971 г.).

* * *

Скучает ли он по Ленинграду? Ю. ответил, что они «поссорились», что город для него как что-то бесконечно дорогое и больное, о чем не разрешаешь себе думать (71 г.).

* * *

Мы вчера говорили о смерти. Он в этот раз, как всегда с улыбкой: «А знаешь, не хочется подыхать. Я понял, что могу кое-что сделать еще и знаю что» (2 июня 71 г.).

* * *

О моих дневниках: «Ну зачем ты это пишешь? Не нужно». Говорю ему: «Я Марине хочу оставить. Ей тоже твои слова нужны». Юра в ответ: «Мы с тобой дышим одним воздухом, и никто не знает меня так, как ты, это – правда. Но только, ради бога, не перебарщивай. Не надо панегириков, у меня столько недостатков. Я обыкновенный человек». А я: «Ты же знаешь, когда ты уезжаешь, у меня свет гаснет. А так я перечитаю твои слова и утешусь». А Юра: «Ну ладно, только не пиши обо мне, как об апостоле» (1972 г.).

* * *

«Мне бы еще лет 10 прожить! Очень разбрасываюсь. Надо сесть в Москве и серьезно подумать, чем заниматься в ближайшие два года. Я на каком-то переломе, на пороге большой работы» (июнь 72 г.).

* * *

«Если я умру, думай, что я умер от счастья любить тебя. Привык душою к тебе» (1973 г.).

* * *

Рассказ об отце, который был очень верным мужем, но любил одну даму – детского врача их семьи. Долго не виделись. Отец умер в блокаду 43-го. И в час его смерти – а это был страшный, непроходимый, блокадный город, и жили они на углу Герцена и Мойки, а женщина эта на Загородном проспекте – женщина интуитивно почувствовала и пришла к отцу, через весь город, чтобы проститься (74 г.).

* * *

До войны Ю. был в семинаре М.К. Азадовского, а когда вернулся, еще в гимнастерке, М.К. его обнял. Стоявший рядом Пропп сказал: «Это, кажется, брат Лидии Лотман?» А потом поправился и добавил: «Нет, он сам Лотман». Юра слова Проппа помнит с гордостью (1 февраля 1975).

* * *

«Хорошо работается. Все видно, как через увеличительное стекло». Задумана «сквозная» книжка о русской культуре, работа лет на восемь. «Не публиковать при жизни, а то скажут: умер, и все уже отдал» (июнь 75 г.).

* * *

На войне его называли «маленький ишачок», потому что не мог бегать, а взвалить на себя и нести мог сколько угодно много. Рассказывал, как его ночью 43 года «в плен брали» и как чуть не поставили к стенке за кражу пистолета. Поразительно сколько всяких подробностей о людях, местах, настроении он помнит (75 г.).

* * *

«Не бойся слов! Вот я умру, а ты должна жить, и грустить не надо» (1975 г.).

* * *

Ю. прочитал воспоминания Нат. Ильиной о Чуковском. Сказал, что там все правильно, но она рисует его со взгляда очень мелкого человека, а о Чуковском так нельзя. Сам он встречался с Чуковским. Тот не одобрял его структуральных писаний, а нравилось Чуковскому очень, как пишет Зара Минц (язык ее работ) (76 г.).

* * *

С большим принуждением, нехотя говорил о том, что живет не так, как надо, что не хватает смелости. Никто не чувствует, как он нерешителен. Только он сам знает. Свою эту несмелость постоянно скрывает. Но несмел во всем стиле жизни, в поступках (июль 76 г.).

* * *

Опять был разговор о грустном. Оказывается, вот каким образом значит: «тебе сообщат». Он собирается составить список тех, кого надо оповестить в случае его неожиданной смерти. «На похороны не успеешь, а так приедь, поплачь, станет легче, а потом не грусти…» Сегодня сказал, что так не хотел бы лежать на кладбище, а вот где-нибудь над обрывом… а я спросила – куда же будут дети приходить? Он ответил, что вот он не ходит, и они не будут. Веселый сюжет… (24 августа 77 года).

«Не беспокойся, когда буду умирать – позову, что же: тогда и карты на стол…» (77 г.).

(Приписка рукой Ф.С. от 6.1.97 – «не позвал…»)

* * *

Юрочка, расставаясь, все просил меня не болеть, а когда я сказала, что теперь не болею после его отъездов, – бросил: «Болеть и скучать!» (30 марта 77 г.).

* * *

«Мы, как приговоренный к повешению, не верящий, что казнь состоится, и думающий о том, что ему ботинки жмут, – так и мы: не верим, что завтра не увидимся, что разлука на несколько месяцев, а ведь надо бы трезво все обсудить. Не можем. Мы никогда этого не делаем» (2 февраля 1977 г.).

* * *

Ю. считал, что у него много недостатков: одним никогда не страдал – завистью. Это чувство ему совершенно чуждо. Думает, что судьба много ему отпустила, и неизвестно, за что. И что он всегда помнит об этом (сентябрь 77 г.).

* * *

Он в метро уступил даме место, а она ему: «Сиди, дед!» (23 апреля 77 г.)

* * *

«Меня только Кэрри[135] понимает, а больше никто. Она на меня не лает, какой бы злой я ни был. Глядит и глазами спрашивает: “Ну что, устал? Даже погулять со мной не можешь, да?”» (77 г.).

* * *

Сказал мне однажды, что Кэрри в старости молила его глазами: «Сделай, чтобы я была молодой», а он ей глазами же отвечал: «А меня кто сделает молодым?» (77 г.).

* * *

«Ах, как я устал и никак не могу отдохнуть» (апрель 77 г.).

* * *

Поразительна в Юре эта отзывчивость на всякое горе-беду. Однажды, мы только успели поздороваться – в один из этих августовских дней – и сразу же он: «Мне так жалко твоего Андрея[136], я думал о нем». Это по поводу кожной болезни Андрея (11 сентября 77 года).

* * *

«Люби меня, а если разлюбишь, соври, что любишь» (повторял несколько раз).

Я вспомнила наши обеты девять лет назад: не врать, если разлюбишь. «Я стал слабым. Очень сдал за прошлый год…» (2 апреля 1977 г.)

* * *

Мы говорили о том, что худо без веры жить, плохо терпится во всяких невзгодах. Особенно, он заметил, когда несчастье постоянно и бессмысленно (апрель 1977).

* * *

Ему очень нравится роман Окуджавы. О вставной главе о Николае I говорил, что вот пишут литераторы романы – дрянь, хотя по мемуарам и источникам, а у Булата язык архаичен, (…) – а получается удивительно живо и правдоподобно – талант! Собирается написать ему – ведь не прислал тот ему сборничка, хотя Юра ему – 2 свои статьи (январь 1977 г.).

* * *

О Пушкине и Дантесе. У Ю. своя версия гибели Пушкина. Пушкин был ненавистен Дантесу, Долгорукову, Геккерну тем, что любил женщин. Дантес – выходец из знаменитой французской военной школы, был мужеложцем, как и многие в этой школе. Он был «женой» Геккерна, и любить женщин в его среде почиталось «кучерским» занятием. И в Наталью Николаевну он влюблен вовсе не был. А она, бедняжка, в 25 лет влюбилась в него без памяти! Пушкин ненавистен им был тем, что нравился женщинам… (77 год).

* * *

Меня очень поразил его рассказ о том, как трудно у них русским студентам: все на нем<ецком?>[137] языке, не умеют сами организовать досуг, надо много работать – не выдерживают, хотя конкурсы небольшие. Главное, что странно: мало кто специализируется по литературоведению (отчасти он спецкурс читает, чтобы заинтересовать) – в моде методика, по коей диплом можно состряпать в 2 недели. Удивительно! (2 сентября 1977 г.).

* * *

Какая непритязательность: жара, холод, метро, голод – все терпит, ничего не просит, не жалуется. Я иногда забываю, с каким человеком имею дело: такой домашний, милый, свой, ребячливый. (5.9.77 г.)

* * *

Юра смеясь, рассказал такую историю. М. Маенова сказала, что Пятигорский стал совсем сумасшедшим. По докладу, который

она слушала в Нью-Йорке. Хотя другой, американец, докладом восхищался. Сделав доклад, Пятигорский поблагодарил за внимание, «тем более, – сказал он, – что вы ничего не поняли». Этим замечанием он сделал высший комплимент, ибо понять и дурак может, а вот не понять… (78 г.).

* * *

Он рассказывал мне в Монине в связи с монографией Пушкина (…) что и дневники Вульфа нельзя читать буквально: это не перечень действительных событий, это то, как они друг друга воспринимали, какими хотели бы видеть события, etc. (78 г.).

* * *

Радегаст Паролек, чех, бывший выпускник нашего университета, рассказал мне в Праге, что там наконец выходит книга Ю.М. «Структура художественного текста», в переводе его жены Ольги и с предисловием Дрозды, которое подписал Паролек (!!). Книжка пролежала без движения 5 лет, потому что Лазарев из Союза (!!) его не выпускал. И как вообще в Чехии плохо, даже антисемитизм, которого никогда не было. Паролек, как и Ю., верил, что время всех разоблачит, «ведь они везде ставят свои подписи» (октябрь 78 г.).

* * *

Была и есть еще одна особенность наших отношений. Я всегда понимала (и сейчас), что он – натура исключительная, человек поразительно целеустремленный и чернорабочий в науке. При этом – профессор в 10 вечера бегает на вокзал (ибо все закрыто) за хлебом, за картошкой, после лекций его портфель с двумя томами академического Пушкина наполняется всем необходимым для насыщения 6 голодных взрослых человек. «Периодически бывают домработницы: два праздника: когда приходят и когда уходят…» (78 г.)

* * *

В день нашей годовщины дошли до Маяковской и простились в метро… говорил мне по дороге, что не ссоримся все 10 лет – и стало еще лучше, потому что «слишком долгий затяжной прыжок без парашюта – долго ждали» (27 января 1978 г.).

* * *

Бывает, говорит мне: «Я старик», и это кокетство, а бывает – правда. (1978 г.)

* * *

Юрочка приехал в пятницу – 22. Оказывается, 20 «собирал яблоки» (весь Университет на картошке, его кафедра яблоки собирала) и выехать не смог. (25 февраля 78 года.)

* * *

У Юрочки совсем нет денег – даже долг мне не отдает, и не помнит – сколько. Мне абсолютно не жалко этих 30 руб. (он говорит: то 10, то 25), но больно за него… М.б. он рассчитывал на ВААП (он звонил от меня, спрашивал, не поступили ли деньги, т. к. книжка вышла в Японии, Италии, статьи в Америке), но денег нет (25.2.78).

* * *

Я очень люблю нечаянные радости. Его доклад в Ин<ститу>те славяноведения 27 – в его последний день[138] был прекрасен. Я сидела и не могла наслушаться. О заграничном путешествии Карамзина по «Письмам русск<ого> путе<ешествен>ника». Я надеялась отдать ему завтрак на дорогу и бежать. А он – в 10 минут раскидал всех и ринулся бежать со мной. Была Оля Ревзина (это Ревзиновские чтения) с сыном, вел В.В. Иванов, было много молодых, Падучева, Шрейдер – из ВИНИТИ, Николаева и др. (…) Я сказала, что потрясена докладом, – он посмеялся, что я говорю ему то же, что он старому Зайончковскому после выхода очередной книги: каждая ваша книга лучше предыдущей. Но это все шутки, а серьезно – ведь он и сам знает, что доклад прекрасен. (30 марта 1978 г.)

* * *

«Иногда дома сижу, запершись в кабинете, и ничего не делаю, без мыслей, опустив голову. Забраться в свою нору, забыться» (4 марта 79 года).

* * *

«Вечером думаю иногда: не проснуться бы утром» (1979 г.).

* * *

«Надо жить с улыбкой и если меня не будет. Надо уметь в жизни терять. Только улыбающиеся люди могут помочь другому. Надо помогать. Есть Федя[139]. Надо хотеть новое платье. Надо иметь мужество жить» (4 марта 79 г.).

* * *

«Я был счастлив, много прожил, ты не должна страдать, если я умру. Поплачь, конечно, но не терзай себя». Это уже не в первый раз (2 июля 79 г.).

* * *

Карамзин двигается с трудом: много исправлений, куда-то потеряли часть комментария, котор.<ый> делал Генин? (нрзб). Нигде не могут найти – ученые! Сказал дома, что поехал в Москву «реанимировать» Карамзина (2 июля 79 года).

* * *

Редко бывает у родителей на кладбище. Трудно на Охтинском найти могилу. А недавно – быстро нашел, словно кто-то вел его. Потом зашел в церковь. Позавидовал работягам на кладбище, они там сидели и водку пили. Захотелось к ним. Нет, он не будет как Эфроимсон (генетик, дядя Пятигорского)… Тот в 70 лет каждый день ему говорил в Ленинке: «Так хочется быть бродягой, одному, ни с чем не связанным (шутишь, как только

вши заведутся, быстро убежишь!), бродить по свету». Ю. устал от ответственности, от необходимости быть сильным, всех утешать. Все время грозится бросить заведование кафедрой Валерий Ив. Беззубов – интеллигент, не выносит хамства. Юра его отпаивает коньяком. А на фронте – когда оставался один – тогда легко. В ранце всегда книги. Учил на войне французский (июль 79 г.).

* * *

Юра так легко и весело вспоминает войну, свою молодость (7 июля 79 г.).

* * *

По поводу исключения статьи из Блоковского тома Ю. рассказал мне такой анекдот: когда великого французского композитора XVIII века Рамо причащали, священник потребовал во имя спасения его души бросить в огонь его крамольную оперу. Тот сразу же согласился. Ученик композитора в ужасе вскричал: «Маэстро! Что вы делаете?» На что композитор ответил ему тихо: «Не волнуйся, сын мой. У меня под подушкой второй экземпляр». «Второй экземпляр» статьи уже пристроен в итальянском сборнике (25 июля 79 г.).

* * *

Целая история с письмами Карамзина. В сущности, все разногласия с «Наукой» сводятся к тому, чтобы Бог писать со строчной буквы. В остальном они пошли бы на сохранение старой орфографии. Но именно в этом им Юра или Б.А.[140] уступить не хотят и не могут. И тут у них разные планы: от уступки, но с предисловием авторов, где было бы сказано, что, несмотря на то что у Карамзина «Революция» и «Бог» с большой буквы, редакция «Памятников» решила давать все со строчной, – до научной статьи о принципах издания памятников XVIII века. Главный бой там будет 2 ноября. Многое зависит от Ознобишина – ученого секретаря, а тот: и барин и статья «Ленин и Брестский мир», и эстет – и дети бросили – всего намешано. И неведомо, где еще служит?[141] Чего ждать? (19.10.79).

* * *

«Я знаю, что старею. Что же? Пили вершки, надо пить и то, что на донышке».

После кино пили кофе, и я смотрела блестящее начало его статьи о принципах издания памятников XVIII века, которую они с Б.А. готовят для ОЛЯ (19.10.79).

* * *

Юра писал мне в апреле: «Ни один человек на свете не может понять, как я устал. Даже лекции стал читать хуже…» Я приготовилась говорить с ним серьезно. Из этой затеи, как и следовало ожидать, ничего не вышло и не могло выйти (12 мая 1980).

* * *

«Онегин» выходит, а вот с биографией плохо: хотят, чтобы он исправлял, а он не хочет, готов забрать рукопись. Жалко. Собирается писать для Восточной редакции «Науки» книгу «Запад и Восток». Уже кое-что придумал. С Карамзиным – ничего. Написал учебник для эстонской школы, который самому нравится. И сейчас – с удовольствием – пишет второй: книгу для чтения эстонской школы по русской литературе (1980).

* * *

Он сказал, что в последний год почувствовал себя старым, и если умрет, чтобы не плакала, не сокрушалась, он не хочет, «ибо был очень счастлив, больше, чем заслужил». Как всегда удивлялся, что «отошел» в Москве, что только со мною молодеет, смеется, всегда же и везде чувствует себя стариком (3 марта 1980 г.).

* * *

Сложности с обеими книжками в «Просвещении» – пришел новый директор издательства. И поскольку читать ему там нечего – он читает Юрины книги. Одно – непонятно, другое – сложно. И идет уже третья корректура. «Или корректура – или книжки», – говорит Юра. С «Карамзиным» тоже сложно. Все обсуждения,

обсуждения. (…) Он бесконечно много раз повторял: «Люблю тебя, очень». Я спрашивала, что делать мне, чтоб ему было легче. – «Будь». «Ты – будь». Я есть, я стараюсь, чтоб ему было тепло. В этом вся моя роль (3 марта 1980 г.).

* * *

Некая дама, социолог из Академии общественных наук, на одном совещании упрекала Юру за то, что он не ответил на ее просьбу выслать ей его книгу: она, мол, взяла ее в библиотеке, а потом потеряла. Юра письма ее не получил, но если бы и получил, не смог бы выслать: нет лишней. Спросил даму, о какой же из его книг все-таки идет речь. А дама в ответ: «Что-то о культуре. На плохой бумаге». Ю.М. ей заметил, что все его книги выходят на плохой бумаге (ноябрь 1980 г.).

Письма Ю.М. Лотмана и Ф.С. Сонкиной

21 апреля 1967 года [142]

21/IV-67 года

Юра! Здравствуйте!

Прочитала во вторник в «Известиях» статью о Вас и работе Вашей кафедры и искренно порадовалась за Вас. Я в общем слежу за тем, что Вы печатаете, всегда знала, что Вы талантливы и на 10 голов выше нас – Ваших товарищей на курсе.

В МГУ уже – неофициально – обсуждают на филфаке эту статью, ведь ничего подобного они не делают. И многие об этом сожалеют. Статья и написана талантливо. Особенно приятно было в конце ее упоминание о двух уже ушедших наших профессорах[143], которые каждому – и мне – много дали. Я знаю (не из газеты), что у Вас три сына, а у меня дочь, к великому моему огорчению, совершенно «гуманитарная»: пишет плохие рассказы, хорошие сочинения, кажется, неплохо чувствует язык. Я вот попыталась узнать на филфаке, но они – единственный факультет МГУ – никак не работают со школьниками (девочка в 8 классе).

Я работаю в школе – почти 17 лет. В Ленинграде бываю редко, в Ваших краях – почти не бываю. Из университетской «лирики» вспоминаю 2 обстоятельства: первое – Ваше предложение сдавать за меня все экзамены (я очень трусила, хотя знала, как все посредственности, все на 4–5), и еще в редкие наши беседы – всегдашние понукания себе: «не смей говорить», ибо в 19 лет все равно чувствовала себя на высоте, но, открыв рот, произносила феноменальные глупости, хотя, кажется, излишней глупостью и не страдала.

Впрочем, вряд ли Вы помните меня, и ни моя девичья фамилия (Гольдман), ни мое имя (Фрина), по-моему, Вам ничего не скажут.

Но я просто надеюсь, что от одного из Ваших старых товарищей по университету Вам будет приятно получить несколько строк поздравления по поводу огромной и успешной работы. Жену Вашу – Зару – помню только внешне, ведь она, кажется, была на курс старше.

Приветы ей и желаю Вам в преддверии Мая всего самого доброго и самого лучшего и в работе и дома.

Фрина

2 мая 1967 года

Здравствуйте, Фрина!

Спасибо за письмо – мне было радостно и грустно его получить. Только напрасно Вы напоминаете мне свою прежнюю фамилию: я и почерк Ваш помню. Итак, у Вас дочь в 8-м классе – мой старший сын тоже. Время идет. Спасибо, что вспомнили.

Будьте здоровы

Тарту 2.V.67

Юра

18 февраля 1968 года

О-о-очень скучаю!
Ю.
18. II.68. Рига (дата рукой Ф.С.)

29 апреля 1968 года [144]

Дорогая Фрина!

Поздравляю Вас с майским праздником. Желаю Вам всего самого доброго. Книгу я получил – спасибо. Что писать о себе – нечего, немного болею, но живу.

Ю. Лотман

29. IV.68

28 декабря 1968 года

Дорогая Фрина!

Поздравляю Вас и Вашу семью с Новым Годом. Сердечно желаю Вам (в нем) самого лучшего.

Ваш Ю. Лотман

Тарту 28.XII.68

5 марта 1969 года

Дорогая Фрина!

Сердечно поздравляю Вас с 8-м марта. От души желаю Вам всего самого лучшего.

Ваш Ю. Лотман.

5. III.69

28 апреля 1969 года

Дорогая Фрина!

Позвольте по случаю 1 мая напомнить Вам о своем существовании и пожелать всего самого лучшего.

Будьте здоровы и счастливы!

Ваш Ю. Лотман.

Тарту 28.IV.69

12 июня 1969 года [145]

Дорогая Фрина!

Позвольте парой слов напомнить Вам о своем существовании. Пишу из Ленинграда, куда привез студентов на практику. Все лето все будем в Тарту – сын поступает в ВУЗ[146]. Желаю Вам хорошего отдыха, а Вашей дочери успехов – она ведь тоже поступает?

Сердечно Ваш

Юрий Лотман.

Ленинград 12.VII.69

Сентябрь 1969 года [147]

Дорогая Фрина!

Спасибо за весточку. Даже внутри что-то остановилось, когда увидел твой почерк. Рад вместе с тобой, что дочь благополучно поступила в ВУЗ. Я очень беспокоился. У нас пока все в порядке.

Будь здорова и счастлива.

Твой Ю.

3 ноября 1969 года [148]

Дорогая Фрина!

Сердечно поздравляю Вас и Вашу семью с праздником. Будьте здоровы и не забывайте.

Ю. Лотман.

3. XI.69

24 декабря 1969 года

Тарту

Дорогая Фрина!

Сердечно поздравляю Вас и Вашу семью с 1970 (господи, 70-м!) г. Трудно сказать, сколько всего хорошего я Вам желаю.

Будьте здоровы и счастливы.

Ваш Ю.Л.

Август 1970 года [149]

Дорогая Фаина Семеновна!

Вот и погода установилась. Надеюсь, вы загораете и купаетесь. Наш отдых на острове подходит к концу – едем домой. Все же немного отдохнули. Будьте здоровы,

Ваш Ю

10 ноября 1970 года

С Сердечным приветом!
Ю.Л.
10. XI.70

9 декабря 1970 года [150]

Дорогая Фрина!

Сердечно поздравляю Вас и Вашу семью с 1970 (Господи, 70-м!) г. Трудно сказать, сколько всего хорошего я Вам желаю.

Будьте здоровы и счастливы,

Ваш Ю. Лотман.

С новым Годом

Ю.Л.

P.S. Постараюсь приехать в 20-х числах января.

19 декабря 1970 года

С Новым годом (точки не стоит – М.С.)
Ю.Л.
P.S. Постараюсь приехать в 20-ых числах января[151].

7 марта 1971 года

Дорогая Фрина!

Сердечно поздравляю Вас и Марину с 8 марта. Желаю Вам всего самого лучшего.

У нас не все идет самым лучшим образом. Миша на каникулах был в Ленинграде, почувствовал себя плохо, пошел к врачу, и его положили в больницу с очень нехорошим диагнозом – или инфекционный миокардит, или микроинфаркт, перенесенный на ногах (это в 18-то лет!). Правда сейчас (тьфу, тьфу!!!) он идет на поправку (одновременно ему, чтобы удалить все возможные источники инфекции, вырезали гланды). Если все пойдет по оптимальному варианту, то, возможно, все пройдет бесследно, но для этого надо лечиться несколько лет, а уж этот учебный год пропадет наверняка (конечно, и черт с ним). В результате и я, переволновавшись, слегка скис – сейчас уже в полной норме, но сердце болит все время. Такие пироги…

Около 20 марта[152] все же постараюсь приехать в Москву по всяким делам.

Сердечно желаю Вам быть здоровой и веселой.

Ваша старая калоша

7. III.71 Ю.Л.

7 июля 1971 года

7. VII.71

Дорогая Фрина!

Простите, что пишу так редко: конец года был очень тяжелым во всех смыслах. Сейчас, изжеванный и иссосанный, приняв последние экзамены, лежу и хлопаю жабрами, как рыба на песке. Но волнения еще не кончились: Гриша закончил школу, но поступает в художественный техникум в Тарту – 7,5 человек на место. Как говорил Блок, «покой нам только снится». Мне беспокойно – все кажется, что Вы это время болели – дай Вам Бог здоровья и покоя.

Привет всей Вашей семье.

Ваш Лотман

P.S. С 15 авг. у меня в Москве практика, по возможности приеду дня на два раньше – хочу позаняться, пока еще студентов нет, и есть свободное время[153].

Конец 1971 или начало 1972 года [154]

Дорогой Юра!

Поздравляю Вас и Вашу семью с Новым, 1972-м годом и желаю всем здоровья, благополучия и самых разнообразных успехов.

Ф. Сонкина.

28 апреля 1972 года

Тарту 28.IV.72

Дорогая Фрина!

Сердечно поздравляю Вас с праздником и желаю Вам всего самого лучшего. У нас все в порядке. Все полугодие комиссии следуют друг за другом, одна авторитетнее другой. Итог их, кажется, вполне удовлетворительный, если не считать, что я получил сердечный приступ, из которого, правда, уже выбрался вполне благополучно.

Будьте здоровы (получили ли Вы мою книгу?)

Привет всем Вашим

Ваш Ю.

7 июня 1972 года

7. VI.72

Дорогая Фрина!

Только что вышел из больницы. Операция была пустяковая – аппендицит, но я его запустил (комиссии, проверки и пр.!), а он меня за это здорово вымотал. Но я уже на ногах и в полной норме. Во вторую половину июня обязательно хочу побывать в Москве:

очень соскучился по старым друзьям и однокурсникам.

Приветы всем твоим.

Ю.Л.

Июль 1972 года [155]

Большое спасибо за книги!
Постараюсь приехать 10-го вечером или 11-го.

6 августа 1972 года

Дорогая!

Мне не везет – ложусь в больницу с инфекционной желтухой (месяц или больше). Гриша не поступил, но не унывает.

Не унывай и ты! Все еще будет отлично[156].

22 ноября 1972 года [157]

Я все еще в больнице. Первый месяц был очень труден, но теперь – все быстро поправляется, и дней через 10 надеюсь быть дома. Очень рад был письму Сидорова[158]. Однако сей молодой человек меня не балует известиями о себе. Передай ему самые сердечные приветы.

Твой Ю.

22 ноября 1972 года

Дорогая моя![159]

Сегодня я послал тебе открытку, но раньше – никак не мог. Здесь ведь писем не принимают – надо хитростью выбежать на улицу. Первый месяц было очень тяжело – все время тошнило и рвало[160]. Никакие лекарства не помогали. Но потом все пошло на лад, и сейчас я практически здоров. Еще дней 7–10 подержат в больнице, а затем – домой. Но требуют, чтобы еще не менее месяца лежал дома. Очень беспокоился о тебе и твоей поездке.

Письмо меня обрадовало несказанно. Спасибо Марине.

Ю.

Анализы почти нормальные: 8 – рубин 1,5 % (было 12), а 1 – это уже норма, так что я практически здоров.

Будь здорова и не волнуйся.

2 декабря 1972 года [161]

Дорогая маха!

Вот я и вышел из больницы сегодня – первый день дома. Здоров абсолютно, сделался толстым, а впереди еще месяц на бюллетене. Так что это все кончилось (отлежал без двух недель три месяца). Большое спасибо тебе за письмо – ты и представить не можешь, как оно меня согрело. А ночью тумбочка, в которой оно лежало, слегка светилась. Не знаю, как отблагодарить Марину – я настолько растерялся и опешил от неожиданности, что не сказал ей всего теплого, что хотел сказать, а (о, старый академический сухарь!!!) толковал об ее курсовой[162]. Кстати о курсовой: ей нужен сборник «Принципы типологического анализа языков различного строя», М., 1972, и там обе статьи Якобсона. По-моему, ей дали туманную тему. А вот что бы я ей предложил: рассмотреть имитацию детского языка в «Винни-Пухе» Милна (в английском оригинале в сопоставлении с русским пересказом Заходера) – очень милая и интересная тема. Книга имеет явную установку не имитацию не только детского сознания, но и детского языка. Но главное не это, а то, что она – прелестная девочка и сделала для меня столь доброе дело, что отплатить нечем. Поразительно, как сквозь нее видна ты, хотя и глаза, и черты лица другие. Но чтото, горящее в лице изнутри, делает вас изумительно похожими.

Будь здорова и чтобы никаких бессонниц!

2. XII.72

6 декабря 1972 года

Дорогой тов. Сидоров![163]

Ну и задали Вы мне задачу. Вы ведь не сообщили мне, откуда Вы прибудете 18.XII – из Москвы, Вильнюса или Таллина, и я не знаю, с каким поездом Вас встретить, а встретить все невозможно: хотя я и дома, но еще несколько нетверд на ногах. Почему Вы назначаете время 11.00 (страшно подумать, что Вы, как и бедная Марина, приедете московским поездом и будете таскаться по улицам в холоде и одиночестве до 11.00). Если же из Таллина, то там около десятка автобусов и 5 поездов.

Каким?

Но 11.00 так 11.00. К этому времени я подойду к вокзалу (внутри) и буду ждать Вас около газетного киоска. Я чувствую себя хорошо, хотя и несколько слаб еще.

Всегда Ваш Ю. Лотман.

28 декабря 1972 года

28. XII.72

Сердечные новогодние поздравления и пожелания доброго здоровья и хорошего настроения всей семье.

Ю. Лотман

Март 1973 года

Дорогая Фаина Семеновна!

Поздравляя Вас с 8 марта и желая Вам доброго здоровья, многообразных радостей и постоянства в склонностях, я хочу напомнить, что научная сессия, посвященная культуре XVIII в., состоится, вероятно, после 22 апреля с.г. Там планируется интересный доклад Б.А. Успенского в соавторстве с кем-то[164]. Мы здоровы, а Вы?

Ваши Ю. и Л.

Май 1973 года [165]

М.!

Я не знаю, когда приеду: до сих пор из Саратова нет точного ответа о дне защиты[166] (предположительно 28-го, а диссертации так и не прислали до сих пор). Ну их! М.б. все же приеду между 25 и 26-м.

Работаю много, дел много, неприятностей тоже хватает.

Т-й Ю.

25 мая 1973 года

Телеграмма[167]

Поздравляю днем рождения[168] желаю много счастья здоровья лотман

19 июля 1973 года

19. VII.73

Дорогая М[169]

Скучаю по тебе, но приехать смогу в Москву лишь 15-го или чуть позже. Отдыхай и будь здорова.

Твоя[170] Л.[171]

Около 26 декабря 1973 года [172]

Дорогая Фрина!

С Новым Годом! Сердечно поздравляю Вас и желаю всему Вашему семейству (особенно Марине!!!) счастья, благополучия и – прежде всего – здоровья. Мы так редко с Вами видимся и переписываемся, что я от раза к разу забываю – на вы или на ты следует мне к Вам обращаться. Итак, чтобы Вы меня не обвинили в фамильярности, пишу на вы. Если Вас интересуют мои дела, то могу Вас уведомить, что я жив, здоров (сейчас в гриппе, но это – не болезнь, а сезон), все мы относительно благополучны. Гришку пока в армию не взяли – до весны, а там посмотрят, училище просило об отсрочке до окончания, Миша не в лучшей форме по здоровью, хотя оптимистичен, поскольку много занимается и крутит отчаянный роман с очень хорошей девочкой с эстонским именем Пирет (т<о> е<сть> Бригитта). Я тоже не в лучшей форме, хотя романов не кручу, – ужасно устал (а может быть, просто старею?), часто бываю в глубокой хандре от глупой необходимости делать не то, что хочется, видеть не того, кого хочется, и не видеть тех, без кого трудно и одиноко. Мне кажется, что сейчас я достиг научной зрелости и мог бы сделать что-то действительно хорошее, а не ту смесь муры с поспешностью, из которой на 90 % состоит все, что я написал.

Но работать времени нет, а поскольку я ясно понимаю, что судьба, при всей ее щедрости, не может мне отпустить еще много времени, это меня очень огорчает. Мне очень бы хотелось, чтобы у Вас все было благополучно. Как Марина переносит свое состояние?[173] Поклонитесь ей от меня.

Сердечно Ваш

Ю. Лотман

Начало января 1974 года [174]

С новым Годом!
Ю. Лотман

21 февраля 1974 года

Дорогая Фрина!

Поздравляю Вас и Марину с Федором Андреевичем![175] Радуюсь Вашей радости. И да будет Федя здоров и счастлив на радость всем вам.

Марину от меня поздравьте.

Мой доклад в Пуш. доме[176] и «школа»[177] прошли вполне благополучно, даже хорошо.

У нас зимы не было – дождь, слякоть.

Вчера впервые подморозило и выпал снежок – на улице, как на душе: и черно и бело.

От души желаю Вам здоровья и всяческих радостей.

Ваш Юра

21.11.74

21 февраля 1974 года

Поздравляю Вас и всех Ваших с праздником весны. Будьте здоровы все – Федя прежде всего. Спасибо за журнал.

Ваш Ю. Лотман.

21 февраля 1974 г.

13 – 14 марта 1974 года

Дорогая Фрина!

Посылаю Вам книги – большое спасибо за Ваши, я их получил и прочел с пользой и удовольствием[178].

У нас новость – Миша женится. Поскольку это произойдет в конце марта, мои планы меняются, и я не смогу поехать в Ереван, на что я очень надеялся – я до зелени в глазах устал и соскучился в Тарту (много всяких гнусностей…) и надеялся отдохнуть душою под милым ереванским небом с милыми для меня людьми. Но уж в первую половину апреля из кожи вылезу, а поеду.

Как Марина и Федя? Страшно интересно, как Марина выглядит в роли мамы, а Вы – бабушки.

Будьте здоровы и благополучны.

Ваш Юра

27 мая 1974 года

Дорогая Фрина!

Беру на себя смелость напомнить Вам о своем существовании. Я живу вполне благополучно, чувствую себя хорошо, вообще все хорошо, и мои ближние совершенно напрасно тревожатся о моем здоровье – видимо, оно нисколько не хуже, чем у всякого нормального гражданина в моем возрасте. Конечно, все под Богом ходим…

Я устал от бесконечного учебного года, весна какая-то нудная: вот и май прошел (собирался в Ереван, но не получилось, жду известий из «Литературной газеты», м<ожет> б<ыть>, они командируют меня в самом начале июня!), а ни одной грозы еще не было. А я больше всего на свете люблю летний дождь[179].

О лекарствах не беспокойтесь – Борис Андреевич[180] был так любезен, что уже их мне прислал (я на адресе сразу узнал его руку!) – мне совестно, что он издержал такую кучу денег.

Поскольку в каждом моем письме содержится какая-нибудь просьба, то и на сей раз не хочу уклоняться от традиции: поспрашивайте в киосках журнал «Декоративное искусство» № 4 (1974)[181] и купите сколько можно будет – там моя статья, которую мне хотелось бы иметь.

Приветы Вашим – Марине и Феденьке – особые, Марине по случаю госэкзаменов – ни пуха, ни пера и пусть шлет меня к Воланду, ибо там мое истинное место.

Как всегда Ваш

Ю. Лотман

27. V.74.

Сентябрь 1974 года [182]

Телеграмма будь здорова все время думаю вспоминаю мы здоровы внуков пока нет юлия[183]

1 октября 1974 года [184]

Дорогая Фрина!

Хочу сообщить Вам, что я уже два дня как стал дедом[185], так что теперь Вам нет оснований гордиться своим превосходством. Пирет родила девочку. Подробностей я никаких не знаю, т. к. все произошло во время моего пребывания в Питере, куда я приехал делать доклад у своих авиакибернетиков. Доклад мне представляется имеющим некоторый научный смысл, хотя техники не все в нем поняли. Поэтому я хочу его повторить на специальном семинаре в Москве 21 октября. Мне интересно сопоставить мнение двух весьма различных аудиторий. В остальном мы живем «нормально». Мне хочется думать, что Вы хорошо отдохнули и у Вас все в порядке. N.B. Посмотрите справочник А. Зайончковского по источниковедению и русской истории. Там специальный раздел по словарям и энциклопедиям, из которого можно извлечь прекрасные принципы[186].

5 октября 1974 года

05.10.74

Дорогой Юрий Михайлович!

Спасибо за оба Ваши сообщения. Сердечно поздравляю Вас с новым званием, а Пирет и Мише желаю всяких радостей и благополучия, с ними – и маленькой их дочери.

С нетерпением ждем предстоящего Вашего доклада. Мы все здоровы и благополучны.

Будьте здоровы и Вы.

Сердечно Ваша…

5 декабря 1974 года

5. XII.74

Дорогая Фрина!

Пользуюсь несколькими днями перерыва в нашем сумасшедшем доме, чтобы Вам напомнить о себе. У нас все относительно благополучно, хотя шумно и беспокойно (правда, и весело). Машка (она же Мария-Кристина) весьма милая, рыжая (в масть!) девица, которая с большим удовольствием пьет из разных изящных бутылочек[187] разные ей положенные вещи. Наша домработница сбежала, а мастера, которые проводят горячую воду[188] – запили. Вернее, запила уже третья партия мастеров, которую я привел на место второй, сменившей, в свою очередь, первую. Мои усилия провести горячую воду приведут к тому, что весь рабочий класс Тарту сопьется. Я, кажется, вступил на тот же путь (не в смысле проводки горячей воды, а в смысле спивания).

Работы ужасно много. Но самое поразительное то, что за это время, в основном работая только ночью, я многое что сделал (хотя все время ужасно хочу спать – но этим я перебиваю все иные думы и заботы). Кроме всего прочего, у нас 17/XII должен быть семинар в ВИНИТИ, и к нему надо готовиться (не приезжать же с пустой головой!).

Очень хотелось бы узнать о Вас и Ваших.

Будьте здоровы! Ваш Ю. Лотман

Поклоны Марине и Феде.

31 января 1975 года [189]

31.1.75

Дорогая Фрина!

Я очень виноват перед Вами – не ответил на Ваше милое новогоднее поздравление. Дело в том, что Новый год застал меня в постели – я поймал грипп, который трепал меня три недели, так что и сейчас я от ветра качаюсь. Но уже на ногах, и все в порядке. Поскольку 11 февр.<аля> семинар в ВИНИТИ[190], то мне надо срочно поправляться. Пропускать заседание не хочу.

Надеюсь, что Вы и все Ваши в добром здравии. Хоть с опозданием, но сердечно шлю Вам пожелания здоровья и счастья в 1975 г.

Ваш Ю.Л.

9 марта 1975 года

Дорогая Фрина!

Грустно, что Вы в больнице, тем более если вообразить себе всю скукоту этого заведения, обязательные разговоры с соседями по палате и проч. Однако с другой стороны, если такой ценой удастся получить хотя бы приличное здоровье и нормальное самочувствие, то игра стоит свеч.

Как Вы провели 8 марта (поздравляю Вас с женским праздником и желаю всего, что Вы сами себе желаете)? Посылаю Вам Финляндию – когда будет скучно и неохота читать, побродите по этим картинкам одна или в обществе, которое Вам подберет Ваше воображение. Мы продолжаем жить – малышку увезли в Таллин, Зара месяц будет в Москве. Мы – сплошь мужчины, и только Кэрри[191] оживляет наше общество.

Слыхали ли Вы грустную новость о том, что скончался М.М. Бахтин? Говорят, последние дни он очень страдал. Грустно. Он был последним из стариков. Сейчас в науке как в окружении, когда погиб последний командир и – хочешь не хочешь – приходится брать на себя должности, к которым не готов и с которыми, хорошо это знаешь, не справишься. Одно оправдание – больше некому. На похороны я не поехал – сильно разболелась нога (старость?) и нет никакой возможности распихать лекции.

Будьте здоровы, здоровы, здоровы и не хандрите!

Все еще будет хорошо.

Неизменно Ваш

Ю. Лотман

9/III – 75 г.

Конец апреля 1975 года [192]

Поздравляю с 1 мая и днем победы!
Будьте здоровы
Ю. Лотман

15 июля 1975 года [193]

Счастливого отдыха и хорошей погоды + хорошего настроения. Книги выслал. Приехать, к сожалению, не смогу – простудился (пустяки!)

Ю.Л.

Конец июля 1975 года [194]

Дорогая Фрина!

Предыдущая открытка – не в счет – я писала[195] ее с жуткой головной болью, на почте, в духоте, не знаю, что написала. Дело в том, что в эти дни я слегка приболела – то ли давление повысилось, то ли просто усталость. Пару дней пришлось поваляться в кровати, так что все благие планы на визиты полетели к чертям. Теперь со здоровьем все в порядке, но зато мы пропустили время покупки билетов на самолет на наш остров и сидим дома, измышляя способы отправиться туда. Так что с отдыхом получается как-то нелепо – все надежды на август, ибо работа – лучший отдых. Будьте здоровы, отдыхайте.

Ваша Юлия.

12 сентября 1975 года

Дорогой Юрий Михайлович!

Я – в Саранске[196], уже три дня. Тихо работаю в архиве, документов попадается мало. Здесь осень – лето, тепло, уйма цветов, а в 100 шагах от главной улицы, на которой живу, совершенно деревенские овраги, и в них пахнет полынью, как когда-то для меня в Саратове. Город и похож на Саратов (старый).

Мой сентябрь удался, хочу надеяться, что и Ваш – тоже.

Я уеду отсюда 18-го. Здоровы ли Вы?

Ваша,

Ф

12/ IX – 75 г.

P.S. Настроение, которое вызывают Воспоминания А.О. Смирновой, мне совершенно памятно (после прочтения)[197].

20 ноября 1975 года

Дорогая Фрина!

Хотя и пишу Вам по сугубо деловому вопросу, но должен ли я уверять Вас, что вспоминаю Вас и безотносительно ко всяким делам? Пишу Вам из Петербурга, где я делал доклад на Пушкинской квартире[198] и где как с полным основанием на то уверял нас такой авторитетный человек, как Ал. Сергеевич. Мне было приятно узнать от моих эстонских коллег, что Ваш доклад прошел очень хорошо.

Где нет ни ветренности милой,
Ни слез, ни Пресни, ни харит…

Дело же мое состоит в следующем: сестра моя Викт. Мих. (она же – Ляля), осмотрев меня, нашла, что продектин мне весьма был бы нужен, а я увидел, что еще больше он нужен при ее тяжелейшей стенокардии – ей. Она им спасается. Отсюда просьба: достать, если есть возможность, два курса и выслать один на Невский 18, кв. 17, а другой – в Тарту на домашний адрес. Деньги я немедленно верну (это дорого стоит). Простите, что затрудняю. Вкладываю рецепты. Если Вы живете так, как я Вам желаю, то Вы живете хорошо.

Поклон всем Вашим.

Ленинград

20. XI.75

На полях рукой Ю.М.: «P.S. Не рассердит ли Вас нахальство моей просьбы? Если будет сложно – не надо, или хотя бы один курс для Ляли».

Январь 1976 года [199]

Счастливого Нового Года!

5 марта 1976 года

Дорогая Фаина Семеновна!

Вся собравшаяся на этой открытке публика[200] поздравляет Вас с 8-м марта и желает всего самого лучшего Вам и Марине. Я от души присоединяюсь. Прилагаю оттиски для Лели Чернявской[201], чей адрес я, увы, потерял. Мы в порядке – я кончаю комментарии к «Евг. Онегину» – устал совершенно невообразимо.

Будьте здоровы! Ваш Ю. Лотман

5. III.76

25 апреля 1976 года

25. IV.76

Сердечно поздравляю с праздником Весны (хотя у нас – холод – 3°–4°)!

Будьте здоровы и благополучны и не забывайте нас.

Ю. Лотман.

P.S. 11 мая в «Вопр.<осах> фил.<ософии>» «Круглый стол»[202] по вопросам, которые м.б. Вам интересны для книговедения.

1 июня 1976 года

Дорогая Фрина!

Сердечно поздравляю Вас с днем рождения и желаю Вам всякого и многого (все очень хорошее!). У нас больших новостей нет. Заре сделали операцию по удалению камней; операция была длительная и трудная, но прошла хорошо, хотя самочувствие все еще неважное. Она в Ленинграде. Сыновья почти все в разгоне – Миша с девочками в Таллине. Гриша там же. Дома лишь я, Алеша, Пирет и Кэрри. Лешка окончил учебный год средне, но перенес это легко и срезался на последних конных соревнованиях – это была целая драма. У меня весь июнь каждодневные экзамены, заочники и проч. бурные наслаждения – пожалейте меня (устал, как собака, и как-то духовно скис, даже к ночным занятиям, которые для меня всегда были чем-то вроде подзарядки аккумулятора, принуждаю себя через силу: сижу над книгами тупо – не сплю, не работаю и даже не думаю).

«Комментарий» к «Онегину» на рецензировании (рецензенты – Макогон и один москвич)[203] – переделывать надо будет летом (я уже сам накопал ряд дополнений). Таковы наши дела.

Каковы Ваши?

Сердечные поклоны всей Вашей семье.

Искренне Ваш

Ю. Лотман

1/VI-76[204].

P.S. У нас – жуткий холод!

Июнь 1976 года

С днем рождения!
Ю. Лотман

11 августа 1976 года

Дорогая Фрина!

Хочу сообщить Вам наши очень веселые новости: я только что вернулся из Таллина, где готовил Гришу к экзаменам. Очень устал, изнервничался, но Гриша не прошел[205]. Сейчас он уехал отдыхать и рисовать в Армению, а я, отдышавшись, собираюсь засесть за работу – очень много накопилось.

Что ж делать!

Желаю Вам хорошего отдыха!

Ваш Ю. Лотман

P.S. Конкурс был очень большой (9 человек на место!)

5–6 октября 1976 года

Дорогая Фрина!

Беру на себя смелость напомнить Вам о существовании человека, которого Вы, вероятно, уже совсем забыли, а мне бы этого не хотелось и было бы грустно, если бы это было так. Пишу Вам безо всякого дела – просто так. У нас начался учебный год со всей его морокой, собраниями, проверками и мелкими неприятностями. «Онегин» мой движется («роман летел к концу», как сказано в «Мастере и Маргарите»). Я много сделал, но предстоит еще больше. К ноябрю нужно сдать обязательно.

У нас – золотая осень: ясно и холодно. Но холод не беда – я запасся чудесными черными перчатками[206], которые греют мне руки. Жаль, что дома их приходится снимать.

Меня приглашают на ноябрь – январь читать лекции в Польшу[207]. Что из этого получится – не знаю. Очень хочу в конце октября побывать в Москве, но удастся ли – сказать трудно. Все же без этого закончить рукопись будет трудно.

А как Вы живете?

Поклоны всем Вашим.

P.S. Рукопись Ефима Абрамовича получил – пишу ему отдельно[208].

Всегда Ваш

Ю. Лотман

Перечел письмо – сумбурно, как у Шкловского, когда он впал в маразм. Извините – пишу ночью и ужасно хочу спать.

31 октября 1976 года

31/X – 76.

Дорогая Фрина!

Большое спасибо за письмо – очень рад был получить от Вас весточку и узнать, что у Вас все, относительно, в порядке и все Ваши домашние здоровы и благополучны. Мы тоже все живем потихоньку. Пишу Вам из Ленинграда, куда смог вырваться только на 1½ дня (субботу и воскресенье) – сдать в издательство готовую рукопись книги[209].

У нас сейчас в у<ниверсите>те на почве контроля и проч. совершенно сошли с ума. Я надеялся освободить себе хоть 3–4 дня, чтобы подзаняться и съездить по всяким накопившимся делам, но меня не отпустили. Я крепко со всеми переругался, да с тем и уехал в Питер.

Я, кажется, писал Вам о возможной командировке в Польшу – здесь тоже все неясно. С 1 ноября я должен был уже в Познани начинать курс лекций, но до сих пор мне ничего положительного не сообщили. Думаю, что это и есть ответ[210]. Скажу Вам совершенно искренне, что меня это не огорчает, скорее даже – наоборот.

Я много работал всю осень, и книга, кажется, получилась недурная. Смешно, но такие вещи очень меня поддерживают. Прекрасно понимая, сколь многое здесь принадлежит самообольщению, я не могу отрешиться от удовольствия, которое мне доставляет работа, когда она спорится. Простите, что все о себе да о себе… Хороших Вам и Вашим близким праздников, всем поклоны, Федю поцелуйте.

Всегда Ваш

Ю. Лотман

P.S. Перечел и подумал: зачем Вам эти подробности? Но просто я настолько полон пылом ссоры с начальством, что должен был это выпалить, как заряженная пушка.

26 декабря 1976 года

Дорогая Фрина!

От души поздравляю Вас и Вашу семью с Новым 1977 годом! Будьте здоровы и благополучны. Желаю Вам в 1977 году как можно больше радости, покоя и здоровья.

Ваш Ю. Лотман

26. XII.76

4 марта 1977 года

Дорогая Фрина!

Сердечно поздравляю Вас и Марину с 8-м марта (на картинке изображены Вы, Марина и Федя). Желаю вам всем самого лучшего. Надеюсь, что Вы здоровы и хорошо отдохнули.

Мы все – я, Леша и Зара – перенесли очень тяжелый грипп. Был момент, когда я думал, что дело совсем плохо. Две недели я лежал пластом. Но сейчас мы все уже полностью оправились, и я чувствую себя хорошо. Мое 55-летие прошло тихо. Друзья подарили мне много книг. Особенно порадовал меня «Татлин»[211]. Я получил его в самый день 28-го февраля. Я не знаю еще, какие мои планы на ближайший месяц. В конце марта должен состояться доклад М.Л. Гаспарова в Совете по кибернетике. Мне очень хотелось бы быть, но не знаю еще точно, удастся ли – сейчас все свободное время пишу о Карамзине для «Писем русского путешественника» в Памятниках. Еще раз желаю Вам всего самого лучшего.

Ваш Ю.

2 апреля 1977 года

2. IV.77

Дорогая Фрина!

Поздравляю Вас с днем рождения и желаю – искренне и от души – всего самого лучшего, а главное – здоровья и хорошего отдыха летом. Передайте эти стр.<аницы>Марине[212] (если можно, очень прошу их прочесть и откорректировать: я пишу ночью и не вижу ошибок и описок).

Пусть у Вас все будет хорошо!

Ваш Ю. Лотман

1. IV.77

28 апреля 1977 года

Ленинград.

Дорогая Фрина!

Поздравляю Вас и Вашу семью с майскими праздниками.

Как Вы там?

Я пишу из Ленинграда – приехал делать в Пуш. Доме доклад о Карамзине[213], потом съезжу в Таллин (доклад в Министерстве – предлог, причина: повидать Машу и Сашу – видите, я на старости лет начал бегать за девочками). Живу же я не очень весело: я работаю много, но без той радости, кот<орую> мне всегда доставляла работа. Что-то в часовом механизме души стерлось и шипит и щелкает, как в старых часах. М<ожет> б<ыть>, это – просто усталость от тяжелого года. Правда, стоит мне обрадоваться, как я снова делаюсь молодым. Беда только в том, что причин для радости делается все меньше. Простите за меланхолическое письмо. Пусть оно не портит Вам настроения. Будьте здоровы и благополучны, – берегите себя и чаще радуйтесь – это полезно для здоровья.

Поклоны Марине.

Всегда Ваш Юра

28. IV.77.

Пока я писал, и настроение исправилось.

Лето 1976 (1977?) года

Как Вам отдыхается? Я на своем острове уже написала кучу вещей и вообще много наработала. Пишу на почте, на тычке, в густой толпе народа – простите за почерк.

Обнимаю,

Ваша Ю

19 сентября 1977 года

Дорогая Фрина!

Кяэрику[214]. Предположения мои исполнились: поскольку осенью у меня лекций мало – занят всего 1 день в неделю, мы с Б.А. уехали в Кяэрику. Сидим и занимаемся. Погода отвратительная – холод и дождь, но это не портит нам настроения. В перерывах между занятиями ходим в лес, но из-за холода нет не только грибов, но и клещей[215]. Зато занимаемся много и довольно успешно. Поскольку этим летом вы побывали в Кяэрику, то можете представить фон, на котором развиваются наши занятия. Если к этому прибавить, что кругом зверские молодые физиономии разных спортсменов разных сборных команд, кот<орые> здесь готовятся ставить рекорды и окружают нас в столовой бодрой чавкающей толпой, то картина будет полная.

Кстати, около 10 октября в Москве планируется семиотич<еская> сессия[216], и я, возможно, на нее приеду, хотя совершенно не уверен, что это удастся.

Будьте здоровы и бодры.

Приветы всем Вашим.

Ваш Ю. Лотман

Кяэрику. 19/IX.77

13 декабря 1977 года

Дорогая Фрина!

Поздравляю Вас и Ваших близких с Новым Годом. Пусть принесет он Вам все самое хорошее – здоровье, исполнение Ваших желаний.

Ваш

Ю. Лотман

13. XII.77

10 января 1978 года

Дорогая Фрина!

Большое спасибо за новогодние поздравления – что-то мне было беспокойно. Казалось, что у вас со здоровьем что-то не совсем в порядке. Я получил очень умное письмо[217] от Марины и ответил ей, но, видимо, переврал адрес, и мой ответ благополучно вернулся. Посылаю Вам два (для Вас и для Марины) пригласительных билета[218]. Впрочем, если кибернетический обмен жилплощади[219] Вам покажется интереснее – смирюсь.

Я приеду 21-го января.

Всегда Ваш Ю.

P.S. Когда приеду, обязательно хочу с ней поговорить, пусть меня найдет.

12 апреля 1978 года

Дорогая Фрина!

Посылаю Вам (в разговоре мы на ты, но в письмах получается лишь «Вы»[220]) «Эстонию». Пришла ли Вам «Семиотика» 8? Мне клялись, что послана. Труды вышлю из Тарту (сейчас мы в Кяэрику). Московский симпозиум будет не в середине, а в конце октября (около 25–26). Сердечные приветы. Не забывайте.

Вечно Ваш

Ю. Лотман

13 апреля 1978 года

13. IV.78

Дорогая Фрина!

Большое, огромное спасибо за помощь Б.А.[221] и Гале! Правда, ничего другого от твоего доброго, отзывчивого сердца я и не ждал.

Б.А. говорил мне о тебе по телефону с теплой благодарностью. Спасибо. Если есть у тебя лишняя «Семиотика» – сохрани ее для меня.

Будь здорова,

Приветы твоим.

Ю.

15 апреля 1978 года [222]

Дорогая Фрина!

Пишу тебе из Таллина, куда приехал на пару часов по всяким делам. Только что говорил с Б.А. по телефону: Гале снова хуже, упал гемоглобин, паралич руки и ноги пока не проходит (м.б. все же пройдет, это бывает), а хирург, который делает операцию, уехал на месяц в Кисловодск! Так-то. Мы же пока живем-можем. Нового у нас ничего нет. М.б. через пару недель придется подъехать на день-два толкать Карамзина[223]. Как Маринины занятия?[224] Будь здорова. Поклоны всем твоим.

Твой Ю.

20 мая 1978 года [225]

Дорогая Фрина!

Простите, что долго не писал – очень тяжко и грустно было после похорон Гали и во время пребывания Б.А. в Тарту. До сих пор не могу войти в норму. Но спасибо работе: сидеть не дает и хандре не спускает. За это время переработал биографию Пушкина и еще кое-что написал. «Онегин» лежит камнем.

Доклад мой 1 июня в конце утреннего заседания (начало 11.00). А Ваш семинар 31-го? Так уж одно к одному. Конечно, буду очень рад встрече. Поклоны Вашим, Марине особо.

Ваш Ю. Лотман

P.S. (Ха!) <Нрзб>. У Миши дочка. Безумные родители назвали ее Ревекка (по-эстонски Rebecca), сокращенно Бекки. Я спорил, но мне не вняли. Другие девки очень славные – белые скандинавочки, а эта – большая (4,5 кг), брюнетка с длинными волосами. Как Федя?

2 июля 1978 года

Дорогая Фрина!

Обдумывая разные аспекты Вашей брошюры[226], я пришел к выводу, что в преамбуле следует подчеркнуть, что к тем, кто создает книгу (т. е. всякое издание), Стандарт повернут нормирующей стороной, т. к. это облегчает ориентировку читателей и библиографов (в том числе и Книжной Палаты), а для читателей и библиографов – ориентирующей, поскольку реальная практика неизбежно будет вносить вариативность в нормы Стандарта.

Следовательно, в практической части первого раздела надо, разбирая примеры, обращать внимание на неправильность тех или иных случаев и указывать, как было бы правильно, а во втором – приводить примеры спорных и пограничных случаев и разъяснять, как их обработать или классифицировать, т. е. в первом разделе «Методических указаний» внимание сосредоточено на том, чтобы не образовывалось «смешанных» случаев там, где в этом нет надобности, там, где их можно избежать, а во втором – как поступать, когда они все же возникают.

Типичный пример неоправданного смешения – сб<орни>ки «XVIII век», которые по своей природе – продолжающееся издание типа «Трудов отдела древнерусской литературы» (ТОДРЛ) того же института (Пуш<кинского> Дома) (нрзб.) – а определяется как смесь определения продолжающегося издания, серийного издания, хотя под определение серийного издания не подходит, и научного сборника.

Следует подчеркнуть недопустимость определения продолжающихся изданий как отдельных сборников, ибо это:

1) создает трудности для статистики Книжной Палаты;

2) порождает разнобой в библиографических списках;

3) увеличивает стоимость набора научной литературы, делая сноски неоправданно длинными.

Привожу примеры по сб<орни>ку «XVIII век» на обратном листе.

Нарушение одинакового оформления – сб. «XVIII век».

Выпадение из типа титульного листа сб. «Роль и значение литературы XVIII века в истории русской культуры: К 69-летию со дня рождения члена-корреспондента АН СССР Н. Беркова» (М. – Л.: Наука, 1966).

<Лишь в левом верхнем углу петитом: XVIII век. Сборник 7>

На корешке нет пометы «XVIII век». Во всех других книгах –

есть.

В последних 8 – 12 тт. установилось недопустимое смешанное (нрзб).

Это затрудн.<яет> библиогр.<афическое> оформл.<ение> и спецификацию по стандарту.

Желаю Вам хорошего отдыха летом. У меня создалось впечатление, что Вы и Марина в нем очень нуждаетесь. Не огорчайтесь неудачей с аспирантурой Марины[227] – я убежден, что в случае прикрепления она лишь выиграет. Пусть отдохнет. Ваше здоровье меня весьма беспокоит. Б.А. я оставил в ужасном состоянии – сердце надрывается.

Всегда и неизменно Ваш,

Ю. Лотман

Таллин

2. VII.78

18 августа 1978 года

Дорогая Фрина!

У нас, в основном, дела – слава Богу! Только вчера прояснились дела Леши. Положение было сложное: на 50 мест приняли 42 по «эксперименту» (это те, кто имеют 4–5 школьных балла и принимаются вне конкурса) и «стажники». Осталось 8 мест на 60 с лишним человек. Конкурс был жесткий. Но вчера Леша сдал последний экзамен – все на 5, так что, кажется, все в порядке. В остальном у нас благополучно. Лето я провел вместе с внучками – мило, но хлопотно. Как Вы? Как перенесли африканскую жару середины лета? Сейчас у нас дождь и туман. Б.А. с детьми уехал на все лето в Польшу. Ничего от него не имею. Как Марина? Передайте ей поклоны сердечные. В Москве надеюсь быть в сентябре.

Ваш Ю. Лотман.

18. VIII.78

22 ноября 1978 года

Дорогая Фрина!

Очень рад, что Вы съездили хорошо, – надеюсь на благотворное действие Марианских Лазней для Вашего здоровья[228]. Чувствуется ли это еще или Москва все слизала? Хотелось бы поговорить о впечатлениях и многом другом…

Наши дела идут без перемен. Очень много работаю и тем спасаюсь ото всего («опиум для народа»). Очень нужно в Москву (в частн<ости>, для Карамзина), но когда вырвусь, не знаю. Кстати, книга («Семиотика XIII») пошла на рецензию – шепните Агриколянскому, чтобы развернулся[229].

Очень много и нежно думаю о Марине, жаль, что мало доброго могу для нее сделать. Она очень хорошая девочка: проводив Вас в Прагу, зашла ко мне в библиотеку, все рассказала, была очень трогательна. Как Федя? Будьте здоровы и не грустны!

От души желаю Вам всего самого доброго.

Искренне и неизменно Ваш

Ю. Лотман

22/XI.78.

Был в Л<енингра>де и два раза звонил Вам, но неудачно – никого не было.

25 декабря 1978 года

Дорогая Фрина!

Сердечно поздравляю Вас и Вашу семью с Новым 1979 годом. Пусть он принесет Вам много радости и только радости, а в особенности Вам и Марине и Феде, а также Вашим мужчинам, доброго здоровья.

12 января в МГУ будет сессия памяти Виноградова. В программе Н.И. Толстой, Б.А. и Ваш покорный слуга. Мои планы на январь очень неясны – постараюсь весь месяц поработать в Ленинской

Библ.<отеке>, но не все еще ясно. Большое спасибо за известия о XIII т. «Семиотики»[230]. Тут борьба все еще кипит – как-нибудь расскажу.

Ваш Ю.Л.

30 декабря 1978 года

Дорогая Фрина!

Поздравляю Вас и Ваших близких с Новым Годом. Пусть принесет он Вам все самое хорошее – здоровья, исполнения Ваших желаний.

Ваш Ю. Лотман

9 марта 1979 года

Сердечно поздравляю с 8-м марта. Простите, что с опозданием. Ведь даже для краткой открытки надо выбрать минуту, чтобы оторваться от каждодневной суеты. У нас все в порядке. С наслаждением прочел «Вести о скитаниях в Северных морях»[231].

Еще раз спасибо.

Неизменно Ваш Ю. Лотман

9. III.79

9 июня 1979 года

Дорогая Фрина!

Пишу Вам на экзамене – пока студенты пытаются, глядя в билет, вспомнить, кто же все-таки написал «Евгения Онегина». Июнь складывается для меня не очень удачно. Начали все хорошо (включая открытку с Украины), а затем я приболел, изза чего не смог приехать в Москву. Сейчас абсолютно здоров, но экзамены – каждый день («простые» и госэкз. <амены>, на кот. <орых> надо сидеть). Не оставляю надежды хоть на пару дней вырваться в Москву – нужно и хочется, – но как получится, не знаю. 25–31 июня мне надо бы быть на Съезде в Будапеште[232] – отказа пока нет, но нет и разрешения, что будет – не знаю. Как Вы, как Марина и Федя? Как идет строительство дачи? Старайтесь не очень уставать.

Неизменно Ваш,

Ю. Лотман

10 января 1980 года

10/I-80.

Дорогая Фрина!

Получили ли Вы мою новогоднюю открытку, писанную второпях, в кот<орой> я желал Вам и всему Вашему дому доброго здоровья?

На всякий случай повторяю свои пожелания. Мы год кончили благополучно. На Рождество были девочки, а я был дедом-морозом (не узнали!), я украшал елку («и показалося даже на миг…»)[233]. Новый год начался бурно: мне приходится уходить на другую кафедру (теории лит<ературы>)[234]. Жалко покидать то, что создал своими руками и где проработал 30 лет, но я не кисну – даже весело: начинать все сначала, как в молодости (все еще не чувствую себя стариком, даже смешно, а ведь будет 58!).

Как Марина? Как сложится мой январь и февр<аль>, совершенно неясно, как неясно с Карамзиным[235], etc., etc., etc.

Будьте здоровы.

Неизменно Ваш Ю. Лотман

Доброго Вам настроения и чтобы голова не болела весь 1980 г.

6 марта 1980 года

Дорогая Фрина!

Сердечно поздравляю Вас и Марину с 8 марта. Дай Вам Бог здоровья, успехов и хорошего настроения. У нас все в порядке. Я, конечно, спутал[236]: книга Майорова не в «Науке», а в «Мысли» или еще чем-то весьма интеллектуальном. Еще раз будьте здоровы и не забывайте

Вашего Ю. Лотмана

17 марта 1980 года

Дорогая Фрина!

Огромное спасибо за книгу[237] – представляю, как трудно было ее достать. Рад сообщению, что Вы здоровы – это меня всегда беспокоит. Без меня на редколлегии в «Памятниках» была колоссальная драка (жаль, что меня не было), но пока «наша взяла», «Онегин», кажется (тьфу, тьфу), пришел в движение.

Где словник? Словник-то где?[238]

Привет всем Вашим.

Не забывайте неизменно к Вам привязанного

Ю. Лотмана

17. III.80

23 апреля 1980 года

Дорогая Фрина!

Посылаю Вам «Словник»[239], простите, что задержал, – никак не мог быстрее сделать, не было совершенно возможности хотя бы некоторого сосредоточения, без чего поработать над словником было невозможно. Весна какая-то тяжелая – на душе смутно, настроение весьма среднее, хочется в Москву, да грехи не пускают. А в Москву хочется очень – дел там набралось множество… Живем средне, но и жаловаться грех. Леша, кажется, женился удачно и доволен. А вот рядом ходят беды: у Жени Маймина у жены обнаружили рак, отняли грудь, а женщина вообще-то молодая – что-то около 50-ти. Так… Никто на свете не может даже вообразить, как я устал. По-моему, я даже стал хуже читать лекции, что меня весьма огорчает. Вообще я хожу огорченный, как таллинский конфетный медведь. На 9 мая вновь собирается наша бригада – под Москвой[240]. Ехать не хочется ужасно – пить водку и вспоминать войну, но поехать, вероятно, придется, иначе опять на пять лет все разобидятся. Постараюсь до или после задержаться в Москве, чтобы хоть часть дел переделать. Если же не удастся – все отложу на конец мая или начало июня.

Отзыв на «Словник» пишу отдельно и официально, т<ак> к<ак>, м<ожет> б<ыть>, придется его где-либо показывать.

Надеюсь, что радикулит в Вашем доме уже прошел, если же еще нет, то желаю больным выздоравливать, а здоровым не болеть.

Поклоны Марине

Неизменно Ваш

Ю. Лотман

23/IV-80.

P.S. Заказывайте срочно XI «Семиотику»!

P.S. P.S. Прочтите внимательно отзыв: пишу ночью и могу наворочать черт знает что.

Декабрь 1980 года (телеграмма)

Сердечно поздравляю новым внуком марину сыном[241] федю братом всем здоровья счастья новом году – ю. лотман

23 февраля 1981 года

Дорогой Юрий Михайлович!

Позвольте пожелать Вам сил, здоровья и бодрости в день Вашего рождения. Как узнать, здоровы ли Вы и Ваши близкие? У нас все по-старому. Отдых был бы и неплохим, если бы вычесть общество. А так – что же? – ничего. (И на лыжах нет сил ходить…) Марина, Андрей и дети здоровы. Федя не хочет заниматься музыкой, как ни грустно: играет мало и, главным, образом, у меня. Подрос уже Юрочка – моя любовь и нежность.

В Москве морозно, вдруг началась зима, но удивительно пахнет весной и даже мимозой. Впереди март – совсем весна. Будем надеяться на доброе.

Сердечно Ваша…

Ф.

4 марта 1981 года

Сердечно поздравляю с 8 марта.

Желаю всего самого лучшего – прежде всего здоровья и хорошего настроения. Ваш

Ю. Лотман

4. III.81

11 марта 1981 года

Дорогая Фрина!

К сожалению, я не смогу выслать Вам обещанных библиографических справок – у меня небольшая неприятность: я упал и сломал себе левую руку в локте (вернее, вывихнул и что-то там небольшое отломал). Но ничего страшного нет – я уже дома, в больнице пробыл только сутки, самочувствие хорошее, через 10–15 дней обещают снять гипс. Но все рабочие планы откладываются (тюкаю Вам правой ручкой, а левую «нянчу»).

Мне не хотелось, чтобы у Вас создалось ложное представление о серьезности травмы – мне и больно почти не было (все вправляли и собирали по частям под общим наркозом, а я в это время видел самые прекрасные сны).

Будьте здоровы и благополучны.

Приветы всем Вашим – большим, средним и самым маленьким.

Ваш Ю. 11.III.81

11 апреля 1981 года

Дорогая Фрина!

Как Вы можете догадаться, я уже в состоянии писать письма правой рукой, придерживая лист левой. Следовательно, гипс сняли. Но еще долго придется делать разные дурацкие процедуры. У нас все в относительном порядке, хотя необходимость доводить курс лечения до конца сорвала все научно-командировочные планы, а от этого – тоска! Прилагаю сведения о новом лекарстве «против мусора в голове». Постарайтесь достать – оно Вам может пригодиться. А если будет возможность, – достаньте и мне: я боюсь за свою голову, как танцор за ноги. Ничего не поделаешь – рабочий орган. Хочется верить, что у Вас и всех Ваших все в порядке и что все здоровы. Не болейте и Вы – я Вас очень об этом прошу.

Неизменно Ваш,

Ю. Лотман

11. IV.81

Июнь 1981 года

Записка[242]
Фринуся!
Оставь мне таблетку для понижения давления (вот тут)[243].
Ю.

30 июня 1981 года

30.6.81

Дорогой Юрий Михайлович!

Писать все еще очень тяжело[244], но попробую хоть как-то сообщить Вам, как идут дела. Дикая жара очень мешает всем. Мужа перевели в несолнечную палату, окна – в тихий двор – это уже хорошо. Хотя все закрутилось для Ин-та неврологии, Лидия Петровна в минувшую субботу (27.6) получила от врачей совет этого сейчас не делать (больной устал, морально это плохо, каникулы – врачей там нет – будет просто лежать). Сказали, что лечение они окончат в ближайшую неделю, но держать в больнице смогут хоть до конца июля. Сдвигов особых нет. Сидит, немного стоит, ходить – никак. Нога опухла. Но надежда на восстановление ноги есть, руки – нет. И прогнозы врачебные самые грустные: вершина – ходить по дому, работать – никогда более. Сам Виля хоть и окреп несколько (аппетит, общий тонус), пал духом, не хочет тренироваться, много спит. Это очень, очень грустно.

Марина с детьми на даче – это благо. 27 приехала Ляля[245] и взяла на себя львиную часть всех забот, главное – самое тяжелое для меня – утро в больнице, покупки кое-какие и готовку еды. Я пока в больнице с 5 до 8 вечера. Я – по-прежнему в плохой форме. Думаю, что если бы не было дикой жары и безвоздушной квартиры, – было бы легче. Ляля – слава Богу – согласилась взять еще неделю отпуска и пробыть до 12.7. Я смогу хоть пару раз показаться на работе. Но поехать на дачу просто – из-за жары – не в состоянии. И не могу бросить все на Лялю. В больнице же – полная пустыня. (Если он без нас сядет, то лечь не может: ни в палате, ни из медперсонала ноги ему поднять некому!) Некому дать лекарства! Все – сами. Таковы дела.

Меня очень интересуют все Ваши дела, но спрашивать о них – сил нет. Я не могу даже представить себе, что было бы, если бы Вы не помогли своим участием в июне.

Желаю Вам отдохнуть, всему Вашему семейству – хорошего здоровья, благополучной погоды и всех благ.

Будьте здоровы, дорогой друг, будьте благополучны.

Всегда Ваша

Ф

P.S. Я сейчас собираю документы для института неврологии (помог Вал. Серг. Агриколянский)[246], который для курса реабилитации показан в сентябре.

2 июля 1981 года

Дорогая, бедная моя Фрина!

Боже мой, как трудно знать, что вы там все так страдаете, и не иметь возможности ничем вам помочь. Я твердо уверен, что крепость души и тела победят болезнь, движения восстановятся, и ты тоже отдохнешь телом и душой. Но, друг мой, дорога к выздоровлению долга и от тебя еще много потребуется. А для этого надо иметь физические силы. Поэтому я умоляю тебя не тратить душу и нервы на болезненные разговоры с врачами о возможных перспективах (ты ведь по опыту знаешь, что они из профессиональной осторожности называют самое худшее – они думают не о твоей душе и нервах, а о том, как застраховаться на случай возможных конфликтов «с родственниками»). Их тоже можно понять, только надо учитывать и делать поправку на их «стиль». Да, друг мой, тебе потребуется много сил и терпения, а поэтому тебе надо разумно организовать для себя некоторый отдых – хоть два дня в неделю проводить на даче, вырвавшись из Москвы. Я понимаю, что советовать легко, но пойми, что это просто необходимо, если ты хочешь выдержать до конца и сделать все, что надо сделать. Я вчера получил письмо от Марины – милая девочка, понимает, что я беспокоюсь.

У нас все в порядке – все здоровы: Леша уехал на практику в Среднюю Азию, Кая в положении и с ребенком одна на даче, но бодра и уверяет, что прекрасно справляется. Я ей через день привожу продукты и таскаю воду, которой на два дня, конечно, не хватает. Но через пару дней приедут из Таллина Миша с Пирет и Зара с детьми, тогда все наладится. Я здоров и чувствую себя прекрасно – вот только то дикая жара, то дикий холод.

Храни тебя и всех твоих Господь!

Твой Ю

2. VII.81

12 июля 1981 года

Друг мой!

Я беспокоюсь и все время думаю о тебе и о всех Вас, даже во сне вижу. Мне кажется, что я вместе с тобой задыхаюсь в безвоздушной раскаленной Москве. И все же я хочу сказать тебе маленькую проповедь – не в смысле назидания (не мне тебя назидать), а в смысле ободрения. В таких случаях, как и при тяжелых ранениях, больной не сразу осознает меру потерь и поэтому вначале излишне оптимистичен. Но по мере выздоровления, чем лучше делается физическое состояние, тем мрачнее становится настроение. Вот здесь-то необходимо вселить в него веру в полное возвращение в строй, ибо только такая вера даст силу воли на упражнения, мобилизует все ресурсы организма. Но для того, чтобы дать такую веру, надо верить самой, верить, верить и верить.

Ходи в церковь, к гадалкам или парасенсам (так, кажется?), но всей душой верь в чудо, и чудо будет.

Боже, дай тебе силы!

Но и не забывай о своем состоянии – это тоже необходимо не для тебя. Ездишь ли ты на дачу, хоть два раза в неделю? Уехала ли сестра и как ты справляешься, бедная?

Что на работе?

Мы все здоровы, Леша проходит практику где-то в пустыне в Ср<едней> Азии. Гриша надумал поступать (внезапно) и сдал уже три экз<амена> – все на «5» (вот тебе еще одно истинное чудо!). Но впереди еще вся специальность, а мест всего 2, претендентов же 14. Посмотрим…

Как Марина и дети? Всем приветы самые нежные.

Господь тебя благослови и помоги тебе (интересно, как он посмотрит на эту молитву старого атеиста и скептика?).

Всегда и неизменно твой

Ю. Лотман

12. VII.81.

21 июля 1981 года

21. VII.81

Дорогой мой друг!

Я тоже пишу устные – неотправленные и неотправляемые письма. Чем я мог Вас поддержать на таком расстоянии? Только тем, что все время помню и думаю о Вас. Если Вы хоть чуть-чуть экстрасенс, то Вы это должны чувствовать. К некоторым своим помощницам относитесь с юмором. Кто-то шутит и вьет из людей веревочку. Старайтесь хоть немного отдыхать. Марине привет.

Неизменно Ваш.

Ю. Лотман.

Верю, что все будет хорошо! (Написано на полях. – М.С.)

3 августа 1981 года

Дорогой мой друг!

От Вас нет и нет писем, а сегодня я получил письмо от Марины, которое меня одновременно и успокоило и встревожило. Успокоило относительно процесса выздоровления Вашего больного. Она пишет, что врачи изумляются тому, как Вы смогли выходить больного, и говорят уже не о 1-й, а о 2-й степени инвалидности. Я поговорил со знакомым врачом, и он меня заверил, что 2-я степень на такой ранней стадии дает надежду на (со временем) полный возврат работоспособности. Но то, что пишет Марина (и то, о чем она не пишет, но я догадываюсь), меня огорчает не фигурально, а буквально до отчаяния и боли в сердце, – это Ваше состояние: выходив больного, Вы можете убить себя. Это ужасно! Особенно же ужасно, что я вынужден быть пассивным этого созерцателем. Это просто физиологически противопоказано моему душевному складу. Чуть ли не впервые в жизни я нахожусь в позе созерцателя гибели человека, которому так дорого дал бы, чтобы помочь <так!>.

Что у нас? Ничего. Гриша не поступил (не хватило ½ балла), но мы были к этому внутренне готовы. Что-то не отдыхается. На душе тяжело и беспокойно. Утешаюсь чтением «Войны и мира» и работой.

Мы все здоровы, дети очень радуют. Кае в сентябре срок – она мужественно переносит свое положение и не только не причиняет хлопот, но сама помогает.

Будьте же здоровы и благополучны.

Марине спасибо за письмо.

Ваш всегда Ю. Лотман

3. VIII.81.

10 августа 1981 года

Дорогой Юрий Михайлович!

Не волнуйтесь, пожалуйста. Ничего плохого пока не случилось. Больной мой в том же положении, поверьте, предполагаемая группа инвалидности зависит не от его состояния, а от коньюнктурных соображений лекарей. У меня, правда, нет не только нескольких минут, чтобы написать покойно пару слов, но и чтобы о чем-нибудь подумать. Надеюсь выбраться из плена тяжелого горя, подавленности, страха за всех вокруг, невозможности читать и работать. Потребуется еще много сил… ох, как много. Он не деспотичен, но один не хочет заниматься, а ведь это единственный путь реабилитации руки и ноги (в который, в нашем случае, все врачи, не сговариваясь, не верят). Мама, облегчая мне физическую нагрузку, здорово мешает в воспитании в больном мужества и непривередливости. Да что поделаешь… Зато я все-таки с 14 по 23 августа (самолетом) надеюсь передохнуть у Скайдры.

Мне важны ваши письма, ибо трезвый голос, голос человека, понимающего холодно все происходящее. Вблизи же – все я вижу только сквозь слезы, сдерживаемые при больном, но вечно кипящие внутри. Я выберусь, выберусь из этого состояния, дайте срок. Любящая бедная моя Марина преувеличивает, не волнуйтесь. Невыносимо думать, что к многочисленным Вашим заботам и тревогам, Вашему больному сердцу прибавляется еще и это все. Будем верить, что все как-то образуется. Просто надо понять, что это тоже жизнь, и принимать ее такою, не горюя о том, что было. Ин(стит)ут неврологии условно планируется на сентябрьоктябрь.

Ах, как мне жаль, что Гриша не поступил.

Я буду Вам время от времени писать теперь на Вашу кафедру. Простите, что эти письма полны сумбура. Поверьте, что Вы сделали в смысле помощи, что могли, а теперь я терпеливо буду жадть встречи с Вами, а без Вас помнить то, что Вы мне пишете:

выжить и выстоять.

Будьте здоровы, будьте веселы, надеюсь из-за всех сил, что у Каи будет все в полном порядке.

Неизменно Ваша

Ф.

10. VIII.

Сегодня В.[247] исполняется 54 года…

24 августа 1981 года

Дорогая Фрина!

Вашу милую открытку я получил: конечно, она лакирует (изображенный на ней вид) действительность: перила балкона[248] все целы, а они, как я предполагаю, давно обвалились. Дома, куда я вернулся после небольшого путешествия, я застал всех здоровыми. У Зары, кажется, ничего серьезного. Тренинг[249] я уже спрашивал, но, увы, конечно, ничего подобного нет. Желаю Вам скорейшего выздоровления больных и «не боления» здоровых или тех, кому поневоле приходится выступать в этой роли.

Ваш Ю. Лотман

24. VIII.81

5 сентября 1981 года

Друг мой! Я получил лекарство. Спасибо, но я несколько смущен – не наносится ли ущерб тем, кому оно более нужно? Мне это было бы очень неприятно. 24–25 авг<уста> мне было как-то особенно тяжко, и закончилось это сильным печеночным приступом, кот<орый> сейчас уже, слава Богу, полностью прошел, и я чувствую себя очень хорошо. Надеюсь в сентябре побывать в Москве (в октябре мне труднее – будет много лекций, но, в крайнем случае, в октябре). Если Вам попадется (в Доме ученых?) в киоске последн<ий> № Изв<естий> ОЛЯ – очень прошу купить. Там вышла наша с Б.А. и Н.И. статья (с идиотской врезкой!)[250]. Только не надо ради этого бегать и мучить себя – только если случайно попадет. Сегодня пришла вторая корректура биогр<афии> Пушкина[251].

Как там у Вас-то? Все время об этом думаю.

Ваш Ю.

12 сентября 1981 года [252]

Дорогая Фрина!

Все же печенка преподносит мне небольшой сюрприз. Ничего серьезного – легкое воспаление желчных пузырей, но меня уложили на неделю дома (даже семинары провожу дома) и лечат лекарствами. Все планы полетели: в Ленинград, куда меня срочно зовут из-за Карамзина, не выберусь раньше начала сентября. Оттуда думаю заехать в Москву – есть дела с Б.А. Самочувствие сейчас удовлетворительное. Как-то у Вас? Из дома не выхожу, писем не получаю и беспокоюсь. Дай Вам Бог всего самого лучшего.

Приветы Вашим.

Ваш Ю. Лотман

(На полях: пришла 2-я корректура биогр. Пушкина)

19 сентября 1981 года

Фрина!

Это безбожно – сегодня 19 сентября и ни единого письма, только лекарство без одной строчки. Что случилось? Хуже со здоровьем мужа? Вы больны? Сердиты на меня? За что??? Я ломаю себе голову и ужасно беспокоюсь. Плюнув на постельный режим, бегаю узнавать, нет ли писем, – все напрасно. Я просто не знаю, что делать, и утешаюсь лишь тем, что если бы было что-нибудь ужасное, то Марина не могла бы мне не сообщить…

Я уже почти поправился. Врачи винят меня в нарушении безалкогольной и прочей диеты. Но я знаю, в чем дело – печень не выносит хандры и горя, а т<ак> к<ак> настроение у меня слишком часто бывает скверное, то она и бунтует. Но все это пустяки – я уже практически здоров, с будущей недели начну читать лекции. Все еще надеюсь в октябре побывать в Москве.

Что делается у Вас? Удалось ли устроить больного в Институт?[253] И, главное, как Ваше здоровье? Просто жестоко держать меня в неведении. Хотелось бы верить, что Вы здоровы, хотя относительно, и что в целом у Вас все идет к лучшему. Но так ли это?

Неизменно Ваш

Ю. Лотман

19. IX.81.

24 сентября 1981 года

Дорогая Фрина!

Вчера отправил отчаянное письмо Марине, а сегодня получил Ваше (первое) письмо и телеграмму. Спасибо. А то я уж очень беспокоился.

У нас пока все без изменений, Кая ходит на последнем взводе, но бодра и мужественна. Я переболел, сейчас здоров, анализы печени все очень хорошие, но от болезни осталась еще слабость – пройду 200 м и сажусь весь в поту. Врачи говорят, что это естественно и будет так еще некоторое время.

Все это отступает на задний план перед ужасом ленинградских новостей: у Дм<итрия> Сергеевича Лихачева одна из двух (лучшая и любимая) дочь попала под машину насмерть.

Скончался Мих. Павл. Алексеев. Скончался Стеблин-Каменский.

Особенно первое поразило меня каким-то стонущим ужасом.

Боже мой… Бедный Дм<итрий> Серг<еевич>.

Между тем, как говорил Пушкин, «нужды жизненные не дремлют», жизнь идет своим жестоко-обыденным чередом.

У нас золотая осень – золото и синева. Это странным образом примиряет.

Будьте здоровы, и дай Бог Вам и Вашим всего самого лучшего.

У Марины прошу прощения за нервное письмо.

Ваш

Юра

24. IX.81.

26 сентября 1981 года (телеграмма)

ТЕЛЕГРАММУ ПИСЬМО КОТОРОЕ ШЛО 16 ДНЕЙ ПОЛУЧИЛ СПАСИБО КАЯ РОДИЛА ЗДОРОВУЮ ДЕВОЧКУ ЦЕЛУЮ ЮРА

26. IX.81

30 сентября 1981 года

Дорогая Фрина!

Наконец я получил Ваше письмо и телеграмму и письмо Марины, и все успокоилось и разъяснилось. Дело в том, что, когда я получил ноотропин, я был болен, принимал разные противопочечные с естественными побочными действиями и, поэтому, ноотропин отложил до лучших времен. Следовательно, не стал его открывать, следовательно, не видел Воспоминания, следовательно, беспокоился. А второе письмо шло 16 (!) дней (четыре дня в дороге и 12 его читали в Тарту!). В результате, до Вашей телеграммы вообще ничего не знал. Вообразите мое беспокойство. В конце концов я уже твердо знал, что Вы больны, и воображал всякие ужасы. Поскольку при обострении печени у людей бывают временные умопомешательства, то Вы меня извините.

Поблагодарите Марину за письмо. Хотя оно пришло и позже Вашего (кстати – если это кстати! – второго Вашего письма, отправленного, по словам Марины, 20-го, я до сих пор, т. е. до 30-го, еще не получил; видимо, наша переписка очень интересна!), но содержало ряд дополнительных, интересных для меня подробностей.

Я рад, что у Вас кое-как все налаживается.

Я тоже сейчас совершенно здоров.

Очень хочу до середины октября приехать в Москву, но удастся ли – не знаю.

Сегодня встречали Каю из больницы. Она принесла милую смешную девочку с большим носом. Имя пока не установлено, и это предмет наших споров.

Будьте здоровы,

Сердечно и неизменно Ваш

Ю. Лотман

30. IX.81

5 октября 1981 года

5. X.81

Дорогая Фрина!

Ваши письма от 19 и 28.9 получил вчера в один день. Спасибо за память и вести. Разве мое письмо было сердитое? Просто я до безумия беспокоился. У нас все в относительном порядке. Леша и Кая героически сами справляются с двумя (Леша взял академический отпуск). Маленькая[254] очень смешная – с огромным (моим!) носом – бедная крошка! Будьте здоровы, спокойны и, если можно, хоть иногда веселы. Я надеюсь в окт.<ябре> побывать в Москве, но очень трудно выбраться.

Ваш

Ю. Лотман.

(Удается ли лечь в больницу? Когда?) Как проходит излечение Вашего мужа? Имейте в виду, что чем состояние лучше, тем исцеление идет медленнее, и иногда будет казаться, что вообще нет прогресса. Это закономерно: не теряйте духа и терпения и вселяйте мужество и уверенность в больного – возможности человеческого организма огромны. Но Боже, сколько это Вам-то стоит!

16 ноября 1981 года

Дорогая Фрина!

Пишу Вам из Ленинграда – приехал по «карамзинским» делам[255]. Очень беспокойно, как Вы и у Вас. Особенно беспокоит Ваше здоровье.

27 ноября в Москве будет (не знаю, где еще) заседание, посвященное юбилею Дм<итрия> Серг<еевича> Лихачева[256]. Я, Б<орис> Анд<реевич> и Бор<ис> Федор<ович> там будем (в числе чуть ли не 20 других докладчиков) выступать. Хотелось бы очень с Вами повидаться…

Пишу это Вам на почте около Лен<инградского> университета. Помните? На углу Ак<адемии наук> и Невы. На филфак почему-то всегда больно и страшно заходить – я его обхожу, и каждое посещение мне стоит больших трудов.

С Карамзиным – Бог знает что. Это какое-то заклятое издание. Но вообще все в норме. Дети (двух поколений) здоровы.

Как Марина? Скучаю по Феде (смешно?).

Неизменно Ваш

Ю. Лотман

16. XI.81.

20 декабря 1981 года

20/XII-81

Дорогой Юрий Михайлович!

15 числа я выписалась из больницы, мало что давшей мне в этот раз. Причина – постоянное беспокойство о больном, поездки в Орехово[257] каждое воскресенье (тайком от врачей) и тяжелая неопределенность с будущим мужа. Состояние его не хуже, несколько лучше, но о работе и речи быть не может, а б/л <больничный лист> больше не продлевают. Решили смириться и пойти на инвалидность II гр<уппы> без права работы. Это решение стоило много нервных сил, бессонных ночей. Что делать – выхода нет. Зато любая определенность – благо. Теперь надо привыкать окончательно к новому статусу жизни, найти в себе силы работать, а ему подыскивать посильные занятия дома. Иначе просто нечем дышать…

Марина, молодец, справляется героически. Это наше решение ее тоже освободило от мучительных страхов за отца и тревоги из-за моих неуемных хлопот и волнений. Дети сейчас здоровы, Юрочке – годик, Марина получила возможность еще 2 месяца побыть дома. Я получила запоздалый привет от Вас – Женя Р.[258] слушала Вашу лекцию в Таллине. Повидать ее не удалось (была в больнице), говорила с ней по телефону.

Я ничего не читаю, нигде не бываю и ни о ком ничего не знаю. Однако печалей хватает. Скончался 46 лет отроду Вал. Серг. Агриколянский. Он был добрым человеком, никому не делал зла. На похоронах его была толпа. Я не поехала – отговорили (это было в день моей выписки из больницы). У него во второй раз открылось кровотечение, которое не удалось остановить. Бедная Оля![259]

Но будем надеется и верить, верить! Ведь не только из печалей состоит жизнь! Было же в ней и доброго всего, было столько счастья! Будут еще и ясные дни!

Я молюсь о том, чтобы Новый год принес Вам и всем Вашим здоровье, спокойствие душевное, чтобы были у Вас силы жить и работать. Пожалуйста, напишите, как Вы себя чувствуете, каково здоровье всех Ваших домашних. Если это письмо и грустное – так простите мне: иначе не пишется, а не писать – Вы будете обо всех нас тревожиться.

Будьте здоровы, не забывайте нас.

С сердечным приветом

Ваша Ф.

P.S. Ближайшие две недели уйдут на оформление всех этих

тягостных документов. Одновременно в доме крушат сантехнику, меняют трубы и прочее – это ли не разнообразие?..

27 декабря 1981 года

27/12/81

Дорогой Юрий Михайлович!

Спасибо, спасибо за биографию[260] – радуюсь вместе с Вами. Наконец-то! Повторяю как заклинание: «Пушкин вошел в русскую культуру… как гениальный мастер жизни, человек, которому был дан неслыханный дар быть счастливым даже в самых трагических обстоятельствах». Даже сейчас читаю с наслаждением. И Марина радуется. Дети здоровы. Федя вдруг «увлекся» – весь день играет на флейте с упоением, Юрочка прелестен своей жаждой быть и радоваться сущему.

У нас вот какие новости. После 1 января – ВТЭК[261], видимо, 2 гр.<уппа> с рабочей рекомендацией – последнее важно, ибо формально дает возможность сразу не увольнять, дать какую-то работу дома. Позавчера ездила на з<аво>д[262] к начальству переговорить. Тяжело готовилась (вот на что уходят силы…), а оказалось приветливо, расположенно и тепло даже: согласились на 2 отпуска подряд, затем м.б. <может быть> б/л <больничный лист> или чтото другое – одним словом, до лета. Это главное. А дальше – поживем… В феврале надо пройти в клинике 2 – 3-недельный курс лечения. Состояние больного стабилизировалось на одном уровне. Морально ему бывает очень тяжело, бывает – полегче.

Я еще не научилась уходить из дома без крайней надобности. Это нелегко. Все-таки днем, если я на работе, В.[263] сам может около часу прогулять во дворе (если не очень скользко). <…>

Что Вы и все Ваши? Как малышка – самая маленькая Леличка? Что Гриша? Давно про Вас ничего не знаю. Бедой своей распугала всех своих знакомых – нас навещают только сослуживцы Вили – трогательно, но безумно скучно.

Еще раз – с Новым годом! Дай Вам Бог счастья!

Ваша Ф.

Конец декабря или начало января 1982 [264]

Да будет Новый – 1982 – год, как обещает нам японский календарь, «удачным во всех отношениях».

Будьте здоровы и счастливы,

Ф.

28 декабря 1981 года

Бедный мой, дорогой друг!

Я получил Ваше письмо от 20/12. Сердце мое облилось кровью от горя и сочувствия. Оказывается, это не метафора и иногда сердце, чувствуешь, как обливается кровью. Я всем существом ощущаю, как Вам тяжело.

Но, друг мой, будем с доверием относиться к жизни. Ведь она иногда и вознаграждает за терпение и доверие минутами светлой радости, которые стоят годов. Еще много жизни впереди, а следовательно, будут и светлые минуты.

А еще есть и Федя и Юрочка. Кроме того, я знаю много случаев (действительно знаю), что человек, побыв пару лет после инсульта на инвалидности, восстанавливает работоспособность. Ведь не руками же, а головой работать. Вспомните Вашу Скайдру – ведь сейчас у нее голова, вероятно (если не считать возрастных черт), такая же, как была бы и без инсульта. А я знаю и гораздо лучшие случаи. Отец Ларисы Вольперт после инсульта в 83 года книгу написал после двух лет полной инвалидности[265].

Будем терпеть и надеяться.

Получили ли Вы биографию Пушкина? Прочли ли? Я надеюсь во второй половине января быть в Москве (сессия в Славяноведении). Безумно жаль Олю Агриколянскую: сколько горя вокруг[266].

Но бодрость, бодрость – будем брать пример с Пушкина.

Я вчера получил обратно свое письмо к Вам – от беспокойства и волнения не написал улицу.

Друг мой, пусть этот год, который начинается так грустно, принесет Вам хоть немного и светлых дней, счастья, радости и здоровья, здоровья, здоровья. То же и всем Вашим близким.

Марину поцелуйте.

Всегда и неизменно Ваш

Ю. Лотман

28. XII.81.

6 марта 1982 года

Дорогая Фрина!

Сердечно поздравляю Вас и Марину с 8 марта. Будьте здоровы, благополучны и, если возможно, веселы. Спасибо за письмо, Марине за открытку. Юбилей мой, слава Богу, прошел и я перевожу дух.

Перед ним я был в Ленинграде, где все так полно воспоминаний.

Где Ваша статья и вступление к Словарю? Пришлите.

Неизменно Ваш,

Ю. Лотман

14 марта 1982 года

Дорогая Фрина!

Меня беспокоит отсутствие писем от Вас. Очень хотелось бы получить, хотя бы пару слов. Беспокоит и состояние Вашего больного и Ваше собственное. Идут ли курсы автоводителей[267], где Ваша статья[268] и предисловие[269], как живут Марина, Федя и Юрочка? И еще много «как», «где» и «почему». Я благополучно пережил юбилей, но после него как-то скис – немного недомогаю, но надеюсь, что это скоро пройдет.

Посылаю Вам нашу газетку со статьей Игоря Чернова. М.б.

это Вас немного развлечет.

Более писать о себе нечего – работается вяло. Надеюсь весной быть в Москве, но когда – еще не знаю.

От души Вам всего самого лучшего.

Ваш Лотман

Тарту. 14.III.82

20 марта 1982 года

Дорогой Юрий Михайлович!

Я получила газету со статьей И. Чернова[270] и очень обрадовалась. Все там так мило, и так хорошо мне было узнавать из нее и старые и новые для меня факты. Надеюсь, что и Вам она доставила приятные минуты. Все-таки, несмотря на всю усталость от юбилея, я надеюсь, было Вам и приятно и радостно видеть любящих Вас людей – многих. Очень хочется верить, что Вы приходите в себя. Я неделю назад написала Вам, что дома все идет неровно. Последний срыв был 15 марта – тяжелый приступ у мужа. Кажется, наш доктор не связывает этот сосудистый криз напрямую с инсультом, но он отбрасывает назад, дает многодневную слабость и неуверенность (прежнюю) в ходьбе и т. д. Это особенно тяжело мне: страх, ужас, неотложка, немедленные меры (на как будто трезвую голову), а потом… мое отчаяние и расплата за нервы. Надо как-то быть поспокойнее – но это мне плохо удается. Как только я успокаиваюсь и стараюсь («надо жить!»), – опять происходит что-то подобное… <…>

У Марины все неплохо: Андрей много работает <…> Ребята прелестные – Федя вырастает в очень своеобразного умненького мальчика, Юрочка потешает и радует нас своей самостоятельностью и деловитостью. К сожалению, я буквально привязана к дому, я не могу отлучиться и на полдня (кроме работы).

М.<ожет> б.<ыть>, я и пошлю Вам вступление к словарю. Посмотрите без гнева и раздражения… <…> Мы все еще надеемся, что Виль работать хоть в каком-нибудь качестве будет – это так важно для восстановления! Когда – совсем теперь не ясно.

Врачи – за, обыватели – все против работы.

«Биография» в Москве пока что так и не появилась. Я очень хочу надеяться, что юбилейный Ваш сборник Вы – весной – подарите мне лично.

Будьте здоровы, пожалуйста. Я часто думаю, как Вы можете успокоить меня и в такой ситуации найти слова ободрения.

Дай Вам Бог сил и здоровья.

23.3.82

P.S. Посылаю Вам предисловие[271]. Е.А.[272] хотелось бы получить еще два абзаца:1) словарь – в аспекте современных книговедческих исследований, т. е. что определения построены на их базе; и 2) место словаря в лексикографии собственно терминологических словарей. Последнее я совсем не знаю. Можно править как угодно и что угодно дописывать. Спасибо –

заранее.

5 апреля 1982 года

Друг мой!

Я прочел внимательно – предисловие составлено очень хорошо: ясно и точно. Существенных замечаний у меня нет. Ты просишь добавить два абзаца[273] – ничего сейчас не могу выдумать – голова не работает от усталости абсолютно. Придумаю и пришлю потом.

Я надеялся побывать в Москве – проездом в Воронеж, куда меня посылают на вшивую юбилейную сессию, посвященную нашему ун<иверсите>ту. Но оказалось, что мы будем из Таллина лететь самолетом же в Питер, прямо на юбилей Макогона[274] – мероприятие грустное: ему 70 лет и его выпирают, а он к этому не привык – грустит и нуждается в утешениях.

Я устал, грустен и зол, но это все временно и «с жиру». Вообще же все в порядке. Очень соскучился по Москве и москвичам (некоторым), но когда смогу приехать – неизвестно. Очень хотелось бы поговорить – в письме не выговаривается.

От души желаю здоровья и бодрости – вопреки всему. Марине и детям мои сердечные приветы.

Прости за меланхолический тон письма. Это оттого, что пишу ночью, оттого, что лечу самолетом и проч.

Неизменно преданный

Ю. Лотман.

5. IV.82

1 июня 1982 года

Тарту, 1.6.82.

Дорогая Фрина!

Сердечно поздравляю Вас с днем рождения. От души желаю Вам всего самого лучшего – здоровья, покоя, благополучия домашних, чтобы душа не мерзла, сердце грелось, хороших снов и приятных пробуждений.

О себе писать невозможно – все и мало и много. В общих словах у нас все в порядке. Есть приятности – они связаны в основном с новым домом: там привольно, нет в округе до двух км людей, лес, в котором на радость Леши и Джери бегают кабаны и лоси, и из более мелкой живности – комары, соловьи, дрозды, лисицы и пр. Весь лес в подснежниках.

Есть и неприятности: недавно была (первый раз в жизни) почечная колика[275] – привет от старости. Было очень больно, но все прошло и сейчас совершенно здоров. Был на Тыняновской конференции в Резекне. В Москву – разве что в конце июня (в самом-самом), но и то не достоверно. Очень много дел – такой ком, что не подойти даже к нему.

Еще раз всего-всего Вам хорошего.

Ваш Ю. Лотман

9 июня 1982 года

Дорогой Юрий Михайлович!

Очень обеспокоена сообщением Марины о каком-то приступе у Вас: не то печени, не то почек. Об этом ей сказал Борис Андреевич, встретивший Марину в Ун-те. Что это было? И как сейчас? Дома я практически не бываю, Марина тоже переехала с детьми на дачу, и за почтой я захожу напротив дома на п/о <почтовое отделение> раз в неделю. Б.А. сообщил также, что пока Вы на дачу не переехали. Как все далеко, как редко можно что-то достоверное узнать… Сама я до такой степени погружена в заботы о муже, что мало что остается для размышлений или собственных интересов. Быт дачный достаточно тяжел (т. е. непривычен для меня), и ездить в город, при этом вечно с полными сумками, тоже тяжело. (Простите эту прозу.)

Словарь мой прошел на «ура» на нашем ученом совете. Никому до этого дела нет, так что теперь по работе я посвободнее. <…> О Виле не знаю что и сказать: то лучше, то хуже. В общем все остановилось на каком-то среднем уровне, и видно, надо Бога молить, чтобы не было хуже. Он плохо адаптируется сам, плохо ходит, разумеется, ничего делать не может, и теряет веру и бодрость. Я же отдала что могла, теперь и отдавать нечего: выдохлась полностью. <…>

Очень бы хотелось повидать Вас, посоветоваться – да теперь, видно, не скоро. И все же самое главное – знать, что Вы хоть относительно здоровы и что Ваши домашние – тоже.

Всего Вам доброго, дорогой друг мой, будьте здоровы.

Ваша

М[276]

9/VI-82

11 июня 1982 года

Дорогая Фрина!

Спасибо за письмо. Я здоров и у нас все в порядке, но хлопот с окончанием учебного года, домом, огородом и пр., как можете себе представить, очень много. Планы на июнь самые туманные.

Вот уже чуть огляжусь и напишу.

Хочется верить, что и у Вас, хоть относительно, все в порядке.

Сердечно Ваш,

Ю. Лотман

25 июня 1982 года

25/VII-82 г.

Дорогой Юрий Михайлович!

Сегодня только приехала домой, чтобы вечером укатить поездом в свое прекрасное «далеко» дней на 18–20, если получится. С 6 июля была безвыездно на даче, в 4 руки с мамой; стало полегче, и я, кажется, отдохнула. А теперь меня все дружно вытолкали.

Больной окреп, много ходит и рвется в город. Но впереди еще месяц – и его надо, не глядя на скверную погоду, провести там, на воздухе. В целом его состояние то же.

А каково Вам – в Вашем поместье? Иногда бывает так тревожно! Что кругом никого – это хорошо, но ведь и страшно! А вдруг опять какой-нибудь приступ и даже телефона нет вблизи… <…>

Прочитала книжку Ж. Маймина[277] о Пушкине. Так хотелось, чтобы понравилось – ан ничего не выходит. Зачем он это все пишет? Ну хоть бы что-нибудь новое, не читанное в десятках других книг. И «Наука» печатает. Грустно! Как во всех его работах, в этой то же: видно, что писал хороший человек. Но ведь этого мало для научной книги.

Балует ли Вас солнце? У нас было тепло две недели, а теперь опять дождь и холод. Динер[278] говорил мне, что у Миши вышла книжка – поздравляю его и Вас.

Получила открытку от В. Гельмана[279] – сообщает о выходе своей книжки и извиняется, что прислать не может. Ах, пишите книжки, не хотите – не пишите, только будьте здоровы, живите и радуйте всех Ваших друзей.

Как уже мало осталось Вам отдыхать! Очень хочется, чтобы лето было для Вас благополучным во всех смыслах!

Сердечно Ваша (Ф)

25 августа 1982 года [280]

Дорогой Юрий Михайлович!

Давно не писала Вам. Сначала не писалось, потому что была далека от дома и знала, что и Вас дома нет, потом разные заботы… Но вот и лето прошло, и начинается обычная жизнь. Надо сказать, что хотя и было скверное лето по погоде, наши на даче окрепли. Топили печки, возили из Москвы продукты, все както копошились в земле, – лето и прошло. Правда, все замерзло в июне, и ягод никаких не было, но ничего: прожили. Изменений особых в здоровье Вили нет, может быть, только немного окреп он. Надоела стимуляция, призывы «работать», и я решила переменить тактику – пусть все идет как идет. Марина и дети здоровы. Юрочка – любимец папы – ужасный разбойник и каприза. Федя мало что успел за лето, но научился дрова рубить и колоть и помогать маме с братцем.

Я отдохнула очень хорошо. Погода стояла великолепная, теплое море, и моя хозяйка была очень мила. А что грустно там[281] – так не слишком ли многого мы хотим…

Сегодня я первый день на работе. Завтра перевожу своих с дачи. Прочитала рецензию Эйдельмана – все так, как Вы мне говорили. Зато Ваша книжка стояла в библиотеке моего курорта среди новых поступлений – и каждый мой визит туда радовала глаз.

Что-то у Вас нового? Что Вы и все Ваши? Все думаю, глядя на Марину, как Пирет и Маша справляются с тремя девочками? Я даже описать не могу, как выглядели на даче двое мальчишек. Ужас какой-то! Не пишется как-то. Все, что надо, надо рассказать, а писать – трудно. Буду надеяться, что Вы здоровы, хоть относительно, и что выберетесь к нам.

Всего Вам доброго, не болейте.

14 сентября 1982 года

Дорогой друг!

Хотелось, и даже в «высоком штиле», поздравить Вас с юбилеем Университета. Но не телеграммой же… Ведь 30 лет жизни отдано и делу и людям, и сколько сделано, и сколько отдано! Вас-то именно и надо чествовать в дни юбилея. Примите мои поздние поздравления. <…> Я же скромно молю Бога, чтобы Вы были здоровы – остальное все «приложится», как поет Окуджава.

У нас – что хорошо – ничего нового не происходит. С одной стороны, некая (другая) жизнь устоялась со своим ритмом и особенностями. Это хорошо, ибо дает возможность жить. С другой, в ней появился оттенок безнадежности (ибо больной, видимо, дал все, что мог, и теперь надо надеяться только на то, чтобы не было ухудшений). И тяжелые стороны этой жизни раньше и не предполагались. Но – я не хочу жаловаться.

В Москве все по-прежнему. Только вокруг столько смертей, что я просто перестала ездить на похороны – сил нету. Словарь мой в издательстве, 15-го возвращается из отпуска Мильчин[282], чтобы наброситься на него с новыми силами – у него куча замечаний. У Марины все в порядке, по Вашей терминологии, а по моей – жуткий быт и тяжелейшая жизнь. Она начала работать, ergo – недовольство, внутреннее, Андрея выливается в серию разнообразных фокусов и нервических выходок. Бедная Марина!

Дорогой Юрий Михайлович! Напишите о себе и Ваших близких – все ли Вы здоровы, как «перенесли» торжества? Скоро ли к нам?

Будем все надеяться на доброе.

Сердечно Ваша

Ф.

От Марины самые сердечные приветы и добрые пожелания.

22 февраля 1983 г

Дорогой Юрий Михайлович!

Примите и мои добрые пожелания в день Вашего рождения! [283] Лекарство для Виктории Михайловны, купленное в день отъезда, я передала Наташе в Лен-де. Поездка моя – по делу – была удачной, и погода стояла удивительная – было хорошо, только гостиницы не было… Сейчас я что-то простудилась и болею, оттого так скверно пишу.

Затерзал меня автомобиль[284]. Марина и дети здоровы (относительно). Юрочка делается все лучше. Будьте здоровы и благополучны.

Фрина

22/II-83

5 марта 1983 года

Дорогая Фрина!

Спасибо за поздравление – оно пришло точно 28-го. Беспокоюсь о твоем здоровье: писала, что болеешь, а как сейчас? Искренне сочувствую твоим автомобильным страданиям: корень учения горек, но, помни, плоды его сладки.

Посылаю тебе книгу[285].

Я устаю, как собака, в середине дня просто теряю человеческий облик (возраст, видимо…). Голова еще работает хорошо – прямо кипит идеями и замыслами, – а тело – старая кляча – просит отдыха.

Меня страшно терзает неотданный долг (сволочи, задерживают гонорар!)[286], но уповаю в марте вернуть. Душой рвусь в Москву, надеюсь, что в марте смогу приехать, но как, когда – не знаю: дисциплина.

Будь здорова и не болей.

Твой Ю. Лотман.

5. III.83

12 июня 1983 года

Дорогая Фрина!

Простите, что так поздно поздравляю Вас с днем рождения[287]. Приехав в Л<енингра>д, сразу попал на чертово колесо: на другой день – доклад, а затем семь дней, не поднимая головы, делал именной указатель к Карамзину:[288] Нонна Марченко так все спутала, что мне практически пришлось все делать заново. Адова работа! А тут у Миши тяжело заболели все девочки – t° 40°. Мы страшно перепугались (сейчас уже, кажется, – тьфу, тьфу, тьфу – все позади!). Когда это все пронеслось, как какой-то сумасшедший сон, я очнулся в Тарту и – Боже мой! – вспомнил, что сейчас уже 11 июня!

Грустно и стыдно!

Но все равно от души желаю Вам всего самого лучшего, а более всего – здоровья и хорошего отдыха. Он так Вам необходим!

Всегда и неизменно Ваш

Ю. Лотман

12. VI.83.

P.S. Сейчас сижу ночью – читаю дипломные работы. На даче еще не был. Страшно подумать, сколько дел накопилось на лето.

P.S.P.S. Нам, кажется, ставят телефон (!!?).

28 августа 1983 года

Дорогой, дорогой Юрий Михайлович!

И я, и Марина всей душой с Вами в Вашей беде. Подумайте, как невозможно знать, откуда беда придет[289]. Но я почему-то убеждена, что в этом случае все будет со временем(!!) в порядке. Когда я разговаривала с Вами, все мои домашние были дома, совсем рядом. По все <нрзб.> разным соображениям я была несвободна в выборе фраз. Но ведь Вы понимаете, как я все время неотступно думаю о Вас и молю Бога о милости к Грише. Молодой организм должен справиться – ведь это только ушибы. А переломы такого рода как будто проходят бесследно.

На днях будет у нас наш доктор. Я (без больного, что не совсем хорошо) все-таки переговорю с ним: у него такая практика! Хотя не сомневаюсь в том, что Вы весь Ваш факультет поставили на ноги.

Марина собирается послать Вам выписки из какого-то популярного журнала, пусть не все так, но для Гриши такие вещи важны: это означает – скучные и надоедливые тренировки, которые, вероятно, необходимы.

Марина нас на машине вполне свободно перевезла с дачи. А на следующий день и сама(!!), одна, собралась и перевезла себя и своих детей! Андрей все еще отсутствует. Виль за мое отсутствие кое-чего добился: например, он до станции на даче (4 км) проходил сразу и всего за час 15 мин. Это хорошо. Часа 2 может ходить по Сокольникам. Но кровь все равно густая – и это постоянная и главная опасность. Внешне он окреп и т. д. А жить —…тяжело, как раньше, потому что дома по-прежнему заняться ему нечем. Вся надежда на предстоящую с 29 августа работу на заводе.

Что Вам еще сказать? Юрочка очень вырос за лето, в отличие от братца, очень энергичен, хорошо знает, чего хочет, и в два с половиной года говорит целыми разумными фразами. В логопеде, как было с Федей, тоже не нуждается.

На работе все по-прежнему. Я получила свое пенсионное удостоверение, но никакой грусти или, наоборот, легкости от возможного освобождения я не чувствую. Наоборот, ответственность за работу – будущую и настоящую, злость от испоганенного титульным редактором словаря (он, гнус, не захотел внести исправлений, которые мы сделали в верстке, там будет такое количество глупостей, что просто стыдно!) и т. д.

Еще раз прошу Вас: вдруг нужны лекарства или еще чтонибудь, сообщите.

Дай Вам Бог сил и здоровья вынести все и помочь Грише.
Всегда Ваша
Фрина
28/VIII-83

19 октября 1983 года

Дорогая Фрина!

Вот уже более 10 дней «в заграницах». Мы были в Иене, где на «Бахтинской конференции» у меня был доклад. Исил (? – нрзб.) прелестен. Вчера в Берлине в Институте лит. А.Н. также делал доклад. Завтра едем в Дрезден. Уже немного замотались и засуетились. Удастся ли в Дрездене достать многолетних семян[290], не знаю, т. к. будем там в субботу.

Как всегда твой Ю.

Поклоны твоим. (18а)

5 июля 1984 года

Дорогая Фрина!

Надеюсь, что Вы уже в Кемери у Скайдры[291]. Очень ясно вижу как Вы, пользуясь хорошей погодой, ездите на пляж, вижу Вас утром у источника минеральной воды и в кафе (творог со сметаной?). Надеюсь, что альпийских цветов[292] в парке не воруете… У нас все в порядке. Я все время на хуторе (плотничаю, собираю грибы и пр.), пасу козла и разнимаю его с Джери. Хорошего Вам отдыха. Получили ли мои письма. Неизменно Ваш. Ю. Лотман

10 июля 1984 года

Дорогая Фрина!

Большое спасибо за Ваше письмо от 19/VI. Я получил его, как и открытку (вторую!) Марины. И то, и другое с большой задержкой, но получил (Ваше письмо завалялось в канцелярии). А вот первое Маринино письмо (или открытка?) пропало без следа…

Очень рад, что Карамзин Вам нравится. Эта книга мне особенно дорога – целая полоса жизни[293]. Помните походы к Древлянской[294] и др. и пр.? Только что я наконец – с опозданием ровно на год! – кончил статью о русской литературе XVIII в. в сб. «Культура XVIII в.»[295] (МГУ, затея покойного Краснобаева[296]). Опоздание на год скомпенсировано тем, что объем я превысил на три печ. листа: вместо 90 стр. – 140 да еще с подклейками. Но дальше уж их дело, а я – с плеч долой! Вымотала она меня…

Сейчас, после прекрасных четырех дней на даче (у нас жара тропическая), вернулся в город убрать в кабинете, разобрать курганы книг и обдумать, что дальше делать. А вместо этого сижу, пью чай от жажды и читаю Чехова и детективы.

Прочтите прекрасную книгу С.Л. Абрамович «Пушкин в 1836 г.» – история преддуэльных отношений: просто, ясно и благородно. Все эффектные брехни спокойно отводятся. Я подрядился написать о ней рецензию в «Новый мир», но они могут ее опубликовать не скорее № 6 будущего года[297]. Придется дожить. Радуюсь тому удовольствию, которое Вы получите от этой книги. Очень хочется верить, что Вы сумеете хоть немного отдохнуть. Тревожно, как Вы и Марина совместитесь с вернувшимся из больницы Андреем[298].

У нас все тихо (как на Шипке – без перемен). Грише медленно делается лучше. Иногда кажется, что акцент следует ставить на «медленно», а иногда – на «лучше». В августе он будет снова в специализированном санатории в Хаапсалу. В прошлом году это мало помогло, но мы надеемся. Я на даче плотничаю – строю летнюю пристройку И ПОЛУЧАЮ ОТ ЭТОГО ОГРОМНОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ. Книги вгоняют меня в сон, а к доскам и топору я иду, как на свидание. Самое смешное, что это дело у меня получается совсем неплохо.

У нас живет 3-месячный козел мужского пола. Леше его выдали в зоосаду на выхаживание, т<ак> к<ак> его законная маман кормит грудью какого-то экзотического уникального козленка. Это существо было ростом с котенка – теперь с кошку.

Черный. Уже с рожками, как чертенок. Все время норовит бодать Джери, а Джери – ростом с теленка – забирает всю его шею и полголовы в пасть (мол, одумайся, Господь с тобой!), но зубов не сжимает. Воспитывает. Про всякую университетскую муру не пишу. Муры много, но я ее выкинул до сентября из головы.

Еще раз желаю Вам всего самого лучшего. Марине приветы сердечные и благодарность за открытки.

Неизменно Ваш

Ю. Лотман

10. VII.84.

23 июля 1984 года

Дорогая Фрина!

Надеюсь, что Вы уже в своей Латвии, в Кемери и начали отдыхать от всего. Жаль, что погода, наверное, у Вас, как и у нас. Я еще все не могу отключиться от всякой муры. Только что кабинет убрал – книги переложил. Пусть эта балерина[299] напоминает Вам об утренней зарядке и о том, что жизнь все же хороша и жить стоит.

Ваш всегда Ю. Лотман

23. VII.84

9 ноября 1984 года

9.11.84[300]

Мы в Будапеште[301]. Все у нас в порядке. Осень. Войди в осенний лес…[302]

Неизменно Ваш

Ю. Лотман

16 ноября 1984 года

Дорогая Фрина!

Как Вы? Что Вы? В больнице ли? Как проходит лечение и пр. – грустно, скучно и тревожно…

О себе. Был я в Питере, выступал в Доме писателей с лекцией. Народу набилось много. А в первых рядах сидели Лихачев, Ямпольский, Бялый и Максимов. Я даже малость струхнул, но, кажется, ничего. Поскольку было много писателей, которые, избалованные андрониковщиной и эйдельмановщиной[303], думали, вероятно, что я сейчас начну их веселить – шпаги глотать, по канату ходить и байки рассказывать, я разозлился и прочел лекцию зело теоретическую, без примеров (были надуманы всякие забавности, но я их жестко выкинул все – как говорил старшина, «тут не университет, надо головой работать»). Ничего, сделали вид, что поняли. А Воспоминания, в основном, такие: «Как Вы относитесь к Наталье Николаевне?», «Как Вы относитесь к Эйдельману и Зильберштейну?» и пр. На лекции Надя Дробленкова сказала мне ужасную вещь, якобы Наташа (жена Вовки Гельмана) тяжко больна, диагноз какой-то страшный[304]. Не могу и не хочу верить, надеюсь, что это слухи и страхи.

В Ленгизе, в связи с макогоновским двухтомным Карамзиным, где у меня комментарий к «Письмам р<усского> п<утешественника>»[305], мне сказали, что книга Эйдельмана в «Книге»[306] произвела эффект: литературную редакцию разогнали, Мильчина уволили на пенсию (нет худа без добра, хотя не люблю, когда «разгоняют»). Сия история непосредственно касается меня: у меня с «Книгой» (точнее, с уволенной редакторшей Голубевой, кажется) договор, согласно которому я к 1 мая должен сдать книгу о «Письмах р<усского> п<утешественника>»[307] на 20 л. Сейчас они ее, конечно, зарежут: Карамзин попал в опалу, они перетрусили и пр. Но не сдавать тоже нельзя – им подыгрывать. Следовательно, надо писать книгу, которая заведомо не пойдет. Рука не пишет. И так устал, как собака, и хочется плюнуть…

С Гришей пока без перемен[308]. Томография (так?) не состоялась – компьютер сломался, надо вызывать наладчика из ФРГ. Состояние его (Гриши, а не наладчика) прежнее – возможно, микроскопическое улучшение есть, но я его не замечаю. НО НЕ ДУМАЙТЕ, ЧТО Я СКИС и проч. Вы же знаете, что я сделан на фабрике бодряков. Вообще все неплохо. Как писал Пушкин, «будем живы, будем и веселы»[309]. От души желаю Вам хорошо

подлечиться и с новыми силами приступить к плодотворной трудовой деятельности на этой самой ниве. А я уж там пашу денно и нощно.

Сердечно и неизменно Ваш
Ю. Лотман
16.11.84.

9 марта 1985 года

Дорогая Фрина!

Еще раз поздравляю Вас с 8-м марта и от души желаю Вам всего самого лучшего, особенно же здоровья, здоровья и здоровья. А будут эти три вещи – все остальное придет. Итак – ЗДОРОВЬЯ!

Ваше письмо я получил. Спасибо за добрые пожелания. Я, слава Богу, здоров (действительно!), но вообще эта зима вымотала и продолжает выматывать – снова Лешины девочки больны: что-то вирусное с высокой температурой. А я пишу, пишу и пишу (к 1 мая надо в «Книгу» 20 листов, пока написаны два). Я поставлю Вам диагноз: основа Вашей болезни – усталость, чудовищная и многолетняя. Ведь мы все как добрые лошади – тянем до последнего. Толстой писал своей двоюродной тетушке А.А. Толстой, что она как добрая лошадь (он просил ее похлопотать за кого-то при дворе) – сначала ужаснется новому грузу, а потом вляжет в хомут: «Ну что ж, я готова, сколько там вас насело!»[310] Вот так и мы – вляжем в хомут и готовы. И смолоду воз легко катится, и мы только кричим: «Еще навали, ничего». И вдруг замечаем, что груз тяжелеет, а силы уходят, как вода из ванны.

Но не будем предаваться элегиям, как говорят, «на печального и вошь лезет». Как говорил Пушкин, будем живы – будем и веселы[311]. А живы мы еще будем. Так что – нос кверху!

Статью в «Новом мире», конечно, изуродовали и хорошее[312] название сняли. Новое – бездарное – я придумал сам, лишь бы отвязаться. Вообще мой роман с этой лавочкой закончен. Рецензию на Абрамович печатаю в журнале «Таллин»[313] – помойка, но уж откровенная, так что я никакой ответственности за то, что городят соседние авторы, не несу. Это как в троллейбусе: есть свободное место – сел, приехал – прощевайте! Но их благородиям я еще испеку рака. Я лет пять не читал «Нового мира», помнил только «старый» «новый». Сейчас просмотрел – мать моя, мамочка. Ето чиго же такое делается: проза такая, словно не только Толстого или Чехова, но Нестора-летописца еще не было, «литературоведение» – сплошь «загадки» и «открытия». Ужасно хочется написать статью о «загадках» и начать с батюшки Ираклия[314], который, яко же бес, всех попутал. Как подумаю, даже печень пухнет, как у Щедрина. И написал бы лихо, да вот кто напечатает: все только «загадками» и живут, Шерлоки Холмсы, так их…

Вот я и потешился, душу отвел.

Завтра еду на два дня в Таллин – лекции на киностудии, а

потом в Ленинград – в ЛГУ заседание памяти Н.И. Мордовченко[315] (помните то заседание и Левку у раздевалки?[316]).

Ну все пока – еще раз будьте здоровы.

Неизменно Ваш

Ю. Лотман

9. III.85.

15 марта 1985 года

Дорогая Фрина!

Пишу из Ленинграда. Вчера был доклад на филфаке. Наших никого не было: ни Левки, ни Марка, ни Вовки – вообще никого. Народу было – полный актовый зал. Общий доклад о Н.И. Мордовченко сделала Березина, потом докладывал Маркович о Гоголе – длинно и неудобопонятно, потом был Борис Федорович о проблеме жизни и смерти у Добролюбова – интересно. А под конец я, грешный. Заключал Мак, который стал стар и трогателен. Была Ваша давнишняя руководительница Нина Вл. Алексеева. Из стариков был только Максимов, но и тот до конца не досидел и меня не слушал (очень извинялся – устал). Сегодня была панихида по Вл. Ник. Орлову (умер 8.III). Я не пошел. Говорят, были все старики: Бялый, Ямпольский и др., но до горести старые. Вообще грустно. Заглянул я в 138 ауд<иторию> на филфаке (теперь какой-то др<угой> номер) – в самом конце, там, где бывали лекции Мордовченко и где Вы всегда сидели на первой парте в левом ряду (2-й курс!). Какое-то комсомольское собрание. Уловил фразу: «Некоторые студенты по некоторым причинам еще не сдали некоторые экзамены…» Все еще не сдали…

Грустно было узнать целую кучу сплетен о себе. Оказывается, я беспокою массу людей, которым «до меня» в то время, как они меня мало тревожат. Меня огорчило – суетный человек, – когда я узнал, что Я. Билинкис и Н. Скатов недавно в Герценовском ин<ститу>те с кафедры говорили, что мои работы суть явления того же порядка, что и романы Пикуля и творчество Аллы Пугачевой, – для толпы, а подлинная рафинированная культура выше их. Огорчила не сама оценка, а их – и ряда других людей – непонятная мне недоброжелательность[317]. Ну да Бог с ними. Что говорится, «…а остальное все приложится». К чему приложится?

К тому, чтобы Вы были здоровы и, если возможно, веселы.

Вот у нас девочки болеют…

Еще раз желаю Вам всего самого лучшего.

15. III.85.

Всегда Ваш Ю. Лотман

5 апреля 1985 года

<Дубулты> 5.IV.85.

Дорогая Фрина!

Вы ни за что не угадаете, откуда я Вам пишу, – из Дома творчества в Дуб<у>лты. Меня усиленно звали на симпозиум по документальной кинематографии, имеющий здесь состояться, а я отмахивался от этой идеи, как дикой чуши: и времени нет, пишу Карамзина до озверения, и вообще, что мне Гекуба? Но вдруг я сообразил, что если взять с собою машинку и бумагу, то три дня в отдельной комнате, при полной тишине, среди совершенно незнакомых людей – это настолько хорошо и для работы и просто для того, чтобы собраться душевно, отойти от совершенного полубезумия, в котором я нахожусь, как в постоянном климате, что одна лекция и просмотр нескольких фильмов – по сути весьма умеренная плата. И вот я в Дуб<у>лты (или как там еще пишется). Как здесь тихо – Боже мой. И как хорошо, когда тихо, когда никуда не позовут и никто не оторвет! Мне странно здесь – меня никто не терзает и не дергает. Я совершенно один со своей работой (дома – телефон, прибор, который изобрел совсем не Эдисон, а святейшая инквизиция для самых утонченных пыток, и другие изобретения садизма).

Сегодня я все же вышел прогуляться по берегу полузамерзшего моря, вспоминая «иные берега, иные волны». И это прекрасно: мерзлый песок, крики чаек, воспоминания и – ни души, только какая-то собака гоняет чаек.

Сейчас ночь – сижу и стучу на машинке, под которую я подложил летнее одеяло, т<ак> к<ак> боюсь обеспокоить соседей – инстинкт «не мешать» вбит в меня до гроба.

Будьте здоровы – это самое главное. На скатовых <…> и Я.С. Билинкиса не сердитесь (я получил Ваше письмо – трогательное, но и ужасно смешное. Можно ли так близко принимать к сердцу эту ерунду?)[318]. Я написал Вам тогда в сердцах – сначала было обидно, но уже через пару дней стало только смешно.

P.S. Давно ли Вы читали Тютчева? Помните ли «Я встретил Вас – и все былое»? Еще раз будьте здоровы. Всегда Ваш

Ю. Лотман

17 августа 1985 года

Дорогая Фрина!

Наконец-то хоть весточка от Вас! Писать не зная куда я не мог – звонил в Москву, квартира не отвечает. С горя позвонил в Палату (авось вдруг!) – напал на Динера[319], который мне изумленно, как разумный человек сумасшедшему (что и было вполне мной заслужено): «Да она до сентября в отпуске!» И – никаких писем… Ну, теперь получил письмо и надеюсь, что мое встретит Вас в Москве.

Что о себе: отдохнуть мне не пришлось: я сдал 0,5 книги о Карам<зин>е Громовой в «Книгу» (это все под секретом!). Она прочла, была очень довольна и разрешила мне со второй половиной немного погодить. И вдруг получаю от нее письмо, что Мильчина окончательно ушли, грядет новое начальство и что к ее возвращению из отпуска (к середине сентября) вся рукопись должна быть у нее! Легко сказать – за месяц 10 печ. л., при том что я устал, как собака, и еле тяну.

Как говорил Саша Черный —

Я похож на родильницу,
Я готов скрежетать…
Проклинаю чернильницу
И чернильницы мать![320]

В данном случае не чернильницы, а пишмашинки, но это сути не меняет. В остальном у нас все в порядке, младшие девочки перенесли коклюш, но сейчас поправляются, да и весь коклюш пробегали на даче по огороду. Дожди, дожди, дожди, но смородины масса. А я – в городе… и хирурги направление Грише дать отказались (не ждал!), но по Вашему совету я достал его через Союз писателей. Даже т. Марков лично, как говорил один таксист, занимался этим делом[321]. Сработают ли бумажки, еще не знаем.

Возможно, осенью будет операция.

Но вообще все окрашено в относительно бодрые тона: сижу ночью, пишу письмо и даже веселюсь. Вот сейчас взглянул на книгу с выходными данными: Ленинград, «Наука», Ленинградское отделение, – и вдруг сочинил эпиграмму:

Листая книги по привычке,
Я отмечаю правды ради:

Наука, взятая в кавычки,
Есть и в Москве, и в Ленинграде.

Ваше письмо меня несколько успокоило. Но все же немного тревожно: как сложится с «заслуженным отдыхом», как Федя и Юрочка перенесли лето и пр.? Надеюсь, как всегда по своему оптимизму, на хорошее. От души желаю Вам и всем Вашим всего самого замечательного.

Всегда Ваш
Ю. Лотман 17.VIII.85.

25 сентября 1985 года

Таллин.

Дорогая Фрина!

Пишу Вам из Таллина перед вылетом в Одессу[322]. Планы мои на октябрь несколько изменились: я хотел из Одессы (т<о>е<сть> около 10-го) прилететь в Москву. Но тут выяснилось, что с 11 по 18 в Батуми конференция Совета по сознанию, и мне надо там быть, чтобы договориться о договорах (простите тавтологию – пишу второпях) для лаборатории. А заодно и докладнуть. Так что в Москве я окажусь около 20-го октября.

Карамзина я окончил, послал, и его, кажется, уже приняли[323]. Вообще Громова относится ко мне даже с большим почтением, чем Крундышев[324]. Искренне изумлен. С Карамзиным получилось так: первая часть книги, которую писал con amore[325], вышла неплохо. А вот вторая, по-моему, несет след мучений, которые она мне принесла. Вымотался я, как не знаю кто. И в Одессу ехать дал согласие, отчасти надеясь там отдышаться.

Очень тревожусь за Вас, Марину, даже во сне видел, что Вы жалуетесь на головные боли. Пусть не будет сон в руку. Будьте здоровы. Надо ехать на аэродром.

Всегда Ваш

Ю. Лотман

Таллин. 25.IX.85.

4 октября 1985 года

Одесса.

Дорогая Фрина!

Пишу Вам из Одессы, где уже неделю читаю лекции по Пушкину и о семиотике культуры. Я приехал почти дохлый и первые дни только спал. Сказать честно, и сейчас все время спать хочу. К концу лета я дошел до такого края, на каком еще не бывал. Но кончил книгу… Теперь отхожу. Лекций немало, но они не очень утомляют. Главное – отрыв от всего. А теперь еще и погода хорошая, тепло.

> Что ж вам еще, друзья, друзья?
> Благословенные края, —

как писал об Одессе Пушкин[326]. Правда, ни устриц, ни беспошлинных вин и других прелестей пушкинской Одессы нет. Но и на том спасибо. Сначала меня поместили в lux'е, но надо было или слушать храп ежедневно меняющихся дюжих командировочных (lux двухместный почему-то), или платить за два места 11 р. в день. Наконец я сделал <так!> в общежитие. Отдельная комната, именуемая «гостиница для гостей». Утром – горячая вода в душе (душ без крючков на двери – одной рукой моешься, другой держишь дверь), вечером – холодная. В середине дня – засуха. Всюду пованивает (тараканы есть, но меньше, чем в lux'е). Но вообще тихо, уютно. Живу и благодарен. Я ведь и в землянке с удовольствием живал. Вообще почти то, что Мастер получил в награду: слушаю тишину и наслаждаюсь покоем. Правда, там ему было сказано: «А вечером к тебе придут те, кого ты любишь…» Этого нет, нет и свечей и ночного колпака. Но спасибо и за то, что есть. 10/X лечу в Батуми на конференцию.

Почти все время думаю о Вас, о Марине. Думаю о том, как Вам тяжело и как в этих тяжестях обнаруживается красота Вашей души.

Будьте здоровы и не забывайте всегда Вашего

Ю. Лотмана

4. X.85.

9 октября 1985 года

9. X.85

Дорогая Фрина!

Вот я и окончил свои лекции в Одессе и завтра вылетаю в Батуми. Несмотря на ежедневные лекции (чем я изумил ленивых одесситов), я все же если не отдохнул, то пришел в себя. После Батума (сколько там буду, не знаю, это зависит не от меня) буду в Москве. Я очень соскучился и рад буду повидаться[327]. Гришу в конце октября, кажется, кладут.

Будьте здоровы и не забывайте

Всегда и неизменно Вашего Ю. Лотмана[328].

Осень 1985 года [329]

Дорогой друг!

Вот я и приехал в Тарту и, узнав расписание, влез в обычный хомут университетский. Дорога была трудной: из окна дуло и холодно было, как на улице. Сосед попался странный – возможно, из заключения: чудовищно грязный и отвратительно пахнущий, так что я задыхался всю ночь. Он стонал, харкал, регулярно обдавал меня плевками и пр. Приехал я совсем больным. Спать я не смог[330]. Вот, некоторые близкие мне и любимые мной москвичи жалуются, что я редко бываю в Москве. Но – видно, уж возраст сказывается – мне сейчас трудна дорога, при которой я не сплю ночь (я сейчас в поезде не сплю), простываю и простуживаюсь, веду беседы черт знает с кем и все пр.<очее>. Конечно, это все мгновенно отходит в небытие, как только оказываешься у цели. Да и вообще не так уж и страшно, просто я стал тяжел на подъем. Я все думаю о Марине. Пусть попробует оба варианта: и освежить старые заготовки и попытаться получить детские книжки от подруги[331]. По крайней мере сможет по ним учить детей английскому языку. На (венецианской. – нрзб.) выставке было хорошо! Начинаю работать – это мое лекарство! Не болейте и не забывайте.

Всегда Ваш

Ю. Лотман

20 января 1986 года

Дорогая Фрина!

Только сегодня ночью закончил подготовку рукописи для «Просвещения» (уф! 570 стр.) и сейчас несу на почту. Хотя в оформлении мне очень много помогли Зара и мои сотрудницы (вся вычитка, сверка цитат и пр.), но все равно устал, как собака.

Даже сон пропал, чего со мной не бывало.

Книга, представьте, вышла интересная. Когда я сложил свои историко-лит<ературные> статьи вместе (три очень принципиальных я написал специально, но все же 4/5 тома из старых работ), то оказалось, что они все связаны единством замысла и концепции и сами сложились именно в книгу, а не в сборн<ик> статей. Даже интересно. Сейчас не хочется думать о том, что, вероятно, не издадут: изд. «Просвещение» (Москва) поганое, и я уже предвкушаю рассуждения на тему «учителям это непонятно», «зачем им сверхпрограммный материал» и т. д.[332]

Ну, да все равно – с плеч долой!

Я понял, что дал Марине плохую тему. Ей надо написать подруге в Австралию, чтобы та ей слала детские и юношеские книжки, и начать писать небольшие (для начала) информационные рецензии в детские (не для детей, а для «детских литературоведов») и библиогр<афические> журналы. К ней привыкнут, и она постепенно станет единственным в этой области специалистом. Ведь австралийской детской лит<ерату>ры никто у нас не знает. Она будет вне конкуренции. И самой интересно. А начинать с простых коротеньких информаций.

Передайте ей эту идею[333].

У нас все по-старому, т<о> е<сть> гриппуем и устаем. Гриша тоже вернулся на круги своя, только дрожь не крупная, как было, а мелкая. Но постоянная. Настроение у него соответственное.

Но: 1) зима хорошая и дрова есть,

2) внучки относительно здоровы и радуют,

3) книгу посылаю сейчас,

4) в начале февраля надеюсь быть в Москве.

Так что хорошего достаточно, и надо уметь его ценить.

Будьте здоровы и не забывайте Вашего

Ю. Лотмана

20.1.86.

23 февраля 1986 года

Дорогой друг!

Я прочел Ваше письмо, проникнутое такой глубокой печалью, и мне, естественно, грустно. А еще более грустно, что за печалью сквозит горечь, а за горечью – некоторое недоверие. Это мне больно, т<ак> к<ак> на доверии стоит все, весь мир, который без него превращается в кучу кирпичей. Выразился замысловато, но проще как-то не сказать. Вернемся из психологических туманностей на простую, грустную и милую землю. Начнем с погоды. Сегодня, 23-го февраля, она прекрасна, холод –18°, мороз, солнце, и я, выйдя на улицу, почувствовал вдруг радость, радость, что живу и дышу (не в переносном, а прямом смысле: у меня только кончается противный грипп, привезенный из Москвы, в ходе которого мне все время горло и все пространство, чем люди говорят и дышат, залепляло чем-то настолько омерзительным, что я буквально задыхался и, при моей брезгливости, содрогался непрерывно от отвращения к самому себе. А сейчас – дышу, дышу. Прекрасно и радостно!). Вообще у Зигфрида на лопатке было одно уязвимое место (когда он купался в крови дракона, на плечо упал дубовый листок). Туда и попала стрела[334]. Жизнь нас бьет в главное уязвимое место – отучает радоваться. Тогда мы и погибаем. Усталость вытесняет радость. А надо сопротивляться, бороться за радость и не забывать, как мы, неблагодарные, часто делаем, что радость вокруг нас.

Вчера я стоял у гроба очень хорошего человека, внезапно умершего от астмы. И вдруг мне не просто пришли в голову, а стали ясно-очевидными странные мысли: а может быть, и никакой смерти нет вовсе, молекулы уйдут к молекулам (земля к земле, как поется), а вдруг выскочит маленький огненный шарик, который еще «я», задрыгает лучами от радости и облегчения и, ликуя, вольется в огромный огонь (или что-то вроде, волноподобное), и уже будет не «я», растворится. И это будет такая бесконечная радость. А если просто абсолютный конец и «земля в землю внидешь», то и это принимаю с радостью. И с бесконечной, неисчерпаемой благодарностью за всю радость, которую жизнь давала и еще дает.

Значит, душа еще не состарилась!

От души и Вам желаю радости (в том числе «покоя и воли»[335], здоровья и сил).

Хочу устроить так, чтобы в марте приехать, но удастся ли – не знаю. Все это сейчас сложно.

Не грустите!

Неизменно Ваш
Ю. Лотман
23.11.86.
P.S. Спасибо за поздравления[336]. Марине приветы.

1 августа 1986 года

Дорогая Фрина!

Пишу Вам отсюда не с Высоких Татр[337]. Надеюсь, что у Вас хорошая погода, что + море, пляж и пр<очее> сулит хороший отдых. Погода у нас – отличная. Я все время на даче, жру ягоды, которых в этом году – масса. Варим варенье. Живем примитивной идиллической жизнью. Занятия почти забросил. Есть ли какие-нибудь сведения от Марины? Как самочувствие и настроение? Буду рад получить весточку.

Ваш всегда Ю. Лотман.

4 марта 1987 года

Сердечно поздравляю с 8-м марта.

Желаю всего самого лучшего – прежде всего здоровья и хорошего настроения.

Ваш

Ю. Лотман

20 марта 1987 года

Дорогая Фрина!

Спасибо за открытку. Я несколько раз пытался связаться с Вами по телефону, да все не удавалось – то ли аппарат шалит, то ли еще что… Беспокоюсь о Вашем здоровье. Марина, конечно, вся в волнениях[338]. Вы тоже, однако я, как Панглосс, твердо уверен, что «все к лучшему в этом лучшем из миров»[339] (каковы остальные?). Не надо ничего загадывать и заранее примерять – жизнь сама сложится, и каждый вопрос решается, каждое решение принимать надо, когда оно встанет практически, и тогда все «образуется». М<ожет> б<ыть>, Вы еще покатаетесь на лыжах среди вековых кедров на другой стороне шарика[340]. Не от нас зависит, так чего же нам волноваться? Пока надо не забывать ценить то, что есть, и радоваться существующим радостям. Как переносят «переходный период» Федя и Юра? Вот это важно. Вообще мыслями я все время с Вами.

Что же до «академических» слухов, то это ерунда[341].

То академик, то герой, то мореплаватель, то плотник…[342]

Из всего набора претендую лишь на плотника, т<ак> к<ак> действительно очень люблю запах свежей древесины (вот привез же из Норвегии пилу!), стружек и мечтаю обзавестись полным набором столярных инструментов и верстаком. В 4-м классе у нас было столярное дело. Я его очень любил, но получалось у меня неважно, и это до сих пор мое неудовлетворенное честолюбие. Конечно, как говорит грубоватая, но очень верная поговорка Ваших украинских земляков: «Зарекалась свинья дерьмо исты, а глядь – еще добрый ковтюх лэжить». Как же упустить такое счастье?

Простите, что разболтался. Я здоров, устал от массы работы, часто бестолковой. Но ведь это не новость. Скучаю, но это тоже не новость. Следовательно, новостей нет. Когда в Москву – не знаю. Мне хотелось бы пожелать Марине доброго пути, поэтому держите меня в курсе ее дел.

Искренне и неизменно

Ваш Ю. Лотман

20. III.87.

12 июля 1987 года

Дорогая Фрина!

Я не смогу подъехать. Сейчас выяснилось, что с 20 июля по 4 августа мне надо будет быть в Будапеште на VII Межд<ународном> конгрессе по Просвещению XVIII в. До этого на меня навалилась бездна работы. Разогнав всех, сижу за машинкой. Тишина и пустота в квартире – вот мой отдых. Как Вы? От души желаю Вам хорошо (возможно) отдохнуть, полностью отключиться. Вышла XX «Семиотика», но издевательства надо мной продолжаются, Карамзин должен появиться в авг<усте> – сент<ябре> [343]. Думаю о Вас и о Марине, дай ей Бог удачи.

Ваш Ю.

6 августа 1987 года

Добрый день, дорогая Фрина!

Вот я и в Тарту, в родном болоте, которое я люблю и в котором мне так хорошо квакается. Летели два часа. Правда, вместе с приездом – отъездом – ожиданием самолета и др. получается полдня. Хорошо, что быстро и без ночных мучений в душном вагоне. Хорошо, да не очень: за ночь в поезде успеваешь переключиться из одного пространства, с его мыслями, заботами и делами, в другое. А так все смешивается. Правда, для «переключения» время есть: сижу один в квартире и убираю свой кабинет, что я всегда делаю перед началом моего спасения – новой работы.

Долг я отправил Вам вчера, и надеюсь, что Вы его получите одновременно с этим письмом. Вы, конечно, скажете, что это ерунда и с ним можно было и обождать. Но мне удобнее освобождаться именно от ерунды, чтобы не загружать голову, а память направлять на то, что оторвать от моей души уже нельзя.

Душа рвется сесть за работу (все уже обдумано), но до этого еще надо разделаться с мелочами – уборкой стола и комнаты (2 дня), съездить в Таллин сдать заграничн<ый> паспорт и еще разной муры на неделю.

Я хочу послать Марине мою фотокарточку (я ее – Марину, а не фотокарточку – очень люблю и помню все – и как мы с ней занималась вопросами детской игры, и как она в Тарту приезжала). Но как это сделать? М<ожет> б<ыть>, лучше обождать Вашей поездки?

Как Вы? Болят ли пятки?

Всегда и неизменно Ваш Ю. Лотман

6. VIII.87.

11 августа 1987 года [344]

Все время думаю о Вас и о Ваших делах. Есть ли что-нибудь от Марины?[345] Как отдыхается? Погода, кажется, благоприятствует для купаний, хотя жары Вы ведь не любите. А я люблю. Идиллически провожу время, собирая ягоды и не работая. Вообще голова, видимо, совершенно излишняя часть тела, и когда она не болит и в ней не звенит, то о ней следует просто забывать, что я и стараюсь делать. Вообще мне начинает казаться, что под категорию «лишняя часть тела» подпадает все тело, доставляющее нам столько страданий. Но все же даже Св. Франциск относился к нему с нежностью, называя «брат мой осел». Этот, пусть осел, пока может, несет свою ношу. Пишу просто так, захотелось, поэтому пишу глупости.

Ваш всегда Ю. Лотман

11 августа 1987 года

Видите, снова пишу…

Еще не надоел? Сижу, занимаюсь и думаю о разных вещах(.) Отдыхайте и будьте здоровы и благополучны.

Ваш

Ю. Лотман

14 августа 1987 года [346]

В тот же день 14.8. Уже запечатав конверт, я понял, кажется, почему первое письмо не дошло. Я поставил индекс 104140! А, кажется, надо 107140? Очень жаль – там была прелестная открытка, да и Вы зря волновались. Это «добавление» пишу вообще без индекса, т. к. черт его знает, что же верно (дожил!).

По этому можно судить о состоянии моей головы.

Ваш всегда Ю.Л.

8 ноября 1987 года

Дорогая Фрина!

Посылаю Вам фото для Марины. Рад, что у нее так все хорошо устроилось[347]. Вообще она молодец, и только больно думать, сколько лет ее здесь притесняли и сколько она натерпелась. Очень меня тревожат Ваши болезни. М<ожет> б<ыть>, рентген поможет?

Мне предстоит поездка в Италию. Сначала какие-то официальные мероприятия в Палермо (Сицилия; надеюсь, что меня не украдет мафья, ибо ценность я представляю минимальную и принять меня за дочь мультимиллиардера трудно), а потом 11 дней турне с лекциями по всей Италии от Рима до Милана.

Пустили Дуньку в Европу!

Лекции, конечно, по-русски, что меня смущает. Между тем я – для отдыха – занимаюсь итальянским яз<ыком> и имею от этого много удовольствия – легкий язык, хотя весь состоит из исключений и неправильностей.

У нас ранняя зима.

Будьте здоровы. Ваш всегда

Ю. Лотман 8.XI.87.

17–18 ноября 1987 года

Дорогая Фрина!

Пишу письмо – дозвониться до Вас не смог. Вы изумились, что я забыл Ваш индекс. Да я скоро забуду свое имя! По сравнению с моей нынешней жизнью сумасшедший дом – санаторий. Я 24/XI должен делать доклад в АН ЭССР, где меня прокатят на вороных в член-корр'ы. Вы не можете представить, до какой степени это мне безразлично. Мне хочется спать, а не быть дурацким членом (слово-то какое!) дурацких заведений. Мне хочется иметь свободное время, думать, работать и быть спокойным. Ничего этого нет и не будет уже. Мне хочется видеть тех, кого хочется, и не видеть тех, кого не хочется. И это невозможно. А осталось уже немного. Так можно ли беспокоиться о том, как меня назовут в некрологе? Пошли они все… И все же выступить там надо, а на другой день – 25-го – надо быть в Питере и ругаться с Фомичевым по поводу издания академического Пушкина, которого изгадят безо всякого сомнения. А в ночь на 26-е надо выехать в Москву, где я буду бегать как угорелый – «оформляться» (тоже словечко!), ибо 29 вылетаю в Италию почти на месяц (до 24.XII). Пока еще не могу этому радоваться, т<ак> к<ак>: 1) не верю, 2) так устал и зол, что вообще радоваться не способен. Сейчас я отчитываю лекции за декабрь (по 6 часов в день), барахтаюсь в разных срочных делах, делаю доклады (у нас была интересная конференция, хотя Эйдельман, Манн и Вяч. Вс. Иванов не приехали). Тезисы прилагаю. Я делал доклад не на темы тезисов, а важную для меня вещь – «Пушкин и христианство» (1830-е гг.). С удовольствием занимаюсь одним – итальянским языком, кот<орый> вдруг пошел легко и приятно.

В Москве я непременно Вам позвоню и надеюсь хоть на краткую встречу, если Бог поможет.

Всегда и неизменно Ваш Ю. Лотман

P.S. Получили ли фото? Марине и Вашему мужу – поклоны.

3 февраля 1988 года

С сердечным поздравлением к 8 марта, с пожеланием счастья, здоровья, счастливых поездок и встреч.

Ю. Лотман

3. II.88

20 февраля 1988 года

20.2.88

Дорогая Фрина!

Вот мы и в Мюнхене. Перелетели прекрасно, хотя наши чемоданы прибыли лишь на другие сутки. Пока осматриваюсь и отсыпаюсь. С завтрашнего дня буду пытаться заниматься. Здесь у студентов каникулы до 1 мая, так что лекции пока читать не приходится. Город не очень интересный – без старины. Пока мой адрес неясен – сообщу позже. Вообще много думаю о Вас и о своих тартуско-таллинских «щенятах». Об адресе еще напишу.

Ваш Ю. Лотман.

6 мая 1988 года

Дорогой друг!

Монреаль

Если считать, что письмо идет месяц, то Вы получите его через полтора после моего отъезда («вылета») из Москвы… Кажется, что-то уже можно сказать. Во-первых, полет. – Я боялась, а все было хорошо и быстро: 9 часов! Без посадки. Аэрофлот, оказывается, поступает таким образом: хочет – с посадкой, хочет – без – так вот мы летели «без», что и заставило Марину приехать на аэродром на два часа позже, а меня – ждать на аэродроме.

Но я как-то не беспокоилась: найдет. Не то доберусь. Встретились – Марина прекрасно выглядит, дети подросли, но все те же: Федя, по-моему, интересно развивается, Юра – хотелось бы лучше: очень капризен. Жизнь у Марины не проста: она очень устает на работе. Ведь это каждый день – с 8 до 5. Но иначе здесь нельзя, да и перспективы ее радуют. <…> В ее окружении люди интересные, вполне дружественные. Так что… что же, спросите Вы, я? А я не могу ответить на это вразумительно. Да, 20 сортов творога, да, весь год фрукты, да, да, да… но дом мой, увы, не здесь. Я сейчас, что только можно, взяла на себя, и это доставляет мне радость – помогать. Но долго так я не смогу. Как старается Марина! Как внимательна ко мне, как нежен Федя! Все так. Но думать о том, чтобы навсегда здесь остаться, пока я никак не могу.

…Часами брожу по этому странному городу[348]. Он не похож ни на что, виденное мною раньше. Улицы прямые, сплошь из двухэтажных домов. Редко 3-х и 4-х. Все это частные дома, перед каждым садик – каменный, цветочный, хвойный. Деревья только распускаются, но, видимо, весь город будет тенисто-зеленым, когда будет лето. А оно уже началось два дня назад сильным теплом. У Марины прекрасная четырехкомнатная квартира на тихой улице недалеко от центра – 15 минут на метро. Предполагаются разные поездки для меня и некоторые другие увеселения. Но это все впереди. Пока же я меняю свои туалеты, занимаюсь с Юрочкой русским (он забывает его…), веду нескончаемые разговоры с Федей и Мариной. Помогаю по дому и – взахлеб читаю. У друзей в соседнем доме прекрасная библиотека. Как видите, все хорошо. А о будущем два месяца положила себе не думать.

Подумать, как мал этот мир. 9 часов – и другой конец земли! С другой стороны, то, что дом, отодвинулось далеко-далече. Конечно, мы не только здесь вспоминаем Вас, но часто

вспоминаем разное прошлое, говорим о Вас. Портрет Ваш – в Марининой комнате. Она бы рада, да не решается Вам писать, боясь, что в этой частоте вы заподозрите необходимость ответа ей. А она знает, как Вам трудно и некогда писать.

Хотелось бы надеяться в этой дали, что Вы здоровы, бодры и работаете и живете, как всегда. И что – все как всегда. А вдруг новая квартира? А что там книжки?

Марина пока Карамзина не получила, да ведь книги идут 3 месяца, не меньше.

Будьте здоровы и здоровы. Дай Вам Бог бодрости и доброго настроения.

Неизменно Ваша.

P.S. 5 июня мне исполняется 60 лет. Смешно, даже как-то не верится. Однако – факт.

30 мая 1988 года

Монреаль

Дорогой Юрий Михайлович!

Спешу написать Вам несколько слов, дабы письмо застало еще Вас в Тарту, до ухода в отпуск. О, эти расстояния! «Всего» 11 часов полета, но как это далеко! Посему не знаю, о чем и как писать. Одно можно сказать твердо: здесь идет обыкновенная жизнь, обыкновенная. Все те же заботы, те же мысли, все, почти те же, книги… все то же с небольшими поправками на более легкий быт. Марина работает очень много, ее обязанности прямо-таки многообразны (только в их отделе такая специфика), много приходится писать, встречаться с людьми. Но ей нравится – и она работает с радостью. Дом и дети были совершено запущены – и этим, почти только этим, я сейчас занята. Правда, я много гуляю, а в выходные дни приятели (с машинами) показывают всякие красоты. Но материальные возможности ее пока не так уж хороши, чтобы нам далеко съездить. Возили меня, правда, в Квебек – красота и прелесть. Договорилась Марина с врачом для меня (как-то все не просто) – на 7 июня. Она очень здесь устойчива и устроена основательно. Правда, испытательный срок на работе продлили до одного года. Пришел позавчера Ваш Карамзин – Марина благодарит за него и сердечно кланяется Вам. Теперь в этом доме много Ваших книг – пусть живут и радуют нас. Мы часто Вас вспоминаем и жалеем, что Вас здесь нет. Ведь французский Монреаль Вам бы понравился. <…> Здесь прекрасный симфонический оркестр. И весь день по радио передают очень хорошую музыку.

А я – воюю с детьми, всех кормлю и – хочу домой. Вот Вам и все мои страдания по месту сему. И не то, что беспокоюсь, а просто – в свою конуру. Обидно это, да ничего не попишешь. Марина даже не хочет и думать, что мы не переедем уже в следующем году. А я… кажется, «не нужен мне берег турецкий». Конечно, помогать – святое дело. Да сил мало. Устаю, как собака: 4 комнаты (большие), кухня, еда, занятия с Юрой. Ох! Вот все мои жалобы! Понимаете ли Вы?

В целом же все очень хорошо. Отношения (я боялась) как прежде. А дети – дети, с ними (Юра!) – трудно. Домой пишу раз в неделю (!!) Кажется, там все ничего. <…> Как спрашивать про Вас? – ведь не узнаешь. Можно только молить Бога, чтобы все было благополучно и чтобы мы хоть осенью свиделись.

Кончаю. Будьте здоровы, дорогой друг мой. Будьте здоровы. Добра и благополучия всем Вашим родным.

Ваша Ф.

18 июня 1988 года

18.6.88

Дорогая Фрина!

Вчера получил, наконец, Ваше письмо. Задним числом, но сердечно поздравляю Вас с юбилейным днем рождения. В этот день я читал лекции в Стокгольме, хотел послать телеграмму, но с ужасом обнаружил, что адрес Марины забыл дома в Тарту – старый склеротик. Приехал в Москву после Италии и Швеции усталый как чорт. Сразу позвонил Вилену Иосифовичу[349] и узнал от него, что у Вас ноги не болят, и вообще все благополучно. Как камень с души – я все время боялся в смысле смены климата, давления и др. Когда возвращаетесь? Я все лето намерен работать в Тарту, но, возможно, подскочу в Москву.

Ваш всегда и неизменно.

Ю. Лотман

25 июня 1988 года [350]

Дорогой Юрий Михайлович!

Неужели и это письмо вернется, как два последних, посланных из Москвы и по приезде из Монреаля? Нет ответа и на открытку Марины, т. е. вестей от Вас никаких нет с начала июня. Все, что можно было передумать – передумано (но как жить этими думами?). Мы звонили в Лен<инграл>д, в Тарту и узнали о нелегкой Вашей операции только в общих чертах. Что Вы? Как Вы? Не выходите? Не встаете с постели? Сердце? Постарайтесь хоть как-то дать знать о себе. Мы вернемся домой через месяц.

Мы живем потихоньку. <…> Виль, слава Богу, в порядке, я – побаливаю. Климат здешний и осенью мне не годится. Если вы в силах, позвоните в Монреаль: 488-4258. Разница во времени – 6 часов. Молюсь о Вашем выздоровлении.

Ваша Фрина

1 августа 1988 года

Дорогая Фрина!

Спасибо за лекарство – я его получил (и за чай тоже – сейчас сижу, печатаю и пью). Только вчера получил Ваше письмо (сколько шло!). До самых глубоких печенок понимаю выраженные там чувства. Конечно, пройдет время и все, что было там, станет казаться лучше и лучше. Хорошо море с берега, а берег с корабля. Так и Вы теперь обречены «под небом Африки моей вздыхать о сумрачной России»[351] (а под небом России об Африке, т<о>е<сть> Марине и детях). Я здоров. Будьте здоровы и Вы. Боже, как хочется повидаться! Пишу как каторжный, но мало производительно. Англичанин торопит[352].

Лекарства ем, как лошадь.

Всегда и неизменно Ваш Ю.Л.

1. VIII.88.

(Башня в натуре – невместимая красота!)[353]

14 августа 1988 года

На днях я позвонил В.И.[354] и сообщил, что Вы не получили моей открытки, в которой я писал, что лекарство прибыло, и благодарил за него. Жаль, если пропала – там была очень милая Пизанская башня. Я здоров, хотя периодами чувствую себя несколько хуже (видите, пишу правду). Книга идет к концу. Кажется, будет не 25 листов, как я замахнулся, а 15–18. Ну и Бог и ним. 11 сентября у меня доклад в Болонье, и я, конечно, поеду через Москву. Но сие еще в тумане. Писем от Вас нет, у нас жара сменилась грозами и сильными перепадами всего: давления, t и проч.<…>. Как Вы? Как американо-московские перепады? Не соскучились ли еще по Канаде?

Как всегда Ваш Ю.Л.

Боже, как я все не успеваю! Очень хочется в Москву! Две недели был Б.А. От писания я одурел![355]

19 августа 1988 года [356]

Фрина! что ж это? Телефон не отвечает (знаю, на даче!), индекс я спутал и мои письма не доходят, писем от тебя нет. Как Робинзон на острове! Лето все такое нескладное… Книгу для англичанина вчерне кончил и не могу понять, что получилось (вышла меньше, чем я думал, – 15 листов, а хотел 25)[357]. Использовал ряд уже опубликованных статей, но кое-что и написал. Сейчас в мерехлюндии, хотя чувствую себя нормально (по своим нынешним, сильно упрощенным, нормам). Огромное спасибо за лекарство. Но как долго его надо принимать? У меня уже кисло во рту и даже в носу и ушах! Все мои перспективы в тумане. Все же надеюсь около 10 сентября на четыре дня полететь в Болонью (разумеется, через Москву).

Что Вы и как Вы, как выглядит Канада с дистанции уже пробежавшего времени? Немного лучше?

У нас резко наступил холод. Лето, видимо, все. Осени не хочется до чертиков (видите, я не Пушкин), работы впереди столько, что даже считать ее не хочется. И нет радости в душе – душа не отдыхает. А ведь если уеду в Германию на время «стипендии»[358], то, конечно, сразу затоскую. Вообще 11 месяцев слишком много (м<ожет> б<ыть>, еще родное министерство – тьфу, не министерство, а КОБРА – комитет образования и еще чего-то, сокращение бюрократии обернулось расширением штатов и полнейшей неразберихой – сократит, хотя это его не касается – все оплачивают немцы), но я надеюсь разделить на две порции. Конечно, это было бы настоящим подарком лет 20 назад, когда я начинал пахать свою борозду, а не сейчас, когда дай Бог ее допахать до конца. Но все же хочется учиться. Надоело учить, хочется спокойно учиться, хочется подштопать свое вопиющее невежество. Был бы молод, конечно, начал бы с языков (очень нужны древние), но сейчас хоть почитать книжки.

Ну, Бог с ним, уже и ночь кончается, спокойной Вам ночи!

Все же пиши иногда!

Всегда и неизменно Ю. Лотман

19/VIII

28 сентября 1988 года

Фрина, вот Вам Венецианский карнавал[359] как мое «ау»! Что писать? Катаюсь на ежедневной карусели, к которой прибавились еще и общественные дела. Здоров.

Всегда Ваш.

Ю. Лотман

28/IX

Начало октября 1988 года [360]

Дорогой Юра!

Пишу Вам, чтобы сообщить адрес и, на всякий случай, телефон Марины. Сообщить мне Вам особенно нечего: собираемся[361]. А душа все равно тоскует, и нет ответов ни на один вопрос – как всегда. Зачем все? Зачем едем? Впрочем, не в нашей воле.

Будьте здоровы. Поклон сердечный Заре. Мы улетаем (е.б.ж.) – 5 октября.

Ваша Ф.

Начало февраля 1989 года

Дорогой Юрий Михайлович!

Вскоре Ваш день рождения – 28, воскресенье. Все Ваши близкие поздравят Вас в этот день. Присоединяюсь и я к их добрым пожеланиям. Да будет светла и безоблачна Ваша дорогая нам жизнь!

У нас все по-прежнему, новостей пока нет никаких – еще рано[362]. Марина теперь пишет, увы, редко. Но мы знаем, что она жива-здорова[363]. И слава Богу. Грызу языки, кажется, успешно.

Всего Вам доброго.

Ваша Ф.

20 февраля 1989 года

Мюнхен.

Письмо второе

Не успел еще бросить первое письмо, как захотелось продолжить болтовню. Только что из библиотеки (университетской): большие пробелы, но работать можно. Более всего, однако, на меня подействовали аудитории – запах аудиторий. Он всегда меня волнует, как Булгакова запах сцены. Еще в студенческие годы на меня он действовал, как труба на старую боевую лошадь. И сейчас он меня взволновал.

У нас дождь – серый, но теплый. Хожу по улицам, но пока без особого «настроения» – вживаюсь. На «свою» квартиру переедем лишь 1-го марта, а пока в гостях у декана. Очень мило, заботливо, но своего стола нет, а след<овательно>, и нет работы. Но это все пустяки.

Я вдруг заговорил по-немецки. Чудо! Вспомнил весь детский багаж.

Говорю неправильно (вероятно), но бойко и свободно. Но эстонский из головы пропал – вчера в музее встретил коллегу из нашего ун<иверсите>та и со стыдом и трудом еле выдавил несколько фраз, все время переходя на немецкий. Он смотрел на меня, как на идиота.

Вот и все новости.

Будьте здоровы и бодры. Ваш Ю. Лотман

20.11.89.

28 февраля 1989 года

Здравствуй, друг мой!

Мюнхен

Пишу тебе, сидя в чит<альном> зале гос<ударственной> библиотеки Мюнхена. Кое-какие книги здесь есть, но вот беда – приносят через день-два и не то, что надо. Чертыхаюсь и проклинаю. Вообще мы еще <не> устроились. Только завтра переедем на свою постоянную квартиру и получим адрес. Тогда же узнаю, как с письмами до востребования. В середине марта на десять дней я уеду в Париж (звучит-то как – пустили дуньку в Европу) на конференцию по лингвистике. Удалось показать Зару врачам – результат малоутешительный: только операцию и как можно скорее. Но для этого нужны большие деньги, кои мы пытаемся изыскать.

Погода отвратительная, и Мюнхен, по погоде, навевает тоску. Вообще же отношение к нам теплое: сегодня коллеги меня собираются чествовать[364] (вот уж нелегкая догадала – я сейчас вообще чужих переношу с трудом). По-немецки болтаю лихо, но, вероятно, чудовищно.

Душою все время в Тарту и в Москве. Видимо, я уже стар для длительных путешествий, и все тянет домой. Наверное, когда втянусь в работу, станет лучше.

Как ты там? Поклоны Вилю.

Всегда и неизменно Ю. Лотман

10 марта 1989 года

Мюнхен

Дорогая Фрина!

Мы теперь живем по адресу: Műnchen, Kaulbach Str. 22, но писать по нему не надо – через пять дней мы на 10 дней выезжаем в Париж на лингв<истическую> конференцию, а потом адрес может измениться. Возможно, лучше писать до востребования, но я еще не узнал, как это делается. Прости – все еще не могу «обосноваться». А вести из Москвы очень нужны, и без твоих писем скучно и тяжко.

Мюнхен не очень интересный город. Но это и лучше: в Италии все время хочется куда-то пойти, просто бродить – каждый камень говорит душе. А здесь бездушно, следовательно, ничто не отвлекает от работы. Правда, в библиотеках большие пробелы, да и вообще лень напала – спится и спится. Чувствую себя неплохо, только немного одышка мучает (умеренно, не тревожься).

У вас уже, наверное, Пасха пройдет, пока мое письмо дойдет. Посылаю тебе открытку с прекрасной картины Рембрандта из Мюнхенской Пинакотеки. Все думается о Москве и о Тарту. Опоздал я лет на 25 путешествовать.

Желаю тебе огромную кучу всякого счастья, здоровья и всего-всего.

Твой Ю. Лотман

10. III.89.

P.S. Поклоны Вилю.

30 марта 1989 года

Мюнхен.

Дорогая Фрина!

Вот я и съездил в Париж… Был там всего 8 дней (из них 4 – лекции). Лекции прошли хорошо. Того же, что обычно связывают с Парижем (Лувр, Версаль и проч.), почти не видал – идет подготовка к 200-летию Фр<анцузской> революции, и все закрыто – и Лувр, и др<угие> музеи, и даже Версаль. Зато исходил пешком в свою волю – принципиально не пользовался ни метро, ни автобусами. Вот бы я тебя поводил по Парижу – Монмартру, Люксембургскому саду, наб<ережным> Сены!.. Чуть ли не самое большое впечатление от Парижа – книжные магазины. Боже мой! Сколько их, какие книги XVIII в.! Если бы я пожил (лет 30 назад) здесь лет пять, я действительно стал бы ученым человеком, а не тем недоучкой, кот<орый> знает кое-что из кое-чего. Любую книгу на любую тему можно найти, если порыться в бесчисленных антикварных лавках. А в магазине Сорбонны – вся мировая философия, новейшие издания. Но дорого! Я просадился, спустив все свои франки и чуть не продав штаны.

Теперь я вновь в Мюнхене и скучаю без твоих писем. Мой адрес: BRD, 8000, München 22, Postlagernd, Ju. Lotman.

Сие до востребования, т<ак> к<ак> я бываю в разъездах, а письма здесь держат только неделю. Но все же и домашний адрес:

8000, München 22, Kaulbach Str. 22 (2 раза 22 – не ошибка).

Ju. Lotman.

Погода у нас чудесная – пишу в парке. Пытаюсь заниматься.

Приветы Вилю. Вечно и неизменно твой Ю. Лотман

30. III.89.

6 апреля 1989 года

Мюнхен. 6.IV.89.

Дорогая Фрина!

До сих пор еще не имею от тебя ни строчки. Грустно. Наша жизнь в Мюнхене входит в обычную рутину: занимаемся, пишем и понемногу скучаем. Студенты все не могут собраться начать семестр – все каникулы и праздники. Самое важное и тревожное для меня то, что с операцией для Зары все еще не получается. Решиться на операцию страшно (будет ли хуже или лучше, никто сказать не может), но пока главное в финансовой стороне дела. Операция, как и вся медицина здесь, очень дорога (вот я привожу в порядок зубы, а стоимость этого приблизительно равна цене небольшого автомобиля – прекрасно понимаю муки Марины по этому поводу). Вопрос этот никак решиться не может. А я, честно сказать, если бы не эта операция (ведь Заре грозит полная неподвижность, да и сейчас она ужасно страдает от болей), я бы ни за что не согласился сидеть 10 мес<яцев> в Мюнхене.

Я занимаюсь, но время как-то уходит, как вода между пальцев. Ничего серьезного пока не написал.

Прости, что письмо вышло меланхолическое. Вообще я живу неплохо, только не привык жить мало работая, а здесь все никак не могу войти в ритм. Да и вообще все чужое, душа тянется в свой угол. Это, видно, от старости. Обещаю, что больше грустных писем писать не буду – стыдно.

Целую тебя

Юра.

Приветы Вилю.

11 апреля 1989 года [365]

Юрочка, дорогой,

Сегодня получила твое пятое письмо. Радуюсь письмам несказанно. Они идут по-разному. Первые – больше месяца каждое, а последнее – после Парижа, от 30 марта, шло всего 11 дней, совсем живой привет от тебя. Да, и почему не вместе гуляем мы по Парижу?.. Действительно… Ну, да не буду грустить, а буду радоваться, что даже книги в парижских развалах не вытеснили меня целиком.

Ну, что я? Живу и живу. Полтора месяца (как много раз бывало прежде – после твоего отъезда) проболела головой, теперь прошло. Ноги болят по-прежнему, надо терпеть. Была я в Лен<ингра>де – как грустно, как провинциально и какое-то все подержанное. Лен<ингра>д красивее теперь на открытках. Хоть и больна была, а Вера повела меня в театр и в Филармонию. Вовку[366] не видела, а из моих подруг бодра только Леля Ч, остальные, увы… Скоро уезжать в Канаду, 13 августа. И страшно (чем дальше, тем все страшнее), и надо все одним без помощи устраивать. Помнишь, когда Виль заболел, ты меня все подбадривал: «Глазки ужасаются, а ручки делают?» То же, хотя и не совсем, сейчас. Письма Марины неизменно бодрые. Она зовет, зовет и зовет навсегда. Да как же я решусь на это? А ты? Передать невозможно, что сделалось с твоим отъездом – пустыня. Как же ехать навеки? Ах, пусть все решится там. Надо поглядеть, как нам там поживется 4–5 месяцев. Кажется, Майкл[367] все-таки входит в жизнь Марины, но на каких-то западных основаниях. Ни он, ни она потерять работу не могут, стало быть, он будет ездить, а 5 месяцев в году – вместе. Ах, что Бог захочет.

Спасибо, мой дорогой, и за «Вознесение Христа» Рембрандта (у нас ведь Пасха только 30 апреля, так что ты успел мне подарить), и за все прелестные открытки. Да, конечно, не вовремя ты разъездился, но я все равно так рада, что ты увидел Париж и что поживешь почти годочек спокойно. Господи, помоги Вам с операцией Зары. Хотя бы все это сделалось и прошло благополучно. Юрочка, пожалуйста, все время пиши, как ты себя чувствуешь. Изыщи деньги на свое лечение тоже – не упусти хороших врачей. Дружочек мой, ты все время неправильно пишешь № моего дома: не 20–24! Надо 22/24 (легко запомнить по теперешнему твоему номеру). Удивительно, что письма доходят.

У нас начинается весна. В Сокольниках[368] распускаются листья, наконец, появилось солнце. Спасибо, дорогой, что пишешь часто. Это поможет мне не чувствовать одиночества. Но я

все же пишу до востребования. Хоть один раз не чувствовать этой связанности. На самом деле, ну чьему покою я теперь угрожаю?

Вяч. Вс. Иванов в Калифорнии (с женой). Получила письмо от Лены Краснощековой[369], Она делится приятными впечатлениями от встречи в Вашингтоне с Мариной. <…> Все там знают, что ты в Германии.

Будь здоров, здоров и здоров. И пусть всякое добро всегда с тобою.

Твоя Фрина

15 апреля 1989 года [370]

Здравствуйте, дорогой друг мой!

Пишу просто так. У нас дождь, дождь, и стало прохладно. Но в Сокольниках набухли почки на деревьях, а на кустах уже маленькие листочки. Очень похожи на 28 апреля 1970 года, когда мы бродили там под таким же мелким дождем и купили маленькую деревянную церковку. Как многие книги, она живет теперь у Марины, пусть долго остается память тех лет, тех дней. Жизнь моя внешне медленна и однообразна, а внутри что-то все кипит и борется: я не могу главного решить.

Москва, тем временем, ужасна. Вчера искала для Феди разные книжечки по математике-физике в центре, где долго не была. Боже мой! Все облезло и рушится, не лучше, чем в Лен<ингра>де: Малый театр, Метрополь, Пассаж. Грустно. И глядеть тяжело. Однако все это оставить навсегда… оставить дорогих мне людей – уму непостижимо.

Как «приживаетесь» Вы? Работаете ли? И ушло ли тяжелое настроение первых недель? Да уж как бы хотелось побродить с Вами по набережным Сены, поглядеть, как Вы раскапываете залежи драгоценных книг… Последние дни я неотступно думаю о Вас, гляжу на все присланные Вами открыточки и вспоминаю.

Много времени и физических сил у меня занимает посылка книг Марине. Только переслали всего Достоевского, уйму книг для Феди и Юры[371]. И мне легче стало! С легкостью отдаю все. А как это все я любила раньше!..

Я смирилась, перестала бороться с болью в ногах. Наконец поняла, что все это бесполезно и надо только пользоваться обезболивающими. Никуда не денешься. Грустно, но надо терпеть.

Каковы у Вас виды на операцию Зары? Как она себя чувствует?

Будьте здоровы и бодры,

Всегда Ваша Фрина

30 апреля 1989 года

Дорогой мой друг!

Я просто вне себя от беспокойства – до сих пор не имею от тебя ни строчки. Не знаю, что и подумать. Неужели проклятая почта? Или что-нибудь, упаси Боже, случилось у вас? Об этом стараюсь не думать, но все равно все время думаю: что? с кем? с тобой? с Вилем? На почту хожу ежедневно, и все тот же милый мальчик мне с сочувствием отвечает: «Nein, shon nicht»[372].

Пишу тебе из Гамбурга, где читал лекции по Пушкину. Прочлось ничего. Смешно, но я уже потихоньку начинаю считать, сколько осталось до возвращения, – домой тянет, особенно «в минуты роковые», как сказал Тютчев. Работа не очень ладится – то той, то другой из нужных книг не хватает.

В июне Заре назначили операцию – боязно, как все пройдет. У нас холодная весна; не только дождь, но и снег порой. Зато в Гамбурге я насладился некоторым подобием белых ночей (вернее, еще не белых, а их предчувствия – того «балтийского», «ленинградского» освещения, которое я так люблю). В Мюнхене вечер сразу переходит в ночь.

Ну ладно, пишу тебе всякую ерунду, а что у тебя там – не знаю.

М<ожет> б<ыть>, тебе совсем не до белых ночей.

С беспокойством обнимаю тебя.

Твой Ю. Лотман

30. IV.89. Гамбург.

P.S. М<ожет> б<ыть>, некоторые письма пропали, т<ак> к<ак> я писал: дом 20–24, а, кажется, надо 22–24? Можешь ли узнать на почте?

5 мая 1989 года

Мюнхен

Боже мой! Письма! Сразу два!!!

Словно солнце в душе выглянуло! Слава Богу! А то я уже чегочего не напередумал. Все-таки тяжко бросать письма в ящик, как в космическую черную дыру. Я получил письма от 11 и 15 апр<еля> (второе с пометой «№ 2»). Это первые письма, которые я получил. Пришли ли они одновременно, сказать трудно, т<ак> к<ак> до этого я ходил на почту каждый день, но 26–29.IV читал лекции в Гамбурге, там простудился (было солнечно и красиво, но ужасно холодно) и, приехав, проболел 5 дней. Только сегодня пошел опять на почту и сразу получил два. Спасибо. У тебя, бедненькой, болит голова, болят ноги. Грустно… А я с 15 мая по конец месяца снова в разъездах (Констанц, Бонн – лекции), так что снова без писем. Что я путал № дома, я и сам заметил, но ты удивляешься, что письма все равно доходят. А письма у нас умные: идут пешочком и неизвестно с кем под ручку, как говорила Анна Ахматова, но если уж решат дойти, то дойдут, хоть и совсем без адреса, подумаешь, дом спутал.

Марина тебя зовет насовсем. Не мучь себя – не решай, пусть все сделается само. А что до нас, то мы ведь всегда вместе, всегда и везде, а Бог даст, и у Марины повидаемся, как в Москве. Пускай жизнь сама решает свои задачи.

У Зары операция назначена на середину июля. Страшно.

Пиши, целую нежно.

Так из всех твоих подруг самая бодрая Леля Ч<ернявская>? Здорово и симпатично. Значит, не тому хорошо, кому хорошо, а кому Бог дал душевные силы.

Твой Ю.

5. V.89.

Пиши по Postlagernd[373], все равно я бываю в разъездах.

Домашний адрес – для телеграмм.

Все-таки как чудесно, что письма пришли. И день сегодня прекрасный. Апрель был отвратительный.

6 мая 1989 года

Дорогой Юрий Михайлович!

Неотступно думаю о Вас: что с операцией[374], как вы справляетесь? Как вообще все? И куда Вам писать (а я упорно пишу раз в неделю)? У нас бушует весна, поют соловьи. 4 дня были на даче, не разгибаясь, работали (это и мне самой смешно: зачем… Да не могу иначе.) Борюсь за квартиру Марины с завистниками и недоброхотами, вообще много нервничаю. Скорее бы за город на два месяца передохнуть (от себя-то?)…

Пожалуйста, пишите, не грустите, войдете в ритм. Лишь бы были здоровы Вы оба.

Ф.

6. V.89

9 мая 1989 года

<Мюнхен> 9.V.89.

Здравствуй, дорогой мой друг!

Сегодня получил твое третье письмо от 20/IV (на домашний адрес) с приснопамятной гостиницей «Украина»[375]. Вообще мы с тобой украинские патриоты. Сегодня 9.V, и я в Германии, и погода, как в 1945, – всю душу переворачивает. Боже, как быстро все пролетело, и как тогда казалось все ясно. А еще день, когда я вновь вошел в аудиторию филфака и все началось. (Помнишь «Жизель» и Уланову?[376]) Вот чудо – прошлое не проходит, оно все внутри вечно, как книга на полке. Стоит снять и открыть…

Завтра уезжаю читать лекции в Констанц – на самой швейцарской границе. Прости, что взбудоражил Марину, но уж очень волновался.

Ну, надо кончать. Обнимаю тебя.

Твой Юра

24 мая 1989 года

Юрочка, Юрочка, дорогой мой,

Слава Богу, что стали приходить мои письма и ты перестанешь беспокоиться. Я не виновата, правда. Как только пришло твое письмо с адресом – в тот же день написала и отправила на Кировской, что делаю всякий раз, чтоб быстрее дошло. И твои все письма дошли, несмотря на путаницу с № дома. Милый мой! Как мне важно каждое твое словечко, каждая строчка! Как глоток воздуха! Вот ведь нет тебя с середины февраля – три месяца. А кажется, что вечность прошла. <…> Здоровье мое поправилось: и голова не болит, и ноги пока «молчат». У меня «роман» (т. е. добрые отношения) с новым доктором – ортопедом, и он спасает меня уколами, правда, меня устрашающими и очень болезненными. Зато 2–3 месяца после них можно топать прежней походкой… Перед Канадой[377] пообследовалась у врачей – все в порядке, можно лететь. Марина ждет не дождется. Устала бедная девочка. Я становлюсь сентиментальной к старости и про себя думаю о ней в каких-то смешных для меня раньше категориях: «ее головка», «ее душенька» и т. д. Мне кажется, я ее недолюбила в детстве, воспитывая достаточно сурово. А сейчас только нежность заливает сердце при мысли о ней. Вот и рассуди: ни без тебя. Ни без нее. Да, да, Юрочка, мы навеки вместе, но все-таки, как я могу уехать?

Когда ты будешь здесь… Невозможно…

Боже мой! Когда письмо это дойдет, может быть, будет уже операция[378]. Так страшно за Вас обоих. Дай Бог, чтоб Зару спасли, дай Бог Вам обоим сил все вынести.

Милый мой, дорогой, любимый, будь здоров. Обнимаю тебя и нежно целую.

Твоя Фрина.

P.S. Почему в белые ночи в Гамбурге я не была с тобой? – я тоже так люблю этот свет – предчувствие белых ночей!

Я получила от тебя 8 писем – какой ты молодец.

6 июня 1989 года

Друг мой, здравствуй!

Каково живется тебе, мой милый, на чужбине? Мы вот в 70 км от Москвы[379], а писем – нет, и тошнехонько… Но нечего плакаться, ибо в общем все не так плохо. Цветут мои цветы – в очередь, поют птицы. Чего же еще?

Вчера, в день моего рождения, вспоминали долгую, долгую жизнь. Боже мой! Сколько всего было! Еще двигаемся без помощи других – и слава Богу!

Здесь, знаешь, все так «вместе», так тесно, что не выберешь минутки спокойной тебе написать пару слов. Да и то, что письмо уйдет спустя неделю[380] – не настраивает на писание.

Но, Юрочка, не зная, какие числа июня опасны[381] для Зары, – я не перестаю думать о Вас и молю Бога, чтобы все закончилось благополучно. Хочется верить в немецких врачей. <…> Нас потрясла беда на Урале[382], где сотни людей мучительно погибли и погибают. У нас стало опасно жить. Здесь как-то не гуляется и даже не читается. Вот возиться в саду – отдых и удовольствие. Трудное здесь хозяйство, продукты очень плохие.

Каждое письмо из Лен<ингра>да – боль. У Минночки сгорела дача – дотла! У Тайгинки муж ждет второй операции. И сама она плоха… Так что… Но, Юрочка, мы-то с тобой увидимся, ведь правда? Не может же быть, чтобы мой самолет разбился или чтонибудь другое случилось. Вы вернетесь, вернусь и я, и мы снова будем гулять с тобой, и ужинать, и вспоминать, и я буду смотреть на тебя. Боже мой! Скорее бы… Но до этого еще…

10.5.89. Юрочка, если бы ты видел, как цветут тут пионы!

Пунцовые отцвели, но бледно-розовые… Помнишь?

23 июня 1989 года

Юрочка, дорогой!

Истосковалась я по тебе ужасно. Вчера был день начала войны – страшно вспоминать. Мой тихий город[383] адски бомбили уже на 3-ий день, и мы не успевали добежать до «щелей», нами вырытых… Ах, как давно и как недавно. Письмишко твое от 9 мая Виль привез 10 июня. А вчера, когда было так грустно, вдруг – так бывает, это из нашего с тобой – включила телевизор, и вот – твое лицо, последняя передача пушкинского цикла 85 года. Какая радость! Но, Боже, сколько усталости в твоих глазах накопилось за 4 прошедших года! Ведь когда мы видимся, мы радуемся, а что – там, между встречами, как проходит жизнь и чего она стоит – это отдельно, и как не просто…

Кончается июнь. М.<ожет> б.<ыть>, уже страшная операция[384] позади? Так хочется знать, как все кончилось. Ты-то, ты каков?

Ведь отдыхать ты не умеешь, работается тебе неважно, настроение у тебя – по давнему письму судя – тоже неважное. Вот тебе и заграница. Ах, друг мой, подумай тоже и о себе и, если есть хоть какая-то возможность в смысле денег, пусть тебя обследуют; м.<ожет> б.<ыть>, у них особые средства и лекарства для твоего сердца. А? Как твои лекции в Констанце? Что у Вас, тоже жара, как у нас, или нет?

О себе писать нечего: живем пейзанской жизнью. По правде говоря, я с удовольствием вожусь с цветами и всем живым. Правда, вот вывелась удивительная отечественная порода пернатых – пожирает клубнику! Птицы живут теперь, видно, не столько в лесу, сколько на дачах. Приходится собирать неспелую. Но весело смотреть, как птицы не боятся людей совершенно. А как цветет мой розовый куст и все остальное! А помнишь, как некий молодой гусар в одном прекрасном парке воровал цветочки?[385] Вот возле них я люблю сидеть в кресле, купленном в твоем городе, и читать свои английские stories.

От Марины было одно письмо, вполне спокойное. Она очень надеется провести неделю отпуска в Англии, в начале июля. Жалуется на детей и тяжелый быт с ними. Да вот я, Бог даст, приеду, помогу и утешу их всех. О Господи, скорее бы. Считаю недели.

Ну, надо кончать свое сумбурное письмо (помни, что здесь у меня нет своего стола, своей комнаты, и писать не просто).

Главное, чтобы ты и Зара были здоровы.

Всегда твоя
Фрина

20 июля 1989 года

Юрочка, я пишу с большим напряжением, и только потому, что Виль едет в город[386]– надо писать… А ведь последняя весть от тебя – письмо 9 мая (!!) было полтора месяца назад. И я совсем ничего не знаю о тебе, об операции. Неизвестность мучительна.

И только вера и надежда на милость Божию меня спасает.

У меня нет никаких особых новостей. Проходит лето: уже флоксы цветут и скоро зацветут астры – все рано в этом году. Я себе хозяйничаю, обрезаю кусты, кошу траву; читаю и слушаю радио. Не сказать, чтобы было весело ото всего, что совершается дома[387]. А вам-то каково?

Марину-таки пустили[388] в Англию. Она поехала с Michael, и там ее ждет его Оксфорд, Кембридж, Шотландия. <…> Юра вроде бы стал полегче в спец. школе (где, кстати, его все любят). Федя очень много занимается компьютерными программами, идет в школе по особому плану, сидит в библиотеке и т. д. Слава Богу! Ну а в быту, как всегда: в наличии, как правило, один носок, один ботинок. Ах, это все чепуха. Марина очень скучает и ждет нас. Я уже дни считаю, но и всего боюсь, как всегда. Это сделалось после болезни Виля. (До этого я ничего не боялась и никого.) Отпустила нас жара. Стоят теплые, тихие дни. Гремят грозы. Когда я остаюсь на два дня одна, я в панике, если гроза. Смешно.

Радуюсь я за ленинградцев – молодцы ребята! М.<ожет> б.<ыть>, вздохнут полегче.

Друг мой, теперь, пока письмо до тебя дойдет, – мы уже, верно, уедем[389], если все будет хорошо.

А ты пиши мне на адрес Марины.

4454 Coolbrook Apt 15 Montreal, Quebec, Canada H4A 2G2

Я за Вас обоих молюсь.

Обнимаю тебя,

Твоя Ф.

17–18 сентября 1989 года

Дорогие Марина и Фрина!

Мюнхен.

Огромное спасибо за Ваше письмо. Я его давно ждал. Писать Вам я не мог, т<ак> к<ак> в результате болезни у меня были трудности с письмом (и сейчас пишу, как видите, плоховато, а читать только учусь – это с моей-то профессией!). Я долго (с мая) болею, хотя теперь уже приближается выход из больницы. Заболел я в день, когда получил последнее письмо Фрины – не успел прочесть, а потом оно затерялось. Так что я до сих пор не знал, в [Ленинграде] Москве Вы или в Америке. Коротко обо мне. У меня была операция рака. Но хотя звучит страшно, но на самом деле не так плохо. Опухоль была в самом начале, и врач (а в Германии они принципиально говорят правду) обещает еще 10 лет жизни и смерть не от рака. Рак обнаружили случайно, когда искали причины сердечных неурядиц. У меня было нечто вроде небольшого инфаркта мозга [в результате], кусочек попал в мозг.

1) Ум не пострадал нисколько.

2) Речь тоже не пострадала.

3) Физическое здоровье тоже почти обошлось.

Последствия.

1) Учусь читать!!! Могу читать, пока пишу, но книгу читаю мучительно. Врачи обещают восстановление, но в какой степени – пока неизвестно. Все это произошло так, что я оказался в Германии практически один. Зара буквально спасла меня. Теперь я поправляюсь. Пишите мне о себе.

Ваш Ю. Лотман

P.S. Я все же работаю. Читаю с помощью Зары письма и книги и даже диктую научные материалы.

Постепенно возвращаюсь к жизни.

Ю.Л.

8–9 октября 1989 года

Мюнхен.

Милая Фрина!

Вот я и вышел из больницы. Опухоль мне вырезали и гарантируют 10 лет спокойной жизни. Но вот с глазами (вернее, со зрительной частью мозга) – хуже. Зрение ухудшилось, но это пустяк, а вот главное, что писать я могу, а чтение восстанавливается с большим трудом (интеллект, к счастью, не пострадал). Я вынужден новую книгу диктовать Заре, и она, как верный друг, пишет все под диктовку: работа медленная и очень трудная. Но все же работа, а это мое главное счастье. Вообще же все неплохо и гораздо лучше, чем могло бы быть.

Я бодр и тружусь. Я очень тебя целую. Пиши мне. До ноября я в Саксонии[390] – потом дома.

23 октября 1989 года

23/X-89

Дорогой друг, спасибо за Ваше письмо. Оно шло всего 9 дней, а написано гораздо более твердой рукой. Поверьте, дальше все будет только лучше. Я вспоминаю, как в первое время болезни Виль[391] резко хуже стал видеть, а потом зрение наладилось. Теперь – через 9 лет – и это поразительно – он как-то даже плавает здесь в бассейне.

Визит наш в Канаду подходит к концу – 10 ноября возвращаемся домой. Кое-что повидали, побыли с внуками, а главное, помогли Марине. И достается же ей! В особенности от Юры. (Помню, как Вы когда-то пророчески предсказали, что, живя с нею, Юра будет мстить за отца, останься он с отцом – за маму.) Трудный характер (а может быть, нездоровье, которого здесь, впрочем не находят). Ох, как Марина сдала за последний год! Однако мы обе верим в лучшие времена для всех нас. Марина уже хорошо освоила работу и неплохо пишет для радио. У нее здесь есть добрые знакомые, очень приятные люди, ну а мы, если Бог захочет, будем приезжать в гости.

Когда Вы возвращаетесь? Не могу ли я быть чем-нибудь полезной по пути Вашем домой? Какое, в общем, счастье, что нездоровье Ваше пришлось на Германию. Вот только З.Г. досталось… и как она тянет теперь?

Бог Вам в помощь! Выздоравливайте, держитесь и верьте: все будет хорошо.

Неизменно Ваша Фрина.

P.S. Какое счастье, что Вы продолжаете работать!

29 мая 1990 года

29. V.90

Дорогой Юра, я прошу Зару прочесть тебе это письмо, зная, что почерк мой и для хорошо разбирающего труден, а при твоих теперь проблемах – вовсе недоступен… Вчера Виль и я проделали долгий путь, чтобы дозвониться к Вам. Накануне Виль был в Москве – не дозвонился. Здесь же, в г. Хотькове, за 6 км от нашей дачи, нам любезно сообщили: «телефонисток нет, заказов не принимаем». И отправились мы, сирые, за 15 км (автобусом) в Загорск[392]. Там дали Тарту довольно быстро, да связь, вишь, окончилась через 3 минуты – и я не смогла объяснить внятно насчет лекарства для Зары. Дело обстоит так. Когда 2 года назад у меня сильно болели ноги, некий знакомый <…> порекомендовал врача, который выписал рецепт на это лекарство[393], но в Канаде в принципе не возвращают рецептов, а аптеки не выдают и сертификатов взамен. Я даже не знаю названия (все, что написано, – на флаконе, переданном Заре). Так что и обратиться к этому врачу Марина опять не может. (Однако то, что оно годится для Зары, я согласовала с московским своим врачом, кот.<орый> смотрел Зарин снимок.) Я себе часть этих таблеток оставила. Есть у меня и еще кое-что, великолепно снимающее боли. И я с радостью отдам Заре все это, ибо, во-первых, ноги пока, слава Богу, не так болят, а во-вторых, все же, я надеюсь, впереди Канада…

Юра, дорогой! Но слать боюсь: дорого стоит, невосполнимо, вдруг пропадет! М.<ожет> б<ыть>, Вы будете в Москве в конце июня – сообщите, я приеду и с радостью все отдам. Или как-то еще?

Живем тихо и однообразно. Но – очень смешна постоянная охота Виля за едой, но это надо рассказывать и видеть его с его котомкой… Холодно; топим каждый день. Здесь все-таки север, поэтому только отцвели весенние тюльпаны и нарциссы. Но еще никак не расцветут мои любимые бледно-розовые пионы. Цветут ирисы и маки. Все время косим электрокосилкой, чтобы было приятно жить. И ждем от погоды милостей: да не заморозит нашу клубнику и выморочную смородину, крыжовник. Почти натуральное хозяйство. Я слушаю здесь английские пленки и часа 2–3 языком занимаюсь ежедневно. Иногда все-таки грустно, особенно когда (на Марининой половине) вижу Федины детские рисунки и детские книжки[394].

Малыша Юру[395] нам не дали – он впервые сказал Вилю, что папа[396] не хочет отпускать его к нам. Что ж, как ни больно, но

если Юре хорошо и он иной, то стоит того. Только вот как успокоить Марину? А я все время пишу ей и стараюсь как-то обрадовать ее Юриными успехами в школе, метаморфозами в его характере, etc. Что же… На все Его воля… Марина совсем не пишет. Слушаем ее, правда что, регулярно.

Юра, по субботам идут твои передачи о культуре – 1 цикл, повторяются поздно вечером по пятницам. Я их не видела – была тогда в Канаде. Какая радость! Как многое вспоминается! – спасибо тебе. Радуюсь за тебя, что свиделись с Борисом Андреевичем, и особенно тому, что он «отыскал» для тебя по американским каталогам.

А вот давление твое – ах, это нехорошо для тебя, проверяй его регулярно – не давай подниматься высоко. (От Вили поклон.) Прости за длинное письмо – хотелось продолжить телефонный разговор. Напиши о лекарстве. Виль бывает в Москве регулярно.

Обнимаю тебя. Будьте здоровы оба.

Фрина.

18 ноября 1990 года

18.11.90

Дорогой Юра,

Только 17 ноября мы узнали о горе[397], которое постигло Вас и Ваших детей. Марина случайно принесла с работы «Литературную газету», а в ней некролог… Мы весь день звонили в Тарту по обоим телефонам – бесполезно, не помогла и помощь сочувствующей телефонистки: все линии в Союз заняты в течение всех суток. Случайно, уже в два часа ночи по ленинградскому времени я дозвонилась Виктории Михайловне[398], и она рассказала мне, как все случилось. От горя и растерянности я даже не узнала у нее дату гибели бедной Зары. <…> Мысли о Вас не оставляют ни на минуту. Ляля сказала, что Вы держались очень мужественно, и в этом ни у кого из нас нет сомнения. Я также понимаю, что Вы не одиноки сейчас: и Кая[399], и Леша, и Гриша[400]-помощник, и многие другие – не покинут Вас. Может быть, Бог даст, и Мише удастся переехать в Тарту. Но я хорошо знаю, что Зару никто заменить Вам не может – это главное, что нас всех гложет. Ляля обещала мне, что передаст Вам наше общее горе и сочувствие Вам. Обещала и пожить с Вами, что мне кажется особенно важным, ибо кто же, как не она, сможет последить за Вашим здоровьем?

Марина благодарит Бога, что мы приехали на месяц раньше в Канаду, понимая, что в ином случае я ни за что бы не уехала. Немного о нас. Мы живем с Мариной, и одни жить не можем по многим причинам. На Маринином полном иждивении. Официальные дела не двигаются совершенно, и главное – могут здесь делаться годами! Поэтому, что самое опасное, у нас нет медицинских карточек, т. е. бесплатной медицинской помощи, живем на птичьих правах. Учим английский, я взяла на себя все хозяйство – тяжело. Очень испортилась обстановка у Марины на работе. Представьте, там окопались совершенные фашисты, типа российской «Памяти»[401], и их привечает начальство. Но, конечно, все меняется, сменится ситуация и здесь. Марина <…> много пишет: рассказы; заканчивает сценарий; всерьез увлеклась кино. К нам нежна (надолго ли хватит?). Федя, не отрываясь, сидит за компьютером, делает новую программу; он кончает школу, впереди колледж как преддверие университета. Кажется, у него есть успехи – не мне судить. Он очень нежен со мной и с дедом, но не всегда – с мамой.

Ваше несчастье еще раз показало мне, что уж одним нам жить нельзя, а значит, разные мелкие неприятности надо терпеть. <…

>

Юрочка, дорогой, может быть, я Вам нужна? Уеду, бросив все и не задумываясь. Хотя уж вернуться сюда, в этом случае, просто сил не хватит. И для Марины это будет ударом: она столько рассказывала нам о страшном своем одиночестве до нашего приезда, а что теперь у нее – семья. Но главное – как лучше Вам. Я надеюсь, что этим письмом я никак не обижу Вас. Поверьте, всей кожей я вместе с Вами в Вашем горе. Если можете, хоть изредка пишите. Дозвониться просто теперь стало невозможно. Это письмо, увы, придет тоже только через месяц… Что я могу поделать? Я увезла все: письма, дневники, разные памятные для меня дорогие мелочи, включая Уса[402]. Книги Ваши стоят все на полках и, как живые существа, несут Вашу мысль, Ваши труды, Ваше ощущение бытия и Ваши чувства. В моей комнате – Ваш, подаренный Марине, портрет.

Пусть Господь хранит Вашу жизнь, даст Вам силы жить, работать, помнить и любить.

Марина и Виль, разделяя Вашу скорбь, шлют Вам поклон и привет.

Вечно ваша

Фрина.

21 ноября 1990 года

Фрина, Фрина!

Поплачь и помолись обо мне: Зара скончалась через 5 дней после вполне благополучной операции. Причину выяснить не удалось – тромб. Мы привезли тело из Италии и схоронили в Тарту.

Тяжело.

А я всегда был убежден, что я первый…

Тут обо мне заботятся (Леша, сестра, Наташа). С этой стороны не беспокойся.

А об остальном – что говорить.

Все время все перебираю в памяти… Помолись за меня, поцелуй Марину.

Твой

Юра

21. XI.90.

Зара скончалась 25.X.

26 ноября 1990 года

Дорогой Юра!

Мне остается только писать, зная, что в лучшем случае письмо попадет к Вам через месяц. Мы с Мариной в очередь звонили в течение полных суток с 18 ноября, как только узнала я ужасную Вашу боль[403]. Но дозвониться в Союз не удается даже с помощью канадских телефонисток. <…> пять каналов заняты все время суток. <…> И я не могу услышать Ваш голос… Думаю о Вас неотступно: что Вы, как сердце и давление (Виктория Михайловна сказала, что было повышено), кто с Вами, можете ли Вы работать?

Я помню, как в 1978 году скончалась Галя Успенская и каков был Борис Андреевич. Тогда Вы увезли его к себе и поддерживали как могли. Кто сейчас с Вами – могу только гадать и молить Бога за Вас и чтобы Миша перебрался в Тарту. – Может быть, Наташа[404]? – ведь близкий человек и филолог, ей бы можно и диктовать. Что Вам сказать о моей жизни? Говорят, первый год труден, надо терпеть. Может быть. Трудно очень. Марина весь день на своей очень нелегкой работе, приходит вечером вымотанная до донышка. Вообще она «посуровела», что ли. Иначе здесь и не выжить. Юра – ее большая боль[405] и говорить о нем она не может, тем более что общение с Андреем, что было бы облегчением, совершенно невозможно. Федя в школе до четырех часов дня, потом, не вставая, сидит за компьютером до глубокой ночи. К сожалению, он совершенный анахорет: ни друзей, ни знакомых, и в школе ни с кем не дружит. Марина пыталась его с кем-нибудь познакомить – ничего не выходит: он не хочет. С нами же добр и покладист, только ужасный неряха и весь не от мира сего, как был в раннем детстве. Ему в феврале исполнится 17 лет. Кажется, старшие девочки Миши моложе?

Мои занятия, увы, однообразны и скучны. <…> Только одна мысль: как Вы, что с Вами – вот моя жизнь. Ужасно тянет домой. Знаю, что ничего хорошего, кроме голода и одиночества, меня там не ожидает. Да вот – чужие берега. Но я не хочу Вам жаловаться. Скажите главное: нужна ли я Вам там у Вас, и я брошу все и уеду отсюда навсегда. И будь что будет потом. Если же нет, то надо жить и надо привыкать. Может быть, Марине правда со мной легче и теплее, надо, стало быть, жить для этого. Она очень одинока, несмотря на язык, знакомых и три года в этой стране.

Помните, как Вы учили меня не горевать, если что случится трагическое. Если бы это удавалось Вам! Не только мужество –

этого Вам не занимать, а именно чтобы хоть не только горе грызло Вам душу… Можно ли писать Вам? Можете ли продиктовать для меня хоть несколько слов? Поставьте себя на мое место, и Вы поймете, каково мне сейчас. Еще раз, на всякий случай (вдруг потерялся) пишу Вам адрес и телефон в Канаде!

F. Sonkina 4454 Coolbrook. Apt, 15 Montreal. Canada, Y4A 3G2 тел. 488-4258

Будьте здоровы, я молюсь за Вас каждый день.

Ваша Фрина

26.11.90

8 декабря 1990 года

Милая Фрина!

Я получил твои два письма, получила ли ты мое? Спасибо за твои письма – нужно ли писать, что они для меня. Пиши, друг мой! Хоть письма идут ужасающе медленно, но уже чувство того, что идут, – радость и облегчение. Вот так все случилось. А я был совершенно уверен, что уйду первым, и готовил к этой мысли Зару. Себя-то не подготовил. Друг мой, спасибо за то, что ты готова принести мне такую жертву. Но это невозможно – материальной заботой я обеспечен – Леша и Кая, а с января Миша переходит в университет. А внутреннюю – я должен и могу пережить лишь сам и один. Да и подумай (мы не дети и не должны бояться действительности): ты принесешь эту великую жертву (жертвуя не только собой, но и Мариной и Федей), а я вдруг возьму и умру (чего бояться слов). Странно подумать, что тут с тобой одной будет. Нет, смотреть надо вперед, а не назад. Надо врастать в новую почву, и ты еще много можешь дать Марине и Феде. Ведь – как я горько и сильно в этом убедился! – [что] мы не можем объективно оценить силу наших связей. Как мы чувствуем свои связи с телом лишь когда отрежут кусок, так и близкие люди; ты и твои Марина и Федя – одно тело, ты не можешь оценить силу связи, не отрезая. Нет, такой жертвы я не могу принять, и она не принесет радости никому. Память нашей нежной дружбы – наше богатство. Будем же его беречь.

Не погружайся в прошлое – это ошибочный путь. Тебя Бог не обошел самым важным талантом – силой жизни (знаю, что это трудно и утомительно). Но я верю в твою силу, в то, что ты еще можешь радоваться и приносить радость.

Верю в твои силы, желаю – Боже, сколько всего хорошего я тебе желаю!

Марину нежно обнимаю, Феде и Вилю – дружеские приветы.

Всем – счастья и здоровья в Новом Году!

Всегда твой Ю. Лотман

8. XII.90.

17 декабря 1990 года [406]

Дорогой Юра!

Наконец-то я услышала Ваш голос. Простите, что удалось дозвониться только ночью.

И отчего это самые важные письма пропадают: год я спрашивала в письмах у Марины, как же мы будет жить здесь и «вытянет» ли она. И Марина как могла отвечала и успокаивала меня. Так ни одного из этих писем я не получила. И уезжая сюда, терзалась ее якобы неотвечанием.

Когда мы узнали о трагическом уходе Зары из газет, от моих подруг, а от Вас не было и звука, – то ведь мысль о том, что Вы сомневаетесь (?) в моем сострадании, или не хотите его, или… одним словом, было очень тяжело. А Вы, оказывается, сразу написали, и вот этого-то письма я и не получила. Может быть, Вы как-то по ошибке неправильно написали адрес?

…В Монреале странная зима, какая-то не-зима: не то поздняя осень, не то ранняя весна. Светает уже не в семь утра, днем яркое солнце, сумерки короткие и поздние для декабря: еще светло в 5 часов дня. Погода здесь меняется каждый день. Еще вчера лил дождь, а сегодня морозит. Вчера вечером мы с Вилем отправились глядеть на прелестный этот город, весь украшенный перед Рождеством. Входные двери одно– и двухэтажных домов, из которых, в основном, и состоит Монреаль, – украшены веночками из хвои. Днем на них нарядные банты, а вечером они перевиты разноцветными горящими лампочками. Гирлянды крохотных лампочек и на молодых, уже без листьев, деревцах; везде в окнах цветные огоньки и елки. Жители Канады вообще умеют радоваться всему простому и ясному. Только мы привезли сюда свои вечные комплексы и уныние, что, как известно, тяжкий грех. Приживаемся мы трудно, плохо выглядим и оба болеем. Я – сердцем и давлением, Виль плохо стал ходить и как-то слаб. Сейчас я чувствую себя лучше, стенокардия пока не подтвердилась. Официальные дела движутся здесь медленно – бюрократия немалая – и могут тянуться и год, и два, и три. Да нам торопиться некуда. Вы, наверное, как и другие все, правы: куда нам возвращаться? Нам одним уже тяжело.

А дальше будет еще труднее. К тому же, раз уже так сложилась жизнь Марины, надо ее тоже пожалеть в ее одиночестве. Она по-прежнему очень нежна и внимательна. Наше несходство с нею живет только на линии быта. Как меня невозможно представить себе вне дома, порядка и домашнего уюта, так ее – со всем этим. Быт она полностью игнорирует.

Федька добр и заботлив, но рубашки и носки швыряет прямо на пол, бросает расстеленной постель и убегает, тарелки после себя не вымоет. Все это совсем не поканадски, но… поскольку мне на это глядеть тяжело, убираю и молчу. Чтобы вынести тоску эмиграции, Марина затратила много сил, похудела, осунулась и одеревенела. Она очень страдает без Юры (О! Господи!)… остыла совсем к Феде. Стало быть, я компенсирую ему то тепло, которое ему очень нужно. Все это как-то образуется, наладится и, в конце концов, не смертельно. Не грызла бы так тоска по дому. Говорят, что это проходит. Буду верить и надеяться.

То, что Миша будет с Вами и будет вести курс Зары, мне кажется, очень хорошо и по существу для Вас, для Миши и для памяти о Заре. Но разве могут они всей семьей разместиться в Вашей квартире? В далеких записях, кажется, 1975 года, я нашла, что Вас приглашали в Монреаль, в один из здешних университетов, кажется, McGill, где была какая-то конференция по сравнительному литературоведению. И Вы доклад свой представили (или тезисы), да не поехали[407], разумеется…

Движется ли Ваш трехтомник? Я очень надеюсь получить его. Не знаю, чем кончить письмо, и отправляю его так. Вы его получите уже в новом – 1991 – году. Дай-то Бог!

Сердечный привет от Марины и Виля.

Обнимаю Вас,

Ваша Ф.

F. Sonkina
4454 Coolbrook, apt 15, Montreal, Quebec, Ca
H4A 3G2
тел: 488-4258

31 декабря 1990 года

С Новым Годом, дорогая Фрина! С Новым Годом, душа моя, поздравляю тебя и всю твою семью – Марину, Виля, Федю и отсутствующего Юру, по которому, чувствую я, ты тоскуешь! Да хранит вас Бог и все канадские святые.

Ты мне сделала новогодний подарок: я получил сегодня (30 декабря) твое письмо, конечно, без даты (!), но по канадской печати – от 17 декабря. Рекорд! Сразу две радости: и письмо быстро шло, и прибыло в канун. Письмо твое печально, и я от души желаю тебе в новом году здоровья, душевного покоя и всего хорошего, что этот мир может дать.

Что сказать тебе о себе. Если честно – то тяжело, больно и, как писал Тютчев в горькое для него время, – «не живется». Но человек – странное животное: в это самое, тяжкое до невыносимости, время я надиктовал (так быстрее) небольшую – в 8 печатных листов, но очень важную для меня (объективно, м<ожет> б<ыть>, бред) книжку, где суммировал все постепенно вызревавшие мысли о том, что такое история вообще и почему на всем ее протяжении голодные и окруженные опасностями люди отдавали свои небольшие силы такому бесполезному делу, как искусство[408].

Меня опекают: вот на праздники приехали из Таллина три внучки, итак, тут сейчас 3 + 4 = 7 внуков, чем не старый дед.

Но фон, на котором развертывается жизнь, – мрачен и тревожен… Вчера не кончил – продолжаю сегодня, в Новый Год.

У нас мрачно – ничего нет, от продуктов до зарубежных конвертов, этот последний. Вернее, все есть, но все нужно «доставать». Но это – черт с ним, тяжелее – мрачные прогнозы.

Конечно, мы не то видали, но Баратынский писал:

> Были бури, непогоды,
> Да младые были годы…[409]

Но если уж цитировать, то солдатскую песню, записанную Львом Толстым:

> Очень, братцы, чижало,
> Прямо скажем – не легко,
> А между прочим ничаво!

Так что – «ничаво», будем бодры, ибо уныние грех, говорит Писание, а остальное уж как получится.

Нежно, от всего сердца желаю Тебе и твоим всего самого лучшего!

Тарту.

31. XII.1990. Ю. Лотман

1 января 1991 года

1 января 1991 г.

Дорогой мой друг Юрочка!

Вчера, 31 декабря, как лучший новогодний мне подарок, я получила твое письмо – второе (первое для меня). А то, что послано тобою сразу после случившегося, так и не пришло. Спутан ли адрес, или где-то просто гуляет по свету? Надо ли тебе говорить, какая радость твое письмо? Всю новогоднюю ночь светилось мое окно его, письма, светом. Спасибо тебе: снял такую тяжесть – незнания, не-связи, не-, не-… с моих плеч.

Ты прав, как всегда и во всем: как бросать и ехать? Может только казаться, что так надо, может очень хотеться ехать. А жизнь диктует свое. Конечно, и Федя уже не тот, и Марина (ей исполнилось 39 лет) уже другая. Да ведь не только в них дело. Я все понимаю. Только вот кажется мне, что жизненные силы мои иссякли в разнообразной борьбе: за жизнь Виля, с тоской по Марине и Феде в последние три года, вообще за мои 62 года. Но ты, как всегда, всю жизнь, поддерживаешь меня своей верой в меня, в то, что еще все доброе может быть. Это так важно: я буду стараться. Пока я не в лучшей форме. (Впрочем, я не знаю человека в нашей ситуации, который бы год-два не мучился. Я недавно перечитывала твои письма, такие грустные, первых месяцев в Мюнхене; в них неизбывная тоска по своему дому.)

Дела наши таковы: Марина, хоть и очень медленно, но кончает работу над сценарием, которая ее очень увлекает. Долго это по двум причинам: во-первых, много сил и времени отнимает основная работа, а во-вторых, она сделала ошибку, сочиняя сразу на английском. Надо было писать по-русски, было бы гораздо быстрее, а потом отдать какому-нибудь хорошему переводчику. Да денег пожалела: это очень дорого. В-третьих, и с нами немало возни. <…> На работе у нее все по-старому, но сложился некоторый грустный колорит отношений с коллегами (некоторыми, к счастью), которые тоскуют по идеалам своих собратьев национал-патриотов в своем отечестве. Бог с ними! Она по-прежнему одна, хотя знакомых много. <…> Марина по-прежнему красива, мила, со мною нежна и открыта, как прежде. Однако жить хочет одна, что нормально, и к лету мы будем искать раздельное жилье. Тем более что Федя летом поступает в колледж и тоже съезжает в квартиру-общежитие рядом с ним, что тоже «как все». Федька огромного роста, красив, но несдержан, как отец, вообще здорово похож, увы, на Андрея, гораздо больше Юры. (Кто бы думал…)

Наши дела почти не двигаются, здесь вообще не спешат, но появилась надежда на небольшую помощь, которой должно хватить на оплату небольшой квартиры для нас. Как все сложится – время покажет. А пока живу каждым днем. Сердце сейчас получше. <…>

Я заболталась, но так хочется хоть немножко поговорить с тобой о том о сем. Обещаю тебе писать дважды в месяц. Знаю за три года, как долго и мучительно ждать писем. Ты же постарайся хоть нечасто, хоть коротко, как сумеешь. И хоть что-нибудь пиши о себе. И как и над чем работаешь, и как справляешься «сам и один» (как ты пишешь) с бедою, которая так предательски неожиданно подстерегла тебя, дорогой мой друг. Что дети? Где будет жить семья Миши? Каковы Гриша и Леша?

Виль и Марина сердечно кланяются, Федя тоже.

Я тебя обнимаю,

Твоя Фрина

1.1.1991

21 января 1991 года

Милая Фрина!

Представляю себе, как ты волнуешься в своем «прекрасном далеке» о наших делах. Когда это письмо на черепахах и улитках доедет до тебя, многое уже прояснится. А сейчас никто не может предсказать событий даже завтрашнего дня. Но, как сказано в «Ревизоре» Гоголя, «уповая на милосердие Божие за пару соленых огурцов»[410], ожидаем лучшего. Как я рад, что ты и твоя семья находятся в безопасности.

А между тем я обсудил с очень милой редакторшей свою небольшую, но очень (для меня, по крайней мере) важную книжку[411]. Сейчас у меня сидит Миша, который перебирается в Тарту – будет работать в университете и значительное время жить в Тарту. Так что я не один. Кая трогательно обо мне печется. В это неопределенное и беспокойное время за детей (особенно за мужиков) приходится опасаться.

Я получил твое письмо от 1.1.91. Так что сакральные 25 дней все же требуются. Итак, мое письмо ты, возможно, если повезет, будешь читать в середине февраля…

Пиши подробно о себе, о Марине, ее кинозанятиях и вообще обо всем, что тебя занимает, особенно о здоровье твоем и Виля, которому прошу передать приветы.

Больше, прости, писать не о чем. 17 мая 1942 г. мы на Украинском фронте (около Славянска) были отрезаны прорвавшимися немецкими танками и оказались совсем изолированными. Телефонный провод связывал нас лишь с соседней батареей, также отрезанной. Вот мы и ободряли друг друга тем, что аукались. Так и мы с тобой будем аукаться и тем ободрять один другого.

Обнимаю тебя нежно, дорогой мой друг.

Сердечные приветы и самые добрые пожелания Марине и твоим мужчинам, будьте все здоровы!

21.1.91.

Всегда Твой

Ю. Лотман

24 января 1991 года

24.1.91

Дорогой мой друг, здравствуй!

Через три дня – 27 января, 23 года назад[412] в этот день в Москве была метель, как было прекрасно и весело! А сейчас здесь ясный солнечный день, мороз; здесь зимой вообще много солнца. В деревьях, средь голых ветвей, поют неведомые мне черные птички, похожие по шуму и веселости на наших воробьев. По улицам шныряют белки, смело перебегая дорогу, а машины притормаживают. Но все-таки зима здесь какая-то странная: день ясно и морозит, назавтра теплеет и дождь, смывающий снег до зеленой (!) травы у всех монреальских домов. Маленькие сосенки и юные елки перед домами бережно укрыты мешковиной, потому что после дождя может сразу же ударить мороз, что и случается регулярно. Весь Монреаль двухэтажный. Высоких зданий вообще мало, а небоскребы-офисы, которые нарисованы на всех открытках, – только в центре города, на улице Сен-Катрин.

Вчера, когда я гуляла в маленьком парке, недалеко от нашего дома, мне встретился полицейский, который улыбнулся и пожелал мне счастливого нового года. Не правда ли, как это странно для нас? Люди здесь вообще много улыбаются, терпеливо стараются понять мой «английский». Я же так осмелела, что отваживаюсь говорить на нем даже по телефону, что особенно трудно. Юмор здесь странный. Вот пример. По почте приходит много всяких рекламных бумаг. Одна из них рекламирует рубрику журнала, типа нашего «Здоровья», следующим образом.

«Бессоница. Если вы выпили теплого молока, пересчитали всех овец, почитали Пруста, а уснуть все равно не можете, то… обращайтесь в клинику, где лечат бессонницу. О ней – в нашем журнале». Пруста я не читаю, а вот «Войну и мир» перечитываю с радостью и наслаждением. Вот уж, кажется, знаешь наизусть целые страницы, все равно ясность и гармония вечного творения Толстого помогает жить в этой ужасно одинокой жизни. Вообще одиночество – главный мотив здесь, но я не буду об этом: долгий разговор. В часы бессонницы я пишу тебе бесконечные письма, говорю с тобой обо всем, как прежде, молю Бога о твоем здоровье и благополучии, особенно сейчас, когда у вас так тревожно. Да поможет Господь вынести тебе твою непосильную ношу. <…>

Пока дойдет это письмо, пройдет месяц – твой день рождения, родной Юрочка. Если бы тебе удалось провести его без горя и забот!

Знаешь, мне пишут все мои подруги из Ленинграда:

и Миночка, и Леля, и Вера. Все они шлют тебе свои приветы, через меня, и добрые пожелания. Их письма мне очень важны. Даже от Жени[413] я получила два письма. В последнем она с восторгом отзывается о твоей статье – полемике с Лихачевым о языке, сообщает мне, что твои передачи по эстонскому ТВ продолжаются и что ты выглядишь неплохо.

Сейчас здесь у всех на устах (долгие часы ТВ) – одна тема: война с Ираком[414]. Вчера, представь, мы наблюдали дружный протест против войны вообще и в защиту Израиля, в частности. И что это было! Толпы народу, тысячи, и спокойно улыбающаяся полиция, и автобусы на обратный путь, для удобства, подают. Бурлит Квебек и оттого, что повысились цена на 15 % (по остальной Канаде – на 7 %)[415]. Персидский кризис здесь сказывается «регрессией», как они это называют, и удорожанием жизни. Я живу безбедно, полностью за Маринин счет, но в хозяйстве экономлю изо всех сил. Непривычно, ибо дома я со своей 130-рублевой пенсией всегда была богачкой. Но – как-нибудь уляжется. Может быть, и «врасту в новую почву», как ты меня учишь. Думаю, однако, что насчет моих необъятных жизненных сил ты, мягко говоря, ошибаешься. Здоровье, душевное в первую очередь, я как будто оставила на родине. Но я придумала для себя, что здесь не продолжение прежней жизни, и что меня прежней уже нет, а началась совсем новая жизнь совсем новой, достаточно немолодой женщины (сначала написала «старой», а потом передумала, чтобы тебя не огорчать). Эта «другая» ходит в еврейский центр заниматься английским и физкультурой, а главное, чтобы уйти из дому, ибо сидеть весь день с мужем, который ничем не занят, – вот казнь, которую мне приготовила жизнь и которую надо нести, ибо, с одной стороны, невыносимо, а с другой, – его тоже жалко: не виноват же он, что таким родился, таким себя воспитал, такого я выбрала… Да и не тебе жаловаться на это. Марина очень страдает, глядя на меня, – а выхода нет никакого. Разве я прежняя жила бы так?..

Юрочка, когда все так тревожно в мире, надо хотя бы один раз в месяц получать от тебя письмишко, хоть несколько слов: беспокоюсь не только о тебе, но и за Лешу и Мишу. У них дети. Возможно ли для них быть осторожными?

Как живется тебе, дорогой мой друг? Есть ли у тебя нужные лекарства, не забываешь ли их принимать? Расстояния и время делают любой мой вопрос смешным, так что пиши о чем хочешь – всему буду рада, как голосу, как оклику, как живой жизни.

Обнимаю тебя многажды.

Твоя всегда Ф.

Будь здоров, здоров, здоров.

P.S. Марина отправила тебе в прошлом году открытку без адреса (!!)

Посылаю ее, потому что пожелания всё те же и открытка с видом Оксфорда.

Монреаль.

24.1.91

9 февраля 1991 года

Милая Фрина!

Получил твое письмо с двумя открытками – твоей и Марины. Марине передай мою самую сердечную благодарность. Письма пришли быстро – 8-го февраля, а отправлено 24.1. Это не так уж много.

У нас пока все спокойно, если не предъявлять к этому слову слишком больших требований, особенно в смысле прогнозов. Но ведь информативность и предсказуемость противоположны. Леша на десять дней уехал в Швецию на конференцию по проблемам охраны природы и загрязнения среды. А чтобы мне не было скучно, Кая и дети переехали ко мне. Вообще Кая меня трогательно опекает. Кроме того, Миша, как я, кажется, писал, перешел работать в университет и, хотя и он, и вся его семья продолжают жить в Таллине, на 3 дня регулярно приезжает в Тарту. Так что меня не бросают.

Спасибо за открытки – хоть небольшой кусочек реальности о твоей жизни. А то я вынужден сочинять себе что-то вроде смеси из романов Брет Гарта и фильмов про индейцев или одного польского фильма о том, как польская эмигрантка вышла в Канаде замуж за молодого француза и сколь трагически это завершилось. Так что ты там на французов не заглядывайся.

Письмо твое полно печали, хотя ты изо всех сил (видимо, чтобы не тревожить меня) стараешься писать бодро. Друг мой, скрывать от меня свои настроения не нужно. Во-первых, все равно не скроешь, а во-вторых, отведешь душу и легче будет.

Со мною то, чего никогда не бывало, – боюсь лекций, которые были для меня всегда одной из главных радостей жизни. Объективные основания – нарушение памяти на собственные имена и исключительная замедленность чтения, которая исключает возможность заглядывать на лекции в конспекты. Но пока я все же способен маскировать эти недостатки, особенно когда по ходу лекции о них забываю сам.

В смысле же способности к научному мышлению голова пока работает.

У нас морозы – было даже до 20˚, теперь – 10–12˚ и погода хорошая. Но я умудрился простудить зуб и, хотя он уже прошел, из осторожности сижу дома. Во вторник (сейчас суббота?) пойду на лекцию. Видишь, как я подробно болтаю о себе, – пиши и ты так – мне все интересно и важно.

Будь здорова и бодра, памятуя очень точную поговорку «на печального и вошь лезет», а высокие истины учат нас, что уныние

– грех.

Сердечные приветы Марине и твоим мужчинам!

Всегда Твой

Ю. Лотман

25 февраля 1991 года

25.2.91

Здравствуй, Юрочка, дорогой!

Не часто ли я пишу тебе, «не сладко ль я живу, тобой лишь дорожа», как сказано у горячо любимого поэта?[416] Да ведь письма пропадают, мне ль не знать. В прошлом году сколько Марининых писем пропало! А второе, мне все кажется, что это важно для тебя: словечко о том, что душа родная где-то думает и молится о тебе. <…> Но это совсем не значит, что так же часто я жду писем от тебя. Вот и в последнем, которое тоже, как положено, странствовало месяц, ты пишешь, что больше сказать нечего. Ну и пусть. Но из нашего прекрасного далека так страшно за Вас всех, что, когда пишешь, чувствуешь какую-то странную иллюзию близости к Вам и причастности к Вашим бедам, что, конечно, чистая мистика… Ну а у нас идет себе потихонечку время, с его каждодневными заботами и нуждами. Появилась маленькая материальная возможность нам с Вилем жить отдельно, снять двухкомнатную квартиру. Деньги крошечные, но и на том спасибо. Это очень важно для Марины, которая очень изменилась, увы, в своем долгом одиночестве и одновременно к одиночеству стремящаяся. <…> Сценарий ее движется медленно, потому что она прервалась в работе, а теперь никак не может взять нужный темп. И все-таки страшно много ее сил отнимает основная работа. А главное, она сдала здоровьем, а может быть, расслабилась от моего приезда. Я по-прежнему всех ласкаю, обхаживаю, лечу и утешаю. Может быть, не так и мало. Только надо как-то перевернуть старые страницы и по-новому на себя взглянуть. Стараюсь.

Вот удалось, наконец, добиться специальных спортивных занятий для Виля. Главное, с малыми деньгами (за большие было бы много легче, а так ушло на хлопоты 4 месяца). Сама я тоже себе спуску не даю: «аэробика» (именно в кавычках) + плавание, все это четыре раза в неделю. И английский. Здесь ему очень скверно учат, а Марина не хочет со мною заниматься (что я прекрасно понимаю), но я, кажется, нашла оптимальный вариант: некий пожилой господин хочет изучать русский – родной язык его родителей. Я согласна на уроки русского в обмен на английский. Кроме этого – я тебе писала – где только можно стараюсь говорить, совершенно почти в быту не пользоваться услугами Марины и Феди. Кстати, у Федьки очень неплохой английский и недурной – немножко хуже английского – французский.

Юрочка, на днях тебе исполняется 69 лет. Неужели хоть

когда-нибудь, в тяжелые минуты, ты думаешь, что сделал мало и что-то крупное, главное, не доделал? Стоят передо мной твои книги и твои «Семиотики». Боже мой, сколько сил, сколько труда, вдохновения, и мук, и радости. Кстати, о «Семиотиках». Ведь я теперь их и получать не буду, как это ни грустно для нас с Мариной обеих! А нельзя прислать? Ну как получится: последний у меня выпуск № 23 – коричневый[417].

Я стараюсь читать сейчас только английские книжки, чтобы пополнять свой словарный запас. Ах, тяжело это, но другого не дано. <…> Душа болит за маму и Лялю, но я даже материально, то есть продуктами, не могу им помочь. Когда будет у меня новый адрес, я тебе напишу (это совсем недалеко от того места, где живу сейчас, на тихой-тихой улице, а рядом – две церкви: французская католическая и англиканская. Дом четырехэтажный, с лифтом, мы – на втором этаже, в двух комнатах, где мало солнца и есть кондиционер – это так важно для жаркого лета). Вообще знаешь ли, как странно, иногда мне кажется, что я вернулась домой в южный украинский город моего детства. Город вообще прелестный, очень красивый. Недаром его называют маленьким Парижем. А Марина еще лелеет мечту показать мне Италию. И часто об этом говорит. Но это пока просто смешно. А надеяться все-таки приятно. После Польши и Чехословакии, в которых я всегда хотела побывать, Италия всегда была несбыточной мечтою.

Юрочка, Юрочка, будь здоров, не грусти, верь, что жизнь еще есть и будет. Значит, Миша семью не перевозит в Тарту, я правильно поняла, и он только иногда приезжает работать?

Я тебя нежно обнимаю, думаю о тебе постоянно,

Твоя Фрина

P.S. Кто издает твою 8-листную книжку? как скоро она выходит?

P.P.S. Как я рада, что Кая заботится о тебе!

28-го/II – я с тобою весь день![418]

10 марта 1991 года

Милая Фрина!

Уже много дней от тебя нет писем. Я очень беспокоюсь. Что с тобой? Была бы ты здорова, это самое главное…

У меня все в порядке. Работаю, читаю лекции. Живу половину недели один (вот и сейчас – один в темном доме, лишь одна комната (та, в которой я сейчас) освещена). На вторую половину недели приезжает Миша, и тогда мы – два мужика – вместе. Но не беспокойся – воевать с бытом мне помогает приходящая старуха (моего возраста).

Очень все время беспокоюсь о тебе, как ты там «врастаешь». Вся надежда на Марину, о которой я думаю с нежностью и надеюсь на ее поддержку тебе – и моральную, и бытовую.

У нас все благополучно, хотя и не без трудностей, которые ты можешь легко вообразить. Но ведь материальные трудности легко переносить, душевные – труднее.

Однако я работаю. Написал небольшую книжку, которая мне кажется важной. Если напечатаю – пришлю тебе. На днях вышлю сборник статей о Тютчеве под моей редакцией и со статьей. Там прекрасные статьи В.Н. Топорова и М.Л. Гаспарова. Вообще, надеюсь, сборник тебя порадует[419].

У нас горе – вчера скончался от рака легких Валерий Иванович Беззубов. Это был прекрасный и талантливый человек, крупный ученый, смелый человек (это я ценю в мужчине даже выше научных достоинств). Удалось достать ему новейшие немецкие и итальянские лекарства. Они сначала дали прямо сказочные результаты: он воскрес, начал читать лекции. Но через полгода – резкий спад, и в четыре дня его не стало.

Кончаю: завтра утром лекция (видишь, еще читаю – пока буду читать – буду жить); но читать делается физически трудно. Кроме того, мой микроскопический метастаз в мозг проявился в том, что я читаю очень медленно, хотя вопреки прогнозам немцев улучшение, хоть и медленное, продолжается – плыву как торпедированный, но все еще на плаву держащийся корабль.

Господи, будь только ты жива, здорова и благополучна!

Марину нежно целую (старость и расстояние дают на это право).

Сердечные приветы твоим мужчинам.

Тарту,

Эстония.

14 марта 1991 года

Дорогой Юрочка!

Я, кажется, уже давно тебе не писала, во всяком случае – больше обещанных двух недель. Так как-то получается. То настроения нет, и не хочется огорчать тебя, то время неизвестно куда уходит. Да и особенно не о чем писать… Весна здесь уже полная: небо все только голубое, и голубизна какая-то особенная. Птицы поют, снег сошел, и все какой-то свежий-свежий ветер. Все моментально переоделись во все светлое, а уж без шапок и в морозы ходят всю зиму. Я все хлопочу по хозяйству, всех обхаживаю, кормлю – вообще выступаю в каком-то новом качестве, все еще непривычном для сознания. <…> А еще на днях у меня был истинный «культурный шок», как здесь любят говорить. Но не от магазинов, а от визита к зубному врачу. <…> И когда врач в четыре руки с сестрой в полчаса сменил мне четыре пломбы без всякой боли – вот уж это меня просто потрясло.

Марина меня посылает все на разные фильмы, которых никогда нельзя было увидеть у нас.

Сейчас это Феллини. И я запоем гляжу все старое, начиная с «Ла Страда». А еще здесь по радио есть такая волна, по которой все время прекрасная классическая музыка. Это всегда было для меня большой радостью, то же и сейчас.

Хотелось бы, чтобы Марина была в лучшей форме, не нравятся мне ее разговоры о том, что она человек сломленный, что живет через силу и прочее. Но я мало что могу сделать. Здесь только жизнь сама.

Я все равно часто вспоминаю прошлое. И все-таки не могу смириться с волей Воланда, унесшего без времени Зару, забросившего меня за тридевять земель от тебя. <…> Я могу думать, что настанет время, когда станет легче, я могу надеяться прижиться. Но я не могу смириться с тем, что, когда я так была бы нужна тебе, я варю обеды здесь и служу вовсе не тебе. Впрочем, это бесполезные мысли.

Лекарства у нас пока бесплатные – это большое облегчение. Наладили мне здесь давление, благодаря каким-то новым их лекарствам. Виль чувствует себя прилично, а морально много лучше моего. Нашли ему занятия на очень хороших тренажерах и за не очень высокую плату. Все – стараниями Марины.

Я часто мысленно играю здесь в игру, какую ты некогда предлагал мне в Риге: вот мы попали в полностью незнакомый нам мир и не понимаем ничего, что происходит, не знаем

предметов, действий разных «существ» и т. д. То же, только с другим знаком, я испытываю здесь: все то же, что и везде, все вроде бы знакомо, только все чужое и все не так. Почему это так, понять не могу.

Встречаются главным образом очень приятные интеллигентные лица, очень славные молодые физиономии; ни грубости, ни окриков, а – все другое.

Юрочка, значит Миша не переехал со всей семьей, и ты живешь один?

Я бы очень хотела знать, печатаешь ли ты сам письма ко мне или кто-то это делает по твоей просьбе. Это важно для меня. Читать-то мои ты сам читаешь, я думаю, а вот пишешь ли сам?

Как я понимаю твою боль оттого, что на лекциях в связи с памятью ты испытываешь трудности. Но, слава Богу, главное, что ты можешь писать и думать.

Милый мой, как ты себя чувствуешь после операции и вообще? Не повышается ли давление? На всякий случай скажу тебе, что и мне и Вилю его понижают здесь лекарством, которое все время было и у нас. Оно называется КОРИНФАР (здесь – иначе, нефедепин), если тебе нужно. Но назначают его помногу: по шесть таблеток в день. Ляля должна это знать. (Если сердце твое это позволяет.)

Вот, дорогой, и все, привет тебе от всех моих домочадцев, все шлют тебе самые сердечные пожелания здоровья и сил.

Не забывай мне писать все, что можешь и хочешь: это так важно для меня.

Будь здоров, будь здоров,

Всегда твоя Фрина

P.S. Не нужно так много марок: письма идут месяц, невзирая на их количество. Хватит и одной в 50 копеек. Опускай в ящик для облегчения – все едино.

14/III-91

Около 14 марта 1991 года

Мой дорогой, несравненный друг!

Спасибо за письмо от 25 февраля. Я его получил вчера – оно меня несколько успокоило, а то мне казалось, что слишком долго нет от тебя известий, и я уже надумал разных ужасов – ночные мысли тяжелые. Твое письмо меня несколько успокоило, хотя я и знаю, что ты нарочно сгущаешь все хорошее и старательно обходишь все трудные вопросы, которые тебя терзают или даже просто утомляют. Но я коэффициенты на это ввожу сам.

У нас по-всякому. Самое удивительное – это то, что я не молодею, а даже совсем наоборот. Самая тяжелая новость последних дней – вчера похоронили Валерия Ивановича Беззубова. Он был из самых первых моих учеников (кончил университет в 1953 году), а потом – близким и надежным другом, опорой кафедры. Когда по памятным тебе обстоятельствам мне пришлось сдать кафедру[420], я передал ее ему, и это было хорошо. У него был рак легких. Положение уже было безнадежное, когда удалось получить немецкие и итальянские лекарства. Он вдруг ожил, прямо как в сказке, читал лекции, писал статьи. Правда, немцы предупреждали, что такой взлет лишь на два (максимум – три) года. Но у него протянулось лишь шесть месяцев. Но хоть скончался вдруг, неожиданно для себя самого, все свершилось в три дня.

Я продолжаю работать, а в конце мая даже думаю съездить на несколько дней с докладами в Швецию и Финляндию. Очень зовут в Италию летом, но я не поеду, т<ак> к<ак> нет сил, совсем не хочется – после кончины Зары Италия слишком тяжела. Да и что я там забыл? Правда, зовут в Аквиля на конференцию. А Аквиля – просто сказка: маленький город в горах, в 5 часах езды на машине на юго-восток от Рима. Там сейчас снег, узкие средневековые улочки, по которым гоняют на мотоциклах местные парни. Девицы серьезно ходят в церковь – собор XIV века – и выходят оттуда, строго опустив глаза, а парни гоняют вокруг собора на мотоциклах, потом сажают на мотоциклы девиц, у которых сразу же меняется выражение лиц. Горная идиллия. Организатор конференции – мой приятель – аббат, иезуит, специалист по средним векам и мистической философии, очень милый человек, профессор.

Но я не поеду в Аквиля…

Я работаю. Диктую статьи, мне читают и сам я – хоть и медленно, но прогресс, кажется, еще не остановился. Тяжелее всего по ночам: три дня в неделю в Тарту ночует Миша, а четыре

дня я один (хотя не всегда; часто приезжают из Таллина Саша и Бекки).

Одному неуютно, но я, представь, начинаю к этому привыкать.

День рождения, который ты так тепло помянула в письме, – спасибо, прошел хорошо, т<о> е<есть> тихо. Я всех просил не приходить и пробыл его один.

У нас стоят хорошие дни – небольшой холод – от –5 до 0 – ясно, синее небо. Об общей обстановке ты все сама знаешь.

Хорошо ли на новой квартире? Стараюсь ее вообразить. Есть ли у тебя твоя комната?

Будь здорова и бодра, пиши мне. Марине – нежные приветы, а твоим мужчинам – поклоны и добрые пожелания.

P.S. Прости мне опечатки: писать могу, а читать мне все же тяжело. Обнимаю тебя.

Ю. Лотман.

20 марта 1991 года

Милый друг!

Только что услыхал по радио известие о сильном сокращении штатов в канадском радио и очень встревожился за Марину. Надеюсь, что пока это письмо дойдет до тебя, а твой ответ возвратится ко мне, все решится наилучшим образом и какие-нибудь новые волнения заставят позабыть об этих. И все же я очень беспокоюсь о вас, о Марине и всей душой чувствую ваши волнения. У нас новостей нет. Идет Блоковская конференция – первая без Зары. А я в гриппе, сижу дома, чихаю и соплю – занятие, не способствующее оптимизму. Все же я дополз вчера до зала заседания и сделал доклад в духе моих нынешних идей – нечто глобальное. Когда-то Андрей Тургенев – гениальный юноша, обещавший России величину масштаба Пушкина и умерший едва перевалив за 20 лет, – написал на себя эпиграмму:

> Иные говорят: «Мой Бог, как он умен»,
> Другие думают: «Не спятил ли уж он?»

Таково у меня впечатление от моего доклада. Андрей Тургенев – моя давняя любовь: я начал им заниматься в 1950 г. (Боже, как давно это было.)

Наша обстановка такова: спокойно, вопросы еды волнуют больше, чем вопросы политики (возможно, в этом часть замысла). Голода нет (кроме пенсионеров, которые голодают), но его ожидают. Все по карточкам, кроме молока и хлеба. Но этим нас не удивишь – все мое детство прошло в очередях, и карточки я увидел гораздо раньше, чем паспорт. Но что интересно: настроение не мрачное, хотя какое-то бестолковое.

Я много работаю – две мои книги в производстве в ленинградских издательствах[421], и если слово «бумага» не исчезнет из нашего обихода, то, м<ожет> б<ыть>, и выйдут. Работать мне так же легко, как безногому танцевать, – однако работаю и даже получаю от этого удовольствие.

Я трещу о себе, потому что волнуюсь за тебя и вас всех, особенно за Марину. Напиши мне, ничего не скрывая и не украшая.

Как вам в вашей новой квартире?

Марине – мои нежные приветы, мужчинам – поклоны и самые добрые пожелания. Есть ли новости от Юрочки – я знаю, что это твоя рана, хоть ты стараешься об этом не думать и не говорить.

Всегда и неизменно твой Юра
Тарту

7–10 апреля 1991 года [422]

Милая, милая Фрина!

Нет слов, чтобы передать, как я беспокоюсь, не коснулось ли штатное сокращение Марины и всех связанных с этим вопросов. Письма идут медленно, а мысли летят быстро. Что там у тебя? Все же хочется думать, что вы все здоровы, тревоги обойдутся и ты сохраняешь бодрость. Переехали ли ты с Вилем в отдельное помещение или продолжаете жить вместе?

Что тебе сказать о себе? Развал идет полным ходом: товары не исчезают, а исчезли, появились коммерческие магазины продуктов с астрономическими ценами. Я заглянул – увидел, что другие тоже заходят не покупать, а посмотреть. НО ЭТО ВСЕ АБСОЛЮТНАЯ ЕРУНДА – НАСТОЯЩЕГО ГОЛОДА ПОКА НЕТ (кроме, конечно, пенсионеров и одиноких стариков!), а жить на уровне голода мы, пережившие войну, умеем. Гораздо труднее работа: я читаю лекции всего шесть часов в неделю, но устаю ужасно. Трудно работать с таким замедленным чтением. Но все же работаю. Сейчас завершаю труд над большой книгой, посвященной бытовой жизни XVIII – нач. XIX века.

Пиши мне о себе, о Марине. Пиши любую ерунду – ведь важно не только что пишешь, важен почерк и живая весточка.

Друг мой, будь здорова и бодра. Ведь бодрость – это основное, чем мы можем помочь нашим близким.

И всегда помни, что я о тебе всегда помню.

Пишу тебе в день Православного рождества <Пасхи>, и да будет Бог с тобой и твоими. А я, кажется, последний вокруг меня скептик (в душе нет, а следовать моде стыдно).

Может быть, мне простится за искренность и за то, что ни на что не надеюсь.

И все же да будет Бог с тобой и твоими.

Целую, Юра

Тарту

20 апреля 1991 года [423]

Дорогой Юрочка!

Ты пишешь в своем письме от 20 марта (его дату я установила по почтовому штампу, в письме даты нет), что мозговое восстановление продолжается и читать становится легче. Конечно! И еще будет лучше и лучше. Врачи отмеривают год, но я-то знаю, что это не так, что продолжается улучшение гораздо дольше: Виль в течение года-полутора совсем не мог читать, а уж после «зачитал» гораздо-гораздо быстрее, не уставая. Сейчас он читает по нескольку часов кряду. Но о каком крохотном метастазе в мозгу ты упоминаешь? Ведь у тебя был тромб, так называемый ишемический инсульт, т. е. инфаркт мозга. При чем же здесь метастаз? Ты оговорился? Ах, можно ли что-нибудь спрашивать при наших-то расстояниях? У нас с тобой не переписка в настоящем смысле, а так… ауканье от сердца к сердцу. Летают наши письма через ОКЕАН – одно к тебе, другое ко мне. Может быть, и встречаются где-то над океаном… А что есть океан, я не в состоянии себе физически представить. Когда летишь в самолете, то белесое голубое марево в окне называют океаном (я-то думала, что это просветы голубого неба под облаками). Или я могу представить океан как ярко-синее пространство на школьной карте мира между Сев. Америкой и Евразией. Атлантический океан. А сколько этого пространства между нами – вообразить немыслимо… Но пока я дышу, пока есть силы, письма мои к тебе будут, будут летать через океан.

Новостей особых нет. Марина все еще без работы[424]. Мечется, ищет. Уж очень хочется ей, чтобы работа, кроме денег, давала еще и удовлетворение. А это, как и везде, не просто. Кажется, по крайней мере на год, что будет работать по контракту с одной религиозной организацией[425] над переводами на русский. У организации какие-то связи с Россией. Это даст Марине возможность передохнуть от прежней каторги, а главное, может быть, осенью побывать в России, повидать Юру – незаживающая наша рана, ее – особенно. <…> Ляля, моя сестра, видела Юру в школе и написала, что он вполне хорошо себя чувствует и неплохо адаптировался к той жизни, хорошо учится, выглядит здоровым. Мы живем теперь отдельно, в хорошем месте, зеленом, тихом, чего у меня не было в Москве. Здесь сейчас прекрасная короткая весна, которая быстро переходит в южное лето (а у меня есть защита – кондиционер!). Комнаты почти пусты, что хорошо, много воздуха. Предполагается, что Марина будет переводить начерно (чтобы быстрее), а я редактировать. Это

так для меня важно. Здесь какая-то работа мне необходима, чтобы поменьше думать всякие грустные думы. Но пока нет контракта. Пока же дни заняты выволакиванием себя из депрессии (мое почти постоянное занятие!), бассейном, гимнастикой, английскими штудиями, домом, письмами. Федя забегает часто. Марину видим почти каждый день. Слава Богу, хоть и много времени занимают у нее поиски работы и наши дела, но выглядит она много лучше. Я даже жалею, что послала тебе нашу общую с ней фотографию, где у нее такое каменное лицо. Это выражение ушло сейчас, стоило ей хоть немного расслабиться. Увы, прежняя работа уносила ее здоровье, а если бы не вынужденный уход, она бы никогда не осмелилась при наших обстоятельствах потерять работу. Ну, все к лучшему. Сейчас Марина заботлива и внимательна к нам, как прежде.

А минувшее здесь уже долгое время для меня было невыносимо тяжело, пожалуй, с ним может сравниться только время после удара у Виля… Я, кажется, тебе писала, что немного денег нам дают, их хватает для оплаты квартиры и еще на жизнь дней на 10–12. Остальное нам должна дать, увы, Марина. Ну а как уж я умею экономить, да еще при здешних возможностях, ты и сам догадаешься. В общем, мы не пропадаем.

Юрасику, мій коханий, как же ты один живешь, каким образом «достаешь» продукты? А ведь тебе так нужны овощи, фрукты, Боже мой! А лекарства? Ты мне так часто снишься. Перед тем как уснуть, я всегда думаю о тебе, одна, в полной тишине. Приснилось недавно, что ты собираешься лететь сюда, повидаться. А чтобы найти деньги на это, продаешь (!!!) свою старую и новую дубленочки. Так дико перемешались во сне новость о повышении в пять раз стоимости самолетного билета в Америку и воспоминания о феврале 1989 года, когда ты ужасно мерз в зеленой куртке. Мы уходили из ЦДЛ, перед Вашим отъездом в Мюнхен.

Я вспоминала, сколько раз чинила старую дубленочку (никак не вспомню, кому из сыновей ты ее отдал, кажется, Леше). Новая же была тяжелая, и ты ее не очень любил…

Как хорошо, что ты читаешь лекции и что работаешь. Хорошо представляю себе и то, как это не просто. Очень обрадует меня – очень! – сборник о Тютчеве, если пришлешь[426]. Может быть, пока это письмо дойдет, ты уже вернешься из поездки в северные страны? Каково все было?

<…> Правда ли, что Вячеслав Всеволодович[427] теперь директор Б-ки иностранной литературы? Для Библиотеки хорошо, а вот для него? Я вкладываю на отдельной открытке свой новый адрес, он есть и на обратной стороне конверта. Это для того, кто

будет тебе надписывать адрес на конверте с твоими письмами ко мне.

И на всякий случай, телефон тоже.

Сегодня пришло от тебя письмо от 20 марта, которое шло рекордно: месяц и десять дней! Не болей, мой дорогой, ни простудами, ничем. Я всегда с тобой, помни это.

Твоя Фрина

27 апреля 1991 года

Милая, дорогая Фрина!

Наконец получил от тебя письмо с твоим новым адресом и с рассказом о ваших делах. Более всего меня тревожило и тревожит нынешнее положение Марины[428]. Очень жду ее приезда – возможности услышать живую речь о вас всех, хоть по телефону. Как ты себя чувствуешь на новой квартире, как это отражается на ваших финансах, А ГЛАВНОЕ, КАК ТВОЕ ЗДОРОВЬЕ И НАСТРОЕНИЕ? Пиши мне обо всем правду, не украшая ничего. Ведь я все равно чувствую, когда ты закругляешь углы, «чтобы не волновать меня», и только еще больше беспокоюсь. А так – отведешь душу – и легче будет. Чем я еще могу тебе помочь, кроме этого?

Мы живы – это главная новость. Положение полуперестроечное, полублокадное…

Дети растут (в смысле – внуки), и они – главная радость. Я много работаю – на днях окончательно сдал книгу в «Искусство»[429]. Но она выйдет не раньше 1993 г. Доживу ли? Но, знаешь, это меня совершенно не волнует: после того как книга написана, я теряю к ней чувства и могу спокойно отдавать ее в чужие руки, как Руссо – великий педагог – своих реальных детей. А вот брошюрка, которой я самонадеянно придаю большое значение, появится, если Господь благословит труды меня, нечестивого, еще в этом году – к зиме[430]. Но ведь автору свойственно переоценивать значение работ. Ведь и курица, когда снесет яйцо, кудахчет, искренне думая, что произвела великое нечто. Если ты тут улыбнулась, представив себе меня кудахчущего. Вообще я все же человек сталинской эпохи, и мне все кажется – не умом, а шкурой – что ты там беззащитная: брошена в когти капитализма, и я – искренне очень за тебя и твоих боюсь. Все это, конечно, «родимые пятна» того-чего. Вообще я стал чувствителен: все время беспокоюсь о тебе и ночами плачу о Заре.

Друг мой дорогой! Будь здорова, благополучна во внуках – том и этом. Марину нежно целую, Вилю дружески жму руку. Как он?

Всегда твой Юра

27. IV.91.

У нас лежит снег – ночью все бело, днем на солнце тает.

14 мая 1991 года

Юрочка, Юрочка, дорогой мой!

Я сегодня получила твое письмо, которое шло всего 10 дней. На нем написано (на конверте), что оно переправлено через Хельсинки. Не знаю, что это означает. То ли ты уже туда поехал, то ли кому-то собирался передать? Штамп на конверте только тартуский, однако. Сегодня тебе собирается дозвониться Марина. Не знаю, удастся ли это ей. Поездка в Москву сорвалась у нее, теперь может быть только осенью. Но что в этом мире твердо? Только смерть одна? Конечно, у меня была надежда на ее, хоть и недолгое, свидание с тобой: живой взгляд, живой привет. Да ведь разве судьбе прикажешь? Поехать за свой счет она решительно не может. А командировка за чей-нибудь – дело зыбкое, как видишь. Звонить же она тебе хочет не только для привета от нас всех, но и по делу. <…> Она перевела на английский около 600 анекдотов из разных источников. Это немалая работа. Издатели найдутся, ибо интерес к России пока не иссякает. Но она должна по ходу дела давать разные комментарии, ибо некоторые советские реалии непонятны здесь. Это ей по силам. А вот в чем она нуждается и надеется на твою, как всегда! – помощь: хотя бы две странички для предисловия к такой книжке, совершенно необходимого для придания ей социальной окраски. Все, что издавалось на русском здесь, обязательно классифицировало анекдоты по нашим «вождям», «эпохам» и т. д. Как лучше? Здесь ведь может быть совсем другой подход, более интересный; как части культуры, фольклора, etc. Помоги, Юрочка, пожалуйста. У твоих друзей кишка тонка сообразить что-нибудь в этом роде. На тебя вся надежда.

Друг мой дорогой, невозможно мне читать, что ты так неутешен и что ночью плачешь о Заре. Но могло ли быть иначе? Я и сама плачу по ночам беспрерывно. Бывалые люди говорят, что не пройдет и трех лет, как буду весела. Смешно и думать о таком долгом ожидании веселья… Ты просишь правды обо мне, думая, что я намеренно сглаживаю углы. Нет, мой дорогой, я пишу тебе обо всем, как оно есть: только правду. Тяжело Юрочка, тяжело. Правда, стало немножко легче жить отдельно, но тоска все равно заедает.

Я глушу ее английскими занятиями, «спортом», прогулками до изнеможения, но… выпало какое-то главное звено, какое, сказать трудно. Нет тебя со мною; хоть редко, ты всегда давал мне силы терпеть и жить. Грустно мне жаловаться тебе сейчас на свою «семейную» жизнь. Подробности не имеют значения. Скажу

только, что это стало почему-то (???) гораздо труднее. А Виль так старается. Так тяжело переживает мое настроение и радуется, когда мне легче. Так я гневлю Бога. Мои вечерние молитвы: о Марине и о тебе, о тебе и Марине.

Как я скорблю по Заре, я не могу и выразить. Ты же знаешь, я всегда к ней была в высокой степени добра. Когда ты тяжело заболел и я увидела Вас вместе впервые, я поняла, какое место она занимает в твоей жизни и как Вы нужны друг дугу. Весь ужас произошедшего еще только будет открываться тебе, я знаю. Ну что же делать, – что делать? Жить, пока живется. То, что ты мне пишешь, – большая радость для меня. Я хочу надеяться, что мои сумасшедшие письма, в качестве привета только, нужны тебе – тоже.

Как я счастлива, что ты работаешь. Конечно, лекции тебе трудны, но ведь без них ты тоже не можешь… Ты спрашиваешь меня о финансах. Пока все неясно. У Марины нет долгов, но нет и копейки сбережений <…>. Еще два месяца она будет получать зарплату. Пока есть переводы. Что будет дальше, никто не знает. <…> Мы получаем пока, до решения дела, столько, что хватает на квартиру и еще немного на жизнь остается. Не впроголодь, конечно, но при жесткой экономии, это все чепуха. Главное, что «раскачивает» мою психику, – неопределенность, отсутствие стабильности и ответственность, которая пала на Марину за всех нас. Она ей тяжела, а я считаю себя как бы виноватой. Хотя неизвестно, что бы чувствовала Марина сейчас, будь мы не здесь… так-то…

Большую радость мне доставляет шелапут – Федька. Он любит есть у меня хоть рисовую кашу, любит валяться в моей постели, создает обо мне всякие лестные для меня мифы (которые я опровергаю в пользу Марины, а это не помогает), он жизнерадостен и весел – а это так прекрасно! Марина бы была и ничего, если бы не груз ответственности и неиссякаемые хлопоты о нас. Очень смешно, но поначалу я никак и никому не верила, какие это бюрократы – квебекцы и как здесь все теряют, опаздывают, не выполняют обещаний и т. д. А это все на самом деле так. <…>

Я уверена, что твоя «брошюра», как ты ее называешь, – дай Бог ей выйти! – будет одна из лучших твоих книг, только вот не наложилась бы печать страдания на нее…

Юрочка, будь здоров, мой милый, пиши, пиши, пиши мне не реже, если можешь, чем сейчас. Обнимаю тебя, мой друг.

Твоя Фрина

P.S. прости опечатки: плохо работает машинка и чинить некому. Получил ли ужасную нашу фотографию?

14.5.91

19 мая 1991 года

Милая Фрина!

Пишу тебе кратко – что-то с правой рукой, кажется, ночью продуло, поэтому писать не очень удобно. По той же причине написал Марине кратко, но с большим удовольствием отвечу на все ее вопросы. 26.V. еду с лекциями (вместе с Мишей и одной преподавательницей, Любой Киселевой) в Стокгольм – Хельсинки. Числа 6-го VI надеюсь быть в Тарту. Настроение у меня смутное: я сейчас, впервые в жизни, в обстановке абсолютного одиночества. Тем людям – очень милым, включая моих детей – я по сути совершенно не нужен. А я всю жизнь был не только нужным, но и необходимым. Переход был слишком резким.

Прости, мой милый друг, что я немного поныл. Вообще это неблагодарность по отношению к жизни, которая так много дала.

Обнимаю тебя, приветы всем твоим.

Твой

Ю. Лотман

19. V.91.

19 мая 1991 года

19.5.91

Юрочка,

Слава Богу Марина дозвонилась тебе, услышала твой живой голос и передала мне, как ты тревожишься обо мне и о ней. Так и живем: я – о тебе, ты – обо мне… Кажется, по своему делу она все спросила у тебя, вот только: не знаешь ли ты, откуда взялось вообще «армянское радио», почему именно армянское? (Теперь это определение имеет какой-то совсем иной смысл, по несчастьям бедных армян.) Не знаешь ли, почему стал героем анекдотов В. Чапаев, которого народ наверняка знает только по фильму, даже не по Фурманову[431], а уж где он раньше воевал, кто был, – тем более не знает. Потому ли, что официально – герой, а над ним как раз хорошо посмеяться? Или он что-то вроде пресловутого Чукчи? <…>

Ты спрашиваешь меня о новой квартире. Она хороша всем, но я почему-то не чувствую ее своею и живу в ней, как жила в комнатах, снимаемых на время, например, в Латвии. Кажется, это должно пройти. В ней почти нет мебели, но все удобно, просторно, все «мое» со мной. Ус[432] тебе кланяется. Бедный маленький Юра не захотел его оставить себе, побоялся реакции отца. Он сказал, что будет приходить ко мне и спать с ним у меня. Такто вот.

Виля ничего, он более оптимистичен, чем я вообще, как-то радуется вкусной еде; Марина и Федя стараются его развлекать. Конечно, без языка тяжело. А я вот нахально говорю, где только можно, с ужасающими неправильностями, но ведь это единственный способ научиться говорить, даже собираюсь на днях говорить «речь», при большом скоплении народа, когда Марина и ее дети будут получать канадское гражданство. <…> За Марину и детей я особенно рада: это даст ей возможность без страха навестить Юру, поможет ей поверить, что он вернется, когда захочет и когда сам решит свое будущее.

Монреаль сейчас немыслимо красив. Ты пишешь о снеге в апреле, а сейчас здесь двадцатые числа мая. Цветет как бешеная сирень, отцветают какие-то немыслимой красоты махровые тюльпаны, нарциссы. А главное – весь город украсился какими-то невиданными для меня деревьями, покрытыми сплошь сиреневыми цветами, так, что листьев не видно. Канадцы не знают, что это за деревья. Спрашивала у десяти человек. Пожимают плечами; это не имеет значения. <…>

Не грусти обо мне, мой милый, капитализм меня не съест. Не

съела бы тоска по тебе, остальное не страшно. Знаешь ли ты известную фразу Чехова, что в России надо жить долго? Живи, пожалуйста, живи. Я допишу тебе письмо 21 числа, после церемонии в муниципалитете.

21.5.91. Сам Бог велел мне, Юрочка, закончить это затянувшееся письмо на мажорной ноте! Марина и дети получили сегодня – два часа назад – канадское гражданство. Очень было все мило и торжественно. <…> Но и это еще не все. Буквально вчера – моя счастливая рука, со мною бывает, ты знаешь, я нашла ей прекрасную квартиру, в 10 минутах от нас. Вот наши новости.

Порадуйся вместе с нами.

Засим, будь здоров, дай Бог тебе всего и всякого, как я о том неустанно Его молю. Твоя Фрина.

2 июня 1991 года

<Стокгольм> 2.VI.91.

Милая Фрина!

Пишу тебе из Стокхольма – делаю попытку лекций поближе к дому – Стокхольм – Хельсинки. Вообще же поездки уже не для меня – все грустно.

Как ты? Как Марина – все думаю о вас и с болью все время думаю о Заре.

Целую тебя нежно (каков почерк, а?).

4 июня 1991 года

4.6.91

Милая Фрина!

На этот раз пишу тебе из Хельсинки. Здесь тоже симпозиум и тоже две лекции. Одна была сегодня, другая – через день. Я здоров, но как-то тоскую. Со мной Миша – он сделал отличный доклад.

А как ты, что Марина? Думаю о вас, хотелось бы не писать, а говорить с тобой. Пусть Марина мне из Москвы непременно позвонит.

Целую. Твой Ю.

3 июня 1991 года

3.6.91

Друг мой дорогой, здравствуй!

Через три дня ты должен бы вернуться из поездки в Скандинавию. Хочу надеяться, что все было благополучно и что ты вернулся с лучшим настроением, чем уезжал. Я всей кожей чувствую твою боль, твое одиночество и не знаю, как тебе помочь. Был бы здесь – знала бы, да… судьба не велит. Чего можно желать от наших детей, живущих такою тяжелою жизнью, особенно твоих, имеющих много детей. К тому же, они не обладают и нашей выносливостью. Так что… Вот пожалуйся я тебе на Марину несколько лет назад, ты бы сказал в ответ одно, свое вечное: «не дури». А вот сейчас я бы и пожаловалась, да что толку? Жизнь ее не проста, где уж ей быть со мной такою, какою бы мне хотелось. Достаточно того, что она сделала для нас. Кто бы мог подумать, что ей удастся все так скоро? Определенность нашего положения теперь дает мне устойчивость и лучшее настроение. А это все заслуга Марины. Сколько материалов она перевела! В скольких комитетах заседала, скольких помощников отыскала! В результате не два-три года и не зависимость от нее полная, а восемь месяцев и почти полная материальная свобода. Это ли не достижение? А все остальное, прости, мои старушечьи «сопли». Обойдется как-нибудь.

Конечно, одиноко, телефон молчит, слова молвить не с кем. Мне долго казалось, что дело в том, что Виль болен, что у меня нет в старости настоящего дела, и многое всякое. Но уж если тебе одиноко, так мне просто надо замолчать и тихо нести жизнь до ведомого Ему предела. Если еще Федьку на лето и потом два раза в неделю возьмут на компьютерную работу, будет совсем хорошо.

Марина пока не работает, но не теряет надежды. Кроме общей безработицы, есть много всяких закавык бумажных, на которые так горазд Квебек. Но она явно поздоровела, стала бодрее, гонит книжку анекдотов. Письмо твое мы получили (представь, оно шло всего 7 дней!!), твои мысли ей интересны, но, кажется, чересчур теоретические для столь популярного издания. Впрочем, она какое-то предисловие уже накропала. Ей очень хочется ее «продать»; один славный человек, пастор Берри, берется редактировать английский текст и, кажется, искать издателя. А творческое сознание Марины, меж тем, занято только сценарием, который ей кажется не столь плохим – и не только ей, – но требует еще многих усилий и времени. Пока нет возможности ни для первого, ни для второго. <…>

Сама я, если не считать всяких старческих болей и быстрой утомляемости, чувствую себя неплохо. Бодро гнусь на аэробике, плаваю, читаю гнусные дешевые английские романы, лежу, когда неможется. <…>

Обнаружила прекрасного писателя – Фридриха Горенштейна. Правда, удалось прочитать в «Знамени» только один его роман «Койко-место». Вот это проза. Он живет, кажется, в Мюнхене. А вот перечитала «Москву – Петушки» В. Ерофеева, которыми мы так восхищались лет 15(?) назад, и уж совсем не то. Юрочка, я очень жду твоих книг. Надеюсь вскоре получить Тютчевский сборник, посланный тобою[433].

Ну, друг мой, обнимаю тебя, молюсь о тебе. От Марины поклон. Виль всегда справляется о тебе и желает тебе всего доброго.

13 июня 1991 года

13.6.91

Дорогой друг!

Собака – символ верности. Посылаю тебе собаку + память о Москве и письмо для Марины[434]. Меня очень зовут на конференцию в Италию, но я боюсь ездить, хотя первая пробная поездка в Швецию – Фин<ляндию> прошла хорошо.

Обнимаю тебя нежно.

Приветы всем твоим,

Твой Ю.

15 июля 1991 года

15.7.91

Фрина, дорогая!

Что ты? Где ты? Что с тобой? Писем нет давно – ужасно беспокоюсь!

Твой Ю.

20 июля 1991 года

20/VII-91

Дорогой мой друг, здравствуй!

Вот уже больше месяца от тебя нет писем. Я уговариваю себя, что это почта, или конвертов нет, или адрес написать некому – только не твое нездоровье. А может быть, ты в Италии? Только сейчас до меня дошла твоя статья в «Литературке» – выжимки из твоего доклада на Блоковской конференции. Марина газету выписывает, но этот выпуск почему-то мы не получили. А прислала мне ее копию Л. Краснощекова[435] из, представь, Японии, куда она на год приглашена из США работать, кажется в Саппоро. Понимаю, что это твое выступление в русле новых глобальных твоих замыслов, воплотившихся в книге, которой дай Бог выйти. Интересно, Юрочка, очень; даже несмотря на то, что чувствуется, как доклад урезан по живому. Живое твое дыхание, и как светится мысль, дорогой ты мой. И как это все ново!

Я здесь была 13 дней одна: Виль отдыхал за городом, недалеко. Жара 35°. Выйти на улицу мне просто страшно. Старушки же постарше меня ходят хоть бы что, даже автобус поджидают на солнце. Я же, как рассказывают о Шостаковиче[436], если умру, то от жары летом – не выношу, просто беда.

Так вот, будучи одна, я занялась, вопреки заветам Б. Пастернака, своим «архивом»: все письма твои перечитала, разложила по датам, пересмотрела все статьи в периодике, с грустью и смехом пересмотрела твои рисуночки на салфетках кафе Дома ученых, на программах разных конференций и совещаний. Целая жизнь прошла передо мною: и радость на даче, и вдруг какой-то черный козлик, которого выращивает Леша, и рождение внуков, и болезни, и горькие открытки 69–70 года – «болею, но живу», и Венгрия, осень («Войди в осенний лес…»), и 10 писем из Германии, в которой тяжелое настроение не покидало тебя долго, тоска по дому, невозможность работы. Больше всего писем в 81 году, когда Виль чуть не умер, и я вместе с ним от усталости – 17 писем.

В 83 году Вам поставили телефон, писем стало меньше, а всего их за 22 года – 132, включая три телеграммы. Правда, в это число не входят письма этого года, после гибели Зары, в Канаду; это особая статья, они и хранятся пока отдельно. Посчитала по своим записям и количество дней, что мы видались – 485, всего получается полтора года. Много это или мало? Если вспомнить, как всегда утекало время, то мало, если вспомнить, сколько эти встречи приносили радости, то много. Вот такая статистика,

чтобы тебя повеселить. Скажу еще о том, сколько в письмах твоих утешений! особенно это пушкинское «будем живы, будем и веселы». Что же мы так мало веселы, Юрочка? Плохо радуемся солнцу и живой жизни? – Укатали нас крутые горки, особенно тебя. Ведь один из главных мотивов писем всех лет! – усталость, усталость, усталость. Помнишь образ пружины, которая уже не может стать на прежнее место? Трудно нести бремя, и телега жизни все тяжелее.

Пишу тебе, а в углу шумит кондиционер, мой спаситель. Правда, я еще не знаю, сколько он собирается сожрать денег за свои услуги… Марина в США, у церковников[437]. Она старается, но то, что они пишут, так ужасно, что это вынести трудно. Но пока никакой другой работы нет. Федька живет, кажется, неплохо у своего пуэрториканца (которого я в предыдущем письме ошибочно назвала пуэрто-американцем. Не хотелось распечатывать конверт)[438]. Работает, в ус не дует, от нас и от Марины, что грустно, все дальше. Но это здесь нормально. Марина тебе написала, получил ли ее письмо? Как ты себя чувствуешь, что рука, не слабеет ли, есть ли прогресс в чтении?

Про меня писать особенно нечего, все по-прежнему. Вот хожу одна, смотрю прекрасные старые фильмы, которых бы никогда дома увидеть не могла. Вчера «Приключение» (или может быть «Авантюра», не знаю, как в русском переводе называется этот фильм Антониони), очень понравился мне его кинематографический язык, так это все для меня ново. Посмотрела и «Смерть в Венеции» Висконти. Все это прошлый век кино, но мне впервые в кино интересно. Юрочка, как двигается твой трехтомник? А книжка о Тютчеве, которую ты так давно выслал, так и не пришла пока.

Еще раз пишу тебе, как радуюсь с тобою вместе удачному докладу Миши в Швеции. Доволен ли ты им вообще, довольны ли студенты? Ты всегда говорил, что у Миши хорошая голова. Дай ему Бог! А нам всем – пережить 91 год. В моей жизни все «первые» годы десятилетий, начиная с 31, когда я себя уже помню, были исключительно тяжелыми: болезни, смерти, война. Пусть «пронесет» 91!

Будь здоров, мой дорогой, будь здоров, мой далекий. Помни всех нас, живущих так далеко, любящих тебя.

Всегда твоя Фрина.

P.S. Получили от нашего доктора[439] письмо из Израиля: непередаваемые мучения. Работает ночной сиделкой (!!) в частном доме для престарелых. Работы нет, денег нет, и т. д. Жутко! А какой доктор! Здесь таких и в помине нет[440]. Вообще, врачи здесь ужасны. Непонятно, почему так долго живут люди.

Обходятся без? Хорошая жизнь? Мы отсутствие хорошего врача оба очень чувствуем.

Но это так, к слову…

20 июля 1991 года

Тарту. 20.VII.91.

Фрина, дорогой мой друг, после того как ты сообщила мне приятное известие о том, что счастливо завершились вопросы гражданства, ты пропала. Целый век не имею от тебя никаких известий. Я безумно волнуюсь, стараюсь выдумывать разные вполне благополучные причины твоего молчания, но с каждым днем верю в них сам все меньше и меньше. Ради Бога, сообщи мне, что с тобой и со всеми твоими.

О себе писать нечего. Я жив, хоть и не скажу, что здоров. Но это все вечные пустяки. Я тороплюсь кончить книгу, потому что думаю, что эту книгу надо обязательно успеть[441]. Ведь всегда кажется, что все до сих пор были еще незрелые, а что только эта последняя будет НАСТОЯЩАЯ. Это, конечно, иллюзия, и все, что мы пишем, торопясь и кудахча, как курица, снесшая яйцо, не имеет особого значения, и мир прекрасно (или, что вероятнее, непрекрасно) проживет без наших вдохновений.

Как бы я хотел верить в Бога, чтобы было кому молиться за твое благополучие.

Обнимаю тебя крепко. Отзовись, отзовись, отзовись!

Твой Юра

Это как на фронте: кричишь в телефон: «Волга, Волга!» – а Волга молчит. Но там можно было побежать по линии и починить кабель. А здесь что?

22 июля 1991 года [442]

Поздравляю с днем рождения!

Извини, что поздно[443] – очень плохое было настроение. Будь здорова!

Твой Ю

4 августа 1991 года

4/VIII-91.

Юрочка, друг мой любимый!

Да что же это такое с письмами происходит? Ты волнуешься, не получая их от меня, я не в себе: почти полтора месяца от тебя нет ни слова… А они просто пропадают. Не знаю, чем мои к тебе письма так интересны этим господам, что, прочитав, они их себе на память оставляют? Или, вернее, просто в корзину? Так ведь в них ничего интересного нет. Может быть, глаголы не те? А что не доходят письма – это определенно. Сужу по письмам маме: самые подробные, часто с деловыми вопросами, она-таки не получила. То же было прошлой зимой с письмами Марины. Когда я принимала столь тяжелое для меня решение[444], она, так мне виделось по письмам, ни словом не обмолвилась о нем и не выражала к нему никакого отношения. Это было мне так тяжко, я понять не могла, в чем дело. И лишь приехав и переговорив, мы установили, что она МНОГО мне писала именно о нас, и именно эти письма до меня не дошли.

Знай, мой родной, я пишу тебе каждые две недели неукоснительно, в любом настроении. Видимо, и нашу фотографию с Мариной ты не получил?[445] – А за твою такое тебе спасибо. (Сегодня пришло письмо твое.) И за кабинет, за твои книжные полки. Словно снова я у тебя в гостях, снова держу твои любимые руки в своих. Только вот Зары нет там нигде… 24 июля ей исполнилось бы всего 64 года. Ты выглядишь хорошо, только больше побелели виски, другие изменения если и есть, то на фотографии они не видны, правда. У тебя новая пиш<ущая> машинка, магнитофон? Телевизор это или видео? И тот же торшер, и тот же плед на кровати.

28 числа июля я все-таки решилась звонить тебе. Бесполезно два часа я пробовала автомат. Потом любезнейшая телефонистка пыталась звонить и через Москву, и через Ленинград – тщетно. Тогда я позвонила в Ленинград, это удалось сразу. Но, увы, разговор с Наташей не только не успокоил меня, а еще больше разволновал. Она так невнятно отвечала на мои вопросы о твоем здоровье, так неопределенно, что я только больше обеспокоилась, не умея понять, что сей тон означает. Ведь понимала же она, что я звоню не из автомата на Невском, что тревожусь. Я решила, что она что-то намеренно скрывает, то есть совсем все плохо. Слава Богу, сегодня получила твое письмо с картинкой ко дню рождения[446], прелестной, спасибо, мой дорогой, с твоей фотографией и несколькими строками тревоги обо мне.

У нас все в порядке, не беспокойся. Марина переводит (для денег только) жуткую безнравственную пакость, в сравнении с которой чистый атеизм – гораздо нравственнее. Федька живет и работает, выправляет зубы, что дорого, но обязательно надо было делать, ибо часто кровь из носа, ибо рот открыт, зубы неправильно растут. Дорогое удовольствие для Марины, да деваться некуда. Марину мы-таки «выгнали» в отпуск на две недели в горы, как она любит. Ей, после очень тяжелого года, да и всех четырех, необходим отпуск.

Она надеется, что эта гнусная работа даст ей возможность закончить сценарий и всерьез заняться книжкой. Кажется, какойто серьезный издатель выразил в книжке заинтересованность. Получил ли ты от нее письмо?

Теперь я уже не боюсь, что нам не хватит на хлеб. Есть статус, есть пособие, его хватает на ту жизнь, к которой я была готова. А если буду еще жива, то года через два нам дадут – в два раза дешевле, немножко, правда, хуже и район хуже, – государственную квартиру, тогда можно будет себе позволить и хоть какие-нибудь поездки, хоть по Канаде. Марина же мечтает давно, и уверена, что это осуществится, поехать со мной в Италию. Дай Бог дожить.

Одиноко, Юрочка, по-прежнему, ужасно; выхода из этого нет никакого. <…> Я надеялась помогать Марине, так эту пакость и редактировать нечего, там только опечатки компьютерные исправить – и все[447]. Так что… <…> Вот это меня и мучит. Ах, это ли только? А ты, ты-то где? Господи, хоть бы еще разочек повидаться. Ведь бывают же чудеса. Вот Окуджаве сделали операцию на сердце, он совсем, говорят, погибал в Лос-Анджелесе. И деньги, естественно, собрали: с миру по нитке – поэту заплата на сердце…

«Санкт-Петербург»[448] меня потряс до основания. Хоть бы уж «Петроград», нет, вишь, недостаточно. То-то Святой Петр гремит своими ключами от ужаса. Все игрушки. А что Вы едите, если это можно спросить? Как живут старики и дети? Мама мне пишет, что на Украине не так страшно, дорого, но всего много на рынке и понемногу покупать продукты все-таки можно. Я очень надеюсь, что ты привез себе хотя бы витамины, чай и хоть что-то из продуктов. Увы, с этой публикой Маринина поездка в Союз – почти химера. Она все-таки очень надеется, страшно тоскует по Юре. И, конечно бы, повидалась с тобой – насколько бы мне было легче. <…>

Неужели так и пропала книга о Тютчеве? Как жалко!

Юрасик мой, дорогой, только живи, только не хворай, я пишу каждые две недели, не моя вина, что письма не приходят. Пиши и

ты, не давай мне с ума сходить.

Целую тебя нежно.

Твоя Фрина

4/VIII-91

5 августа 1991 года

5 августа, ночью.

Не могу перечитывать свои письма к тебе, потому что вижу, что не умею сказать что-то важное, нужное тебе. Тяжело это. Ведь я привыкла разговаривать с тобой, и ты бы без слов все понял. А писать так трудно. Вот ты прислал мне уголок своего кабинета, и себя в нем, повесила над столом, смотрю и счастлива. Что сделать мне для тебя, как скрасить твое одиночество? Не знаю, не могу… Посмотрела на днях фильм Антониони «Blow Up», о котором ты писал в своей книжке о кино. Много гуляю. Странно, что главную радость мне здесь доставляет именно физическое отвлечение от всего: гимнастика и плавание. Может быть, приятно, что еще слушается тело, может быть, в этом далекие отзвуки Кемери? Я все-таки утешаю себя мыслью, что шаг мой не напрасен, потому что повеселела Марина, она говорит, что теперь у нее есть дом, а когда нас не было, некуда было возвращаться с работы, дома не было, у Феди всегда закрытая дверь и никаких общих разговоров или дел – только самое насущное. И мы ему совсем не нужны. Вероятно, это так нормально. А он ведь неплохой мальчик, без дурных наклонностей, ничего сугубо плохого не делает, но никак не помогает маме, почти не звонит ей, да и нам – тоже.

Такие дела. Поразительно, как вдруг из такого ангела в детстве вырос совершенный угрюмый, резкий и замкнутый Андрей[449]. Ситуация эта ранит Марину, но она старается относится к нему с пониманием, как и мы. Да и что делать…

Лучше всех приживается Виль. Ему здесь просто нравится, он не тоскует, иногда только мыслями о нашей любимой им даче он портит себе настроение. Читает русские журналы и газеты, очень много тренирует руку и ногу в специальном зале, даже научился вновь плавать, используя и парализованные руку и ногу – и почти всем доволен.

Марина счастлива своей небольшой, но очень уютной квартирой, о которой говорит, что это первый ее дом после родительского. Пока церковники дали ей на время первоклассный компьютер, свой она отдала Федьке. <…>

Юрочка, я заболталась, пишу тебе всякую чепуху.

Обнимаю тебя нежно.

Твоя Фрина[450].

8–9 августа 1991 года

Мой милый, мой дорогой друг!

Наконец сегодня – 8/VIII – получил твое письмо от 20 июля. Все с нами нечистый шутки шутит! Письма по почте теряет почта или еще кто-то. Я не получаю твоих писем, волнуюсь, схожу с ума, стараюсь себя уверить, что ты здорова и просто уехала в какойнибудь летний круиз «вокруг света на парусном судне», а ты просто сидишь дома под кондиционером (кстати, выяснилось ли, сколько он пожирает?).

Но с письмами явно какая-то ерунда. Ты пишешь, что в прошлом письме ошибочно назвала какого-то соседа Феди пуэртоамериканцем, когда он вовсе пуэрториканец. Но, друг мой, я такого письма вовсе не получал и почему Федя сотрудничает (или соседствует) с каким-то пуэрто-мексико-африко-американцем, представления не имею[451].

Тут был перерыв на 3 часа. Не переписка, а скачки с препятствиями.

Книжка, которую я посылал тебе, видимо, пропала бесследно. Вообще какая-то доколумбовская ситуация.

Я кончил книгу[452]. Она состоит из двух частей: первая теоретическая, посвященная внутренним механизмам культуры. В некоторых кардинальных вопросах пересматривает самые основы структурного подхода, но не так, как это делают французы, и – уж не так, как это делают доморощенные критики, а по-тартуски. Вторая часть – историко-культурная, охватывающая суммарно русский материал XVIII века. Задача – слепить эти два куска органично. В конце августа я с Наташей (племянницей) должен на 5 дней поехать в Венецию на конференцию. Очень не хочется никуда, а в Италию, в нескольких часах от Бергамо – места смерти Зары, – тем более. Но надо хоть немного взбодрить Наташу – она совсем в унынии, а если меня не будет, то ее уж никто не повезет.

В середине писания этого письма у меня была большая радость – прибежали Сильвия, Элен и Мартик и весело слопали весь пирог с вареньем, который приготовила милая лаборантка, которой я диктую. Как писал Пушкин, «а нам то и любо!»[453] (что слопали). Сейчас у тебя ночь (пока писал – верно, утро) и, наверное, не так жарко. Хочется верить, что ты здорова и что в эту минуту у тебя все благополучно. Бедная Марина все еще возится со своими подопечными? Как ее кинопланы? Я получил ее милое письмо, когда от тебя исчезли все вести. Это совершенно как на войне, когда нет связи, все провода перебиты и не знаешь,

есть ли на том конце живой человек: «Брест, Брест, я Береза!» Так вот: «Монреаль, Монреаль, я Морковка[454], тебя слышу с перебоями, проверь связь!»

Я понимаю, что и тебе, и Марине грустно, что Федя делается, становится взрослым и самостоятельным. Не огорчайтесь – он, конечно, хочет почувствовать себя взрослым. Но очень мало кто из мужчин в глубине действительно к этому стремится – очень многие, как только им делается хуже, возвращаются душой в родное гнездо. Если Федю тянет из дома, то, следовательно, ему хорошо, он не чувствует себя слабым, и этому надо, хоть и жаль, что он вырос, радоваться.

Пока были всякие перерывы в писании этого письма, стемнело. Я совсем один в большой квартире, и так каждую ночь. Миша на своей даче, Леша на конференции. Вообще он нашел себе работу по вкусу – зам. директора по науке в зоостанции на берегу моря и почти в 9 часах езды от Тарту. Сейчас он переезжает туда, Кая и дети еще зиму будут в Тарту, а потом тоже уедут. Видишь, и у меня разлуки, но ведь нельзя же мешать молодым жить, как хотят. Всем сердцем обнимаю тебя и твоих.

Юра

P.S. Тебе со мной было бы сейчас скучно – я совсем разучился быть веселым. А ведь умел…

9. VIII.91.

Тарту.

19 августа 1991 года

Юрочка, мой дорогой!

Что же такое происходит с моими письмами, которые просто не приходят к тебе, при том, что я пишу регулярно раз в две недели? Получила твое отчаянное письмо с криком «Отзовись!», при том, что я ни разу не нарушила обещанных сроков[455]. Горько и больно, и нечем помочь. Я сама измучилась, когда больше месяца от тебя ничего не было, дозвониться не удалось, а разговор с Наташей никак не успокоил меня. И вот пришел – через месяц – крик твоей боли…

Я только что вернулась после тринадцати дней, что провела в весьма странном месте, недалеко от Монреаля, нечто вроде дома отдыха для стариков, средний возраст там 75–80. Весело было! Но: я купалась в чудном озере, смотрела на дивную природу, которая очень напоминает Отепя:[456] озеро, холмы, поросшие лесом, и лес такой, как ты любишь, – весь заросший, с сухими пнями и деревьями, совершенно пустынный и безопасный. Я много бродила по лесу, думала и вспоминала «иные берега» и, в общем, отдохнула. Было много смешного, нелепого, но это все надо принимать как не имеющее значения.

Виль мужественно высидел в городе один. С ним все в порядке. К сожалению, в это же время отдыхает наконец в горах Марина. Но Федя дважды заезжал к деду, был и сегодня, в день моего приезда, и порадовал меня долгим разговором о будущей учебе и жизни (т. е. он бывает и хорошим, но только не с Мариной).

В глубине души, да и говорит об этом, Федька очень хочет повидать отца и вообще побывать в Москве. О Юре болит сердце у всех нас. Доходят кое-какие смутные сведения, что он в порядке, но ни одного письма ни от него, ни от его отца Марина не получает. Это грустно. Но поскольку изменить ничего нельзя, надо принимать как данность.

Юрочка, ты пишешь так неопределенно о болезнях, которые тебя мучат, но которые якобы «чепуха». Что это за болезни? Сердце? Голова? Какие-то следы операции? Не может ли тебе помочь сестра Ляля? О Господи! Сама ведь человек нездоровый… Я здесь случайно познакомилась с доктором, которая возглавляла много лет поликлинику писателей в Питере. Она знает Вовку[457], Макогона, десяток других многих, кому закрыла глаза. Очень тепло отзывалась о Виктории Михайловне.

Твое отчаянное письмо привез мне Виль – его довез ко мне за город на машине вечный паж Марины Лионель. <…> Ты

пишешь о новой задуманной книге или уже начатой? О чем она? Конечно, самая главная? Друг мой дорогой, нежно обнимаю тебя.

Что твои ночи? Что твои дни? Что ты сам?

19/VIII-91

Твоя всегда Фрина

27–28 августа 1991 года

Друг мой!

Мы пережили три подлинно исторических дня[458]. Правда, в Тарту все было тихо. Но три ночи я провел у радио, слушая иностранные передачи последних известий (московские и таллинские были захвачены) и одновременно прислушиваясь к ночной тишине, с минуты на минуту ожидая грохота танковой колонны[459]. Но было – как на войне – весело. Чувство, что нарыв прорвался, – чувство облегчения. «Будет буря – мы поспорим и помужествуем с ней!»[460]

Я живу один – Леша перешел на работу в научную зоостанцию в далекой глубинке, Миша был в «летней резиденции» со своей семьей. Но в эти дни Кая с детьми перешла ко мне, мы собрались вместе, как собираются вместе во время войны. Детям в этой обстановке было очень весело. И мне пахнуло молодостью…

Когда я пишу эти строки, радио передает похоронную музыку по погибшим в Москве во время попытки переворота. Трое молодых людей. А мне страшно больно не за них, а за себя – как бы хотелось сейчас быть молодым, участвовать во всем не мыслями, а руками!

У меня все время сердце болит за тебя – мне кажется почемуто, что ты больна и что это от меня скрывают. Завтра я еду на пять дней в Италию: хочу немного показать ее Наташе. Ведь когда я умру, ее никто не свозит, а ей это будет событие на всю жизнь. Кроме того, съезжу с внутренней болью в Бергамо, где скончалась Зара. Я написал одну статью, и мне вместо гонорара оплачивают поездку в Венецию. Еду с тяжелым чувством, хотя, м<ожет> б<ыть>, там будет и хорошо. В октябре зовут в Прагу. Я там не был после «пражской весны»[461] – было стыдно. Теперь можно. Но боюсь – надо читать лекции, а я заметно (пока, кажется, только для меня) глупею. Кстати о «глупении»: ты знаешь, что у меня бывали нелады с орфографией – сейчас это превращается в катастрофу – признак деградации. Представляю, как тебе, с твоей идеальной грамотностью, смешно и противно читать мои письма.

Но я пишу все о пустяках – главное же то, что мне что-то очень страшно за тебя, за твое здоровье – душа болит.

Получил от Марины милое письмо, но уже сообщал тебе об этом. Сердечные приветы твоим мужчинам. Не грусти, что дети взрослеют и делаются самостоятельными, – это нормально.

Целую тебя.

Юра

Конец августа – начало сентября 1991 года [462]

Милый друг!

Мы пережили несколько тревожных дней – была попытка путча и военного переворота. Организован он был бездарно и быстро лопнул. Но я – старая боевая кляча – уже готовился вступить в бой и совершать подвиги. Но в Тарту все прошло до смешного тихо – путч лопнул прежде, чем до нас докатился. Студенты ездили в Москву и там геройствовали. Я же не собрался по старости. Мое время уже прошло. В этом грустно признаться, но это так.

И все же мне, как старой боевой кобыле, пахнуло веселым воздухом драки, хотя, конечно, хорошо, что она закончилась так быстро и с минимальной кровью.

Праздник кончился – начались будни. А будни обещают быть трудными. У нас в маленькой Эстонии вопросов тоже хоть отбавляй. Но я не хочу тебя беспокоить мелочами – общий баланс все же положительный. Это в общих делах. Мое же собственное настроение, признаюсь, кислое: все, что было прежде легко и давалось, как из бездонной бочки, – новые идеи, лекции, которые можно было читать по 6 часов в день, не уставая, – делается трудным. И все же я диктую книгу, читаю лекции без конспектов, только по памяти (дефект зрительных способностей), и даже организую новую кафедру – теории. У нас вообще время новых людей, которых я не всегда понимаю (на этом месте у нас потух свет, продолжаю после двух часов перерыва).

Как твое «к прогулкам в одиночестве пристрастие»?[463] А у нас холодно и идут дожди. В былое время я любил такую погоду, т<ак> к<ак> противопоставлял ей внутренний напор – любил гулять под дождем (БЕЖАТЬ ПОД ГРОЗОЙ[464]). Теперь мне это слишком грустно.

Вот пока все. Приветы Марине и твоим мужчинам.

Твой Ю.

28 сентября 1991 года

Милая, милая Фрина!

Что это мы сами себя мучаем, выдумываем страхи и волнения, если письмо какая-нибудь Амелфа Тимофеевна выбросит в не предназначенное для того заведение. Затвердим себе раз и навсегда, что войны нет и все, что могло случиться с нами, уже случилось. Так что остается ждать только хорошего. Еще запомни, что твой друг – человек сумасшедший (тоже мне новость, что он спустя пять дней после твоего письма может вдруг решить, что писем нет уже месяц, а сам, написав письмо, может забыть его отправить). Вот и сейчас: я был 10 дней в Италии и в Венеции, написал тебе большое «итальянское» письмо, да там и потерял – должно быть, в Риме в какой-нибудь урне валяется.

Но по порядку: у меня в одном итальянском сборнике вышла статья. Вместо гонорара они предложили приглашение в Венецию и Рим. Мне очень не хотелось – Италия для меня теперь связана с Зариной кончиной. Но я согласился, чтобы растрясти Наташу, которая тут совершенно скисла. Ведь когда я умру, ее уже никто не свозит… Мы поехали. В Венеции было ужасно грустно от воспоминаний, но я верно сделал, что поехал, – душа как-то «отпустила». В Риме была жуткая жара, выходить можно было только ночью. Я устал, как собака, от жары и капризов. При перелете из почти африканской жары в наши края – температура 0–2° ночью я простудился и теперь источаю сопли.

Таков был римский круиз на самолете. Но в целом хорошо, что решился, – по большому счету это было нужно, нужно именно мне.

На обратном пути я сделал в Московском университете доклад (вернее, двухчасовую лекцию), которая прошла в битком набитой аудитории отменно. Для меня это важно не по соображениям само– и честолюбия, а поскольку я впервые излагал совсем новую и, смею обольщаться надеждой, важную, итоговую для всей моей предыдущей деятельности концепцию. Присутствовали Борис Андреевич, Вяч. Вс. Иванов, Мелетинский и др. Кажется, убедил…

Обнимаю тебя! Спасибо за фотографии. Очень хорошие.

Всегда твой

Юра

20. IX.91.

9 октября 1991 года

Здравствуй, мой дорогой, здравствуй!

Кажется, давно не писала тебе – представь, я забыла, когда отправила тебе последнее письмо. Но мне кажется, что прошло больше двух обещанных мною недель… Тяжелое время осень – вот причина. Не спасает меня сейчас и немыслимая красота красных кленов, осыпающих свои листья на еще цветущие гортензии и всякие другие цветы. Тоска и тоска; и тревога – неизвестно отчего <…>. Мало сплю, а бессонница всегда была мне особенно трудна.

О ночных же мыслях, сам знаешь, лучше не вспоминать днем. Вот тебе целая горсть жалоб – не сердись.

Сегодня получила твое письмо от 28 сентября. Хорошо, что Италия позади и что ты смог там что-то избыть в себе. Очень хотела бы, чтобы ты побывал в Праге. Будешь ли? Как же, друг мой, можешь ты терять письма ко мне, еще из Италии? Нехорошо это, а я так тревожилась, но слава Богу, что все обошлось только осенним насморком. Радуюсь я, как и прежде, любой твоей удаче, в данном случае лекции в Москве и ее успехе.

У нас все в порядке. Плохих новостей нет. Встали в двух местах на очередь за более дешевым, государственным, жильем. Если будем живы год-два, то есть надежда. Тогда из нашего пособия высвободится часть денег, которая позволит хоть куда-то ненадолго съездить и вообще жить немного свободнее. Впрочем, я и сейчас укладываюсь, чтобы у Марины практически ничего не брать. Знакомых по-прежнему нет. <…>

Марина, тем часом, хоть и живет близко, далеко-далече; вся в сценарии (есть движение, но промолчу пока, ибо боюсь сглазить), она продолжает переводить и комментировать анекдоты, ища одновременно издателя, переводит (для денег) как бешеная вредную галиматью, – а я проверяю, чтобы быстрее. Пишет как бешеная же стихи на английском (!). Жизнь ее всем этим заполнена. Мужики всякие вьются стаями, да все, вишь, не то. Очень сожалею, когда приходится – а все равно приходится – ее отрывать: врачи, официальные присутствия, где мне все еще трудно объясниться. Однако мой английский улучшается, что для меня самой диво. Ведь вокруг все французская речь, мало практики, однако каким-то образом могу объясниться, а уж читаю почти без словаря. Вот, увы, понимать канадцев мне трудно, особенно радио и ТВ.

Видно, у тебя, как и у нас, эйфория после «победы» над путчистами прошла. Кто-то остроумно выразился: «Мы потерпели

победу». И теперь опять остались одни трудности. Кажется, по письмам, что особенно тяжело в Москве и САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ (сумасшедший дом!).

Позволь помечтать: а вдруг бы ты собрался в Монреаль. У Марины прекрасная квартира. Мы бы тебя обогрели. И не все ли равно: 5 или 9 часов лета на самолете?..

Много думаю о тебе бессонными ночами.

Целую и обнимаю тебя

Твоя Фрина

P.S. На днях мы с Мариной смотрели прекрасный фильм Пазолини «Теорема».

Обидно, что всю жизнь я видела в кино всякую чепуху и только сейчас начинаю понимать, что такое настоящее кино и настоящие мастера. Но, как сказано, «того уж не вернешь». Однако спасибо, что хоть сейчас еще можно кое-что увидеть. Видел ли ты этот фильм?

9.10.91

26 октября 1991 года [465]

– Юрочка, а что будет в старости?
– В старости? – Работа… работа…
(Из записей 78 года)[466]

Вот ты и работаешь, мой друг, работаешь. А я? Можно сказать, что ничего не делаю, хоть старость пришла настоящая. Помнишь, как ты боялся, что, уйдя с работы, я буду тосковать дома? Но это как-то обошлось, я все находила себе разные дела. То же и здесь. Не могу сказать, что я тоскую от безделья, хотя всегда очень сожалею, что не думала никогда о старости в этом смысле и не припасла себе интересных дел. Так жизнь сложилась, таковы, что тут хитрить, мои способности. Но, разумеется, на чужой стороне отсутствие настоящей работы тягостно. Сколько я могу тебе писать о прогулках, о красоте канадской осени, о моих физ. и прочих плаваниях? Иногда с грустью чувствую, что говорить, только говорить хочу с тобой, что нет сил писать и не о чем: все, что я чувствую, ты давно знаешь, как ты мне нужен каждую минуту, ты должен чувствовать. Падают, падают красные канадские кленовые листья; один из них посылаю тебе на память. Если это письмо дойдет (непонятно, в какую страну – и через какую землю).

Мы жадно ловим всякие новости по радио и в газетах. Но иногда кажется, что краски сгущены, а иногда, наоборот, что там у вас ужас что творится, даже представить себе трудно. <…> Особенно тяжело мне представлять, как ты один, совсем один, в большой квартире, особенно ночью. Да вот и Леша уехал. Что же так круто ведет нас жизнь?

Веришь ли, мой дорогой, что Марина живет всего в небольшом квартале от меня, а кажется, что за тридевять земель, так бывает одиноко. Я понимаю, что это нормально, что понимаемая ею свобода – это свобода от каждодневного общения со мной, и от звонков по телефону в том числе. Я не сужу ее. Но жизнь почему-то, моя жизнь, каким-то образом направлена только в сторону ее интересов и желаний. Кроме того, что это неправильно и ей вообще об этом ничего неизвестно, – это очень утомительно для меня и рождает какие-то странные, неоправданные и даже глупые обиды. А избавиться никак не удается. <…>

Как, дорогой мой, пережил ты первую годовщину кончины Зары? Весь день вчера думала о тебе, вспоминала Зару в Москве, в Тарту. Лил дождь, даже выйти не хотелось. Я, как и ты, разлюбила дождь. Еще два дня назад было так тепло – бабье, или

индейское, как его тут называют, короткое лето. А вчера и сегодня настоящая осень и холод. <…> Марина все сидит над сценарием, пишет и переводит анекдоты. Мне ее комментарий кажется немножко примитивным, а канадцы – дети считают, что это интересно. Но надо, чтобы кто-то захотел издавать эту книжку. С постоянной работой пока ничего не слышно. Здесь без связей вообще трудно, а сейчас, при рецессии, особенно. <…> Но еще она не искала преподавательской работы, еще есть какие-то возможности, тем более что знакомства Марина умеет завязывать; ее прекрасный английский очень, очень важен.

Юрочка, как двигается книжка? О чем она? Это в духе твоих новых идей или другое?

Ты бы написал мне, надо ли на конверте писать «СССР» или нет? Надо ли писать «Через Финляндию», как было написано на твоем конверте в последнем письме ко мне?

Будь здоров, мой дорогой, до следующего письма.

Твоя Фрина

26.10.91

18–19 ноября 1991 года

Мой дорогой, мой единственный, мой далекий друг!

Я долго не писал тебе, т<ак> к<ак> был в разъездах – ездил читать лекции в Прагу. Т<ак> к<ак> трое суток в поезде – для меня слишком тяжко, а самолеты теперь подорожали до безумия, я рискнул поехать один (это же был своего рода опыт). Все прошло как нельзя лучше. Правда, первые сутки были не очень удачными: меня поместили в отвратительной гостинице почти за городом, где забыли включить отопление, а буфет не работал изза болезни какой-то дамы. Но через сутки я переехал к друзьям, и дальше все было отлично. В Праге я читал лекции в большом количестве. Это тоже был эксперимент «на выживание». Могу похвастаться – прошел он удачно. А ведь читать приходилось в смешанной аудитории, где 50 % – студенты, не очень свободно знающие русский язык, и 50 % – ученые высшей квалификации. К тому же, как ты знаешь, способность чтения у меня пострадала. Поэтому все приходится делать по памяти – работа не слишком легкая. В свободное время я, отказавшись от помощи спутников, с меланхолическим грустным удовольствием бродил по милой Праге, где я бывал в 1966 и 1967 гг. Оказалось, что я все помню, но все сжалось в какое-то единое время. Вообще я сейчас живу в памяти больше и с большей внутренней интенсивностью, чем в настоящем. Оно дальше от меня и мало меня интересует.

Книгу я кончаю – т<о> е<сть> уже несколько раз объявлял, что кончил – все, амба! – но как та украинская чушка, которая зарекалась кое-что исты, принимаюсь еще и пишу новые главки. «Пишу» – это метафора – диктую двум милым помощницам по очереди. А поскольку я забываю, что написано, а что нет, получается каша, мне самому весьма противная.

У нас все издательские дела движутся через пень в колоду: государственные издательства лопаются, а частные проявляют много энергии, но полное неумение работать. Планов много, но книги почти не выходят. Процветает лишь большое число мошенников, которые второпях очень плохо переиздают (или просто воспроизводят наугад) разные книги 20-х гг. и сбывают их по фантастическим ценам. Рынок все поглощает, т<ак> к<ак> господствует типично русское представление – есть нечего, будем покупать книги. Вот чехи покупать книги перестали. (Тут мне пришлось прервать письмо на два дня – продолжаю.)

В данную минуту я зол, потому что мне больно: топлю ванну и схватился рукой (старый дурак!) за уголь, спрятавшийся в

золе, – сжег те самые кончики пальцев, которыми сейчас бью, сжав зубы, по машинке, – не герой, а дурак! Но все люди вокруг злы по другим причинам: люди – странные животные, когда им нечего кусать – начинают кусать друг друга. Голода пока нет, но все его ждут и заранее звереют (про запас). Как я рад, что ты избавлена от этих переживаний. А у меня сестры в Питере, в котором от переименований еды не прибавилось, зато прибавилось коррупции.

> Вы бы ребенку (т<о> е<сть> тебе) теперь показали
> Светлую сторону – рад показать.
> (Некрасов, «Железная дорога», см. дальше.)

А светлая сторона состоит в том, что я кончил книгу. Не ту маленькую, которая застряла в Лен<инградском> – или П<е>т<ер>б<ургском> – «Писателе» (там ранняя редакция, которая еще совсем сырая) и не ту, что застряла где-то в Лен<инградском> или С<анкт->П<етер>б<ургском> «Искусстве», и <не> тот мой трехтомник, который, как умирающий, шевелится в Таллине[467], а совершенно новую, которая (10 авт. л.) если появится, то будет, как мне кажется, ГЛАВНАЯ КНИГА[468].

Может быть, это бред собачий, но мне сейчас кажется иначе. Ведь и мыльный пузырь, пока не лопнет, блестит. Вот так, как ты любила говорить, «то гульба, то пальба»[469]. К счастью, последнее пока метафора.

Карамзину перед смертью захотелось плюнуть на свою «Историю», сесть на парусный корабль и уехать на какие-то далекие острова[470]. Мне тоже хочется. Но чтобы корабль был непременно парусный и подымался и опускался на крутых зеленых волнах. И чтобы, кроме матросов и пьяницы-боцмана, на корабле были бы только мы двое…

Обнимаю твою душу и целую ее, мой дорогой друг.

Сердечный привет Марине, дай ей Бог удачи в ее плаванье.

Мужчинам твоим жму руки.

Всегда твой.

P.S. Перечитывать и исправлять ошибки я не могу по состоянию зрения. Прими так.

12 ноября 1991 года

Юра, дорогой!

Сегодня уже месяц и три дня, как от тебя нет письма. Я не только беспокоюсь, как всегда о тебе, но – теперь – страшно боюсь, что это обозначает вообще отсутствие связи между Эстонией и Канадой, поскольку, может быть, через Россию письма не идут. <…> Моя попытка узнать здесь, как писать письма к вам, не увенчалась успехом: здесь не знают. Такие дела. А как, при этом, мне трудно писать, как страшно, что все это проваливается, как в дыру…

Новостей особенных нет вовсе. Отметили скромно день рождения Марины – ей 40 лет! Было, кроме нас, пять человек ее друзей, не очень близких. А для нее теперь это нормально. Я много ей помогала, в общем это даже не было и днем рождения в нашем понимании: так, посидели, выпили вина, именинницу даже как-то и не замечали. Где там русские тосты за здравие, где комплименты?.. Каждый в уголочке говорил о своем. Федька порадовал ее вниманием и добрым расположением – за то спасибо. Читаю Бунина, слушаю русские романсы и рыдаю, как все и всегда эмигранты, вот до чего дошло. Опротивел мне английский с их никчемными халтурщиками-преподавателями, а одной как-то уже не хочется. Виль наконец попал к врачу-невропатологу, который его очень хвалил за «работу» по восстановлению после очень обширного инсульта (это он увидел, т. е. врач увидел, на томографической пленке). Он считает его здоровым человеком. Только я вижу, как постарел Виль, да и я, за этот год, что мы здесь. Я уже тебе не раз писала, что живу только делами и жизнью Марины, ибо больше нечем. Я понимаю, что это не очень правильно и хорошо, но что же делать, если своего ничего нет, а воспоминания причиняют такую боль, что было бы легче, если бы все не помнилось, да еще с такими подробностями…

Здесь уже начинается то ли зима, то ли поздняя осень: деревья все сбросили листья, подстрижены и подвязаны кусты у домовдворцов, мимо которых я так люблю гулять одна; вчера выпал первый снег. А Марина все ездит на велосипеде. Переводов пока больше нет и неизвестно, будут ли вообще. Немного денег она заработала, чуть-чуть работает с юристом в качестве переводчицы, но это больше для души, чем для денег, которых почти не платят. Кончает сценарий и ищет издателя для книги. Здесь, если сразу не иметь 10 «проектов», как здесь говорят, то вряд ли можно рассчитывать на успех хоть одного. Безработица

достигла рекордной отметки. Пока работы нет. Но она месяцев восемь будет получать пособие по безработице, так что пока не страшно.

В Америке выходит на русском маленький, но вполне пристойный журнальчик, в который Марина будет пописывать. Пока они почти не платят, потому что только становятся на ноги. Но ее обзор кинофестиваля в Монреале им понравился, и они просят Марину регулярно писать им о кино. <…> Вообще же Марина смелая: пишет не только стихи на английском (для себя – хоть на турецком!), но и книжку на английском для англоязычного читателя, а это, по-моему, очень тяжело. Ведь все равно чужой язык, да и Марина – не Набоков.

Друг мой, отзовись, сил уже нет ни мучиться-волноваться, ни ждать.

Поклон от Марины.

Целую тебя и обнимаю.

Твоя Фрина 12.11.91

19 ноября 1991 года

Милая Фрина!

Всего несколько дней назад послал тебе письмо и вот пишу снова. Ты же знаешь – я человек бестолковый и «нерегулярный», все делаю в нарушение регулярности. Пишу не потому, что имеется какое-либо дело или новость, а «так просто», захотелось. Просто очень тяжело, скучно и одиноко. В окружающей политике какая-то мура, жулики все равно наверху, только те, кто вчера молился партийности, сейчас выискивают и разоблачают национальных врагов. Но это все ерунда, а не ерунда то, что рвутся экономические связи с Россией, а иных нет и не скоро будут. Экономикой как у нас, так и в России руководят политики-дилетанты. Сейчас пожинаем грустные плоды того, что столько лет уничтожали талантливых специалистов. Ну да Бог с ними.

Книгу я кончил, дописал еще одну главку. Теперь ее печатают и вычитывают. Самое тоскливое для меня время – новую работу начинать невозможно, да и на-до-ело!!! Помнишь фильм «Профессия – репортер», то место, как он застрял с машиной в песке пустыни и, бухнувшись на песок, кричит в небо: «Надоело!»?

Ну, поныл и хватит. Просто я очень соскучился по тебе и утомился одиночеством. Вокруг меня несколько милых молодых учеников, рядом милая Саша, три дня в неделю в Тарту бывает Миша, заходит Кая с милыми внучками – все же я чувствую себя в глубоком одиночестве. Поговорить не с кем.

Опять разнылся, прости. Обратим наши взоры к светлой стороне. Книгу я кончил. Судить о ней сейчас не могу. Но если это не чушь собачья (что очень может быть!), то, возможно, вещь важная.

(Очень поздно – иду спать, завтра допишу.)

Прошли сутки. Продолжаю свое бестолковое письмо.

У нас все благополучно – еда, продукты – все есть, хотя дорого и продолжает еще дорожать. Но это все ерунда. Пришли внучки – иду учить их французскому языку. Это сейчас занимает меня больше, чем научные статьи и политические новости.

Вообще жаловаться – грех. Вот только что я отвечал на такое письмо; я получил оттиск научной статьи, автор которой, молодой (лет 25) лингвист, по неизвестной никому причине – покончил с собой – повесился в лесу. Мать издает его статьи и прислала мне оттиск. Статья хорошая. Его жалко, а о матери страшно и подумать. Беда в том, что мы страдаем от потерь, но не можем радоваться от того, что какая-то потеря не произошла.

Все мои книги – а их в производстве пять – где-то позастревали. Вообще сейчас у нас так: издательства есть, и с каждым днем их все больше, договоры заключают, даже иногда платят какието деньги, которые обесцениваются прежде, чем их положишь в карман. Но книги не выходят. Мы не издаем книги, а играем в издания (может быть, мы не живем, а играем в жизнь?).

Пришли Саша и Элен (Саша – Мишина, Элен – Алешина). Я с ними занимаюсь французским, и потом мы слушаем Окуджаву. И эти занятия доставляют мне больше удовольствия, чем лекции студентам, – состарился, видно! Песни Окуджавы, как казалось бы, потеряли злободневность – все другое, а слушать их без волнения нельзя. Это наш мир. Как у Тютчева: «мир, где жили мы с тобою»[471]:

> Она, конечно, пишет мне, но постарели почтальоны,
> И все давно переменились адреса…

Помнишь эту песню? Это «В моей душе запечатлен портрет одной прекрасной дамы…».

Вот так…

Но довольно болтать, пиши мне. Целую. Приветы всем твоим.

Марине особый.

Юра

19. XI.91.

P.S. Пишу, а читать мне трудно. Посему не исправляю ошибок и опечаток.

3 декабря 1991 года

Юрочка мой любимый, любимый, любимый!

Сегодня, после почти двух месяцев без слова от тебя, пришло твое письмо, которое добиралось сюда полтора месяца: отправленное 19 ноября, пришло сегодня – 3 декабря. Спасибо Господу за это. Я уже решила, что письма просто не отсылают от вас через Москву и, устав страдать, только тихо стонала ночами, думая невесть что. Ты жив, ты выдержал прекрасно Прагу (чего я так хотела!), ты кончил ГЛАВНУЮ книгу – все хорошо. Я так хочу на парусный корабль с тобой, одним тобой, и чтобы никого. Я тоже только в прошлом, которое чем дальше, тем яснее. Поскольку письма теперь «ходят» месяцами, то не могу не вспомнить, что скоро тебе 70 лет – дай Бог тебе дожить, прожить этот день без горя и забот. Вспомни и меня, если захочешь.

Я буду в этот день думать, сколько всего с тобой было перечувствовано и пережито мною за 24 года (27 января будет 24 года от того вьюжного дня в Москве). Ты и Марина – вот все в моей судьбе. Нет ни книг, ни особенно добрых дел. Нельзя же думать, что 17 лет, когда я, дура, учила детей, как Нагульнов раскулачивал крестьян, а Ниловна под ручку с сыном ходила на демонстрации[472], – нельзя думать, что это была полезная жизнь[473]. Горько, да, но – не я одна…

Теперь даже нельзя понять, что это за жизнь. Прекрасный город, нет забот о хлебе насущном, никто меня не обижает, а не живется – и все. Я постоянно грустна. Думаю, что это просто возраст, а может быть, крутые перемены так трудны?

Монреаль сегодня весь в снегу – первый снег. Метет «по всей земле», бело и чисто, город, несмотря на растущую дороговизну, безработицу и т. д., готовится к Рождеству: уже сияют тысячи цветных лампочек возле домов, на маленьких елочках и молодых деревцах. Новостей особых нет. Вот Федя в порядке: учится, работает успешно, ни о чем никого не просит, его хозяин по дому им доволен. Если – редко – забегает, то выглядит довольным и уверенным в себе. Увы, часто забывает русские слова, ведь он совсем лишен теперь русской речи, но… как уж будет. Марина пока без работы. Сценарий, книжка – все без движения. Теперь появился новый «проект», который мне кажется чистой химерой, но, быть может, я не понимаю этой жизни. Она задумала организовать нечто вроде обмена между культурными деятелями Лен-да (Спб!!!) и Канады. Инициатива – из Лен-да. Те просто хотят сюда – это понятно, а вот канадцы спрашивают, чем они могут быть полезны там, чего мои дорогие соотечественники и

сформулировать не могут, увы… Роль Марины – все организовать, а главное – найти на все благотворительные деньги, из которых и должна составиться ее зарплата. Трудно ужасно, а главное, дадут ли деньги. Ее главная цель – поехать в Союз, чтобы увидеть Юру – могла бы быть достигнута. Вот такие дела. <…> Есть еще одна надежда: попасть преподавать в колледж, причем она сама должна придумать какой-нибудь курс-курсик. Что-нибудь по эстетике, искусству, м.б., по театру. Уровень здесь такой, что каждый может, пишет она просто хорошо, на определенном журналистском уровне, и это бы пошло. Но устроиться непросто, поскольку в университетах платят меньше, чем в колледжах[474], а творческие люди, чтобы иметь возможность заниматься своим делом, зарабатывают на жизнь таким образом. Причем гуманитарные легкие курсы читаются в колледжах вполне технического или естественного профиля. Сужу по Федьке, который в первом семестре занимался Чеховым, а сейчас, во втором, выбрал себе историю Древнего мира – он это давно любит <…>. Хорошо, что студенты сами выбирают из того, что им предлагают, что им интересно. У Федьки в колледже, кстати, очень интеллигентная обстановка и прекрасно поставлены его математика и физика.

Юрасик, мой дорогой, мы дожили с тобой до 1992 года? Вот уж не ждала, что доживу до Мариниых 40 лет. А вот, кажется, доживаю. Если я переживу 91 год, то дальше, несмотря на «високосность» следующего года, будет легче, я надеюсь. Дай Бог Вам пережить эту жуткую зиму. От Веры из Питера пришло жуткое письмо, там, как и в Москве, очень плохо. Я просто страдаю от того, что не могу помогать маме и сестре. Да что же делать…

Как-то невозможно поздравлять тебя с Новым годом, но желать тебе здоровья, сил, воли жить и творить – ведь можно? Я хочу дожить до выхода ГЛАВНОЙ твоей книги, счастлива, что она написана, люблю тебя навеки, будь, мой милый, здоров, не забывай.

Твоя Фрина

3.12.91

Около 21 декабря 1991 года [475]

С Новым годом, мой дорогой друг, с Новым годом!

Дай тебе и всем твоим Господь счастья и здоровья, веселья и радостей, пусть даже мелких – ведь они-то и делают нашу жизнь выносимой.

Ты знаешь мою бестолковость – мне уже через несколько дней после получения от тебя письма кажется, что прошла целая вечность. Сейчас, кажется, действительно давно нет писем, но, м<ожет> б<ыть>, это только мое ожидательное нетерпение говорит.

Пока это письмо попадет в твои руки (попадет ли?), пройдут оба Новых года – и русский, и западный. Как ты их проведешь? С Мариной? С внуком? А может быть (хоть в воображении), немного и со мной? По крайней мере я (в воображении, увы) жду тебя в гости.

Обо мне не беспокойся – у нас все тихо. Конечно, все безумно дорого, но голода нет. Даже в Питере, где несравненно хуже, чем у нас, настоящего голода – блокадного – нет. Но там очень нервно, у нас же тихо. Конечно, я не эстонец, как ты догадываешься, и лишен прав гражданства активного, но меня уже такие вещи не волнуют. Помнишь «Макбета»?

> Земля, как и вода, содержит газы —
> И это были пузыри земли…

Ночью я вижу один и тот же сон: я вскакиваю на ходу в последний вагон поезда, в котором, я знаю, где-то едет Зара… Так что можно ли замечать, что метр березовых дров стоит 350 рублей? Не пойми меня неверно – действительно, все совсем не плохо, есть даже нечто очень хорошее – жизнь ближе к сути.

Я ВЧЕРА КОНЧИЛ КНИГУ![476] Десять печатных листов, и чувствую себя, как курица, снесшая яйцо. Всякая курица в эту минуту считает, что совершила всемирно-историческое действие. Я тоже так считаю. М<ожет> б<ыть>, это очередной мыльный пузырь, но сейчас мне кажется так.

У нас нежная зима – 5–6 градусов, ясно, иней. На улице чуть скользко – хорошо. Но мое всегдашнее «к прогулкам в одиночестве пристрастье» мне изменило – вдвоем ходить тошно и не с кем, а одному – тоскливо, и память все время уносит так, что, того и гляди, свалишься на льду.

Вчера окончил осенний семестр лекций – все на память: дома

хоть медленно, но читаю, а на лекции – только память.

Что у вас в вашем «прекрасном далеке», как говорил Гоголь?

Что Марина, как живут твои мужчины – взрослый и юный?

Пиши мне чаще. Ведь это не трудно, и, м<ожет> б<ыть>, из трех писем хоть одно ко мне и дойдет.

Целую тебя через полушарие, с другого конца мира – о, Господи!

Будь здорова и бодра. Пиши мне.

Твой Юра

P.S. Сегодня утром беда – сгорели сразу две лампочки – это почти катастрофа. Однако, м<ожет> б<ыть>, получу в Союзе писателей Эстонии.

25 декабря 1991 года

Юрочка, мой дорогой!

Поздравляю тебя с рождеством и Новым годом!

Мы все вчера были на прекрасной рождественской мессе с великолепным хором мальчиков. Был и Федя, который ныл и просился домой, как маленький. Сегодня я его нежила у себя. Трудно с ним и тяжело узнавать прежнего малыша. Но… жизнь идет, и «тот мир, где жили мы с тобою», утрачен нами навсегда. Может быть, мы слишком задержались на этом свете, и поэтому так странно многое и многие, что нас окружают? Не хочется верить, ибо, несмотря на разнообразные немощи, не всегда кажешься себе такой уж старой.

Я получила еще одно твое письмо, где голос одиночества так невыносимо для меня звучит. А кому же еще тебе пожаловаться на одиночество, как не мне, каждой клеткой своего существа чувствующей твою боль? Пиши мне все-все, что мучит тебя. Чем еще, как только выслушать и подумать о тебе, я могу помочь?.. Вероятно, специально ты не отвечаешь мне на предложение приехать и пожить здесь. Не мне тебя учить, как это можно осуществить. Ты хорошо знаешь, что любой университет с радостью это сделает, тем более что Мельчук здесь, и я могу просто тебя с ним связать.

Я могу думать, что ты не захотел бы жить на мой или Маринин счет, тем более что мы на пособии, и она – тоже. Но: вопервых, и так хватит, – а нам ли с тобой считать деньги? – а вовторых, ты сам здесь прекрасно мог бы работать и заработать. Подумай, как бы это было прекрасно. Привезя свою голову, ты спокойно мог бы мне диктовать сколько тебе надо. А отдохнул бы душой, побыли бы мы с тобой хотя на край жизни вместе. Я все обдумываю разные варианты нашей встречи. Приехать мне в голодный Тарту на месяц-два – есть ли смысл? Тем более что, не имея эмигрантского статуса, я не могу и так просто уехать. Статус же будет не раньше, чем через год. Можем ли мы загадывать на такое длинное время?

Юрочка, подумай, не отвергай сходу мое предложение. Ведь ездил же ты в Италию, провел один три дня в гнусном поезде в Прагу.

Так почему же не можешь выдержать 9 часов прямого полета в Канаду? Правда, говорят, это бешеные деньги. Так, может быть, можно командировку через какой-нибудь СП или что-то другое? Ведь все ездят сейчас по всему свету, не правда ли. Мне, мне это нужно, как воздух, я прошу не только для тебя, а более для себя.

Изнылась моя душа здесь без тебя, не могу я думать, что судьбе сейчас угодно, чтобы мы маялись врозь. Особенно теперь, и именно теперь, когда ты один и когда Леша тоже уехал. Наконец, тебе необходим уход и отдых (разумеется, при работе, которую ты сам назначишь, как ты захочешь), тебе надо и подкормиться. Все бы это здесь было просто. А жизнь моя, постылая жизнь, приобрела бы смысл, которого лишилась вот уже почти полтора года. Мы живем по-прежнему. Нового только то, что надо в феврале менять квартиру. Много разных причин для этого. Главная заключается в неудобстве самой квартиры и ее дороговизне, жаль уезжать из этого района, но ничего не попишешь. Представь, нашелся какой-то казахский известный режиссер, который готов снимать фильм по сценарию Марины. Но половина стоимости всего фильма должна быть оплачена канадской стороной. А найти продюсера на неамериканский фильм необычайно тяжело. Впрочем, я, по-советски, рада и самому предложению. Все-таки труд не пропал даром. А там что будет. Рецессия «цветет», работы пока нет. Марина целыми днями занята поисками разнообразных связей, которые одни могут привести к какому-нибудь рабочему проекту. Здесь «работают» только связи.

Естественно, слушаем обо всем, что творится на родине, с ужасом и пессимизмом. Виль чувствует себя прилично, очень поддерживает меня в моих нервных срывах, но мне нужен, увы, не он. Марина – моя опора, моя радость. Как переживает за меня, как старается порадовать хоть чем-то. Что бы я без нее делала? Случилось ей долго говорить с Андреем[477] по телефону. Ей кажется, что он или очень физически и нравственно болен, или с перепоя… Совершенно потухший, безжизненный голос, без эмоций, без обычного гнева даже. Она пожалела, что с таким человеком прожила лучшую пору жизни, да еще пытается с ним воевать на равных (по поводу его притязаний на квартиру матери Виля. Я тебе писала). Такие дела…

Милый Юрочка, хотя «две спутницы верных – любовь и разлука – не ходят одна без другой», не хочется верить, что мы больше никогда не увидимся. Пожалуйста, подумай о приезде в Монреаль. Ответь мне.

Нежно обнимаю тебя, неизменно молюсь о тебе. Будь здоров, мой любимый.

Твоя Фрина.

P.S. А получил ли ты письмо с кленовым листочком?

9 января 1992 года

Добрый день, мой дорогой друг!

Я получил твое грустное письмо, в котором ты зовешь приехать в Канаду «хоть на время, отдохнуть». Боже, как это было бы хорошо. Но, друг мой, сейчас об этом даже мечтать невозможно. Почему? По очень простой и прозаической причине: деньги на билеты (авиа, железнодорожные, пароходные) сейчас у нас взвинтили настолько, а цены все в такой степени и скорости катятся вверх, что мне с моими 9-ю внуками не до самолетов. Кроме того, в последние дни новость – самолетные билеты продают только на валюту, а я, как говорил Кот Бегемот у Булгакова, «не при валюте». Обожди, друг мой, долго это длиться не может – к концу лета, надеюсь, это безумие спадет, тогда подумаем. А пока приходится терпеть. У нас все довольно терпимо, лучше, чем в Питере. Мы не голодаем, об этом даже и речи не идет. Но все дорожает до смешного и нелепого. Вот у Саши (внучки, дочери Миши, девицы выше меня и очень милой) развалилась обувь – купили ей сапоги, это почти месячная зарплата. В деньгах недостатка нет – я их в магазине не считаю, а, благо продавщицы в Тарту все знакомые, вынимаю «жменю», как говорил наш старшина, и прошу: «сочтите сами, сколько вам нужно».

Вместе с этим письмом посылаю тебе письмо Мельчуку. Прочти, исправь орфографические ошибки – я стал после болезни совсем малограмотным – заклей или нет – как хочешь, созвонись с ним, и пусть Марина это письмо снесет[478]. Мельчук очень хороший и энергичный человек, знакомство с ним приятно. Может быть, что-либо полезное Марине подскажет. И тебе, думаю, будет отдушина – хороший и умный человек и свой.

Крепись, друг мой, не падай духом. Всегда следует думать не о том, как нам плохо, а о том, сколько людей считали бы нашу судьбу счастьем, о котором они не смеют и мечтать. Не будем к судьбе неблагодарны – это очень больно наказывается. Прости, я съехал на мораль…

Помнишь:

> Где-нибудь на остановке конечной
> Скажем спасибо и этой судьбе…[479]

Будь здорова и бодра! Марине нежные приветы. Твоим мужчинам – дружеские рукопожатия.

Всегда твой
Юра
Тарту. 9.1.92.

15 января 1992 года

Друг мой дорогой!
15/1-92

Как трудно писать, зная, что пропадают почти все письма. Пробилось ко мне заказное письмо от Жени[480], которая сообщила о разговоре с тобой по телефону 9 декабря. Не знаешь ведь, как и конверт надписать[481]. То я посылаю через Финляндию, то через бывший СССР. И здесь никто не может ответить на вопрос, КАК… Так и живем мы, почти лишенные возможности хотя бы такого общения… Новый год, 92-й. Страшно вымолвить, что дожили до него и соприкоснулись с жизнью, которая кажется просто призрачной. Я так многого не понимаю в ней, что ощущение «зажилась на этом свете» не покидает меня. При этом я не могу сказать, что раздражена, как вообще бывает со стариками, нет, я даже с интересом смотрю на все вокруг, но часто не могу оценить виденное: хорошо ли оно или дурно, так ли, по-моему, надо или иначе. А это создает какую-то зыбкость, неуверенность в себе и во всем вокруг. Я не могу часто советовать Марине, что умела раньше. А она нуждается в совете. Я не уверена, что понимаю Федю, и т. д. Вот какие дела. При этом, конечно, одиночество полное и безусловное! Теперь уже так и доживать. Однако по ночам, когда не сплю, думаю только о том, как выжить всем Вам, оставшимся, при том ужасе, что творится дома… Если бы я могла помочь! Те две посылки, что я соорудила маме и сестре, совершенно «выбили» меня из бюджета, рассчитываемого буквально на каждый день. Но это все ерунда, был бы дух мой жив и способен жить.

Получил ли ты мои письма с безумной просьбой приехать сюда и пожить здесь хоть полгода, пока все уляжется там у Вас, отдохнуть, отъесться, побыть со мной? Я и не надеюсь, но, быть может, это все-таки и не такая уж безумная идея? Вспомни, сколько невероятного произошло в нашей – вместе и порознь – жизни, и идея приезда в Монреаль не покажется тебе такой уж мифической. Лелеет же Марина надежду весной побывать в Питере, а значит, и у тебя? А ведь это тоже мифические надежды, потому что, кроме желания канадцев и деятелей в Питере, ничего нет, главное, нет денег. Она, только сама Марина, должна их каким-то образом выпросить в Канаде, тогда поездка станет реальностью. Но в Канаде сейчас тоже не очень легко, кризис, и пока Марина тратит свои деньги, организуя встречи, контакты, как они это зовут, бесконечные ланчи, телефонные разговоры с разными городами и т. д. Так и живем – надеждами… А кроме

них, как всегда, «две спутницы верных – любовь и разлука – проходят сквозь сердце мое»… Живу, Юрочка, бесконечно вспоминаю прошлое, – грустно и радостно, вместе. <…>

Был ли ты, как в прежнее время, в Таллине на новый год и Рождество?

Мы все новый год встретили у меня. <…> Я не очень поняла из твоего письма: что Саша Мишина живет с тобою или где-то в Тарту? Почему? Как хорошо, что Окуджава доставляет тебе все еще удовольствие, как и мне. А помнишь, как на моем старом и дряхлом магнитофоне летом в августе 70 года мы слушали «Моцарта» и «Ель»? Тогда эти песни как-то особенно звучали. Теперь «иные берега, иные волны». Зима здесь дивная. Сейчас мороз, я по-прежнему много гуляю одна, кругом много снега; я очень люблю графику зимних деревьев на ясном закатном небе. Юранька, Бог весть, дойдет ли, и когда, это письмо и другие письма… Но я жарко молюсь все время, чтобы ты дожил до своего 70-летия 28 февраля, чтобы ты был здоров и не очень грустен в этот день, а провел его, как тебе сейчас хочется. Вспомни и обо мне. Помни, как много ты успел в жизни, как много дал твоим ученикам, твоим друзьям, твоим детям, всем любящим тебя. Даже в грустные минуты жизни ты должен отдавать себе ясный отчет в том, что успел больше, чем мыслимо для любого ученого, живущего в твоих условиях. Помни о том, как радостно, пусть и трудно, было всегда рядом с тобой всем, кому выпало счастье быть, жить с тобою. Грустно, больно, что нет в этот день с тобой Зары, но, друг мой, «где б души ни витали»[482], она все равно с тобой. А уж я… до последнего своего дыхания, ты знаешь. Марина передает тебе свои добрые пожелания, любовь и преданность. Помни о нас. Будь здоров, мой милый, мой далекий, мой нежный друг.

Твоя Фрина

P.S. Помнишь маленькое серебряное колечко с аметистом («твой» камень!), подаренное мне тобою? Хотя все «игрушки» я здесь разлюбила, его ношу – особенно теперь, перед 28 февраля…

25 января 1992 года

25/1-92

Юрочка, дорогой!

Эта бедная посылка, разумеется, не подарок ко дню твоего рождения. Но я надеюсь, что она дойдет до тебя к этому времени и напомнит тебе, как я думаю о тебе, как хочу хоть в мыслях быть с тобою в этот день. Как бы ты ни хотел его провести…

Поскольку письма плохо доходят, я пользуюсь посылкой, чтобы еще раз просить тебя: подумай о приезде сюда на время, чтобы отдохнуть душой, побыть со мной, поработать; наконец, просто пожить в тепле, в сытости и любви. Я это повторяю опять, потому что не знаю, получил ли ты хоть одно из писем моих с этой просьбой. Когда это письмо и посылка к тебе дойдут, а кажется, что сбоев с этой оказией не бывает, – я уже получу настоящий статус эмигранта; это должно случиться 30 января. Конечно, это могло бы мне дать возможность поехать в Эстонию. Но есть ли смысл? Да и боюсь я теперь всего – укатали Сивку крутые горки. Со всем этим, жизнь идет, все здесь у нас в порядке: относительно здоровы, хлопочем о другой квартире (пока все не ясно), Марина по-прежнему.

А теперь пишу тебе краткое «руководство» по продуктам, которых ты не знаешь!

1) 10 пакетов супа с креветками или с грибами.

Размельчить в руках сухую вермишель из пакета и всыпать ее вместе с порошком (он в фольговой обертке в пакете же) в 2–2,5 стакана кипящей воды. Варить на слабом огне 2–3 минуты. Получается очень вкусный густой суп, почти что второе блюдо. Кажется, там две порции в каждом пакете.

2) Желтый порошок, куриный бульон (см. наклейку на пакете). Одна полная столовая ложка порошка на 1 литр воды, довести до кипения только. Получается вкусный куриный бульон. В порошке есть и всякие травки.

3) РИС после варки становится белым и вкусным. Я старалась купить тебе такой, который годится на второе, он не слишком разваривается, особенно если варить его в подсоленной воде.

4) Ореховое масло («пена-бата», как его называют здесь).

Это очень полезная вещь для бутербродов с хлебом, печеньем – к чаю.

Я не посылаю тебе кофе, потому что помню, что ты его не пьешь. Лучше – чай.

Вот, мой дорогой, и все. С человеком, который тебе передаст посылку, я совершенно не знакома, здесь работает целая цепочка,

за немалые деньги. Но спасибо им за это, по почте – совсем немыслимо что-то посылать. Если предыдущее письмо ты получишь, или если этот человек может хоть сколько-то времени подождать, – передай с ним, хоть несколько слов в простом конверте для меня. Мне передадут тем же путем и совершенно конфиденциально.

Милый мой Юрочка, будь здоров, будь бодр. Пусть тебе пошлет Господь покоя и сил выносить жизнь.

30.1.92. Свершилось: мы – эмигранты. Помнишь?.. «И горек мне мой сладкий, мой эмигрантский хлеб…»[483]

30 января 1992 года

30.01.92

Юрочка, мой любимый!

Сегодня пришло твое новогоднее письмо, то, куда вложена открытка с Амуром и Психеей. Помнишь, как в год, когда на кафедре в Ун-те отмечали годовщину Н.И. Мордовченко, мы гуляли с тобой и были в Летнем саду? Было очень морозно. Помнишь ли? А что до твоего жуткого сна, в котором ты все догоняешь поезд… я это понимаю и очень жалею тебя. Я никогда не рассказывала тебе <…> как много лет подряд мне снился сон о том, что я должна, но не могу увидеть тебя, что-то препятствует встрече, а я рвусь, но тщетно. Я просыпалась в ужасе, а сон все повторялся с небольшими вариациями. Это все на одну тему: невозможность, невозможность – и страстное желание видеться. А теперь вот между нами океан, и я протягиваю к тебе руки, я так хочу защитить тебя, облегчить бремя нелегкой жизни – и ничего не могу сделать для тебя. Только то счастье, что рвусь к тебе душой, что ты бываешь со мною почти всякую минуту. А в письмах твоих я слышу твой родной, бесконечно дорогой мне голос, вижу твою улыбку, слышу твой смех, несмотря на всю грусть этих писем. <…> Я уж думаю теперь, что кому-то ведь было нужно, чтобы все сложилось так, как сложилось, что, может быть, нельзя нам гневить

Бога, так много давшего нам, а теперь выбравшего для нас путь одиночества и разлуки для тебя не только со мной, но и с Зарой. Ее уход, подкосивший тебя, что-то важное открыл тебе в твоей прошлой жизни: я это чувствую, я радуюсь этому. Ты, конечно, понимаешь, что я имею в виду.

Юранька, письма, увы, пропадают пачками. Любимая газета русской эмиграции желтое «Новое русское слово» сообщила, что под Новый год на Кольцевой дороге под Москвой были найдены горы писем из-за границы, выброшенные и не доставленные адресатам. Такая вот любезность ко всем нам. Так чего хотеть? Хоть посылай письма одного содержания через день: авось, дойдет хоть из пяти одно. Вот почему я буду повторяться, хотя вчера только отправила тебе письмо. Я еще раз поздравляю тебя с днем рождения, такой важной датой для меня, для тебя, для всех, кто счастлив был тебя знать и любить.

Будь здоров, мой дорогой, будь бодр, да наградит тебя судьба за все, за все. И еще: в каждом письме, пока ты мне не ответишь, я прошу тебя: Юрочка, подумай о долгой поездке (т. е. на долгое время) сюда, ко мне. У Марины дивная квартира, где у тебя будет

кабинет и я секретарь – на любое время. Ты отдохнешь, отъешься, проживешь без забот с любящими тебя людьми. Любой ун<иверсите>т здесь, или в Торонто, или в Америке будет счастлив. Хочешь, я свяжусь с Мельчуком или с кем ты скажешь. Ну что здесь такого фантастического? Что три часа лететь, что девять часов. Можно прислать и частный вызов. Можно найти и деньги на билет в долларах, если у тебя нет, потом здесь какнибудь заработать. Подумай, не говори «нет», умоляю тебя. Как бы это было прекрасно! А отсюда отвез бы чемоданы еды для всех. Прошу тебя, подумай, не отвергай сходу, не надо.

Не помню, дорогой, писала ли я о том, что Марина давно уже, еще когда работала, подарила нам прекрасный магнитофон, который может использовать не только кассеты, но и диски. Слушаю музыку, утешаюсь. А теперь еще получила, наконец, и кассеты с песнями Окуджавы. Вчера слушала-слушала – и наплакалась (этакая сентиментальная старушенция!).

Сегодня, после проливного, позавчера, дождя, вдруг +34! Сижу дома, не выхожу. Марина вся в поисках какой-то работы, которую надо самой придумывать, самой организовывать фирму (?!), самой искать деньги для зарплаты себе же. Все это так мне трудно понять, что я уже и пытаться перестала. Мы по-прежнему дружны, но жизнь разводит, она очень занята. <…>

Как подумаю, как ты живешь, мой дорогой, так становится невозможно ни о чем вообще писать. Ну как доставать тебе дрова? Где брать эти безумные деньги теперь? Как ты вообще можешь справляться один с этой немыслимой жизнью? Стало быть, ты для эстонцев не активный гражданин? Тоже весело, ничего не скажешь, хотя можно и пренебречь. Пусть, чего уж там…

Юрочка, я буду, буду писать тебе всякую ерунду как можно чаще, может быть, хоть часть писем долетит до тебя.

Будь здоров, будь здоров, будь здоров – об одном молю постоянно Господа.

Твоя Фрина

P.S. Достал ли лампочки? – вот ведь беда…

5 февраля 1992 года

Дорогой мой далекий друг, здравствуй!

Через океан я протягиваю к тебе руки, обнимаю тебя и молю, чтобы хоть письма достигали твоего слуха. Иначе – как жить, как дышать… Долго от тебя ничего нет, и, как всегда, не знаешь, что это – обстоятельства твои или немилая почта. Вчера я попробовала звонить Лоре[484] в Москву. Оказалось, как я и думала, что ничего из звонка хорошего не получится: душили слезы. По этой же причине не звоню я тебе, хоть иногда от непокоя сил нет жить. Марина часто просит звонить тебе, когда долго нет писем, но я, поверь, не могу.

А жизнь сейчас на каком-то переломе, я чувствую. Что-то сломалось во мне крепко, и надо как-то менять жизнь. Весь вопрос в том, как. Это я пытаюсь решить. Пока ничего не могу тебе сказать, но, может быть, месяца через два что-то и станет для меня ясно. Во-первых, я никак не могу смириться с необходимостью постоянной помощи Марины. Мне кажется, что Вы с Зарой помощь детей и даже друзей в последние годы принимали довольно легко. Может быть, я ошибаюсь? А я вот, всю свою жизнь привыкшая помогать другим, болезненно принимаю помощь от своей родной и единственной Марины. Может быть, это излишняя гордость, не знаю.

Во-вторых, я задыхаюсь от полного одиночества и полной связанности с Вилем, который не может здесь без меня шагу ступить. Т. е. может, но не хочет. У меня совсем нет здесь воли, свободы дышать. Это необходимо менять. В-третьих, я трудно привыкаю к разным разностям канадской жизни: так называемым судам с хозяином квартиры, оказавшимся жутким разбойником, нерешенным проблемам быта. Хочется покоя, защищенности, а их нет. Юрочка, ты пишешь, что, при всем ужасе, жизнь ближе к сути. Что есть ее суть? – вот вопрос. Стыдно признаваться, но я на эту еду смотреть не могу, ничего, ничего из возможного есть не хочу. Смешно думать, что когда-то я страдала от невозможности похудеть. Вот теперь худею без всяких стараний с моей стороны. <…> Я бы и писала тебе чаще, но жизнь складывается из бытовых мелочей и трудно меняющегося печального настроения. Так о чем же писать? Вот собрала тебе посылку, надеясь, что она придет к 28 февраля. А теперь ясно, что корабль придет в Питер не раньше 27, а значит, и к тебе она попадет позже. Да и что в посылке-то? Так, всякая чепуха. Только хотелось хоть чем-то напомнить о себе – несколько дней тебя покормить. Боже, Боже, как давно я тебя не кормила, как давно ты не кормил меня, не

рисовал на салфетках рыб и «набитых дур»[485]. Боже, Боже, «как грустна наша жизнь» – кажется, так у Булгакова…

Идет весна. Как и у вас, холодные утренники, а днем ярко светит солнце и пахнет, пахнет весной. Однако позавчера вдруг насыпало горы такого пушистого снега, что его до сих пор все еще не убрали. Двигается мой английский, к сожалению, не благодаря занятиям, которые никуда не годятся здесь, а от чтения английских книг и… моей наглости: я не боюсь говорить, хотя делаю, вероятно, сотни ошибок. Как тебе ни покажется смешным, на плаву меня держат занятия чисто физические – физкультура и плавание. Не знаю, что бы я была без них. <…> Полученное гражданство дает возможность хоть каких-то поездок. Оставив мысль об Италии (Маринина заветная), меня утешают возможностью поездки на океан, на северо-восток Квебека. Не знаю. Это зависит от Марины и ее обстоятельств. Пока она занята многочисленными проектами, но работы как таковой нет, а есть случайные крохотные заработки. И слабая надежда поехать в Питер, увидеть Юру, тебя. Выйдет ли… Вот если бы ты приехал сюда, как я тебя зову уже в четвертом письме, так пусть бы к черту летели и все поездки, и все другие планы.

Федька провалил физику, противный. Ничего не попишешь: он сам распоряжается своей судьбой. Это не даст ему возможности поступать в Ун-т в следующем учебном году[486]. Придется нормально кончать колледж, то есть учиться в нем еще год. Ему исполняется завтра 18 лет, и он совершенно недоступен для наших советов, что, кажется, нормально, при том еще, что он сам себя содержит. Марина не бывает свободна ни минуты, горюет, что на полках стоят нечитанные книги, что пишет какие-то дурацкие статьи, ничего не делая серьезно. Такова здесь жизнь. Теперь я начинаю понимать, почему канадцы с радостью сидят в ресторанах вечерами, почему проводят выходные в полной праздности. Очень устают здесь, очень много работают. Двухнедельные отпуска кажутся им вечностью. Федька раз в году позволяет себе поехать на один-два дня в горы на лыжах. Это дорого. Но какое это событие для него! <…>

Будь здоров, мой дорогой. Целую тебя.

Твоя Фрина

5. II/92

Около 3–9 февраля 1992 года [487]

Друг мой!

Посылаю тебе дурацкую газетку с моей дурацкой новогодней статьей, которую из меня силой вытянула дура-корреспондентка. Потом она, даже не почистив стиля устной речи, быстро оттиснула. Кстати, фотография старая (сужу по галстуку – я его давно уже не ношу) – теперь я, по сравнению с этой стареющей обезьяной, – обезьяна уже совсем старая. Да и пора: через три недели 70 (! Боже мой, сам не верю!) лет.

Живем мы странно: утром зайдешь в магазин – цена такаято, зайдешь на обратном пути, т<ак> к<ак> пока туда шел – торопился и не купил, – уже в пять раз дороже или же просто пустые полки. Однако не пугайся – ничего похожего на голод у людей среднего заработка нет, только хлопотно. А если запасены дрова и картошка, как у меня, то и хлопот нет.

Погода у нас гнилая – то дождь, то снег. Но туманы очень красивые какой-то болезненной красотой. Приезжающие из Америки туристы говорят, что у нас интересно. Вероятно, так, если вспомнить какого-то поэта-диссидента 60-х гг.:

> Я на свет взираю из-под столика,
> Вижу ближнее и вижу дальнее —
> Чем событье интересней для историка,
> Тем оно для современника печальнее[488].

Пришла из школы внучка Саша (Мишина) – десятый класс, всех у них 12. Длинноногая, выше меня, на Кавказе уже давно бы сватали. Пришла веселая – оценок нет, у всех учительниц грипп. Так что у всех свои маленькие радости, все как у людей.

Ну, я разболтался, нужно уходить.

Обнимаю тебя, приветы Марине и твоим мужчинам.

Ю. Лотман

3. III.92.

Начало февраля 1992 года

Дорогой мой друг!

Пишу тебе сегодня трудное для меня письмо. Новый адрес на обороте конверта означает не только переезд на новую квартиру, но и мою новую жизнь – уже в одиночестве. Мы, вернее я, решила расстаться с Вилем. Пусть не звучит это так страшно для тебя. Несколько раз за большую и грустную нашу жизнь вместе я пыталась расстаться с ним.

Первый раз в 53 году, когда Марине было два года, я струсила и отступила. Во второй раз, в 72-м, когда уже был ты, я боялась этого шага, потому что он поставил бы нас, тебя и меня, в неравное положение и огорчил бы тебя. К тому же, тогда, все зная, Виль просил меня остаться. Это было непростительной ошибкой с моей стороны. Потом он заболел – и жизнь сама отменила все мои решения. <…> Может быть, дома я бы и не решилась: там борьба за выживание требовала совместных усилий. Здесь все обострилось до полной невозможности жить. Я все время преодолеваю <…>, не говоря об остальном, что было всегда. И здесь может он прекрасно жить один, для этого есть все условия. Конечно, решение далось мне нелегко, конечно, жаль человека, который не привык ни о чем заботиться, ни за что отвечать. Разумеется, ни я, ни Марина не собираемся отрекаться полностью. Мы будем помогать во всем, но я буду одна и – свободна.

Юра, если бы ты знал, до чего я дошла! Пусть мне осталось жить месяц, год – не знаю, сколько, но ведь моя жизнь чего-нибудь же стоит? Неужели только долг, долг, забота? (Письмо похоже на оправдание, а я не хочу оправдываться. Даже если ты и осудишь мой шаг, как бы мне ни было от этого больно.) Устала смертельно, разучилась радоваться, улыбаться, что бы то ни было любить, превратилась в жалкий комок нервов. Ну разве это мой путь?

Виль воспринял это вполне нормально; видно, он понимает, как я живу, и понимает, что не будет брошен ни мною, ни дочерью. К великому счастью, – спасибо ей, дорогой Марине, – нам удалось получить в соседних очень хороших домах по однокомнатной государственной квартире, очень ухоженной, гораздо более дешевой, чем наша темная, все близко: и жилье Марины, и дешевые магазины и др. Один недостаток: в домах живут одни старики (мы-то, конечно, молодые…) <…>

Может быть, ты думаешь, что Виль болен и не может жить один? Может быть, смерть Зары изменила твой взгляд на

семейные отношения? Все может быть, да что делать. Поверь, мне самой страшно. Мне 64 года – и такая перемена. Я, разумеется, ни маме, ни друзьям не говорю. (Далее неразборчиво. – М.С.)

Юрочка, как я скучаю по тебе! Не думай, что мое новое положение как-то влияет на зов к тебе: «приезжай!» Все то же: квартира Марины к твоим услугам, а я все равно была бы с тобой. Если хочешь и можешь, приезжай. Говорят, бешеные деньги стоит билет. Но немного долларов мы с Мариной можем тебе передать, или купить билет здесь. Только скажи, можешь ли ты ехать и хочешь ли.

Я вложила на всякий случай в посылку две лампочки, но некому здесь мне сказать, годятся ли они для вашего напряжения. Как с дровами, не мерзнешь ли ты? Писем от тебя нет больше месяца, письма отсюда в Россию, на Украину пропадают, все жалуются. Хоть пиши под копирку и дублируй каждое. Как тяжело писать, зная, что ты не прочтешь моих путаных строчек.

Дорогой мой Юрочка, мой безбожник, помолись как-нибудь за меня. Боже, как я одинока, как нуждаюсь в поддержке, как изверилась в своих силах! Я и вправду не верю, что еще можно жить, что может хоть что-то еще радовать, быть интересным. Я вяло читаю английские книжки, просто как упражнение для языка, никуда теперь не хожу, ибо все хлопоты занимают много времени. Это ведь и не развод, что здесь безумно дорого, это называется separated.

Выходят ли книги? Что ты пишешь сейчас? Передохнул ли немного после осеннего семестра?

Будь здоров мой дорогой, обнимаю тебя нежно.

Твоя Фрина

Вот еще раз мой новый адрес:

F. Sonkina

5725 Westbury, apt. 515

H3W 3E6 Montreal, Quebec, Canada

Тел. прежний 486-5836

25 февраля 1992 года

Каракас.

Милая Фрина!

Пишу тебе – не падай в обморок – из Каракаса (Венецуэла). Как я сюда попал? По самым прозаическим причинам. Как говорит Альбер в «Скупом рыцаре», «Безумству что было причиной – скупость». В Каракасе мой день рождения отметили научной конференцией и денежной премией в 1000 долларов. Это меня и соблазнило. У нас инфляция растет по-сумасшедшему: кг масла и мяса доходит на рынке (а в маг<азинах> ничего нет) до 200 р. Миша работает на 3-х службах и еле кормит своих пятерых детей. А всех внуков у меня, как знаешь, семеро[489]. Конечно, «страшен сон, да милостив Бог» – мы не голодаем совсем, даже живем недурно, сестры в Питере тоже перебиваются. Но все же пренебречь премией я не решился. Да и конференция дает мне возможность обсудить некоторые новые идеи.

Я бы не поехал – просто бы не решился, – но организаторы обеспечили билетами и всеми удобствами не только меня, но и Лешу. На этом условии я согласился – в такую дорогу ехать один я бы не смог.

Конференция еще не началась.

Для меня она будет большой проверкой: я приехал с совершенно новыми и, как самоуверенно думаю, – важными идеями.

Что у тебя?

Получаешь ли ты мои письма? Я твои стал получать относительно регулярно с 10–12 дней на дорогу. Получила ли ты письмо с вложенным письмом же для Игоря Мельчука? Может ли оно пригодиться тебе и Марине? В последнем письме ты намекнула на какие-то решительные планы. В чем они?

Знаешь, я со смерти Зары не смотрел в зеркало – не приходилось: бреюсь я перед карманным, а другое висит в темной прихожей. Сейчас глянул в зеркало (здесь ими все стены увешаны) – старик – седой, сгорбленный, весь в старческих морщинах.

Что ж, теперь так…

Да и естественно: через несколько дней – 70 лет. Как-то вдруг.

То солдатом был, то студентом – и вдруг 70 лет…

Обнимаю тебя, друг мой, сердечно.

Марине и всем твоим – приветы.

Всегда твой Юра

Обратно лечу в Тарту через Амстердам – Хельсинки 2-го III.

1 марта 1992 года

Каракас.

Милая Фрина!

Пишу тебе второе письмо из Венесуэлы. Доклад прошел очень хорошо и длился (вместе с перерывами для переводов) более двух часов. Это было первое полное изложение моих новых мыслей.

Мне было очень полезно так высказать их, хоть для себя.

Жару (не очень большую) и климат я переносил легко – сейчас собираемся в обратный путь, который будет нелегким: два дня с ночевкой в Амстердаме (и пересадкой там), полетом в Хельсинки, пересадкой там на русский (советский) самолет и перелетом в Таллин. Оттуда поездом домой. Конечно, я не решился бы на такой путь, но Алеша меня опекает. Все же теперь я несколько стал храбрее, знаю, что самолет могу перенести. Так что позволяю себе мечтать и о Канаде. Но это очень сложно и по здоровью, и по деньгам. М<ожет> б<ыть>, удастся договориться на будущ<ую> зиму на какие-нибудь лекции в США этак на месяц-полтора и тогда на пару недель залететь в Канаду. Но это мечты – запасемся терпением. Чем меньше надежд – тем меньше разочарований.

Очень тебя обнимаю.

Привет Марине, поклоны мужчинам. Всегда твой

Юра

Каракас.

1. III.92.

Март 1992 года

Здравствуй, мой друг!

Опять пишу наобум: письма ни по-ахматовски, ни по обычному способу не ходят, так вот пишу в никуда. И очень это трудно, хотя ты как-то написал: «пиши чаще, ведь это нетрудно». Я всегда раньше каким-то образом отмечала твой день рождения: то грустно-весело обходила «наши» места, то, при случае, где-нибудь тихо сидела и выпивала глоточек за твое здоровье, то просто (очень старалась!) оставалась одна дома и предавалась воспоминаниям. Но в этом году, когда тебе исполнилось 70 лет, именно в это самый день, 28 февраля, я переехала на новую квартиру, одна, чтобы начать в 64 года (!!!) новую жизнь.

Я тебе уже писала, что мы расстались, но это развод поканадски, собственно даже не развод, а отдельная жизнь (денег на развод нет, да и зачем он мне?). Живем мы в соседних домах, у каждого по прекрасной однокомнатной квартире. Дома эти государственные, все здесь дешевле и удобно очень. <…> тишина, вид из окна дивный: небольшой парк вблизи, купол Сен-Джозефа, елки под окнами, летом будут цветы. <…> Конечно, если бы не добилась Марина, вовек нам бы не видать этих двух квартир. Теперь хочется думать, без промежуточной «посадки» в дом для престарелых, уже будет только последнее переселение, последний адрес. Это уже не наша забота.

Разумеется, я помогаю, но Виль неплохо справляется сам и настроение у него бодрое. Видно, уж очень ему тоже было трудно со мною. Могу понять, и слава Богу, что все по-хорошему. Успокоится за нас и Марина, которая не могла смотреть, как я погибаю. Знают о нашем решении только власти, – им положено, – Марина да ты. <…>

А вот посылка, которую я тебе послала, так надеясь, что она поспеет к 28, все еще не пришла: корабль где-то застрял.

Только что Марина дозвонилась наконец жене И. Мельчука. Сам он, увы, в Германии до конца этого года. Жена была очень мила, но не ей же передавать твое письмо Игорю с личной просьбой о Марине. Он, правда, будет в мае здесь две недели, Марина попробует его застать. Да вряд ли, не живя здесь, он что-то сможет сделать. Жалко, да ничего не поделаешь. Видимо, он живет и работает там, как и ты, по Гумбольдтовской премии?

Да будет так!

Ф.

12 марта 1992 года

Милая, милая Фрина!

Пишу тебе второпях, т. к. с завтрашнего дня почта в Америку возрастает в цене на n + 1 (как говорят математики, когда выражают бесконечно большое число) раз. Вообще мы живем как Алиса в стране чудес, но это все пустяки…

Почти одновременно я получил от тебя посылку и письмо, сообщающее о принятом тобой решении[490]. Ты имеешь безусловное моральное право принимать любое решение в этом плане. Я полностью тебя одобряю и понимаю. Но взвесила ли ты саму себя? Мне очень трудно на расстоянии – временном и пространственном – что-либо советовать. Знай только, что я всегда тебя пойму и одобрю, даже, если ты потом почувствуешь, что разрыв все же шел по живому телу.

Огромное спасибо за роскошную посылку. Мы всем кланом устроили огромный пир. Все вкусно, интересно и красиво. Дети были просто очарованы. Но, друг мой, ты просто разорилась! Больше этого, прошу тебя, не делай. Мы не голодаем, хотя и живем в каком-то странном мире с астрономическими ценами, которые во много раз обгоняют наше, тоже растущее, жалованье. Пока стоишь в очереди в кассе, вещь дорожает, как в сказке.

Получила ли ты мои письма из Венесуэлы? Это была дикая авантюра, но прошла она успешно. Венесуэльцы оплатили дорогу не только мне, но и Алеше, и я перенесся, как на руках.

Получила ли ты мое письмо со вложенным письмом к Мельчуку? Может ли оно быть чем-либо полезно Марине? Мне так хочется оказать вам обоим – моим милым канадским дамам – какую-нибудь помощь.

Я кончаю, т. к. письмо надо отправить.

Целую тебя нежно,

Твой Ю.

13 марта 1992 года

Дорогой Юра!

Я одновременно – вчера и сегодня – получила два твоих письма: одно, еще январское (!!!), из Тарту с письмом к И. Мельчку, другое из Каракаса. Второе меня ошеломило. Радуюсь тому, что нашел в себе силы лететь, прекрасно понимаю, что значит для Вас всех тысяча долларов. Может быть, и для Леши поездка была интересной. Думаю, что понимаю и твое желание «сбежать» – от юбилея в далекую Венесуэлу на интересную тебе конференцию. Хотя твое письмо из Каракаса написано до конференции, но я верю, что все сошло лучшим образом, что ты получил так необходимую тебе радость от «опробирования» твоих новых, важных для тебя идей. Мой дорогой друг, далекий, грустно же мне оттого, что вот был ты где-то уже в «моем» полушарии, но мы – не свиделись. Видно, надо навсегда примириться с мыслью о невозможности нашего свидания на этой земле. Конечно, никогда я не смогу обеспечить того, что могут ученые, имеющие деньги и создавшие тебе максимум условий для поездки…

Помнишь стихи Баратынского?

Не ропщите: все проходит,
И ко счастью иногда
Неожиданно приводит
Нас суровая беда.
И веселью и печали
На изменчивой земле
Боги праведные дали
Одинакие криле.

Прав и ты: нечего роптать! Мои – новые – окна смотрят на восток, т. е. в сторону океана, т. е. в твою сторону, так что…

Я уже писала тебе о своей новой жизни. Конечно, это «развод» по-канадски, т. е. никакой не развод, а так, отдельное жилье. Я и Виль видимся ежедневно, я помогаю чем могу и в чем есть нужда. Но это все равно другая жизнь: впервые в жизни у меня действительно есть своя комната, я могу день, ночь, еще день распоряжаться собою как хочу. И – нет постоянного раздражения. Думаю и вижу, что и Виль спокойнее. Дома – рядом, телефон – всегда к услугам. Марина, увы, была полна благих намерений особо побыть с отцом, хотя бы первое время, но это трудно ей.

Сейчас, временно, три недели, работает на радио, заменяя отпускников. Уходит в 6 утра, приходит в 8 вечера, не прерывая поисков работы. Собственно, так же она была и весь минувший с ее увольнения год. Постоянной работы все равно нет. Она благодарит тебя за письмо к Мельчуку, постарается пробиться к нему, когда кончится работа на радио. Говорят, что он очень занят и встретиться с ним не просто.

Обо мне ты можешь теперь совсем быть спокоен. Мне живется легче во всех отношениях. Ну а постоянные тревоги, как у всех нас, всегда со мною. Особенно в последнее время мучает мысль о Юре – что он, как он? Что посылки, – при алкоголизме Андрея много ли ему перепадает?..

Кстати, получил ли ты мою посылку, обрадовала ли она тебя хоть немножко? Хотелось бы большего и лучшего; увы, мне и это, по деньгам, не очень просто. Русские ребята, затеявшие четкую эту работу (во все концы моего несчастного отечества), дерут за это немало. Правда, спасибо им за такую возможность. Я послала посылки Юре, маме и сестре. Виль и Марина шлют тебе поклоны. Федьку вижу очень редко. <…>

Будь здоров, дорогой Юрочка. Обнимаю тебя.

Твоя Фрина.

P.S. Одна мысль неотступно преследует меня и не дает покоя. У меня нет оснований скрывать ее, больную мысль, от тебя. Вот она: я думаю, что если бы даже жила сейчас в Москве, ты не позвал бы меня к себе даже на время. Ведь правда? Я права? Значит, что-то нас серьезно разъединяет?

13/III-92.

Еще раз мой новый адрес: F. Soknina 5725 Westbury, apt 513, Montreal, H 3W 3E6 Quebec, Canada

14 марта 1992 года

Милая Фрина!

Вчера отправил тебе письмо второпях, сегодня пишу продолжение. С понедельника (завтра) письмо в Америку будет стоить 40 рублей (!). Но все же норму: два письма в месяц я пока что могу себе позволить. Это не так уж дорого, если считать, что письмо в Ленинград (тоже заграница!) стоит 20 рублей.

Но не будем об этом думать. Как говорил Банко в «Макбете» Шекспира,

> Земля, как и вода, содержит газы,
> И это были пузыри земли…

Еще раз спасибо за посылку. Все дошло, все исправно и все замечательно. Грустно только думать о твоих хлопотах и тратах.

Еще раз большое спасибо.

Относительно твоего решения семейного статуса, то я считаю, что ты имеешь полное право решать так, как тебе это сейчас по душе. Если ты найдешь хоть крошку покоя, то все уже оправдано. Право на это ты заслужила. Одно сознание того, что ты хоть немного спокойнее и наконец получила то, что по-французски передается непереводимым выражением chez-vous (вернее, в данном случае – chez-soi)[491].

Получила ли ты мое письмо с вложенным в него письмом к Мельчуку и может ли оно быть чем-либо полезно тебе и Марине? Мне бы очень этого хотелось.

Сегодня я один – все разъехались – три дня одиночества. Это отдых. Даже близкие и любимые, но взрослые и, следовательно, отчужденные люди утомляют. Нам все хочется, чтобы они были теми, что прежде, т<о> е<сть> детьми. Тогда нам кажется, что и мы все еще те же – то есть молодые. Но они уже не дети.

От этого им трудно с нами, а нам с ними.

Жить врозь скучно, а вместе – трудно. А когда к этому примешиваются мелкие, но непрерывные уколы бытовых трудностей, нехватка почти всего, раздражение, то незаметно для себя начинаешь погрязать во всякой ерунде.

От своего юбилея (черти бы его побрали) я бежал, но не убежал. Он догнал меня в Тарту и будет отмечаться в университете в конце марта – «Пир во время…», если не чумы, то чего-то напоминающего грипп с соплями и кашлем. Будет научная конференция (я должен важно слушать, выступать мне не

положено)[492], потом – концерт – Моцарт (это действительно мило и приятно), потом чай и «по пирожному на брата». Такое роскошное угощение потребовало экстраординарных финансовых затрат.

Друг мой милый, я устал, устал не от чего-нибудь конкретного, а вообще устал.

Помнится, на войне я – отнюдь не Геркулес! – удивлялся тому, как быстро восстанавливаются силы и в какой мере неисчерпаем резерв их. Тащишься голодный по глубокому снегу с тяжелым грузом, – сил нет, мороз градусов 20, а с тебя пот льет, кинешься на снег – подыхать буду, а не встану. И уже через несколько минут силы вновь появляются, и опять за дело. Теперь этот источник иссяк. Ты молодец, я очень хвалю тебя за то, что не бросаешь плаванья. Вообще держись, береги себя – для Марины, для меня. Последняя статья Карла Либкнехта перед тем, как его убили, называлась: «Trotz alledem», т<о> е<сть> «Наперекор всему». Это да будет наш лозунг.

Обнимаю и целую

Всегда твой Юра

Тарту.

14.111.92.

Апрель 1992 года [493]

Санкт-Петербург.

Милая Фрина!

Пишу тебе не из Тарту, а из бывшего Ленинграда (для нас всетаки Ленинграда!). Приехал я на отхожие промыслы – заработать денег лекциями в Доме писателей. С деньгами поднадули – дали 300 р., что у нас – два раза средне сходить на рынок, а если разогнаться, то и один. Но, против ожидания, лекции прочлись интересно (идеи новой, еще не вышедшей книги). Председательствовал Борфед[494], пришел Лихачев, с которым мы расцеловались, Левушка, Володя – бывший Гельман[495] – и еще куча наших + мои бывшие студенты… Так что публика была приятная. А потом я походил по Летнему саду – по нашим местам – и помянул прошлое. Оно не уходит из души.

В Питере пробуду еще 2–3 дня. Ехал я сюда, настроившись на близкую смерть, – боли в желудке и печени я диагностировал самым мрачным образом. Но очень подробные анализы, кот<орые> мне организовала Ляля, показали, что все во вполне приличном виде. Кроме большого камня, в печени ничего нет. Так что живем дальше!

Мне надо очень много работать, срочно надо сдать три(!) книги (две из них маленькие) и очень хочется одну серьезную работу кончить.

От тебя около двух недель нет писем. С нового места были два – и все! Как ты? Что ты? Была ли Марина у Великого Семиотика?[496]

Пиши мне, иначе я впадаю в тоску.

В Питере дождь, ветер, слякоть, грязь, все голодные и злые, а на улицах продают барахло. А в целом очень хорошо – наш город. Целую тебя нежно. Марине приветы.

Твой Юра

6 апреля 1992 года

Юрочка, мой дорогой!

Получила сегодня твое письмо из Ленинграда. Как всегда теперь, и радость, и печаль. Но главное все-таки радость: слава Богу, что сделали тебе всякие исследования и нашли только камень (хотя и это так плохо), что лекции прошли хорошо, что повидался с приятными тебе людьми. Спасибо, что вспоминал о нас в моем любимом городе. Грустно оттого, что Левка, Вовка Гельман[497] тебя слышат, я – нет, что ничего твоего не читаю, ничего из того, что тебе так важно, что продумано тобой в последние два года, – я не знаю и не могу узнать. Одна надежда, что напечатают что-то и тогда.

Приезжие рассказывают о Питере всякие ужасы[498], вот и Женька[499] написала мне, что «рыдала на Невском». Разруха, видно, всегда одно и то же. Но вот как ты будешь ездить в Питер, если Вам меняют паспорта и будут визы? Какие же это будут деньги?

Я же живу себе припеваючи, свободна, как птица, от забот, от нянчания, еще бы Марине работать… Увы, как я тебе уже писала, твой «великий семиотик»[500] год будет жить в Мюнхене, так что для Марины он ничего сделать не может. Жалко ее, бедную, ужасно. Целый год бьется, ни одного дня отдыха, а все без толку. Надо бы переучиваться, что здесь вполне возможно, да и французский у нее уже вполне хороший, но ведь работать все равно надо, а учиться тоже не меньше трех лет. Но – будем надеяться на лучшее.

Сегодня день твоего Ангела – Святого Георгия. Была в церкви, да что-то и не очень успокоилась. <…>, вообще же я жду теперь только разнообразных чудес, как мне в мои 14 лет, в войну, в Саратове, нагадала гадалка. Во-первых, что буду жить за границей – это исполнено. Во-вторых, что разойдусь с мужем, что, как ни удивительно, тоже свершилось. Осталось последнее: выйти второй раз замуж за моряка, по предсказанию. Вот только неизвестно, на каком морском дне обитает сейчас этот мой суженый? <…>

Одному тебе служила бы я с радостью и любовью, да не судьба. Но ты был, ты есть в моей жизни, и никто-никто не отнимет этой моей главной радости. С нею тоже можно и должно жить.

Я вспоминаю твои рассказы о мае 45 года в Потсдаме, когда было так же холодно, шли дожди и как тебе было там, после войны. И твой театр, и все-все я помню[501].

Дай Бог тебе сил и здоровья, чтобы все, что ты делаешь и будешь делать, доставляло тебе радость. Как ни одиноко, но все же, пока есть университет, может быть не так уж страшно. Жутко думать, как с едой, как с дровами, каков вообще твой быт сейчас. Может, все-таки мои посылки необходимы, хоть раз в три-четыре месяца? Ты мне напиши откровенно, все-таки я же могу как-то сберечь тебе на самое необходимое.

Сестра вот собирается сажать картошку и прочее, как мы в войну в Саратове. В первый год, когда после жуткой зимы мы ждали этого первого урожая, как манны небесной, у нас ее ночью всю вырыли, украли, и мы с мамой сели на землю и горько плакали. А все равно, я помню, что хоть и тяжко было, но часто и весело. Юрочка, я помню, тебя волновала судьба моих дневников (где все только о тебе) и твоих ко мне писем. Так вот: я договорилась с Мариной, если я тяжело заболею или внезапно умру, она все уничтожит[502]. Не беспокойся. Как мне ни грустно, но я понимаю, что оставлять это некому. Ни моим внукам, ни твоим сыновьям все это не нужно. Так что будет все, как я решила.

Прощаюсь, хочу побыстрее опустить письмо. Письма пропадают жутко. Получаешь ли ты их? Я все равно пишу каждые две недели.

Целую тебя нежно и обнимаю.

Твоя Фрина

19–20 апреля 1992 года

Дорогой мой Юра!

Не писала тебе больше двух недель – пасхальные два дня мы провели с Мариной в очень странном месте в часе езды машиной от Монреаля, в каком-то знаменитом здесь йоговском ашраме. Там занимаются йогой, едят вегетарианскую еду, делают специальную гимнастику и…медитируют без конца. Мне это далеко, далеко, но любопытно. А главное, место дивное: высокие холмы Лорентиды, часть Аппалачей, еще покрыты снегом; вокруг леса, такие, как ты любишь, т. е. дикие, заросшие, не расчищаемые никогда; всё частные владения, кругом загородные дома, но тишина такая! Только птицы поют да ветер. Очень было это хорошо. Марина занимается этой гимнастикой, чтобы держать себя в форме, я же бродила, читала, глядела на славных людей, вспоминала иные леса… Боль ушла, слава Богу, остались воспоминания, это уже можно выдержать.

Живу я просто-таки хорошо. Все сейчас здесь меня радует. Оказывается, дело было так просто разрешимо, да вот решитьсято было трудно. Но насколько легче нам обоим! А уж о Марине и говорить нечего: воображаю, каково ей было глядеть на меня. Она-то все понимала, но что можно было поделать, пока я сама не отважилась. Теперь живу, дышу, хожу в церковь, неможется – лежу, читаю что хочу, когда хочу, никто меня не спрашивает, что я делаю, что собираюсь делать <…>

Никак не начнется весна. Вот уж несколько раз казалось, что идет тепло, но выпадал снег, снова задувал холодный ветер с севера, и весна отступала, уже давно прилетели птицы, поют-заливаются по утрам, а поскольку Монреаль окружен водой со всех сторон, то с реки в город летят огромные чайки-альбатросы и кружатся здесь у моих окон, у балкона, и будят меня по утрам, это напоминает мне Рижское взморье. Сегодня у Марины пасхальный обед, где вся семья объединяется для приятных бесед… <…> В очередной раз сорвалась поездка в Россию. В каждом ее намерении бывает реальная надежда, а потом все разлаживается, работы как нет. <…>

А я, Юрочка, перечитываю твои книги, вот мои занятия сейчас. Перечитала биографию Пушкина, словно в первый раз, как с Карамзиным. Как радостно видеть тебя в каждой строчке, следить за твоими задушевными мыслями и думать, что понимаешь, к каким размышлениям вели тебя твои прежние работы. Увы, ведь ничего из того, что ты написал за последние года, я не знаю, да и узнаю ли, когда книги не выходят, даже ведь

Собрание тоже заглохло. Почему ты не пробуешь издать что-то в университетах здесь где-нибудь? Или в Европе? Мне писала М.И. Гореликова[503], которая живет сейчас и работает где-то в Айове (командировка на два года), что в июле в твою честь конференция в Англии[504]. Вот, может быть, там и издали бы? С кем поедешь в Англию? И как прошла юбилейная конференция в Тарту? Тягостно или не очень? И приезжал ли кто-нибудь из Москвы?

Мне кажется, почта из России стала идти лучше: последнее письмо из Латвии шло всего одну неделю. <…> Но тяжкие времена меня миновали, я надеюсь; пиши и ты, как сможешь, как хочешь часто, не насилуй себя и денег больших на письма мне не трать… Будь здоров, мой дорогой, очень хочется говорить с тобой, не писать. По-прежнему, если что-то для себя интересное увижу, или почувствую, или мне грустно, или весело, так хочется тебе, и только тебе, об этом сказать. Но «не сладко ль я живу, тобой лишь дорожа»?

Обнимаю тебя нежно,

Твоя Фрина

19 – 20.5.92

26 мая 1992 года

Здравствуй, мой друг!

Если отсутствие новостей – лучшая новость, то сейчас у меня, можно сказать, все в порядке, и новостей никаких. А то, что случается и бывает наполнением жизни, так как об этом рассказать в письме, за тысячи, тысячи миль от тебя? Особенно почему-то трудно думать о разделяющем нас океане как о враждебной стихии. Словно, если бы это была только суша, так было ближе или проще добраться… <…>

Думаю свою вечную думу о прошлом, о своем настоящем. Ничего нового придумать, естественно, не могу. Хотелось бы считать, что если бы Марина была устроена, т. е. работала или/и была бы замужем, то было бы легче. Наверно, это иллюзия. Но, что делать, когда своего нет, – живешь отраженной жизнью дочери. Она, бедная, прошла все колледжи, все университеты, даже делала попытки прорваться в какой-то русско-канадский бизнес (главным образом, чтобы встречаться в России с Юрой), но ничего не выходит нигде. Теперь она подумывает о том, чтобы совсем поменять специальность, кажется что-то в психологии, что здесь, кажется, нужно. Но это года два-три учебы, а жить нужно будет на пособии, как наше, а значит, все летит: квартира, всякие отвлечения/развлечения и т. д. Ах, ничего-то я не понимаю в этой жизни. Федя кончил первый курс колледжа (это равно в Квебеке первому курсу ун-та), провалив химию, но первым на курсе по математике. Работает, пока хозяин его не выгнал. Здесь настали тоже странные времена: я не знаю ни одной семьи, где бы он, или она, или оба не лишились бы работы. Может быть, это кончится. <…> Впрочем, какую-то работу Федька себе все равно сыщет. Слова Богу, что сам себя содержит. Бывают здесь разные нищие русские гастролеры; был недавно З. Гердт, также кукольник образцовского театра. Насладилась я прекрасной русской речью, впервые поняв, как мог Тургенев писать свое стихотворение в прозе о русском языке или А.А. Ахматова свое «…и мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово». Устала я от разнообразных, не русских, языков. У нас уже было лето и жара в 30 градусов, а вчера опять похолодало.

Цветет здесь все просто немыслимо, весь город в сирени прямо-таки врубелевского темно-фиолетового цвета; отцвела магнолия, не похожая на нашу южную, но прекрасная: цветы, как орхидеи, и кусты ее, когда цветут, совсем без листьев. Под моим окном белыми шарами долго цвели три яблони, но вчера холодный ветер смел все их цветы. Хожу одна, гуляю, слушаю

птиц. А соловьев здесь нет и белых ночей – тоже. Как сейчас светло в нашем Ленинграде, светло, наверное, и у Вас! Позавчера были с Мариной на приличном концерте, и я в первый раз слушала короткую оперу Римского-Корсакова «Моцарт и Сальери» с прекрасными русскими певцами (откуда-то взялись здесь!). А еще привезли в Монреаль разнообразные римские древности и с канадско-американским размахом все это интересно показали, так что я как бы в Риме побывала.

Виль, конечно, нуждается во мне: врачи, кое-что в быту, но в целом принял эту новую жизнь, а я обрела покой, пока еще, правда, не тот, что просил Левий Матфей для Мастера…[505]

Юрочка, я надеюсь, что ты получишь это письмо до поездки в Англию в июле. Пиши мне, пожалуйста. Без писем твоих трудно, а теперь они из-за денег проклятых будут редки. Как твое здоровье? Что камни, как ты с ними живешь? Не дай Господи, операция.

Обнимаю тебя и нежно целую.

Твоя Фрина

28 июня 1992 года

28/VI-92

Дорогой мой Юрочка!

Твое последнее письмо из Ленинграда пришло 5 мая, т. е. писем от тебя нет уже месяц и 20 дней. По негодной своей привычке никак не могу думать, что дело в дороговизне почтовых расходов; а думается все только о болезнях да бедах. Запрещаю себе, а все равно думаю – днем и ночью. Одно утешение, может быть, ты собираешься в Англию и тебе не до писем?

Сама я, должна тебе признаться, пишу сейчас с большим трудом; расстояние и время делают свое дело. Событий, правда, нет интересных, вообще нет и житейских новостей. Так о чем же писать? Вот если бы поговорить… Стопором для моих писем стало то, что разница между жизнью здесь и у Вас, где буквально надо биться за кусок хлеба, так велика, что совестно писать тебе о том, что меня занимает, тем более о том, что терзает. Да, здесь еды полно, здесь никто не голодает. Но если бы каждую минуту можно было думать о тех, кому во сто раз хуже, чем мне… Думаю, думаю, но это мало помогает.

Ну, все-таки напишу тебе, что у нас слышно. У Марины все без перемен, работы нет и нет. Кажется, перепробовано все, чтобы найти профессиональную работу. Не хочется ей после четырех лет на радио и 15 лет преподавания идти нянчить или пасти старух, как поголовно все русские эмигранты. Федька получил приглашение из двух университетов: оттавского и торонтского. Думает и выбирает, а пока кончает год и работает. Нужны большие деньги, которых нет, а хлопотать о стипендии он не желает. Я себе живу. Эйфория от свободы прошла: «качаюсь на качелях» между желанием полной свободы и жалостью пополам с долгом. Здесь мне никто не поможет, пока сама не смогу себя освободить. На самом деле, все не так и плохо, кроме того, что, видно, я обречена до конца моих дней «Под небом Африки моей вздыхать о сумрачной России». Как бы это ни называлось, ничего не попишешь.

Россия постоянно напоминает о себе всей лесной прелью и запахом грибов на горе, где я одна гуляю, цветами возле домов, музыкой. Сейчас здесь бешено цветет жасмин (я вспоминаю Кемери), отцвели пионы (помнишь бледно-розовые пионы, что я принесла в гостиницу АН на Ленинский). В этом году 20 лет с тех пор, как ты в первый раз приехал в Кемери. Помнишь ли ты те три дня, без которых бы жизнь была «печальней и мрачней»? Подумай, как летят годы. Двадцать лет…

Юрочка, родной мой, ну сядь один раз за письмо мне – подробное, все обо всех. Ты ничего не пишешь о детях; что Гриша, уехал ли Леша с семьей, кто у тебя из детей и внуков бывает? Ты ни разу ни слова не написал мне о Борисе Андреевиче. Где он, как он и все его домашние? Почему никогда ни о ком ты ни слова не пишешь? Разве долгие годы моя жизнь не шла как бы рядом с ними, потому что был со мною ты?

Мельчук в Мюнхене, на него надежды поэтому никакой нет. Да и звонить Марине, говорить с его женой о письме твоем, в котором, в сущности, только просьба о ней, – было Марине тяжело. Да и нет его все равно.

Пиши, пожалуйста, не молчи, тяжко.

Целю тебя,

Твоя Фрина

P.S. Письмо отправляю с оказией через Москву, но быстрее ли дойдет, Бог весть…

5 июля 1992 года

Тарту 5.7.92

Дорогой мой друг!

Очень долго не имею от тебя писем, беспокоюсь и скучаю. Сам я тоже не писал. Дело в том, что в начале мая у меня случилась небольшая эмболия в мозг (видишь, письмо диктую) [506], а у меня в таких случаях действует инстинкт – я запихиваю твои письма так далеко, что ни я, никто другой их найти не может. Вот и сейчас уже почти без сознания я запихал твои письма так далеко, что обнаружились они только сейчас, когда приводили в порядок всю квартиру. Сейчас я постепенно прихожу в себя. Учусь читать. Считать умственные потери пока еще рано, доктора настроены оптимистически, я разделяю их «умеренный оптимизм». Сквозь неясное сознание начала болезни я очень беспокоился о тебе и на эту тему произносил, как мне потом сообщили, какие-то странные речи.

Надеюсь, что у тебя все хорошо. Как оформился твой «отдельный» статус жизни? Удобно ли тебе? Пиши обо всем, в том числе и всякие мелочи – мне все очень важно. Что делает Марина? Сердечный ей привет. Жду твоих писем.

Сердечно твой – всегда неизменно Ю. Лотман

Тарту

25 июля 1992 года

Юрочка, мой дорогой!

25/7-92

Только что я получила твое письмо. Какое это счастье, наконец можно дышать и жить. Писем не было от тебя три с половиной месяца, а дозвониться в Тарту, как и много раз прежде, мы с Мариной не смогли. 5 июля я дозвонилась Виктории Михайловне[507], от которой узнала подробности твоей болезни и то, что ты в Тарту с сестрой Лидией Мих<айловной>. Но писать не решалась, не зная, будет ли кому мое письмо читать. Слава Богу, это ТВОЕ письмо, с твоим слогом, значит, все относительно в порядке. И здесь врачи мне сказали, что прошло уже столько времени[508], все будет хорошо. Не теряй надежды, мой родной. Ты ведь герой и уже не в первый раз являешь мужество и волю. Они тебя на сей раз не подведут.

Я провела 12 дней за городом, в очень красивом месте, мучительно напоминающем Пюхэ или же южную Латвию. Погода была вполне прибалтийская, шли дожди, а я в который уже раз прощалась с милыми моему сердцу местами. И долго думала о том, как жить в старости, как выносить «последнюю тайну жизни – одиночество», по словам Бердяева. Мне все кажется, что я «неправильно» живу, что нужно чувствовать и жить иначе. Но как – не знаю. И тебя нет, тебя, кто помогал жить так долго, так счастливо долго.

Я вполне освоила свой новый статус и нисколько о своем решении, ни минуты, не сожалею. Тем более что Виль совершенно справляется с бытом, а где надо, Марина и я помогаем.

Марина сейчас тоже вырвалась передохнуть за город, к своим йогам, это ее успокаивает. Федя работает, собирается в Ватерлоо, в университет, на математический факультет. Нужно много денег, т. к. стипендия будет только на втором курсе. Часть суммы он заработал, часть, представь, собираем, часть даст Марина. Университет этот недалеко от Торонто. Он выбрал факультет, где частично студенты работают, а главное, после окончания всего курса обеспечиваются работой. Марина, увы, все бегает без работы. Тяжелое здесь сейчас время[509]. Но она только временами теряет бодрость, в основном же – бодра и не теряет надежды. Усилия же найти что-то не бросает. Но вот учиться на психолога не дают. В свою сытную кормушку врачи не пускают никого. Объяснить это трудно и муторно, но это действительно так. <…>

Юрочка, миленький, пожалуйста, напиши мне, что тебе

нужно из лекарств: есть ли у тебя аспирин, который тебе совершенно необходим каждый день как антикоагулянт? Может быть, еще что-то нужно? Увы, посылку я сейчас прислать не могу, ибо нужны деньги не только Феде, но и Марине, пособие которой кончается, а другое, как мое, ей едва хватит на оплату квартиры. Она надеется на какие-нибудь приработки. Посмотрим. Но все-таки: если очень худо с едой, я все равно тебе к зиме пошлю посылку, напиши, чего бы тебе было нужно в первую очередь, чтобы мне не тратить деньги на ерунду, которая тебе вовсе не нужна.

Обнимаю тебя нежно и молюсь о твоем здоровье,

Твоя Фрина

10 августа 1992 года

10.8.92

Дорогой Юрочка!

Ужасно беспокоюсь о тебе все время, но ничем не могу изменить ситуацию. В Тарту дозвониться невозможно (Бог с ними, с деньгами), а на письма от тебя теперь у меня нет надежды. Но это все можно пережить как-то, лишь бы только ты себя чувствовал лучше. Как зрение, как ориентировка, что твоя головушка, может ли работать? И еще: тебе неукоснительно нужны (на все время, даже если состояние улучшится, на что я так надеюсь) – тебе нужны расширяющие сосуды и разжижающие кровь препараты. Так есть ли они у тебя? Когда звонила в Ленинград, я оставила номер своего телефона Ляле. Именно – на случай, если что из лекарств понадобится. Она не звонит. Значит ли это, что все, что тебе нужно, у Вас есть? Кто сейчас с тобой живет? – ведь Лидия должна была вернуться на работу? Вопросы, вопросы, и все без ответов…

В Монреале наконец началось монреальское лето, т. е. жара, которой не было целых два месяца. Август уже не так изнурителен, потому что короче стали дни, а вечера, слава Богу, прохладнее. Пышно цветет все, что только должно цвести в это время: флоксы и розы, гортензии и примулы, весь город зелен и свеж. На горе Монт-Рояль, где я люблю гулять, немыслимо ярко краснеет рябина. Маленькие шустрые белки уже подросли и к зиме будут совсем другими. Птицы перестали петь. А Монреаль, как всегда летом, веселится: фестиваль за фестивалем – то кино, то джаз, то просто глотание шпаг; монреальцы обожают уличные зрелища. А я вот уже пять месяцев – прожила одна. Если так можно сказать. <…> Покой я обрела, жить мне стало проще. Хотя настроение не всегда такое, как мне бы хотелось. Есть отчего: Марина не работает, ты болен и так немыслимо далеко. Я бесконечно думаю том, как «правильно» жить в старости, и ничего не могу придумать. Здесь есть такое расхожее слово: «овощ». Это так канадцы называют совершенно сенильных стариков. Вот этой жизни я боюсь. Да и сейчас – какой жизнью я живу? Читаю английские романы, хожу в кино, слушаю музыку, помогаю Вилю. Но для чего все это – не могу в толк взять. Как я ни старалась подружиться здесь с кем-то, не могу: невыносимо скучно, да ты и сам это знаешь. Лучше быть одной абсолютно. Федя уезжает в начале сентября в университет. Марина без работы, ничего нигде. У нее есть несколько уроков русского языка, и это все. Мы видимся довольно часто; она старается быть бодрой. Марина

шлет тебе свои приветы, она также волнуется за тебя. 10 дней она провела в палатке в часе езды от города в знаменитом йоговском ашраме. Говорит, что йога ей очень помогает. Она не любит плавания, как я. А йоговские упражнения ей нравятся. Я продолжаю плавать и заниматься физкультурой. Жду не дождусь, когда начнутся занятия в университете, по языку, которые я собираюсь посещать. Вообще-то язык мой здорово продвинулся, но все равно он еще не годится для общения. Я очень люблю свою квартиру, мне здесь покойно и удобно. Все знакомые тебе мои любимые мелочи здесь со мною, включая Уса, здесь со мной твои книги, твои письма, твои портрет у меня над моим письменным столом, где я пишу, читаю, думаю… только вот тебя нет со мною. Мама, слава Богу, жива и все время пишет мне. Сестра все мается с продажей нашей дачи и квартиры. Ей это все не нужно, а сложности, которые я невольно на нее взвалила, очень меня мучают. Скорее бы все было отдано. Мне часто снится тяжелый сон: чужие люди выкапывают мои цветы и старательно заравнивают землю, чтобы они не росли больше. А я стою, смотрю и ничего не могу ни сказать, ни сделать. <…>

Юрочка, если ты можешь хоть коротких несколько слов сообщить о себе, пожалуйста, продиктуй их кому-то. Тяжело ничего не знать о тебе, зная о новом приступе болезни.

Обнимаю тебя,

Неизменно твоя

Фрина

21 августа 1992 года [510]

21/VIII-92

Юрочка, дорогой!

Я пользуюсь оказией, чтобы это письмо опустили в Москве двое милых молодых людей, приезжавших сюда на конференцию в ун-те Мак-гил (пишу это слово по-русски). Мы с Мариной помогали им чем могли, завтра они улетают обратно. А я получила твое письмо, кажется, от 8 августа (даты нет в письме, а в печатях на конверте очень неразборчиво). Главное, что ты диктовал, главное, что есть улучшения и что реабилитация продолжается. И будет, будет все лучше и лучше, вот увидишь. Когда я звонила в Лен<инграл>д Ляле[511], ее голос звучал вполне оптимистически, и она тоже ждет хороших результатов. Жди и ты, мой дорогой. Мужество же твое известно тебе самому лучше, чем кому бы то ни было…

Итак, я писала тебе, что нам удалось немножко передохнуть за городом. Марина-то точно устала ужасно за этот безумный год поисков любой работы.

<…> Вот вчера, слава Богу, неожиданно ее взяли в какой-то военный колледж преподавать русский язык военным, которые, представь, должны знать три языка. Правда, это все будущие офицеры и колледж как бы часть университета[512]. Он очень далеко от дома (два часа в один конец), а главное, что только одна группа и только раз в неделю. Но лиха беда начало, авось будут и другие приглашения. <…> Прости, что так однообразны мои письма, прости, что пишу столько о Марине. Но ведь ты все понимаешь, не правда ли? Как я радовалась этим ребятам, родной русской, московской речи и их интеллигентным лицам! Соскучилась очень. Лора (помнишь, моя слепая подруга в Москве, которая совсем не могла писать мне письма под диктовку неблизким людям, а ты можешь!), прислала мне наговоренную ею письмо-кассету. И радость, и печаль. Слушала ее ночью и обливалась слезами. Я и сама надиктовала ей в ответ целую кассету, правда с трудом: непривычное это занятие для меня.

Юрочка, мой милый, но вообще все хорошо: мы здоровы, Федя скоро уезжает. <…> А здесь начинается осень, как ни странно, ранняя осень после прекрасного нежаркого лета. «Войди в осенний лес, не бойся горьких истин…»[513] Помнишь?

Знаешь ли ты, чувствуешь ли ты, что я все время с тобою, что ты не только в сердце моем и в памяти, но во всем, что я делаю и чем дышу. Одно только невыносимо тяжело: знать, что ты ешь плохо, что нет необходимого; неизвестно, что будет с углем на

зиму, хватит ли этих «марок» тебе на жизнь. Я бы, знаешь, даже приехала повидаться, дело даже не в деньгах (теперь, когда я одна, я могу ужать свои расходы на еду как хочу), дело в страхе. Не знаю, что со мною, а боюсь ехать ужасно: боюсь не справиться сама, начитавшись ужасов, боюсь, что не смогу уехать от тебя. Пожалуй, последний страх – самый сильный. <…> Юрочка, конечно, я буду писать часто, очень часто, не сомневайся. Только зачем ты куда-то прячешь мои письма, что сам их найти не можешь? Кому они теперь могут быть опасны, да и что в них? Моя любовь к тебе? Так тебя весь свет любит и любил всегда. А что же там еще такое? Вот тебе еще одно: пожалуйста, напиши, что тебе послать из продуктов или лекарств? А может, передать просто доллары? Тот же человек, что организует посылки, передает и доллары, беря +10 %. Зимою я бы смогла тебе послать.

Обнимаю тебя. Твоя навеки Фрина.

29–30 августа 1992 года

Дорогой мой друг!

Получил твое письмо от 25.VII. Нужно ли писать, с какой радостью я его читал (читал сам!), а ответ диктую[514]. Помимо того, что мне было очень важно узнать что-либо о тебе и Марине, сам факт получения письма уже по себе был чем-то вроде незаслуженного подарка.

Что сказать тебе о себе? Я потихоньку (уже не в первый раз) вылезаю из очередной ямы. Из последствий болезни пока остались необходимость снова (тоже в который раз) учиться читать и некоторые мелочи, но вообще снаряд пронесло над головой (только чуть-чуть контузило), правда, процесс еще не закончился, с каждым днем все лучше: вчера еще мир был черно-белым, сегодня он уже цветной. Снова (в который раз?) учусь видеть. Может быть, и научусь? Как ты думаешь? (Я позволяю себе эти шутки потому, что знаю, что мы с тобой люди мужественные и любим шутить во всех ситуациях.) Но вообще, действительно, общая тенденция оптимистическая (даже если к этому примешивать немножко глупости).

Но представь себе, я даже пытаюсь понемногу продолжать работу. Вот и сейчас диктую своей коллеге и помощнице Тане нечто, что должно изображать квазинаучную статью. Меня беспокоят твои трудности, надеюсь, что летом тебе и Марине удастся немного отдохнуть. Сам я пока никаких планов не делаю принципиально. (И тут же соврал: есть у меня своя и программа-минимум, и программа-максимум, главный вопрос – до какой черты дойдет реабилитация? Сохранятся ли какие-то возможности продолжать работу или же, что очень нежелательно, она превратится в развлечение больного, никакой объективной ценности не имеющее? Но это уж как Бог решит.) Закончу тремя только просьбами: 1. пиши мне; 2. пиши мне; 3. пиши мне.

Обнимаю. Твой всегда и везде – еще раз твой.

Юра

10 сентября 1992 года

10/IX-92

Юрочка, мой родной,

Кажется, давно тебе не писала, прости, не было настроения. Идут какие-то проливные дожди, небо серое, как глубокой осенью.

А вчера была гроза такая, что все небо полыхало, а я сидела себе у открытого окна, любуясь грозою. А ведь когда-то я так боялась грозы, помнишь? Все прошло. А сегодня опять лето: тепло и ясно. Но уже краснеют клены, осыпаются листья. Я слышу и читаю про пожары везде в России и у Вас – Боже праведный, спустя 20 лет повторяется то же, что было в 72 году. Как ты себя чувствуешь, есть ли прогресс? Как работает моя любимая голова? Доволен ли ты ею?

Наши новости вот какие. Федя уехал в свой университет, денег, слава Богу, набрали, да он и сам, молодец, заработал около 4 тысяч. Ему хватит этого до следующего семестра, который будет, по университетским правилам, рабочий, т. е. Федя заработает себе на следующий год. Он уезжал какой-то веселый и звонил оттуда всем довольный. Марину взяли на почасовую работу в военный колледж, часть университета, преподавать раз в неделю русский язык, еще в одном – месяц замещать уехавшего в отпуск преподавателя. Это, увы, ничего не дает по деньгам, да и работа почасовая, но лиха беда начало, может быть, счастье еще улыбнется ей. Принялась она с большим жаром, одновременно начав занятия на факультете истории религии в университете. Вот когда она вспоминает тебя и Андрея, не давшего ей завершить работу над диссертацией, которая здесь ей так нужна. Для этого и университет. Она будет продолжать попытки поступить на работу в другой колледж. Здесь заколдованный круг: в одном колледже дошла до интервью, что нелегко, но ее не взяли, потому что нет опыта преподавания в Канаде, а как его получить, если не берут? Мы с ней читали их программы, выспренно и «научно» написанные, а в действительности курс по Японии, например, на практике означает такие темы, как «Японская баня», «Японский ресторан» и все в таком роде. Ибо студенты на вопрос, какие города Японии они знают, отвечают «Вьетнам», «Гонконг», и т. д. А Марина ужасно боялась интервью. Мы – полные с ней неучи – можем здесь поразить любую комиссию, вот только зарабатывать не дают, не подпускают к работе.

О себе, Юрочка, нечего и писать. Живу себе гораздо лучше,

чем до моего решения жить одной. <…> скучаю по тебе ужасно. Марина все уговаривает меня поехать навестить тебя. Нет, мой любимый, это мне не по силам, боюсь, что не смогу вернуться сюда, а это, ты сам говорил мне, полное безумие. Так вот и будем с тобой доживать свой век. Неужели же там я тоже не встречусь с тобой? Вот это не дает мне покоя, вот об этом думать просто невозможно. Знаешь, сейчас здесь ночами все стрекочут цикады, как в Крыму, где я их впервые услышала летом 53 года; как в Кемери, но только в августе. Так странно это.

Был здесь традиционный ежегодный кинофестиваль. Один советский фильм потряс меня: фильм Каневского, который поанглийски называется «Независимая жизнь», и очень хороший японский «Исследование типичной любовной истории». Больше ничего не видала. Все, как прежде, слушаю музыку, часто плачу, если что-то слушали с тобой. Такая плаксивая старушка…

Пиши мне, пожалуйста; напиши о нужных тебе лекарствах и продуктах. И не проще ли послать тебе немножко долларов? Я это спрашиваю тебя в каждом письме. Напиши об этом обязательно. Невыносимо думать, что у тебя нет самого необходимого. Что дети и внуки? Продолжает ли работать вместо Зары Миша?

Будь здоров, мой дорогой, нежно обнимаю тебя.

Твоя всегда Фрина

28–29 сентября 1992 года

Милая Фрина!

Это письмо я диктую моей любезной помощнице-соавторше[515] (сам писать еще не научился, форма определяет, как известно по Гегелю, содержание).

Большое спасибо за твое письмо. Я все время беспокоюсь о тебе (это не преувеличение) и о том, как тот кораблик, который называется «твоя новая квартира», плывет в этом хаотическом и совсем не добродушном мире. Твои письма мне читают, потому что сам я читать (увы, в который раз) не научился. О себе писать нечего. В общих контурах все благополучно. Например, последняя моя радость – сегодня сквозь очки хорошо вижу вдаль. Очков у меня, как у крыловской Мартышки (с полдюжины себе достала), и я все время путаюсь в них. (Имею постоянное занятие. «Праздник, который всегда с тобой», как говорил Хемингуэй.) Лучше вижу и радуюсь, смех и грех! Хватит обо мне. Как ты там в новом своем жилье? У тебя все новое: жилье новое, новые трудности, и живешь ты в Новом Свете (Америка). Как писал Гейне: das ist die America, das ist der neue Welt[516], а я все в Старом, и все по-старому: по-старому жду твоих писем, по-старому волнуюсь и злюсь, когда их нет, постарому радуюсь, когда они приходят. Кстати, от каждого письма я имею неоднократную радость: сначала когда получу, потом когда, потеряв, опять найду, и так, как говорится в латинской католической молитве: ad finem seculorem (до конца веков).

Друг мой, я болтаю всякие пустяки так, как надевают броню.

Будь здорова. Обнимаю тебя. Пиши.

Твой, твой, твой

Юра

5 октября 1992 года

Дорогой мой Юра!

Сегодня наконец получила твое письмо, которое, если судить по штемпелю, шло всего 7 дней. Удивительно! Я очень волновалась, ведь писем не было полтора месяца. Зрение будет еще лучше, вот увидишь, и ты снова сможешь читать. Прошло еще не так много времени. Слава Богу, что у тебя есть помощница, которая сможет прочитать и которой ты сможешь продиктовать что нужно. Видишь, и работать уже можешь. Ты помнишь мою московскую подругу Лору, которая уже не видит много лет (она живет в Кунцеве, возле к/т «Брест», где мы когда-то смотрели с тобой эйзенштейновского «Ивана Грозного»?) – так вот, Лора никак не может диктовать своим знакомым письма ко мне. И все-таки она прислала мне кассету с наговоренным ею письмом. Я и слушаю его не один раз. Но в старости стала так сентиментальна, что плачу при первых же звуках голоса ее. Для меня «слышать» всегда было очень важно, ты знаешь. Но, может быть, ты бы сделал то же для меня? (Передать кассету в Москве можно некоей Зинаиде Ивановне, телефон которой 944-25-48.) Сына ее, организующего посылки в Россию, при ее участии, фамилия Балакин. Адреса не знаю, только телефон. Я бы здесь, как они это организуют, расплатилась долларами, тебе бы это ничего не стоило. Только вот передать в Москву, найти ее. <…>

Я послала маме продукты, которые идут уже полтора месяца. Почта здесь еще хуже: дороже в 6–8 раз, ничего не берут, кроме чая, кофе и конфет, и все это идет полгода и дольше.

Ты мне ничего не пишешь о продуктах, которые мне все-таки хочется послать тебе. Но ведь они повезут их только в Таллин. Есть ли кто, чтобы доставить тебе их? Напиши, пожалуйста, и не нужен ли аспирин (антикоагулянт). Здесь есть его новая модификация, от которой не болит желудок. Вообще, как с лекарствами у тебя? Господи, если бы ты знал, как в своей новой квартире я передумываю все мелочи о тебе постоянно; даром, что новая квартира дала мне время, свободу и покой. <…>

А вот как я себя нагрузила, чтобы хоть как-то вживаться в новую почву. «Купила» себе сразу несколько курсов: английского языка в университете Конкордия, семинар по музыке в университете Мак-Гил, и там же семинар по иудеохристианству. Пытаюсь хоть как-то войти в этот мир. Трудно ужасно, язык плох, но другого не дано, а сидеть дома и жаловаться на судьбу – поздно и непродуктивно. Марина – без перемен, работы нет, бьется изо всех сил. Федя очень доволен университетом, ему

интересно, звучит по телефону хорошо, и это всех нас радует.

Юрочка, а в Монреале осень, стоят ясные, не очень холодные дни, цветы приуныли, цветут пышно только гортензии, которые я не люблю, но зато стоят абсолютно красные канадские клены, совершенно красные, как цвет их символа на флаге. <…> красота невместная.

Отрада здесь моя – музыка. Диски, которые я иногда здесь покупаю, звучат удивительно, и я позволяю себе забыться и вспоминать, что дорого и важно до последнего вздоха. Видно, письмо это раньше, чем 25 октября[517], к тебе не дойдет. А это «день молитвы и печали». Я с тобою в этот день. Подумать трудно, что миновало уже два года, как не стало Зары. А мы живем еще. Может быть, прав Пастернак, и жизнь дает больше, чем мы заслужили? Что твоя последняя, такая важная для тебя, книга? Будет ли кто-нибудь ее печатать? Или не последняя так важна для тебя? Давно не пишет Женя, дорого очень, я понимаю, но от нее я хоть что-то узнаю о жизни в Эстонии.

Из газет вычитываешь только ужасы, которые, быть может, и есть Ваша реальная жизнь.

Будь здоров, не теряй надежды, обязательно будет лучше. Старайся хоть в нескольких словах писать мне о себе.

Обнимаю тебя,

Твоя Фрина.

P.S. Сегодня ровно два года, как я в Канаде.

13 октября 1992 года

Юрочка, мой дорогой!

Я писала к тебе несколько дней назад, но что-то забыла сказать. И вообще просто хочется еще раз поговорить с тобой. Я забыла написать, как меня обрадовали те несколько слов, что ты приписал в конце письма. Они означают, что ты снова будешь видеть и сам мне писать. Затем: я хотела бы от себя поблагодарить Таню за то, что помогает тебе и что пишет для меня твои письма. Спасибо ей! Спасибо всем от меня, кто тебе помогает. Боже, Боже, почему это не я, которая бы должна была быть рядом с тобой; все бы было совсем иначе, лучше, легче тебе. Моя любовь спасала бы тебя от всех напастей. Я знаю, что весь свет тебя любит, и я вместе с ним.

Странно, ты знаешь, я теперь вижу этот свет: не в целом, не могу себе представить картину, как что-то единое, а все както по частям – царит «Бог деталей»: то слушаю, как поет птица на дереве, то смотрю долго, как падают красные листья с клена, что стоит в моем окне, то… Только неотступно думаю одну думу о тебе. Я часто слушаю 20-й концерт Моцарта, который мы не раз слушали вместе с тобой, и романс Глинки, который ты так любил; это тяжело порой очень слушать, но иногда необходимо и неотменимо, как и все другое. А еще я хочу повеселить тебя рассказом о моих «штудиях» в университетах. Музыкальный семинар очень милый: сидят ужасно ухоженные и счастливые старички и старушки во главе с профессором музыки (в Мак-Гиле есть музыкальный факультет) и слушают в лучшем исполнении записанные на дисках музыкальные пьесы. В этот раз это романтики и модерн. Я плохо знаю Хиндемитта и Рихарда Штрауса, но есть и мой любимый Григ, и Дворжак. Потом они что-то там разбирают, чего я совсем не понимаю, но музыка так прекрасна и так звучит, что, если закрыть глаза, так можно вообразить себя в Ленинградской филармонии… тысячу лет назад.

А вот другой семинар, по религии, – это совсем смешно: никакой там религии нет, а вальяжный профессор роняет слова, поминутно смотрит на часы и спрашивает, не хотят ли почтенные слушатели прерваться и выпить кофе. Потом извиняется, когда видит, что прошло всего полчаса, и дамы медленно говорят о своей любви к Богу. Перед каждой лежит Библия, ото всех пахнет духами, а я… несчастная, учу английский, слушая их всех. Правда, смешно. Так они занимают свое свободное время. Тебе бы их заботы…

Мы много говорим с Мариной, что, может быть, несмотря на тысячу «но», мне надо плюнуть на все и хоть на месяц уехать к тебе, пожить с тобой. И я никак не могу принять решения, даром что у тебя еще и не спрашивала. Я физически чувствую себя гораздо крепче, чем в Москве, спасибо хорошему врачу, нашедшему для меня таблетки, с которыми я сплю уже почти 4 месяца. А спать – это совсем другая жизнь, совсем, совсем другая. Прежде всего, не все представляется столь мрачным, чем когда не спишь месяцами. Только равновесие мое какое-то шаткое: я быстро очень устаю, и мелочи выбивают меня из колеи. Я очень боюсь поездки, если еще надо ехать через Москву. Главное: ну скажи мне, как я смогу уехать обратно? – Вот что меня беспокоит больше, больше всего. <…>

Мое отдельное жилье – большое мое спасение, и я счастлива, что ты об этом знаешь. Я сделала наконец то, на что не могла решиться двадцать лет. Спасибо Канаде, спасибо Марине, спасибо врачам, которые быстренько определили причину моих так называемых депрессий, которые с отдельным жильем и кончились. Мои обязанности по помощи сама на себя взваливаю, но они ни в какой мере не похожи на прежнюю жизнь, так что, Юрочка, порадуйся за меня.

Милый, мой дорогой друг, верь, что еще будет тебе лучше, все снова вернется, не теряй надежды, как доктора, как я, как, вероятно, и Ляля. Почему, кстати, тебе не пожить с нею? Не сможешь работать там? разве Наташа не может помочь? Или лучше всего тебе дома?

Я прощаюсь с тобой до следующего письма, я буду тебе писать чаще, всякую чепуху. Не забрасывай, пожалуйста, никуда моих писем, пусть их читают все, кому они попадутся, в них нет ничего интересного ни для кого, кроме тебя. Пожалуйста, не забывай пить лекарства, не забудь мне написать, можно ли послать тебе продукты, которые доставят только в Таллин, с отправкой стало труднее. И хоть убей, я не знаю, что именно тебе послать.

Может быть, в прошлой посылке тебе было все не то?

Обнимаю тебя.

Всегда твоя Фрина.

25 октября 1992 года

Дорогой мой Юрочка!

25/X-92.

Сегодня два года, как не стало Зары. Что ты и как ты сегодня? Был ли на кладбище или провел этот день дома один со своими мыслями? Я вчера была в церкви, поставила поминальную свечу, вспоминала ее, какою видела в последние дни сентября 90 года. И никогда, никогда не забуду, как, проводив меня до метро «Аэропорт», вы оба медленно, глядя как-то особенно перед собою, вперед, удалялись от меня. А я долго не входила в метро, смотрела Вам вслед. И это было в конце сентября 90 года, и ты в первый раз, провожая меня, ни разу не оглянулся. Почему память хранит это все? Зачем это? – не знаешь?

Поскольку я пишу тебе часто, то сообщить мне по сути дела нечего, ничего особенного не произошло за это время.

Канада готовится к референдуму, который будто бы должен решить, что с нею будет дальше[518]. И будет ли немедленно отделяться Квебек или подождет еще два года до смены своего премьерминистра. <…> Пока же в сонном Монреале (это же не Нью-Йорк!) один профессор со звучным именем Фабрикант, родом из Белоруссии, десять лет проработавший в Университете Конкордия, из пистолета прямо в университете убил четырех своих коллег, которые, кажется, не давали ему работать: гранты отбирали, заставляли ставить свои фамилии под его работами и пр. Как видишь, и здесь тоже бывает весело. Главное, что убил-то «не тех»: те-то как-то спрятались, так он уложил четверых невинных. Абсолютно вменяемый человек и, говорят, очень тихий. Газеты шумят о нем уже месяц. А я хожу в этот университет на английский. Там теперь полно полицейских. И всем абсолютно не страшно.

Сегодня на семинаре по музыке в первый раз слушала Рихарда Штрауса.

Может быть, интересно, но сердце молчит: не «моя» это музыка. Я – дама старомодная, люблю стройность в музыке, а не гром и скрежет. <…>

К сожалению, Юрочка, артель веселых русских ребят, которые переправляли посылки с продуктами в Россию, не берется теперь отправлять их в Эстонию.

Говорят, что от них там требуют виз, пошлин, а это все деньги, и что с русским языком вообще им теперь там делать нечего. Меня очень огорчила эта новость. Значит, я не смогу переслать тебе продукты, как я хотела. Очень грустно. Маме, в

Запорожье, хоть и долго, чуть ли не два месяца, посылка дошла в полном порядке. А почта ничего не дает, т. к. там мало что принимают: чай, кофе, конфеты. Безумно дорого и идет чуть ли не полгода. Так что, как видишь, тебе обязательно надо ехать сюда ко мне в гости. Я все еще не теряю надежду. Как ты себя чувствуешь, мой дорогой? Работаешь ли? Живет ли с тобой по-прежнему Саша или нет?

У нас осень. Мой клен потерял все свои красные листья в одну ночь, ветреную и дождливую. Но еще не поздняя осень, еще выпадают и ясные теплые дни, и, как писал Заболоцкий, «Улетает последний скворец, Целый день осыпаются с кленов силуэты багровых сердец».

Войди в осенний лес…

Можно сказать, что я живу хорошо, физически чувствую себя прилично, сплю, полюбила этот город, его улицы, небоскребы, толпу, людей в автобусах, смешных ребятишек всех цветов и расцветок кожи и одежды. Привыкла к тому, что здесь каждый одет как хочет, никто не обращает на тебя никакого внимания. Хорошо здороваться с шофером автобуса, приятно благодарить его на выходе и слышать ответное «добрый вечер», «пожалуйста». Но человек – странное существо, необъяснимы часто его желания. Теперь, когда есть возможность есть и пить, что хочется, – не хочется НИЧЕГО. Непонятно, но это так. Да не обидит это тебя, голодного. Так обидела Татьяна Толстая всех русских, проклиная Америку за ее изобилие. Я поняла и горечь ее статьи и ее иронию, но, Боже правый, что было писано о ней в желтом «Новом русском слове». Я продолжаю читать пошлые романы на английском; они мне как снотворное перед сном: их хеппи-энды, необъятная любовь, благополучная жизнь, которой никогда не бывает. Я их читаю, как детям читала сказки перед сном. А вздумала перечитать Достоевского, так чуть не померла с горя. Так-то…

Будь здоров, будь здоров, Юрочка, будь здоров только и, хоть изредка, весел.

Обнимаю тебя, твоя Фрина.

(На полях от руки: «Пришло ли письмо с красным кленовым листочком, с клена у моего окна? Марина кланяется. Федя – в порядке. Хорошо жить, как я теперь живу».)

10 ноября 1992 года

10/11-92.

Дорогой мой друг!

Пишу тебе утром после ночи, в которую ты мне как-то очень тревожно снился. Во сне редко тебя я теперь вижу. Будто бы ты у меня в Москве и будто бы у тебя болит глаз и мы не знаем, чем его лечить и как. И жалуешься ты мне, что работы нет, что университет сокращает Ваше русское отделение… Может быть, все это снится после письма Е. Краснощековой[519], что в университете Вашем такое наяву… Ах, Юрочка, дорогой, что у тебя болит на самом деле, что происходит в твоей жизни? – ничего не знаю. Письма от тебя редки (я понимаю, их приходится пересылать через Москву), и ты ничего о себе в них не пишешь.

Еще раз повторю свою просьбу, очень важно это для меня: пожалуйста, наговори мне кассету (хоть басни Крылова читай, что хочешь, лишь бы был со мною твой голос) и передай ее с кемнибудь в Москву Зинаиде Ивановне, фамилия сына ее, который здесь, Балакин. Ее телефон домашний – 944-25-48. Мне ее пленку привезут и заплачу я здесь сама. Твое дело – только наговорить пленку и найти кого-нибудь в Москве, кто свяжется с этой дамой. Я очень, очень об этом тебя прошу. А повторяю просьбу прежнего письма потому, что письма пропадают.

У нас глубокая осень. По ночам уже заморозки, деревья сбросили листья и сквозят, на моей любимой горе бегают уже по-зимнему серые белки и с нее через голые деревья виден весь нижний город и небоскребы. Но стоят тихие погожие дни, гулять и думать приятно. <…> Отметили день рождения Марины. У нее в гостях были приятные люди, и мне теперь легче, потому что, не умея участвовать в разговоре полноценно, я хоть понимаю, о чем идет речь. Марине 41 год, подумай! а когда ты ее увидел в первый раз, ей было 17. Она с неизменной любовью вспоминает тебя, особенно, как она думает, самое счастливое время ее жизни, когда она под твоим руководством что-то такое раскапывала и писала о детской литературе. Как давно это было! Почему все уходит?

Марина смеется, когда я говорю о моей смерти: нет, говорит, пожалуйста, задержись, пожалей меня, потому что некому будет наводить у меня порядок, да и кто меня будет любить, как ты… Да, это правда. Только иногда наваливается такая усталость, что кладбище кажется желанным местом покоя. Хотя и шутить так – грех.

К сожалению, Федя не смог приехать, но у него все в порядке,

и это, пожалуй, наша единственная радость. По косвенным сведениям, Юра тоже на хорошем пути: он учится хорошо во французской школе, кроме этого, поступил по конкурсу в театральную, стал другим, спокойным и воспитанным. <…>. Настанет время, и он вернется в Канаду, я надеюсь. С отцом же его никакое общение невозможно: сплошная ругань и оскорбления по телефону. <…> После каждого звонка в Москву Марина болеет.

Подумай, Юрочка, какая злая воля: в Москву и в Ленинград дозвониться отсюда просто, а вот тебе или маме на Украину совершенно невозможно. Это очень грустно, что я не могу хотя бы услышать тебя. Я тебе уже писала, что и посылки к Вам не передают, поскольку это «другая страна», пошлины и визы, а сложностей никто не хочет.

Сижу, пишу тебе и смотрю за окно, где яблони все в маленьких красных яблочках, которые весело едят дрозды. Не улетели они, что ли?.. <…>

Будь здоров, мой милый, будь здоров. А вдруг ты еще сможешь приехать, а вдруг мы еще свидимся. Как бы я здесь ухаживала за тобой, как бы радовалась, как прежде, если бы пришлось еще подержать твою руку в своей.

Обнимаю тебя, всегда твоя

Фрина

28 ноября 1992 года

Тарту.

Милая Фрина!

Получил твое, как всегда радующее меня, письмо, которое шло всего две недели, так что пришло совершенно тепленькое. Сейчас мы сидим с Таней в комнате[520], за окном качается почти скинувшая листья сирень и сыплется что-то среднее между дождем и снегом. Снежок идет и сразу тает. А мы с Таней работаем (в пределах моих возможностей). Я очень рад твоим успехам на разных курсах – ты, как всегда, молодец! Думаю, что теперь тебе внутренне поспокойнее. Как Марина? Ты что-то мало про нее пишешь, и это меня беспокоит. Надеюсь, что ее трудолюбие и талант помогут перейти через этот рубеж, который, как кажется, во всем мире не из легких… Наташе предстоит тяжелая операция, и я очень за нее беспокоюсь. Позавчера мы с Мишей сделали трудное, но необходимое дело. В Тарту по соседству с нами жили (и живут) две старухи-сестры, одна незамужняя, а другая – одинокая с дочкой, приблизительно моего возраста. Дочка эта недавно скончалась после операции. Старухи остались одни. Позавчера мы с Мишей собрались с духом и посетили старух. Хотя все прошло «мило» – пили чай с тортом, который мы принесли. Но на самом деле – душераздирающе. Я потом, придя, бухнулся на кровать и еле пришел в себя. Вот такие «мелочи жизни». Но все же будем стараться барахтаться, пока силы есть. Я себя чувствую вполне благополучно… Погода у нас какая-то странная: осень как бы кончилась, а зима не началась. Земля мерзнет без снега. Синоптики предсказывают холодную зиму и плохой урожай. Но ведь это у нас всегда… Так что, как говорится в одном невеселом анекдоте, «а вообще как живешь?».

Но не будем падать духом. Как сказано в фильме «Генерал Делла Ровере»: «В эту торжественную минуту обратим наши взоры к его величеству, королю Италии!» (куда же нам еще обращать взоры), так что мы живем как за каменной стеной и не тужим. Но мы действительно не тужим. Ничего. Как-нибудь все переживем, вот только ты будь здорова, не грусти и пиши письма!

Милый друг, обнимаю тебя нежно.

Будь здорова, бодра и, по возможности, весела. Марине приветы сердечные.

Всегда и вечно твой

Ю. Лотман

28. XI.92.

P.S. Вчера день смерти Зары[521]. Мы с Мишей были на

могиле.

У нас холод без снега, земля мерзнет, от окон дует – на душе грустно.

А ты не грусти, будь бодра. Целую

Твой Юра.

2 декабря 1992 года [522]

2/XII-92

Дорогой мой далекий друг!

С Новым Годом, 1993-м. Могли ли мы думать в 47 году, что доживем до 93? А вот дожили же. И сколько же всего пережито и прожито за эти годы… Желаю тебе всего, чего всегда мы друг другу желали, и еще много другого для тебя именно сейчас важного и чего я о тебе не знаю. Письма твои так редки, так мало узнаю я из них о твоей трудной жизни. Вот и сейчас письма нет уже 2 месяца. Перечитываю прежние, писанные тобою самим, не надиктованные, пытаюсь в них прочитать что-то такое, чего не видела раньше, да трудное это дело.

У меня все по-старому, мы все приблизительно здоровы. Приезжал студент Федя, бодр и ясен. Будет у него рабочий семестр в Оттаве. Марина по-старому. <…>

Юрочка, мой дорогой, что ты, как ты? Я ужасно волнуюсь, когда нет писем. К тебе физически не прозвониться, а в Ленинград звонить тяжело. Будь здоров.

Привет и поздравление с Новым годом от Марины.

Обнимаю тебя

Твоя Фрина.

27 января 1993 года

Юрочка, мой дорогой

Сегодня 27 января, год, как известно, 1993. Целый век тому назад, т. е. 25 лет назад, в этот день[523] (правда, тогда была суббота, а сегодня среда), день прорыва блокады Ленинграда, в Москве была конференция, посвященная Эйзенштейну. Помнишь ли ты, какой мягкий и пушистый был тогда снег? Ты провожал меня до метро «Киевская». Как мы были тогда беззаботны, счастливы, и будущее казалось таким безоблачным (мне). И вот сейчас, спустя 25 лет, благословляя каждую минуту протекшего так быстро времени, я сижу в своей солнечной комнате, на другой планете, одна, пишу тебе. Я рада, что хоть под конец жизни подарила себе и, как я немножко надеюсь, тебе свое одиночество, свой покой[524], возможность хотя бы мысленно быть с тобой, когда мне этого хочется.

<…> Слава Богу, пока и здорова, во всяком случае, гораздо лучше, чем в Москве многие годы. Я писала тебе о нашем совершенно неожиданном двухнедельном отдыхе с Мариной (аж!) на Багамах. Как это пришлось и ей кстати! Наконец ей предложили-таки преподавать в колледже, что – неважно, лишь бы платили. Конечно, это только почасовая работа, не гарантированная на следующий же семестр, ибо «очереди» на место среди почасовиков огромные, годами ждут места, ибо платят хорошо, писать, как в университетах, не надо, преподавай, что хочешь, одним словом… Она счастлива и сидит готовится к началу, как к причастию. Помогаю, чем могу. <…> Главное сейчас – заработать, суметь содержать любимую ею квартиру, не переходить на все-таки постыдное для ее возраста пособие. И – подъем духа и настроения. Могу тебе сказать, с нежностью о Марине, которую, я знаю, ты любишь, что два года не сломали ее, она честно боролась, искала, а это здесь так тяжело без протекции, – одна, одна, одна, только с моей любовью. И я горжусь ею. Ни крах ее такой сильной, хоть и короткой, радости любви, ни разлука с Юрой, ни отчуждение Феди, который, конечно же, опять приближается ко всем нам, – не изменили ее, она осталась любящей, милой и очень любимой многими людьми, что не перестает радовать меня тоже. Порадуйся и ты со мною, мой дорогой друг.

Федя работает в Оттаве, в какой-то компьютерной фирме, редко звонит, ему, представь, через неделю исполняется 19 лет, с ума сойти можно: дожила до 93 года, до Федькиных 19 лет! Он так смешно от своего огромного роста склоняется ко мне, чтобы я

поцеловала его макушку. <…>

Я постоянно думаю о тебе. Что же будет с написанными книгами, которые никто не издает? О Собрании мне написала Женя, я не так беспокоюсь. Оно, кажется, выйдет в каком-то частном издательстве. Только бы знать, когда, и можно будет нам его выписать. А вот то новое, что ты написал уже после кончины Зары? Как и когда раздобыть это?..

Юрочка, здесь стоят холода, и я все время думаю о том, что если ты мерзнешь, то как же тебе жить? Я знаю, как ты можешь мерзнуть и как это тебе тяжелее, чем не есть. Так вот: как у тебя с дровами или торфом, тепло ли у тебя? Будь здоров, мой дорогой, не болей, обнимаю тебя.

Твоя Фрина

28 февраля 1993 года

Дорогой мой друг!
28/II-93

Большое спасибо тебе за присланный для Марины документ[525]. Она тут же дала ему ход в своей канцелярии. Надеемся, что он сыграет свою роль. Жизнь здесь тоже как-то все время меняется: только что мы все были в эйфории по поводу того, что Марина нашла работу, как появились какие-то распоряжения о закрытии в следующем учебном году всех гуманитарных курсов в колледжах[526]. Все это связано с экономией бюджетных расходов. Но мы не позволяем себе отчаиваться, надеясь, что что-нибудь да будет. Важно все же, что она туда «попала». Это поистине здесь задача не из легких. Еще раз спасибо тебе и Кае[527].

Сегодня 28 февраля, день твоего рождения. Хотя я никогда в этот день не бывала с тобою вместе, но как-то всегда его для себя чем-нибудь отмечала. <…> Мы с Мариной молча выпили за твое здоровье. Я отмечала твой день и мою свободу. Увы, я помню, как в первых письмах после смерти Зары ты писал мне, что мы не знаем силы наших связей с близкими и понимаем только их смысл, когда близких теряем. Я понимаю твою мысль. Может быть, если Виль уйдет первым, я буду думать то же. (Я и сейчас достаточно часто и много упрекаю себя, может быть, напрасно.) Но вот сегодня я провела в его обществе два или три часа, и так это тяжко, что только спустя еще три <часа? – нрзб.> могла начать дышать и жить по-прежнему. <…>

Грустно, Юрочка, что в письме Каи не было ни строчки от тебя. Что это значит? Тяжело, невыносимо диктовать? Не можешь? Не хочешь? Устал, быть может, от самой необходимости отвечать мне? Я ломаю голову, а главное, тревожусь очень. До двух часов ночи пробовала я прозвониться к тебе – тщетно. Утром позвонила твоим в Питер. Наташа сказала мне, что нового, и плохого, после мая нет ничего. Разговор почему-то прервался, а больше звонить я не стала. Тебя бы услышать…

Мне написали из Москвы, что там продается твоя книжечка «Культура и взрыв». Увы, теперь ты мне не даришь своих книг. Попробуем выписать ее из Торонто. Выходит ли твое собрание, а главное, последние работы, которые так мне хотелось бы иметь? Разговаривала я по телефону со своей подругой Лорой. Она никогда ни на что в жизни не жаловалась, не жалуется и сейчас, только говорит, что я и представить себе не могу, что в России происходит. Когда я думаю о твоем одиночестве и всех

трудностях твоего бытия в целом, при пошатнувшемся здоровье, становится невыносимо от нашего покоя и благополучия. О себе писать нечего, все то же – одна и одна. Привыкла, не горюю, готова, как ты говорил когда-то, пройти этот путь, как все проходят. Я все-таки очень прошу тебя найти возможность написать мне, можешь ли и будешь ли ты хоть нечасто писать мне. Сегодня уже больше двух месяцев, как от тебя нет ни строчки. Мне от этого очень трудно писать тебе. Я действительно не знаю, нужны ли тебе мои письма. Будь здоров, мой дорогой.

Обнимаю тебя. Всегда твоя Фрина.

Монреаль

11 марта 1993 года

Милая Фрина!

Получил твое письмо, в котором ты сообщаешь, что моя рекомендация для Марины благополучно достигла вас, но в том же письме ты пишешь о том, что само заведение, в котором работает Марина, прекращает ту часть своей деятельности, с которой именно она связана[528]. Я не понял, означает ли это, что бедная Марина опять без работы. Это меня очень тревожит. То, что я рекомендацию для Марины послал без своего сопроводительного письма, означает только то, что я очень торопился. Все остальные твои предположения лишены всякого смысла: я по-прежнему жду ваших писем и очень беспокоюсь о ваших делах. Пиши мне подробнее и чаще. Видимо, некоторые из писем (и моих, и твоих) теряются в дороге, поэтому не грех в письмах коротко повторять важнейшее из предшествующих. Может быть, стоило бы ставить на письмах номера, но ты знаешь, какой я беспорядочный и неаккуратный – обязательно все перепутаю.

Ты жалуешься, что я не пишу о себе. Это по той же причине, по какой (помнишь?) у старого лорда младенец 7 лет не говорил ни слова. Родители измучились, бегая по докторам и посылая его на курорты, а мальчик молчал. Однако однажды утром за завтраком он произнес: «А бифштекс-то жесткий». И когда пребывавшие долгие годы в отчаянии родители воскликнули: «Джон, ты можешь говорить! Почему ты до сих пор молчал?» – он ответил: «А до сих пор все было в порядке». Так и у меня. Если я ничего не пишу о своей жизни, то, значит, у меня все в порядке. У нас, конечно, все очень беспокойно, но, как в солдатской песне, записанной Львом Толстым:

Очень, братцы, чижало,
Прямо скажем, не легко,
А между прочим ничаво.

Радио у меня испортилось, могу ловить только какие-то музыкальные номера из ближней эстонской станции, так что тревожные известия до меня и по этому каналу не доходят.

Салтыков-Щедрин, когда известия бывали уж очень тошные и вообще на мир смотреть не хотелось, снимал комнату окнами во двор, распространял слух, что уехал за границу, запирался и ел гречневую кашу. У нас, чтобы использовать этот метод, не хватает

только гречневой каши, а в общем все в порядке, не будем унывать, как-нибудь все уляжется. Как говорит французская поговорка, кто переживет, тот увидит. Мне хочется верить, что у Марины тоже все благополучно уляжется и что ты здорова и сохраняешь бодрость духа.

Я продолжаю что-то пытаться делать. Мои милые ученицыколлеги не бросают меня (вот одна из них – Таня – под диктовку сейчас пишет это письмо)[529]. И мы вместе пытаемся немного работать. Беда только в том, что я потерял уверенность в себе и никак не могу решить, что́ из того, что я делаю, имеет смысл, а что – маразматические попытки, ну да Бог с ним. А вообще потихоньку существую, и все в порядке. Давай только договоримся, поскольку никогда нет уверенности, что письмо дойдет (по крайней мере, вовремя), в случае, если наступает перерыв, не волноваться и не строить никаких предположений и ждать письма. Звонить в Ленинград Наташе или еще куда-нибудь не имеет смысла – это игра в испорченный телефон.

Обнимаю тебя нежно.

Марине сердечные приветы.

Всегда (и навсегда) твой

Ю. Лотман

11. III.93.

14 марта 1993 года [530]

Юрочка, дорогой!

Пишу тебе снова. Вчера перечитывала твои последние письма, диктованные тобою. В каждом из них были хоть несколько слов, дописанных тобою, и было легче на душе. Но вот уже почти три месяца, как от тебя нет ни звука, не считая справки для Марины, где есть твоя подпись. Я очень виню себя за предыдущее письмо к тебе с упреками о молчании. Видно, я забываю о том, как ты болен, и не представляю себе в полной мере твоих возможностей. Но ведь ты и не писал о них, так откуда же мне знать… Конечно, диктовать письма, не мочь их прочитать – жуткая вещь. Где взять иную возможность связи с тобой?..

А у нас снежная буря, какой я в жизни не видывала. <…> В США есть и жертвы, здесь потише, но все равно устоять на ветру невозможно, снег сыплет как будто не только с неба, но и с земли;

мои старики и старушки, известное дело, сидят дома. А я из любопытства выскочила хоть постоять у дома, интересно же. <…> А еще утром я так славно гуляла на своей горе. Такая была тишина! Но вот что интересно: мало прыгали белки и совершенно не было слышно птиц, которые уже на прошлой неделе громко распевали весну. <…>

А в Монреале ежегодный фестиваль кино по искусству, и, конечно, Марина носится и зовет меня тоже. Она часто пишет (увы, бесплатно) в маленький журнальчик «Вестник»[531], который совсем не плох; его делают сбежавшие из Дубны физики, и неплохо, но почти прогорают, так тяжело, и их поддерживают безгонорарные доброхоты. Марина и пишет им о всяких киноновостях.

Вчера мы полетели до бури смотреть фильм об архитектуре арабов в Испании. Мне захотелось «побывать» там, в Испании. По названию же очень трудно судить о фильме.

И получили «удовольствие»: какая там Испания. Фильм, вопервых, снят отвратительно, так, что и не увидишь толком ничего, а главное (видно, ради этого он и сделан), очень плохой и нелепый текст. Он о том, что христианская культура в Испании ничего не стоит, несколько лучше иудейская, но только арабы – великие математики, философы, поэты и архитекторы. Сегодня собираемся смотреть еще и фильм о японских садах. Вопрос в том, как добраться до метро. <…> С глухой тоской и отчаянием слежу за тем, что делается в эти дни на родине. <…> Юрочка, я

посылаю тебе интервью из лос-анджелесской русской газетки, там прекрасная твоя фотография, которая тоже стоит у меня на столе.

Такие глаза, как у тебя на ней, сделались у тебя, я думаю, только после смерти Зары, я не видела прежде такого в них выражения. Да что говорить: жизнь идет и идет. Сколько еще нам суждено жить – неизвестно, может быть, и хорошо, что неизвестно.

Я – в порядке. <…> Сестре Ляле, кажется, удастся продать нашу дачу, правда за гроши, и, представь, квартиру. Вот тогда я смогу себе позволить хоть немножко повидать белый свет. Что не будет дачи – я особенно рада. Вероятно, это смешно, и для других она просто кусок земли с грудой гниющих досок, для меня же – ты знаешь – такой дорогой кусок прежней жизни, что я от одной мысли, как там страдало все без меня (мои цветы), часто не могла спать по ночам. Хорошо, что ее покупает какой-то из новых богачей: пусть там строит хоромы, пусть там ничего моего не будет.

Юрочка, мой дорогой друг, я прощаюсь с тобой до следующего письма, будь здоров, будь, будь, будь, пожалуйста.

Обнимаю тебя,

Твоя Фрина.

13 апреля 1993 года

Дорогой Юра!
13/IV-93

Я получила твое письмо от 24 марта, которое шло всего одну неделю. Я не ответила тебе сразу, потому что здесь сплошные пасхальные каникулы и письмо все равно не ушло бы раньше. Ты призываешь меня к благоразумию: не волноваться, терпеливо ждать писем. Я постараюсь. Знаешь ведь, у страха глаза велики, и, когда больше трех месяцев от тебя нет ни звука, так чего-чего только не передумаешь… Ну, быть по сему: ни звонков в Ленинград, ни панического страха за тебя.

Я, кажется, подробно писала тебе о Марине. Повторюсь. Вначале, получив почасовую работу, мы были счастливы, потому что перспективы были очень надежными: почасовая работа должна была продолжиться на следующий год, твоя справка обеспечила бы прожиточный минимум и т. д.[532] Но все как-то сразу же изменилось, поскольку уже в самом начале вышло постановление министра куль туры Квебека об отмене[533] гуманитарных факультетов в английских колледжах <…> с будущего учебного года. Это просто такая доля у нее, на самом же деле отмена их дело прогрессивное, потому что курсы эти, <…> чепуха сплошная, никакого отношения к образованию не имеющая, но дающая приличную зарплату, никакой ответственности и легкую жизнь преподавателям. (Их бы в советскую школу 50–60 годов!)

Студенты и преподаватели по этому поводу бастуют, но это ничего не означает. <…> Марина срочно рассылает документы во французские колледжи, потому что там будет расширяться преподавание английского языка как второго. Правительство наконец увидело, что выпускает студентов, не могущих ни писать грамотно, ни прилично говорить не только на втором государственном языке Канады, но и на родном. Не хочется Марине учить английскому, и шансы, как здесь всегда, сомнительны, но выхода нет. Мы же обе научились здесь (представь, и я – тоже) не думать обо всем вперед:

сейчас есть работа, прожить можно, и слава Богу. <…>

Вера сообщила мне о смерти Левушки Дмитриева[534], ужасно жаль его. Она был на панихиде в Пушкинском доме. Пишет, что ученые выглядят жутко, Д.С. Лихачев чуть ли не лучше всех. Снаряды ложатся рядом, как ты любил говорить. Кто следующий? Нам, слава Богу, не дано знать.

Будь здоров, дорогой мой друг, обнимаю тебя.

P.S. Ты как-то писал, что Наташе предстояла операция. Была ли она и как чувствует себя Наташа?

26 апреля 1993 года [535]

Милая Фрина!

Помнишь, был такой фильм «Шел солдат с фронта и попал опять на фронт». Вот я только вышел из больницы, и сейчас снова отправляют в больницу. Ты не пугайся, ничего страшного, просто «расстройство всякого устройства». Одно проходит, другое начинается. Но вообще ничего серьезного нет и поэтому опасаться причин нет. Просто хотят сделать обследование. Такие любопытные врачи. Писать мне продолжай на мой обратный адрес, мне будут приносить письма. Я очень беспокоюсь, как дела у тебя и у Марины. И вообще мы еще обязательно должны в этой жизни повидаться, поэтому помирать я не собираюсь.

Обнимаю тебя.

Целую тебя нежно,

Твой Ю.

3 мая 1993 года

Юрочка, дорогой мой!

3/V-93

Сегодня пришло твое письмо, дату которого установить трудно: в письме ее нет, а на конверте такая разлапистая печать, что не разобрать. Кажется, что письмо от 26 апреля. Тогда оно пришло очень быстро. Ты в больнице и успокаиваешь меня, как всегда, пишешь, что обследование и ничего серьезного. О Господи! Правда ли это?.. и что означает «то одно, то другое»? – нет ответа и не будет, я думаю, ведь ты не понимаешь, что мне было бы во сто раз легче, если бы я знала подробности всего, что с тобою. Ну, так тому и быть, будь по-твоему. Я только буду молиться, чтобы все было хоть относительно благополучно и то легкомысленное, что было тобою сказано в конце письма: «мы еще должны с тобою повидаться в этой жизни», – каким-то образом осуществилось. Будем жить и веровать.

А здесь «снова, как прежде, весна». Вернее, деревья еще только распускают листья, но уже лето по температуре воздуха, по пенью птиц, по расцветшим цветам вокруг. Марина «дорабатывает», хотя, кажется, ей дадут доработать еще и июнь для каких-то интенсивных курсов. А потом неизвестно, что будет, но ее курсов точно не будет. Поглядим. <…> Приезжал Федя на два дня, замкнут, неразговорчив, огорчает этим Марину. Не меня – я это все принимаю и не делаю истории из его закрытости: время пришло. Он еще не решил, ехать ли в Сорбонну. По делу выйдет мало что, только удовольствия, а денег бездна, так что… <…> А вот Марина в августе хочет ехать в Москву, сердце ее рвется к Юре. Подумай, в ноябре будет уже 4 года как она не видела ребенка, тяжело на самом деле. Ей привез один бывший дипломат его фотографии, которые он сам сделал (дипломат, то есть). Юра выше ростом, чем Марина, а выражение лица все то же: сразу видно, какой он нервный.

Сейчас Марина подыскивает себе попутчика, потому что немыслимо появиться там одной, даже простые телефонные контакты с Андреем совершенно невозможны, ни для ее подруг, ни для когото еще. Да и будет ли Юра в Москве? Если же предупредить Андрея, так он его специально отошлет. <…> Мне радостно помогать Феде. С первых дней в Канаде, со своих 13 лет, он не переставал работать и помогать тем самым Марине, а сейчас практически сам платит за учебу в университете. Характер же у него отцовский, но он, я надеюсь, никогда не будет алкоголиком и очень хорошо уже знает, что только трудом и

усилиями здесь можно добиться успеха. Конечно, он мечтает о теоретической математике. <…> Федька ужасно гуманитарно не развит, некогда, все некогда, только любит настоящую музыку, и это уже на всю жизнь.

Я очень люблю свой новый дом, и, хотя окружение здесь не то, которого бы хотелось, но это чепуха по сравнению со всем остальным. Получил ли ты мою фотографию? Наверное, там ничего не увидеть, но уверяю тебя, что я сейчас много лучше, чем по приезде в Канаду. Поэтому, Юрочка, у меня есть силы на встречу с тобой, когда и как ты захочешь и сможешь – я всегда готова. Господи, как я хочу, чтобы все завершилось у тебя благополучно, чтобы ты мог еще жить, еще работать, еще все помнить и всех. Будь здоров, мой дорогой, будь здоров, будь здоров. Поклоны от Марины. Она, конечно, надеется повидать тебя, если поедет, <…> но уж позвонит во всяком случае, конечно, и уж ей ты скажешь все, что захочешь мне передать. Обнимаю тебя, нежно обнимаю.

Всегда твоя

Фрина

P.S. Я отсылаю тебе эстонскую марку, оказавшуюся непроштемпелеванной. При нашей нищете – не стыдно. Ведь марки дороги…

6 мая 1993 года

Милая Фрина!

Прости, что так долго не диктовал писем для тебя[536]. Опять провалялся в больнице, даже в двух: одна за другой. Было что-то с печенью и с желудком. Субъективно я был совершенно убежден, что речь идет о раке, и отнесся к этому с полным спокойствием. Однако после многочисленных анализов врачи пришли к выводу (насколько мне удалось по косвенным данным выяснить, это действительно так), что никакого рака у меня нет. Но есть разнообразные хворости в моих истрепанных внутренностях. Самое смешное то, что если я ощущаю где-либо боль, то это, как правило, в той почке, которой у меня давно уже нет. Как видишь, друг мой, отсутствие чего-нибудь может причинять мне более страдания, чем присутствие. В частности, отсутствие дорогих мне людей, из которых, по словам Пушкина:

> Иных уж нет, а те далече,
> Как Сади некогда сказал[537].

Переходя от стихов к простой и понятной прозе, скажу, что я не только вышел из больницы, но даже возобновил чтение лекций. Правда, с каким качеством, то, как писалось иногда Иваном Грозным, когда ему надо было перечислить неизвестные ему вещи: «Ты, Господи, сам веси». Вообще у нас раннее лето. Погода переменчива. Дела и настроение – тоже. Если смотреть шире, то все, как когда-то выразился А.Н. Толстой, – «хмурое утро», довольно хмурое и даже противное, но все-таки можно надеяться, что утро. Письмо печатают под мою диктовку. В принципе я мог бы печатать и сам, но ленюсь. Я вообще сделался ужасно ленив. Ты бы меня абсолютно не узнала. Кстати, на днях мне придется (вот лень-то) фотографироваться для эстонского паспорта. Одну фотографию вышлю тебе. Не пугайся. Как поет Германн в «Пиковой даме»:

> Не пугайтесь, не пугайтесь,
> Я не стану Вам вредить.

В больнице, в наиболее тяжелое время, я все не мог понять, где я нахожусь. И мне казалось, что я в Канаде. Я изумлялся, почему ты не заходишь.

Сейчас я, кроме двух часов лекций в неделю (так мало, что даже смешно), диктую сразу двум моим милым ученицам два различных замысла, которые тороплюсь закончить.

У нас (не столько в Эстонии, сколько в России) появилось много частных и получастных издательств. Инициатива так и брызжет, но книги не выходят (вернее, очень мало по сравнению с издательским энтузиазмом). Частная инициатива раздувается, но и лопается, как мыльный пузырь. Вообще обстановка какая-то смешная и настолько непохожа на всю предшествующую жизнь, что я себя чувствую, как мастодонт, который случайно забрел в Пассаж. Он и тычется в какие-то прилавки, и даже хочет понять, что происходит вокруг: то ли свадьба молодых мастодонтов, то ли заведение, в котором из мастодонтов делают колбасу, надо ликовать или спасать шкуру – непонятно. Но мне, по известному тебе моему глупому характеру, более хочется ликовать.

Таковы мои дела. Каковы твои?

У нас теперь эстонское начальство играет в свои игры. В Питер ездить трудно и дорого. Надо добиваться разрешения, причем, как правило, неизвестно, у кого и каким способом. Вернее, известно, и очень многим, но всем по-разному. Но это все пустяки. Перемелется, мука будет. Жизнь, в общем, удерживается на вполне терпимом уровне. Если, взглянув на инфляционные цены, не упасть в первую минуту в обморок и вспомнить, что в некоторой пропорции возрастают и зарплаты, то ничего страшного нет. Когда первобытные амфибии обнаружили, что вода ушла, те из них, которые не вымерли, превратились в ящериц, а затем, следуя указаниям Дарвина, постепенно стали человеками. Это, как однажды не очень прилично сострил Александр III, «вселяет надежду». (Такую резолюцию государь наложил на дело о восьмидесятилетнем старике, который лишил чести шестнадцатилетнюю девицу.)

Вот, дорогой мой друг. Таковы общие дела, и могу завершить письмо только двумя вещами. Во-первых, сердечно прошу тебя быть здоровой и не унывать, и, во-вторых, пиши мне, ибо мне без твоих писем очень плохо.

Твой

06.05.1993 г.

Обнимаю тебя нежно, мой дорогой друг! Волнуюсь, почему нет писем. М<ожет> б<ыть>, Марина мне напишет.

Всегда твой Ю. Лотман

13 мая 1993 года

13/V-93

Юрочка, мой дорогой!

Пишу тебе снова, хотя недавно отправила тебе письмо. Может быть, ты все еще в больнице… Что они – исследователи – с тобой там делают и что, бедный, делаешь там ты? Хорошо знаю, что такое больница, даже комфортабельная. <…> Все мои мысли сейчас о тебе, и все мои молитвы: только бы обошлось на этот раз, только бы пронесло. Прости, что кудахчу, как старая курица, да что же я могу еще сделать для тебя? Вот вчера, в какой раз уже! перечитывала твои письма 91 года, первые сюда в эмиграцию, после смерти Зары. Наревелась и уснуть так и не удалось до утра. Сейчас вот сижу, тюкаю тебе письмо, включила магнитофон с моим последним приобретением: полный диск – Владимир Горовиц играет Песни без слов Мендельсона. Сколько я их переиграла в детстве! А он просто волшебник какой-то: кажется, что только касается клавиш, а звук такой, что с ума сойти можно. Весна вовсю идет в лето, хотя где-то на севере Квебека и снег снова выпал.

И опять под окном цветут яблони, а в городе цветет магнолия, сумасшедшее количество тюльпанов, и черных тоже! да и еще какие-то неведомые мне кусты цветут.

Друг мой дорогой! Я живу просто хорошо; кажется мне, что так спокойно никогда во всю мою жизнь не жила, так удобно, и так легко все. С Вилем мы, конечно, друзья и звонки каждый почти день, и моя помощь ему, и покой, покой. Ты был прав: немедленно нашлись русско-еврейские дамы в его доме, которые иногда готовят ему, зовут на чай; и т. д. Он же все великолепно может сам себе сделать, настроение у него большею частью хорошее, и по-прежнему готов для меня, и Марины, и Феди сделать все, что может, а дамам, – бедные они, – регулярно сообщает, что жена его готовит лучше и красивее ее нет на свете. Как ты любил повторять: «Таков неизъяснимый закон судьбы». Словом, все хорошо. <…>

Марина доработала семестр, больше, кроме временных заработков от переводов у юристов и в эмиграции, на которые жить нельзя, ничего нет. Бьется и ищет всякий день. Надежды на замужество уже почти нет, и не потому, что нет никого, но потому, что она, бедная, так ранена всем, что было, что рисковать больше не хочет, а мне страдание: оставлять ее одну на земле. Что сыновья для мамы… сыновья – не дочери. Федя звонит редко, если что нужно только, приезжает еще реже. Сорбонну отставил,

за неимением профессиональной выгоды и бешеными деньгами, которые надо платить только за удовольствие и за язык, не стоит того, да и успеет. Очень надеюсь, что про Юру узнаем подробно, когда его повидает Марина в Москве (если это ей удастся). Очень боюсь ее поездки вообще и в частности ее встречи с Андреем. От него, увы, всего можно ожидать, в том числе, что ушлет куда-нибудь Юру. Он обозлен на нас всех – за что – не ведаем, думаю, просто завидует. По его представлениям, нам должно быть гораздо хуже, это бы его вполне устроило. Сестра моя Ляля пыталась всячески им помогать продуктами, все отвергнуто, хотя, по слухам, он и не работает. С подругами Марины тоже говорить не желает. А может быть, все гораздо проще: пьет, как прежде, а это, разумеется, изменило личность. Случай вполне известный и многажды описанный.

Юрочка, Юрочка! Будь здоров. Выкарабкивайся, работай, дыши, живи, помни меня и все прошлое. Может быть, мы еще и вправду увидимся, и твои на это надежды – не просто слова утешения для меня. Жизнь тогда бы снова наполнилась смыслом. В ней все хорошо, в этой жизни, да тебя в ней нету. И плачу я, читая твои письма старые, потому что голос твой, твои интонации слышу.

Обнимаю тебя нежно

Твоя Фрина

P.S. Можешь ли ты работать? А лекции?

13 мая 1993 года [538]

Дорогой друг!

Последнее письмо (от 3.V.93) пришло поразительно быстро. Это позволяет надеяться, что и мое письмо дойдет без обычных задержек и не пропадет в пути. Мне тревожно из-за того, как складываются в последнее время служебные и финансовые дела Марины: в последнем письме ты сообщала об этом как-то очень неясно. Если планы Марины посетить с какой-то экскурсией Россию для встречи с Юрочкой реализуются (ты об этом писала, но как-то глухо и неопределенно), то, к сожалению, я с ней повидаться не смогу: граница между Эстонией и Россией очень осложнена и пересечь ее требует таких формальных трудностей, которые делают ее практически закрытой для людей, не обладающих повышенной энергией и очень хорошим здоровьем. Ты мало пишешь о себе, а между тем, меня интересует все, и большое, и малое.

Что сказать тебе о себе? Я сам не пойму, то ли я работаю, то ли только делаю вид. Вчера я прочитал последнюю в этом году лекцию, думаю, что это вообще последняя лекция. Очень не хочется читать плохие лекции на той же самой кафедре. Я ловлю себя на том, что на лекции теряю мысль. Вообще то состояние свободы, которое всегда у меня на лекциях было, кажется, уходит. Но в глубине души я еще не изжил надежды, что это временный результат недавно перенесенной болезни и весенней усталости. Но – поживем – увидим. Ведь мы же с тобой с судьбой обходимся так: ничего не просим, ни на что не жалуемся. Расскажи мне подробнее о своем житье-бытье. Напиши подробно просто о каком-нибудь дне, ничем не замечательном, или, наоборот, чем-нибудь замечательном – мне все интересно. Письмо с фотографиями я получил. Они очень милые, но лучшая коллекция фотографий – это та, что у меня в голове. Вообще мир, который сосредоточен в моей памяти, мне нравится больше того, который я вижу вокруг себя. Но это потому, что в памяти совсем не реальный мир, а тот, который был виден слепыми глазами молодости и в котором она сама отразилась. Вот это и есть самое привлекательное. Как говорил Фауст в Мефистофеле <так!>: «Верни мне молодость мою!». Впрочем, я когда-то, в пятом классе, написал сцену, продолжающую «Фауста». Это сцена в аду, где Фауст варится в котле и уже довольно сильно разварился. К котлу подходит Мефистофель и предлагает Фаусту еще раз провести эксперимент. Длинный монолог искушающего Мефистофеля заключался тем, что Фауст молча лез обратно в котел. Это,

конечно, тот детский пессимизм, которым утешают себя мальчики на пороге жизни; что бы мой Фауст сделал теперь, я не знаю. Об этом еще надо подумать.

Ну вот, я разболтался.

Обнимаю тебя. Очень жду писем. Всегда и неизменно сердечно твой

Ю. Лотман

Тарту

13. V.93.

21 мая 1993 года

Милая Фрина!

Получил твое письмо от 14 мая. Ты мало пишешь о себе, говоришь, что у тебя все идиллично – и в твоем новом жилье, и в отношениях с Вилем. Но как-то без подробностей, и я боюсь, что ты немножко идеализируешь ситуацию, чтобы не волновать меня. Ты тревожишься о Марине и ее поездке в Россию. Я – тоже. Мне очень бы хотелось ее повидать в случае ее поездки в Россию, но это, к сожалению, видимо, невозможно: люди так привыкли к границе «на замке», что, когда и границы-то нет, готовы повесить замки на первые попавшиеся кусты. А тогда уж и сквозь куст не пройдешь без тысячи формальностей, самых идиотских. А все, что внове, делается особенно усердно. Поэтому от нас в Рио-де-Жанейро проще поехать, чем в Псков. Ну да перемелется – мука будет.

Я пока еще делаю вид, что работаю: мало, плохо, – но кое-как продолжая. Новая беда: мои милые сотрудницы (в частности, та, которая сейчас пишет под мою диктовку)[539], натурально, приходят днем, а мысли как раз ночью (и то через день). Это напоминает ракушки, которые, пока в воде, кажутся ужасно красивыми, а как вытащишь – серые и бесцветные. Точно так же ночные научные мысли – днем почти всегда оказываются ерундой, зато ночные грустные мысли и днем сохраняют свою силу.

Мне очень хотелось бы чем-нибудь помочь Марине. Но просто ума не приложу, что я мог бы для этого сделать. Если какаянибудь идея у тебя возникнет, то прошу тебя не только тотчас же написать мне, но и даю тебе право распоряжаться моим именем. У нас жарко, правда погода неустойчивая. Я очень люблю жару, но сейчас при ней я задыхаюсь. То же самое, когда я пытаюсь быстро ходить: отдавая дань привычке и вкусу, метров 200–300 пройду как можно быстрее, но тотчас мне напоминают, что сроки уже прошли. А сейчас, когда я диктую, где-то играют какую-то современную музыку (я, признаться, в простоте думал, что это движок – совершенно одно и то же), а у меня сердце подстраивается под эти идиотские удары, – неприятно. Ну да это «мелочи жизни», как говаривал мой школьный друг Нёмка, уже довольно давно умерший. А вообще, не будем киснуть; как сказал Твардовский:

Пожили, водочки попили,
Будет уж с нас – за глаза[540].

Ну вот, кажется, все. Пиши.
Сердечно и неизменно твой
Юра
21. V.93.
Тарту.

1 июня 1993 года

Дорогой мой Юрочка!

Оба твоих письма майских шли меньше двух недель, вот сегодняшнее, второе, и вовсе 8 дней – прямо фантастика какая-то. Получается, что с одной, определенной, стороны, граница закрыта на замок, а с этой – пожалуйста… Дай-то Бог! И Марина ее пересечет в августе, я надеюсь, если ты позволишь к тебе приехать на денек… Она гражданка Канады, у нее канадский паспорт, с которым все и везде открыто. <…>…Я очень ее люблю, ты знаешь, она да ты – весь свет в моем окне. И я очень ее жалею. <…> Мы с ней по-прежнему очень близки, но ведь возрастной рубеж никому не перейти, поэтому иногда мне все-таки очень одиноко, бывают тяжелые дни. Но в письмах к тебе я говорю тебе правду о себе, а если пишу невнятно, так потому, что писать не умею, это во-первых, вовторых, время и пространство делают свое дело, в-третьих, и это главное: твои редкие письма минувшей зимы и осени так мало сообщали о тебе, что, не зная твоего истинного самочувствия и настроения, я не отваживалась писать, как бы мне хотелось.

Спасибо тебе, мой дорогой, что печешься о нас обеих, волнуешься за нас. Ты знаешь, что дороже любви на свете ничего нет. Это еще апостол Павел нам сказал. Пока я ничего не могу придумать в помощь Марине, кроме любви и понимания. Да и ты сделал, что мог: прислал, что они просили, а им и не понадобилось. Здесь такие бумажные души, не хуже чем в родном отечестве. Я очень жду поездки Марины в Россию. Во-первых, нужно повидаться с Юрой в Москве, во-вторых, для меня это важно, – увидеть тебя, привезти мне живой привет от тебя, наконец, может быть, привезти пленку, которую ты «наговоришь» мне – письмо от тебя (Марина привезет диктофон).

Если бы ты знал, как я по тебе тоскую, как страдаю, что ничем не могу тебе помочь, как чувствую твое одиночество. Даже продукты в Эстонию не берут здесь. Говорят, что в Торонто, вокруг какой-то эстонской газеты, группируются люди, которые берут посылки в Эстонию. Но мне это недоступно, увы.

Ты просишь меня описать тебе какой-нибудь день моей жизни. Юрочка, дни похожи один на другой, в целом, как и в Москве, я придумываю себе занятия сама. А что делать, если нет работы. Была бы – было бы, может быть, интереснее. Но… насчет работы – это старая песня. Надо было бы жизнь свою с молодости строить иначе, но поезд этот давно ушел, не воротишь. Может быть, я была слишком самонадеянна, переменив круто свою

жизнь здесь, ибо временами бывает очень тяжело. Но кто не одинок в старости? А о своем решении[541] я ни минуты не жалею, потому что живу хорошо, покойно и, чаще всего, в добром настроении.

5 июня, через пять дней, мне исполняется 65 лет. Какая долгая жизнь! Но как много в ней было светлого и прекрасного. Вот в мои бессонные ночи, когда я вспоминаю нас с тобою, как много, сколько всего было. И «скажем спасибо и этой судьбе». Глаза еще глядят, видят Божий свет. Я люблю физические упражнения, плаванье, они держат меня физически, я люблю здесь все, что цветет в Монреале, все, что утешает душу; когда слушаю музыку, я живу. Я радуюсь самым маленьким успехам Марины, радости Феди, когда у него хорошо в университете, письмам от тебя.

Но вот что я так хочу просить тебя: для меня, пожалуйста, жалей себя. Ты не жалел себя никогда (война, дети росли), но сейчас! Жалей сердце, это самое изношенное, что у тебя внутри, жалей его. Ты должен много, много отдыхать, тогда и работать сможешь. Я прошу тебя всем, что тебе дорого: жалей себя. Еще, Бог даст, и лекции будешь читать, может быть, если окрепнешь летом. Я прошу сегодня Марину звонить тебе, вдруг удастся, я стала бы часто звонить тебе. Может быть, теперь в Эстонию, как и письма, ведут другие пути? Не беспокойся о нас, ни обо мне, ни о Марине. Вот в мае пришло от тебя три письма, и я ломаю голову, что случилось, почему ты так часто пишешь? Что тебя так волнует? Нам проще, чем тебе: есть еда, есть лекарства, мы с Мариной вместе. «Проблемы» у тебя. Марина прорвется через ваши дурацкие заслоны, еще привезет мне книги твои, что вышли или выйдут к моменту ее приезда к тебе, привезет мне последние твои фотографии (сама тебя наснимает).

Юрочка, неужели мы с тобой уж никогда в этой жизни не увидимся?

Вот об этом мне думать просто невыносимо, и я себе не позволяю. Только иногда ночами, когда мысли так тягучи и безрадостны, я не могу не думать, что больше никогда, никогда…

Но все-таки, может быть, еще когда-нибудь…

Друг мой, у нас какое-то балтийское лето: дождь, холод, совсем не похоже на Монреаль. Вроде бы я сижу в этой трущобе у Скайдры[542], а тучи все плывут и плывут, дождь все идет и идет. Помнишь Кемери, ты все помнишь? <…>

Юрочка, милый, спасибо за частые письма, я вроде бы побыла с тобою снова. Хотя что-то в этих письмах есть ужасно тревожное, что это – не могу сформулировать, только беспокоюсь о тебе ужасно. Милый мой, дорогой, будь здоров, только здоров, береги

себя ради себя, ради меня, ради всех твоих детей и внуков, пожалуйста.

Обнимаю тебя и нежно целую, мой дорогой друг,

Твоя Фрина

P.S. Еще есть время: пожалуйста, напиши мне, может ли Марина к тебе приехать на денечек. И обязательно напиши: что тебе привезти. Подумай об этом и не беспокойся, если просишь то, что может показаться тебе странным. Нет и не может быть ничего неудобного, что бы ты ни попросил.

14 июня 1993 года

Милая Фрина!

Как видишь, первый раз дерзаю писать тебе своей рукой. Прогресс! Ну как почерк? Изменился ли? Рука, как видишь, работает, но субъективно я переживаю чувство легкой парализованности. Прежде всего отчет о моем здоровье: оно в состоянии короткого одеяла: на нос натянешь – пятки вылезут. Но в целом «все хорошо, все хорошо…». Сейчас у нас холодное, кислое нечто между весной и летом. Я лежу в больнице (не пугайся, для анализов и проверок). Сегодня у меня маленькая стариковская радость: был флюс, но врач сказал, что зуб (из комплекта моих minimum minimorum) рвать не надо, а достаточно что-то пить, глотать и колоть. Удача!

Я все еще думаю, что работаю: диктую статью и редактирую свою книгу. Это по принципу: «идем на дно – настроение бодрое». Но я и вправду стараюсь не кваситься. Я рад, что у тебя с Мариной отношения близкие, у меня, к сожалению, не без сложностей: все мило, хорошо, заботливо, но по сути я абсолютно не нужен. К счастью, у меня есть очень маленький круг учеников и секретарш, что частично восполняет пробелы. Но на самом деле, мне жаловаться на близких нет причин: просто я стал зануда, придирчив, обидчив, чего никогда прежде не было (я не был обидчив, т<ак> к<ак>, как правило, обижал, а не был обижаем). Теперь расстановка меняется, и это естественно. Я с нетерпением жду встречи с Мариной.

Кстати, у меня странная мозговая вещь: я вижу достаточно хорошо (меняется по времени суток), но лица людей в мозговом (а не зрительном) механизме искажаются, так что даже внучек я вынужден порою спрашивать: «Кто ты?». Иногда, при полной ясности вида фигур и пейзажей, лица переменяются до неузнаваемости.

Так живем, друг мой… Пиши мне, помни меня, а я всегда чувствую твое присутствие.

Твой Юра

P.S. Марине сердечные приветы.

Тарту, больница, 14.VI.93.

15 июня 1993 года

Дорогой друг Юрочка!
15/VI-93

Сказала ли тебе Саша[543], что я звонила и не застала тебя: ты опять был в больнице. Это испугало меня ужасно, ведь уже в третий раз за короткое время… Хотя Саша меня уверяла, что ничего серьезного, у дедушки «просто живот болит, и там его подлечат», – я все равно потеряла покой и, прости, трусливо не могу позвонить еще раз, боюсь. Понимаешь ли ты это? И говоришь ли ты мне правду о себе – вот главное, что меня мучит. Ты не можешь, не должен думать, что мне лучше не говорить правды, если она тревожна. Помни об этом.

<…> На днях мы очень порадовались с Мариной: она обошла всех своих соперников-канадцев на интервью, и ее взяли в оба колледжа. Нагрузка будет чудовищная[544], какие именно курсы, не имеет значения, но ведь ни от чего нельзя отказаться, потому что второй раз не позовут. <…> Как всегда, все бывает сразу: два года никто всерьез ее сценарием не интересовался, а вот теперь как раз, когда зарез и надо готовить новых четыре (!!!) курса, – заинтересовались. Сейчас она еще работает: ей дали еще поработать июнь. Так что о нас, пожалуйста, не волнуйся.

Юрочка, родной, что с тобой, чем ты болеешь, что болит? Может быть, мне надо пробовать слать тебе какие-то лекарства? Если даже в августе Марина не сможет приехать к тебе (а я надеюсь, что сможет), то ведь передать из Москвы можно же. Можно и сейчас передать в Москву отсюда, если срочно, в Тарту я не могу, а в Москву смогу. Только сообщи об этом. Впрочем, я надеюсь собраться с силами и все-таки позвонить тебе. Теперь так легко соединяют с Тарту. А вот на днях исполнилось 90 лет моей маме, и я не смогла дозвониться до Украины.

Я послала приглашение сестре Ляле приехать сюда, но говорят, что не только Канада никого из родственников в гости не пускает, ибо остаются здесь, но и паспорт для выезда в России получить невозможно. Поглядим.

Время сейчас для меня немножко грустное: кончились всякие занятия, жарко, хочется за город. Бывает тоска ужасная: жаль прошлого, воспоминания не отпускают и не дают принять что-то совсем иное и идти, сколько придется, совсем другой дорогой. Я не понимаю здесь людей вокруг, я не вижу их ценностей, не могу сойтись ни с кем. Вероятно, это моя беда, а не их. Многое значит и мой плохой английский. Особенно я не могу говорить, если чувствую к себе неприязнь или полное равнодушие, что

приходится чувствовать часто у врачей. Не желая лишний раз тревожить Марину, потому что ей и так вздохнуть некогда, я пытаюсь все у врачей узнать сама, а это не выходит, я смолкаю и ухожу, а что делать – неизвестно. Сейчас вожусь с глазами: 20 лет в России и три года здесь все искали причину болей в левом глазу, а теперь и в нем и в правом, кажется, нашли глаукому, скачут там какие-то пятна, вроде бы лопнувшие сосуды, а точно узнать не удается, попасть к врачу сложно, назначают визит через два месяца. Такие вот дела. <…>

Просто бывают разные дни, а поскольку я тебе уже не писала две недели, а писать надо, то это письмо попало в такой вот невеселый день. Так что моя жизнь, конечно, не идиллична, как тебе кажется из моих же писем. Одиноко бывает ужасно, горько от того, что тебя не вижу и, видно, не увижу. Пытаюсь, как в Москве, когда ты долго не приезжал, трогать твои книги, твои статьи, читать их, следить за ходом твоей мысли – приблизиться к тебе. Но это здесь и сейчас удается плохо. Мне надо видеть тебя, как бы мы оба ни изменились, больного ли, здорового ли, старого или нет, усталого – тебя и только тебя.

И нет тебя, и нет тебя. До следующего письма.

Обнимаю тебя и нежно целую

Всегда твоя Фрина

Я опять звонила тебе, но ты еще в больнице. Очень беспокоюсь о тебе[545].

26 июня 1993 года

Дорогой мой Юрочка!

26/VI-93

Я вернулась сегодня из дальних стран – из штата Массачусетс, что в США. Недалеко, в трех часах езды автобусом от Бостона, есть такой полуостров, Кейп Код, это очень похоже на нашу Куршскую косу. Он похож по форме на локоть, с одной стороны которого, внутренней, залив – знаменитая бухта Провидения, куда когда-то приплыл «Мейфлауэр» с первыми англичанами-протестантами, покорившими и освоившими этот край, от которого и пошло завоевание Северной Америки. С другой стороны, внешней, открытый океан. Марина отправилась сюда на какую-то конференцию и «прихватила» меня с собой: покупаться в океане и переменить обстановку. Мы прожили с ней здесь 10 дней у милых «подруг» – двух дам, одна их которых учит где-то в этих краях дефективных детей, а другая – журналистка, пишет в местную газету. Обе они владеют небольшим домом, в котором сдавали нам две крошечные прелестные комнатки, а вокруг сад, цветы и пение птиц. По климату это место напоминает не то наш Крым, не то Хаапсалу: те же камыши в заливе, много уток, тишина и покой. Это детский[546] курорт, потому что в заливе мелко, вода во время отливов совсем уходит, а океан далеко.

Вообще здесь, в США, без машины невозможно, нет автобусов, иногда на улице не у кого спросить, как пройти куда-нибудь. Поэтому посмотреть мы почти ничего не смогли, вернее я не смогла, а Марина много успела, широко пользуясь велосипедом хозяек. Конференция оказалась никакой, просто местная, да и не только местная, профессура любит «работать» в курортных местах вместе с семьями. Они, как и мы, если не имеют здесь дома, так снимают жилье. <…> Странно, но тяжелые мысли здесь как-то уходили, и я действительно отдохнула (от чего, спрашивается?).

Приятно глазеть на американские семьи. Отцы возятся и играют с детьми, не только мамы, как было всегда заведено в России. (Мне ли не знать!) Малыши, у которых еще дайперсы на попке, а во рту соска, в купальничках и спасательных поясках лезут смело в воду. Никакого крика, хотя пляж очень маленький, родители не раздражены. Детского плача вообще не слышно.

Уровень жизни здесь гораздо выше, чем в Канаде, все дешевле, и мы накупили массу милых и ненужных мелочей на память.

Были и в знаменитом Провинстауне. Это городок на конце Кейп Кода, город художников и… гомосексуалистов. Не очень приятно смотреть на обнимающихся мужчин, на обнимающихся женщин, но потом привыкаешь. <…> Мы думаем, что наши хозяйки из той же компании: такая дружная семейка! Но к нам были неизменно милы, внимательны, иногда даже подвозили на машине. Хотя гулять там особенно негде, ибо все только для машин и велосипедов, – но я все-таки много ходила, глазея по сторонам. Эти дикие розы на низких изгородях, эти дивные деревянные дома: деревянные серые дощечки, уложенные, как у нас кладется черепица. И дикий виноград, и уйма цветов.

Странно было мне видеть, как при отливе океан совсем уходит и можно гулять по дну, что мы иногда и делали. Но купалась я мало.

Когда я вернулась, Виль мне дал большую статью о Ваших делах. И я понимаю твою боль по поводу того, что может быть с работой для многих твоих друзей, дело которых, как и для тебя, было делом всей их жизни[547]. Хочется надеяться на разум. Не на Россию же, в самом деле. Но грустно очень, очень. Если действительно ликвидируется образование на русском языке, так что же будет с двумя кафедрами Вашими, с твоей лабораторией? Боже, Боже! Юрочка, мой друг, ты успокаиваешь меня насчет твоего здоровья. Я попробую поверить тебе, ибо что же еще мне остается? Марина разговаривала с врачом насчет моей глаукомы, и он, будто бы, сказал ей, что капли должны мне помочь и остановить процесс, пока, якобы, не страшно. Но боль в этом, самом моем «зрячем» глазу я чувствую много лет (в темной комнате), однако искали в Москве три года, искали здесь, ничего не находили, и только один врач нашел глаукому. Лучше поздно. Вообще же я чувствую себя хорошо. Была, правда, небольшая эпопея с зубом во время отдыха, и его, увы, пришлось там вырывать. Хорошо, что была заранее куплена страховка. Все обошлось хорошо, и я свободна от боли, которая меня измучила.

На обратном пути перед самолетом мы день провели в Бостоне, который мне очень не понравился: шумно, грязно, город «челюсти», как я называю это скопление небоскребов, мостов, грязнющего метро и толпы людей. Но есть, есть дивный старый город, не то Одесса, не то мой родной Днепропетровск в моем раннем детстве. Мощеные узкие улицы, небольшие, в зелени, дома со ставнями, тень от широколиственных деревьев и тишина. Эти улицы – для богатых людей только.

И еще Гарвард, конечно. Лица совсем другие, чем в Канаде или Нью-Йорке, любимые мною, интеллигентные молодые и старые лица; так это было хорошо видеть. Но мы с радостью

вернулись в такой теперь уже близкий, и понятный, и милый Монреаль. Полет же из Бостона длился всего один час. И вот уже я сижу за своим столом, над которым твой портрет и старая гравюрка Александринки, привезенная из моей комнаты в Москве. Помнишь ее? Будь здоров, только здоров. Как я хочу, чтобы все было хорошо в университете!

Целую тебя нежно.

Всегда твоя, только твоя Фрина

Марина кланяется, грустит, что встреча с тобой откладывается до зимы.

28 июня 1993 года

28/VI-93

Юрочка, дорогой мой друг!

Пишу тебе снова «под небом Африки моей»: за окном +32, но в квартире у меня гудит кондиционер и жить можно. Вчера вечером выбралась смотреть какой-то итало-американский фильм странного названия «Комфорт от постороннего» (это я так буквально перевожу с английского); народ на него валом валит, а я пошла потому, что в аннотации была обещана Италия. Действительно, все происходит в Венеции, идиллическая любовь; но кончается ужасами и кровью. Герой хорош, как ангел, героиня – тоже, говорят на лондонском английском, который я лучше понимаю, но вот почему герою горло перерезали в конце бритвой, я так и не поняла. Смешно? Оказалось, фильм ужасов.

(Ты собирался мне рассказать, ЗАЧЕМ нужны фильмы ужасов, но так и не успел…) Но <…> Голливуд удивительно сумел показать Венецию, и я пыталась увидеть ее розовые дворцы и церкви твоими глазами. Ты ведь ее видел дважды: с Зарой и, потом, один. Попытка приблизиться к тебе. А еще я перечитала биографию Пушкина, и совсем иначе, чем в первый раз: меня интересовал сейчас ты, а не Пушкин. И было невыразимо горько от драмы твоей, а не его, жизни. И сколько горечи в этой, такой оптимистической, книжке, какие глухие времена твои в ней звучат! <…>

Меня ужасно мучает беспокойство о тебе. Два моих звонка – и я ничего не узнала от Саши. Почему ты в больнице? Может быть, она не понимает мой русский язык? И почему же ты не пишешь ничего о болях и болезни своей, давая почву для моих Бог знает каких мыслей? Молю Всевышнего, чтобы обошлось и на этот раз.

Очень я огорчена тем, что Марина не едет летом в Москву; может быть, только на Рождество, в декабрьские каникулы в колледжах. Я тебе уже писала, – повторяюсь, – что ее взяли на следующий семестр в два колледжа, причем на более чем полную нагрузку. Это означает, что если дальше и не будет работы, то она заработает деньги на следующий семестр. Главное же то, что она очень увлечена и радуется, но необходимо лето использовать для серьезной подготовки, а уж поездка никак не вписывается. Обе мы огорчены главным образом тем, что не состоится встреча с тобой. Сколько надежд я на нее возлагала! <…> Будем надеяться, что все еще будет хорошо и она увидит тебя, а я, если зимой получу гражданство, то первая поездка моя будет, мой дорогой, к тебе, к тебе.

Канада же свои «ворота» накрепко закрыла для визитеров из России и Украины. Были здесь актеры из Москвы, которых пустили, потому что они побывали в Канаде дважды и дважды возвращались. Они нам рассказали, что на внешней стене канадского посольства на Сивцевом Вражке в Москве висит сообщение посла о том, что, к его сожалению, он не может, от имени своего правительства, разрешить гостевые поездки в Канаду, поскольку у него нет доказательств обратного возвращения гостей. Каково? <…>

Перед нашим отъездом там было вывешено что-то подобное для жертв Чернобыля, которым Канада очень сочувствовала, но пригласить их для лечения никак не могла. Песня эта имеет два разных куплета: для канадцев, у которых растут налоги благодаря эмиграции – один куплет, для эмигрантов, которые ищут лучшей жизни – совсем другой по смыслу.

Обнимаю, нежно тебя целую.

Твоя навеки

Фрина[548]

3 июля 1993 года

Милая Фрина!

Получил твое письмо, полное тревог и опасений в мой адрес. Дорогой друг, заверяю тебя, что оснований для беспокойства нет (я, если бы не разленился, то мог бы это письмо писать сам, но лень-матушка раньше нас родилась)[549].

Прежде всего пишу о своем здоровье, потому что это тебя беспокоит. Оно совсем не плохое. Зрение хоть медленно, но продолжает улучшаться, и по другим показателям все в общем вполне благополучно. Конечно, все под Богом ходим. Меня беспокоит твое здоровье, особенно известие о глаукоме. Друг мой, не относись к этому легкомысленно. Ты пишешь об успехах Марины в вопросе служебных дел. Это меня глубоко и искренне радует. Дай Бог, чтобы там все развернулось хорошо. Конечно, по твоим словам, сейчас на нее навалилось слишком много работы. Но ведь мы с тобой знаем, что отсутствие работы тяжелее самой тяжелой работы. У нас эта истина вполне ощутима. Хотя пока что она не коснулась никого из близких мне людей, но тень общего развала все больше нависает. Ну да посмотрим! Одно из самых положительных последствий нашего жизненного опыта состоит в том, что, кроме здоровья и самых коренных основ благополучия наших близких, ни о чем больше беспокоиться не следует.

Я продолжаю что-то вроде работы. При содействии моих милых помощниц, из которых одна пишет это письмо[550]. Пиши мне.

Всегда жду вестей от тебя с волнением и нетерпением.

Будь, будь, будь здорова и счастлива, насколько это возможно, а обо мне не беспокойся.

Милая Марина! Нежно Вас целую и желаю Вам всего самого лучшего.

Ю. Лотман

3 июля 93.

Начало июля 1993 года

Мой родной Юрочка!

Приехала сегодня из загородного отдыха, и застало меня твое письмо, написанное тобою в больнице, твоей рукой. Это радость для меня. Почерк твой совсем не изменился, те же ТВОИ буквы, прямые и точные, как твои, дорогой, мысли. Немножко иногда не ровны строчки, но это такая малость. Марина работает много и радуется тому, что может серьезно готовить свои будущие курсы. Я горюю, что она не встретится с тобой, потому что никак не может ехать сейчас. Будем живы, еще увидит она тебя. Я-то вот когда тебя увижу? Читала твое письмо и горько, как всегда, думала, почему так о нас распорядилась судьба.

Ты знаешь, я всегда примеривала свою жизнь по чужой жизни, по стихам, по романам. Мне казалось, что я неправильно живу, что надо не так. Вот сейчас, случайно, я в первый раз прочитала книжку О. Ивинской о Пастернаке[551]. Конечно, она не такая крупная личность, как Н.Я. Мандельштам, и книжка-то никакая. Но: ее страдания, ее и его мученическая жизнь! А главное, что я там для себя вычитала, то, как она ему помогала, как поддерживала, как снимала боль. Я думаю, что если бы я была с тобой, то многие твои муки сейчас, в том числе и от отчуждения детей и внуков, не были бы для тебя так тяжелы. Я уж не говорю о быте, о секретарской работе, которую бы с радостью делала для тебя.

Да только ли это? Я окружила бы тебя любовью и нежностью, насколько бы хватило моих сил. Ты же понимаешь, что жизнь свою здесь я все время для себя придумываю, что всякие мои «физкультуры» и прочие занятия нужны мне, чтобы не опускаться, не упасть, не гибнуть медленно. Понять же эту жизнь, людей здесь, я никак не могу. Может быть, мое время просто ушло, может быть.

Трудно понимать журналы, где, прости, оргазму и прочему в этом роде посвящаются специальные статьи, где «техника» отношений заменяет любовь, понимание, нежность. И все как-то ужасно поверхностно; канадцев, как и американцев, раздражает образованность, гуманитарная в особенности, термин «очень высоко образован» произносится с презрением. Их раздражают русские, претендующие на интеллектуальный труд. В этом смысле победа Марины в борьбе за работу очень впечатляет, и я за нее сердечно рада. А вот мне тяжело. <…>

Юрочка, Юрочка, если бы ты был со мною! Как цвела бы жизнь! Неважно, что мы стары, ты болен, неважно. Я помню, как я

боялась тебя увидеть после моей тяжелой операции в 70 году, и как, придя ко мне, ты сказал, что если бы от меня совсем мало осталось, то и тогда… Вот и я говорю тебе то же: только живи, не болей тяжело, дождись моего приезда. А там что Бог пошлет. Сказала ли тебе Саша, что я дважды звонила, пока ты был в больнице? А вот больше звонить – сил нет, тяжело. Просить же Марину не хочется. Может быть, попозже соберусь с силами и позвоню. Но я пишу тебе очень часто, как и ты мне, родной, сейчас пишешь. Надеюсь, что в Эстонию письма доходят и не очень долго идут. Да очень дорого стоит тебе каждая марка… <…>

Друг мой дорогой, будь здоров, будь здоров. Дай Бог, чтобы тебе работалось, чтобы ничего не болело, ни желудок, ни зубы, ничего.

Нежно обнимаю тебя и целую.

Твоя вечно Фрина

23 августа 1993 года

Дорогой мой Юрочка!

23/VШ-93

Давно не писала тебе, давно и от тебя ничего нет. Время идет как-то очень быстро, и мало заметно мелькают дни. У нас все еще жарко, но осень идет: холоднее, слава Богу, ночи и не так уже утомительно жарки дни. Мне удалось неделю провести в интересном месте. Недалеко от Вермонта, но еще в Квебеке, уже начинаются вермонтские холмы и даже горы. Там, невысоко в горах, приютилась ферма эмигранта-швейцарца, который купил там землю еще в 30-е годы, когда она стоила очень дешево. Его уже нет в живых, а его семья, дети, продолжают там хозяйничать. Кроме фермерства, они принимают до 30 гостей в неделю, кормят их, немножко развлекают, а главное, чему-то учат, для чего приглашают и знающих людей. Длится это неделю, учили в этот раз рисовать и понимать музыку. Люди, уже очень пожилые, съезжаются туда в основном из США, но есть и канадцы. Очень милая публика, поразительно интеллигентная и живая. Все они рисовали, слушали музыку, наслаждались природой. Я, кроме того, еще и плавала в озере, собирала для зимних букетов травы красоты неописуемой, много гуляла (пока рисующие рисовали), как всегда, вспоминала прошлое. Как мы с тобой воровали альпийские цветы… как из лесу выбежал заяц… как ты меня ругал тонкой пенкой за то, что не любила гулять по лесным зарослям, которые ты любил… какие цветы ты мне покупал и дарил. Всегда. Много. О Боже, не думать, не вспоминать.

Это была дивная неделя еще и потому, что впервые в Канаде я была одна где-то, без Марины, и справилась с поездкой, автобусами, устройством, чеками и т. д. Все мои усилия с языком не прошли напрасно: я понимала все, что там говорили, понимали меня, и, главное, очень дружески приняли и столь же дружески все простились. Я немножко горжусь собою. Стоило это очень недорого и принесло мне много радости. Тем более что тихая фермерская жизнь мне очень по нраву. А какие там милые у них дети! Как приветливы, как много и охотно помогают взрослым, как органически искренно веселились в последний вечер с нами, стариками.

Теперь надо начинать сначала зимнюю жизнь: уже пришло расписание университетских курсов. Там много интересного, но можно выбрать только два курса. Этим я и занимаюсь сейчас. Опять начинаю уже по второму кругу английский: теперь чтение и письмо: произношение у меня ужасающее (никто не учил) и

писать совсем не умею – здесь нужны специальные навыки.

Марина в порядке, начала сегодня все свои новые курсы. От Юры пришел привет от Марининых знакомых, видевших его в Москве. Он выглядит хорошо, весел, увлекается своим актерством, хорошо говорит по-французски, но… Андрей ужасен, не работает, Марининых подруг кроет почем зря по телефону, Юре не позволяет принимать от Марины подарков и т. д. Все это грустно, но <…> я уверена, что он вернется, когда закончит школу. Федя учится, кончил год и опять начинает свой рабочий семестр. Вот, дорогой мой, все мои новости.

Поскольку писем от тебя нет, а я постоянно думаю, что ты скрываешь от меня свое состояние, то очень волнуюсь за тебя, в особенности когда я на месте и ничто меня специально не отвлекает.

Мама, как я тебе писала, переехала к Ляле в Гусь-Хрустальный, а письма оттуда идут по три месяца, так что я теперь ни о сестре, ни о маме ничего не знаю. Жду в гости Лялю, но боюсь, что ее не выпустят, на этот раз канадцы.

Будь здоров, мой родной. Как тебе работается, о чем пишешь? Сможешь ли в сентябре читать лекции? А может быть, и не стоит, и нужно лучше сосредоточить силы на книжке?

Нежно обнимаю тебя и целую

Твоя Фрина

16 августа 1993 года

16.08.93

Милая Фрина!

Получил два твоих письма, в которых ты описываешь кусочек летнего отдыха вместе с Мариной. Как всегда, твое письмо доставило мне много радости. Пишу тебе из больницы, где меня распотрошили и отдельные кусочки развесили по стенам и потолку; так что я все время имею удовольствие наблюдать сам себя без помощи зеркала. Признаюсь, что в таком разрезе я сильно проигрываю. Наверное, так себя видит только что пойманная рыба, когда ей показывают ее же в солено-сушеном виде, но врачи уверяют меня, что в конечном итоге все части будут вновь отремонтированы и я приобрету самый банальный человеческий внешний вид. Самое смешное – то, что я все еще пытаюсь что-то выдумывать, в чем мне помогают мои милые ученицы – почерк одной из них ты сейчас наблюдаешь[552]. Врачи очень милы: уверяют, что я молодею и хорошею с каждым днем, так что скоро, может быть, приму участие в модных здесь спортивных соревнованиях.

Голова начинает работать хуже, как сказал когда-то Маяковский:

> И лоб мой время с размаха крушит[553].

Прежде я буквально захлебывался новыми идеями, а теперь приходится ждать дней пять-шесть, но главная причина здесь – трудность чтения: мне самоотверженно помогают, но весь опыт жизни подготовил меня к чтению глазами. Но это не беда – будем живы – приспособимся. Теперь гораздо больше приходится рассчитывать на память, а это вещь коварная, но жизнь учит считать не то, что потеряно, а то, что осталось: пока еще тут небольшой запас сохранился.

Я очень рад, что у Марины дела, кажется, налаживаются: я всегда считал, что преподавание – ее истинная специальность.

Передай ей от меня самые сердечные приветы. Будь здорова.

Обнимаю тебя. Всегда, всегда, всегда твой

Юра

2–3 сентября 1993 года

Милая Фрина!

Получил твое письмо от 23.VIII.93 г. Письмо пришло очень быстро, так что даже возникла иллюзия того, что расстояние между нами сделалось несколько меньше. Мысль с жадностью ухватилась за эту иллюзию, а то ведь так далеко! Далеко во всем: в пространстве, во времени, в каждодневных впечатлениях. Я все еще лежу в больнице и диктую письмо моей сотруднице Владе Гехтман. У меня приближается срок, когда мне под местным наркозом будут вынимать трубку, торчащую сейчас «из кишок», и окончательно зашивать брюхо. Это будет большой шаг вперед. Сейчас я – как жук на ниточке, но общий наркоз мне категорически противопоказан. Мое душевное состояние лучше всего ты увидишь, если представишь себе кошку, которую за что-то должны наказать и замахнулись, а она сжалась, втянула голову и шею, зажмурила глаза и шипит. Однако в целом все достаточно оптимистично и, как говорил Панглосс, «все к лучшему в этом лучшем из миров»[554], или, как в одной из песен Галича:

> Я в пивной сижу, словно Бог,
> Даже зубы есть у меня[555].

Последнее – уже «не поэзия, а действительность», по выражению Гете.

Хватит обо мне. Ты не пишешь подробности о своей жизни и о том, что сейчас делает Марина. А меня интересуют всякие мелочи. Что касается серьезных сторон моей работы, то здесь мне очень трудно оценить их с минимальной объективностью. Я стараюсь привыкнуть к технике диктования, совершенно противоположной моему предшествующему жизненному опыту. Прежде в течение всей жизни у меня не было ограничений на время суток. Естественным было только такое разделение: днем – лекции (говорю), ночью – читаю и пишу. Голова работает по-разному, но без перерыва. А новые мысли приходят как в процессе говорения, так и в процессе писания. Теперь – распорядок иной: диктую в дневное время, в промежутке между часом и восьмью, ночью сплю или не сплю (без снотворного засыпаю только утром, а принимать снотворное не хочу и не люблю). Как правило, каждую ночь сопротивляюсь и мучаюсь, а под утро все-таки принимаю. В этом случае дрыхну потом до завтрака. Вот так, например, было сегодня. Потом идут «многие»

события («событиями» сейчас сделалось все; одна из особенностей моей жизни в том, что «не-событий» вообще, в принципе нет; сесть к столу – событие, лечь, встать, продиктовать письмо, обдумать мысль – все события, и все одинаково тяжело, и в равной мере вызывает усталость). Поскольку я диктую, письмо как бы открыто для обсуждения, и сейчас очень милые и дружественные мне люди сделали мне замечание, что письмо слишком жалобно. Замечание, конечно, справедливое, хотя, может быть, тактичней было бы его не делать. Извини, действительно, я невольно совершаю такую ошибку: ты ведь, кажется, играла на пианино и знаешь, что, когда играешь публично, невольно несколько сильнее нажимаешь на педали, а привычка концертировать на рояле в зале вырабатывает подчеркнутое педалирование. То же самое, когда шепот заменяется письмом, а письмо делается через третьи лица: невольно педалируешь, все становится драматичнее, мелкие неблагозвучия превращаются в трагедии, а когда их в трагических выражениях продиктуешь, они как бы и становятся трагедией. Тон, которым говоришь, вливается в реальность, о которой говоришь, и потом они вспоминаются вместе. А если все это отбросить и постараться вернуться к сути, то, конечно, тяжело (а кто сказал, что должно быть легко?). Но все же хорошо, и спасибо за то, что было, и за то, что еще будет.

Поцелуй Марину. Пиши мне.

Всегда и неизменно твой Юра[556]

8 сентября 1993 года

Дорогой мой друг,
8/IX-93

Я сегодня получила твое письмо (Таниной рукой) из больницы. А ночью все звонила в Тарту, но телефон не отвечал. Никак не удается мне поговорить с тобой, услышать тебя. Но я-то знаю, что такое больница, даже если врачи в ней славные и опытные, какая это мука. А ты, бедный, уж в который раз за последнее время. Юрочка, родной, мужество твое удивительно, и письма твои так меня утешают. Ты ведь и всегда меня утешал, не я – тебя. Только вот отдыхалось тебе у меня спокойно. Помнишь, как стучали плотники, паркет мастеря, а ты спал, словно и стука не было. Да и никогда плохому мы не верили и не ждали его. Даже когда, как в Кемери, заяц перебегал дорогу. Помнишь? Пушкин вот вернулся в Михайловское, поверил зайцу – дурной примете, а мы с тобой – только нашей интуиции верили. Доверься врачам, они помогут. Вот же вытащили они тебя в 72 году из жестокой болезни, и без чародейных микстур из Москвы от каких-то там исследователей-затейников[557]. Вытащат и сейчас, дорогой мой, потерпи. Ты еще не должен жаловаться на отсутствие идей. Если диктуешь Тане каждый день, если работаешь, то, как сказано у классика, вынесешь все и «широкую, ясную…» Мы еще повидаемся. Я все надеюсь, что Марина когда-нибудь сможет выбраться со мною к тебе. Увы, одна я не могу – время ушло, страшно.

У нас вдруг наступила осень, все как-то притихло. Еще только два дня назад было так жарко, а вот – осень. Холодно по утрам и вечерам, а днем тепло и ясно. Желтеют деревья, везде тихий покой увядания. Но еще доцветают летние цветы, и не наступила еще та золотая осень в Канаде, наше «бабье лето», которое здесь зовут «индейским летом».

Мои курсы в университете еще не начались, и я немножко скучаю, но читаю много и перманентно занимаюсь английским. Мне кажется, что я в языке дошла до какой-то черты, дальше которой никакие усилия меня не двигают, и я не знаю, как преодолеть этот рубеж. И то сказать, у меня очень мало практики, в этом все дело. Читать легко, говорить уже не так трудно, труднее всего понимать речь.

Марина много работает, проблем всяких полно, но все это не идет ни в какое сравнение с тем, что было без работы. Работа ей в радость. А я, по своей многолетней привычке, чтобы облегчить ей что-то и согреть, несу ей готовую еду на неделю. Так согревала

меня мама, когда я, голодная и несчастная, приходила в 5 утра с завода в Саратове, чтобы поспать два часа и идти в школу. Так я согревала Марину всегда, когда могла. Так, кажется мне, ты кормил Лешу и Каю рано утром, перед университетом, жалея их, молодых, а сам вставая ни свет ни заря. Помнишь? <…>

Мы так молимся обе с Мариной, чтоб Он дал тебе силы выносить боли и муки болезни, чтобы у тебя хватило всегдашнего мужества и терпения, когда ты так сейчас нуждаешься в помощи. А я так далеко от тебя и не могу помочь. Спроси у Тани, пусть она мне в твоем письме напишет, не нужны ли лекарства какиенибудь, может быть, витамины? <…>

Юрочка, я нежно тебя обнимаю, борись, родной, еще будут хорошие дни.

Я знаю, как бывает у тебя на душе тяжело, как ты устал, мой любимый.

Борись, борись. Будет легче.

Твоя, всегда твоя Фрина.

P.S. Нет ли где диктофона у Вас? Мне так хочется услышать твой голос.

16 сентября 1993 года [558]

Милая Фрина!

Спасибо тебе за письмо от 8/IX – 93, которое я получил 16/IX. Что писать тебе? У меня новостей никаких нет. Знаешь поговорку: бабья дорога – от печки до порога. Вот и теперь это подлинная моя дорога. Даже на улицу, где наконец полили дожди и наступила та грязная, осенняя осень, которую так любил Пушкин, мне выходить не велено. Подбираюсь до наружной двери, высовываю нос за нее (слава Богу, длинный) и – обратно. Операцию опять отложили на неопределенный срок. Мы с милой докторшей, с которой, кажется, говорим искренне, опять закончили философски, что результата предсказать нельзя и равно философски надо быть готовым к любому исходу. Как помнишь, у Окуджавы:

> Судьба, судьбы, судьбе,
> Судьбою, о судьбе[559].

Пока что я что-то диктую, но стопроцентно выполняю поучение Пастернака: «пораженье от победы ты сам не должен отличать»[560]. Впрочем, почти то же самое говорили и многие другие (см. Баратынского). Как в том еврейском анекдоте: «А вообще как дела?» А вообще – дела неплохо. Что-то делаю: диктую одновременно одну, бесконечную, как глиста, статью (кажется, кончил), по просьбе моего издателя – мемуарные отрывки и еще какие-то кусочки все время выскакивают, пока еще не очень ясно, куда они пристроятся.

Римский философ, создатель молекулярной теории Тит Лукреций Кар придумал теорию эволюции. Согласно ей, сначала в воздухе носились отдельные члены людей и животных: крылья, хвосты, лапы (Гоголь бы добавил обязательно носы). Они сталкивались и склеивались в безобразные огромные живые молекулы. Так образовывались ископаемые чудовища. Но эти живые молекулы не были жизнеспособными и вымирали. До тех пор, пока ценой бесконечных проб и ошибок, результаты которых мы, говорил философ, выкапываем из земли, не образовались истинно совершенные формы человека и нынешних зверей. На этом эволюция остановилась, достигнув своей вершины. Очень остроумная теория, и мне она нравится. По крайней мере, она прекрасно подходит для описания моего научного развития; у меня в голове плавают исходные идеи, которые в беспорядке

сцепляются, образуя два постоянно меняющихся местами, замкнутых «организма». Один образует язык метода (как говорится), а другой – содержания (о чем говорится). Они постоянно меняются местами: «как» становится «о чем», т<о>е<сть> структура становится содержанием, информацией, и наоборот, «о чем» становится «как» – то, что было языком, становится содержанием, то, что было содержанием, занимает место языка. А я только успеваю крутить головой то в одну, то в другую сторону. Представь себе кошку, которая сидит на подоконнике и мимо которой то справа налево, то слева направо пролетает ласточка, кошка и крутит головой то туда, то сюда. Вот это и есть то, что я называю научным методом. Интересно, как бы назвала это кошка.

Кончаю и так длинное письмо.

Друг мой, будь здоровой и веселой. А будущее будет таким, каким ему суждено быть. Слава Богу, это не наше дело.

Сердечно и неизменно твой

Юра

16. IX.93.

1 октября 1993 года

Дорогой друг!

Очень мы беспокоимся о тебе. Звоним в Тарту вместе с Мариной и порознь в самое разное время. Но ни твой телефон, по которому я прежде разговаривала с Сашей или Машей, ни телефон Каи, увы, не отвечают[561].

Знаю и чувствую, какое тяжелое время для тебя сейчас, как долго ты в больнице и как это мучает тебя. Юрочка, потерпи, мой друг, должно, должно стать легче, как обещают тебе врачи. А силы потом, когда пройдет послеоперационное время, понемногу восстановятся. Только бы твое бедное сердце тебя не подвело, вот о чем молюсь днем и ночью. А еще ночью «пишу» я тебе бесконечные письма: письма-воспоминания, письма с мыслями о Канаде и ее людях, письма о себе в Канаде, о канадской осени… Только вот послать тебе все это невозможно, поэтому я посылаю тебе только это письмо с канадским осенним кленовым листочком.

А вспоминаю я весну 73 года, когда ты читал лекции в Пединституте в Москве и мы возвращались по Пироговский улице, а на <нрзб.>-ных появились только первые листья. Один из них ты сорвал мне на память. Он, высохший, и сейчас, в Канаде, напоминает мне об этом. И часто-часто я вижу тебя сбегающим вниз по лестнице в Библиотеке Ленина… Теперь в русской ньюйоркской газете «Новое русское слово» (ужасная газета, желтая, напитанная ненавистью к России) я читаю, сколько и как она (библиотека) разворовывается: крадут инкунабулы, крадут рукописи. То же в Публичной, разворовали недавно бесценный фонд древнееврейских рукописей, и знают кто, и знают, как, – а рукописи уже появляются в Иерусалиме и Нью-Йорке. Хороши нравы, хороши же и «научные» сотрудники библиотек.

А я, мой дорогой, осенью как-то особенно тоскую по России. Я люблю ее всем моим бедным и одиноким сердцем, и невыносимо тяжко знать, как живется там людям. Друзья пишут совсем редко: дорого слать письма.

Марина работает, что называется, изо всех сил. Здесь иначе нельзя: или много работы, или нет ее вовсе. Очевидно, что такая работа, т. е. в таком объеме, ей не по силам, но до конца декабря надо выдержать. О Феде самые радостные известия: он работает в очень серьезной компьютерной фирме; задачи, ему данные, трудны и интересны; собирается работать там год, а потом, накопив денег, поехать на год в Сорбонну к тамошним

математикам, подучить язык, который у него есть, но не очень хорош.

Меж тем, начались разнообразные мои занятия в университете, что дает мне полную занятость и, иногда, удовольствие. Странную радость испытала я вчера, впервые познакомившись с работой на компьютере. Дело в том, что так учат здесь писать грамотно по-английски. Очень интересно и, действительно, слова, в которых я допустила ошибки, после анализа каким-то образом запоминаются навсегда. Я их просто ясно вижу мысленно, но только уже правильно написанными. Регулярные же занятия английским пока еще не начались. Я чувствую себя нормально, много хожу, как всегда, только читаю мало – берегу глаза.

Юрочка, дорогой, обнимаю тебя, держись, держись, потерпи еще, я верю, что будет легче.

Твоя Фрина

1 октября 1993 года [562]

1.10.93.

Милая Фрина!

Только что получил твое письмо от 20.09.93. Письмо шло довольно быстро, но потому что сейчас Мишины девочки в разъезде, то лучше пиши мне на Танин адрес. Таня сейчас пишет это письмо[563], она будет регулярно мне доставлять почту. Что написать тебе о моих делах? Они очень неопределенные. В принципе, видимо, надо делать операцию, но врачи не приняли еще окончательного решения, отчасти потому, вероятно, что операция тяжелая, а у нас свирепствуют гриппы, которые и меня не обходят своим вниманием. Насколько я могу судить, врачи оттягивают время в надежде, что организм несколько более укрепится. Несмотря на разные обстоятельства (в том числе и на то, что голова работает хуже), я стараюсь продолжать что-то подобное или не очень подобное научной работе: диктую, а Таня пишет. Не могу судить о том, имеют ли эти писания какую-либо объективную ценность, но меня они поддерживают, и я, пока могу, буду стараться их продолжать. Таким образом, мои дела пребывают в некоторой неопределенности. Каковы твои дела? Пиши мне подробнее о себе, чем занимаешься, что читаешь (я давно уже не читал того нового, что сейчас пишется).

Вообще к моим занятиям сейчас вполне подходит французский эпиграф, поставленный Лермонтовым перед одним из поздних стихотворений (кажется, «Не верь себе, мечтатель молодой»): «Поэты похожи на медведей, которые питаются, обсасывая собственную лапу»[564]. Я хоть и не поэт, но занят тем же самым: обсасываю свою старую научную лапу, а что я оттуда высасываю, я сам не знаю. Чем сейчас занята Марина? И что такое курсы, на которые ты ходишь? Напиши мне об этом подробнее. Вообще пиши больше о себе – не нужно ждать каких-либо «новостей». Когда-то В. Рождественский, когда в конце 20-х годов он еще был поэтом, написал маленькое стихотворение, смысл которого в том, что последние мысли, которые придут к нему перед смертью в голову, вряд ли будут глубокими и важными, а, наверное, пустяковыми, и это даже очень хорошо:

Что мне приснится, что вспомянется
В последнем блеске бытия,
На что душа моя оглянется,
Идя в нездешние края?
На что-нибудь совсем пустячное,

Чего не вспомнишь вот теперь:
Прогулка по саду вчерашняя,
Открытая на солнце дверь.

Мне эти стихи очень нравятся, наверное, потому, что они мне показались очень глубокими, когда я их впервые прочел в седьмом классе.

До свидания. Сердечный привет Марине. Пиши мне о курсах, на которые ты ходишь (это очень хорошо, что ты ходишь на них).

Обнимаю тебя нежно, твой

Юра

Письмо Ф.С. Сонкиной к Т.Д. Кузовкиной 8 сентября 1993 года

8/IX-93

Дорогая Таня,

Не могу выразить, как я благодарна Вам за Ваше письмо и какой груз непонимания и незнания состояния Ю.М. Вы с меня сняли. Разумеется, и по его письмам, и по всей ситуации я догадывалась, что состояние его заметно ухудшается.

Но я ничего не знала наверняка; он же, Вы знаете, о себе ничего такого не писал. С ним говорила по телефону моя дочь Марина – и ничего по его голосу не услышала плохого. Я писала специально Виктории Михайловне в Ленинград, но она мне не ответила. Это было для меня плохим знаком. Но главное – моя интуиция, которая ни меня, ни его никогда не подводила: мы всегда чувствовали, когда с другим беда. Вот и теперь: с июля я тревожусь так, что не выразить словами, несколько раз ночью (у Вас – утро) пыталась звонить, но то никто не отвечает, то разговор с внучкой Сашей о том, что дедушка в больнице и что ничего страшного, «у него просто живот болит», – только еще прибавлял к моим страхам. Но это все Вам неинтересно, а вот то, что Вы рядом, то, что помогаете ему – за это Вам низкий поклон от меня и моей дочери. Вы сейчас дали мне драгоценную возможность узнавать о нем все из первых рук.

Дорогая Танечка, я думаю, что и Вы не всю правду мне пишете, а может быть, Вы ее не знаете? Я помню, что в бывшем Союзе не принято было у врачей говорить правду, может быть, то же в Эстонии? Вот та правда, что я знаю и что мучит кошмаром день и ночь.

Еще в 89 г. в Германии после операции по поводу рака почки врачи сказали покойной Заре Григорьевне, что у него рак II степени, т. е. уже есть метастазы в простате, но что они не успеют развиться, потому что сердце не выдержит. И «дали» Ю.М. жизни два года. Это мне говорила сама З.Г. в 90 году перед моим отъездом в Канаду в Москве. Прошло после операции 4 года, не два. Как-то еще тянет сердце, несмотря на многочисленные тромбовые инсульты, и эмболии в легких, и т. д. Я думаю, я боюсь, что это метастазы, а не следствие нового инсульта. Трубка необходима, и, о Боже, зная его, я представляю, каково ему, бедному, пользоваться Вашими и другими женскими услугами.

Когда в 72 году Ю.М. тяжело болел желтухой и лежал в Вашей университетской больнице, он ужасно болезненные уколы

не давал сестрам делать в ягодицу («Ну как можно, молодые женщины!»), и терпел адские боли после делания их в руку. Могу себе представить, что он чувствует в светлые минуты теперь. Я поняла уже из писем, что иногда сознание уходит. Как он при этом может работать и продуцировать научные идеи (если это так…) – тайны мозга, его гениального мозга.

Очень трудно мне понять из Вашего письма, что «старший сын иногда заходит». Это накладывается на частые признания Ю.М. в письмах ко мне, что он одинок, никому не нужен, что только его милые ученицы – его помощницы и радетельницы о нем. Горько читать все это…

Танечка, милая, только Вас теперь я могу просить о вещах, которые Вы можете сделать для меня. Считайте, что Вы делаете это для Ю.М., если он Вам дорог. Я могу это утверждать, потому что, если бы сознание его было полным, он прислал бы мне давно вышедшие его книги. Вот об этом я очень Вас прошу. Выходит Собрание в Таллине, вышла в Москве (?) книжка «Культура и взрыв» – и впервые в жизни он не послал мне своих книг… Таня, сколько бы ни стоило, я найду возможность перевести Вам потом в Тарту доллары. И еще: пожалуйста, найдите диктофон, найдите, просите его, когда он в хорошем настроении и физически крепче, надиктовать мне письмо, Вы же понимаете, ЧТО для меня его голос. Сколько бы ни стоило, позвоните, если что случится, сразу: (514) 342-0250 – это мой телефон. (514) 488-4258 – это телефон моей дочери Марины, которая так его любит, которую так любит Ю.М. Танечка, сам Господь послал мне Вас, не откажите, сделайте, что прошу.

Мы много раз обсуждали возможность моей поездки в Тарту с Мариной. К сожалению, не состоялся ее приезд в Россию этим августом. Но я одна ехать не могу – не выдержу, Марина же работает, она два года была без работы, и терять ее сейчас невозможно. Вот почему я не могу приехать. Мучит меня это очень, но жизненные реалии часто не считаются с нашими чувствами и намерениями.

Танечка, пишите, пишите мне как можно чаще – это драгоценные для меня свидетельства его жизни, его слабости, память о нем навеки. Пишите, пожалуйста. Мы найдем возможность возместить Вам все Ваши расходы. Теперь же особенно – пишите: через океан, через все мои годы с Ю.М.

Прошу, молю Вас об этом.

Обнимаю Вас

Ваша Фаина Семеновна

P.S. Есть ли у Вас уверенность, что в случае необходимости

будет кому с ним быть все время?

Как переносит Ю.М. помощь?

Очень ли он исхудал?

Может быть, срочно нужны какие-то лекарства?

P.P.S. Есть ли у Вас телефон? Его номер? – сообщите.

Есть ли телефон в больнице, по которому можно связаться с Ю.М., с врачами, с Вами? – его номер мы пытаемся узнать здесь по международной справке, но пока – безуспешно.

Письмо Ф.С. Сонкиной к Т.Д. Кузовкиной 1 октября 1993 года

1/X-93

Дорогая Таня,

Получили ли Вы мое письмо? Пишу Вам снова в тревоге о Юрии Михайловиче. Дело в том, что наши с дочерью в четыре руки ночные звонки в Тарту не удаются: оба телефона – в квартире Ю.М. и Каи – не отвечают. Это означает, для меня, что он все еще в больнице (уже три месяца?!) и что там никто не живет. Пробовали мы звонить и в больницу (узнав телефон по международной связи) – результат тот же. К сожалению, я не знаю телефона Пирет и Миши в Таллине, мои же друзья там, видно, так бедны, что им трудно отвечать на письма, что, конечно, легко понять… Не пугайтесь многочисленных просьб в моем письме: книги и другое. В сущности, просто за сведения о Юрии Михайловиче, любые, мелкие, подробные – всякие – я буду Вам благодарна. Как он, что он? Знаете ли Вы, что ДЕЙСТВИТЕЛЬНО говорят врачи? Ходит ли он понемногу? Как сознание, боли? О Господи! Если бы можно было помочь!

Получает ли он лекарства, которые нужны? Как с едой? Есть ли все, что ему надо? Как он вообще ест? Я посылаю ему письмо в конверте к Вам, потому что письма и так долго идут (я пишу приблизительно каждые 10 дней), а если на Лаулупе никто не живет, то когда и как попадают к нему письма? Постарайтесь как-то передать ему это мое письмо, может быть, в старом конверте, ведь он все равно не читает их…

По-прежнему меня очень интересует, приезжает ли кто к нему: Б.А. Успенский? сестры и племянница Наташа? Леша? Как Вы управляетесь с уходом за ним? Одни вопросы, на которые нет и нет ответа.

К сожалению, русский магазин в Торонто, который достает русские книги, ничего мне не отвечает. Естественно: у них «идет» успешно главным образом фантастика и всякая другая гадость для массового русского эмигранта, а книги Лотмана – большая загадка для них. Видимо, есть и другая причина: из России книги получать дешевле, чем из Эстонии. Известно же, что эстонская крона стоит в мире высоко. Такие дела…

Будьте здоровы, Танечка, всего Вам доброго. Пишите, ради Бога.

С уважением и благодарностью

Ф.С.

P.S. Таня, есть ли у Вас телефон? И телефон, по которому Вас можно застать? В какое время?

Письмо Т.Д. Кузовкиной Ф.С. Сонкиной 4 октября 1993 года

4.10.93

Здравствуйте, Фаина Семеновна!

Извините, что так долго не писала Вам – я была в Москве, откуда забрала своего сына от бабушек в Тарту. Постараюсь ответить на Ваши вопросы о Ю.М.

Он сейчас намного лучше, чем в августе и тем более в июле. В интеллектуальном смысле – такой же, как год-два назад, но Вы, я думаю, и сами можете понять это по письмам. Физически очень слаб. Большую часть времени лежит или сидит на кровати, но почти каждый день выходит на улицу (больница одноэтажная, в палате он один и есть еще койка пустая) и делает в зависимости от состояния большой или малый круг. Сегодня слушали весь день радио, Ю.М. внимательно следит за событиями в Москве, но больше его волнует предстоящая операция. Как сегодня объяснила ему при мне его лечащий врач (Светлана Николаевна Денкс), суть операции состоит в том, что трубку введут внутрь, так что мочеиспускание будет физиологическое, но с небольшой «вставкой» внутри. Наркоз, как она сказала, будет спинномозговой, действующий только на нижнюю часть тела. Ю.М. боится предстоящей боли, как мне кажется, кроме того что и операции вообще.

Выглядит Ю.М. неплохо (или я уже привыкла к его виду за последнее время), уход за собой переносит только из рук санитарок (они очень хорошие в большинстве), у меня с ним отношения «джентльменские» и рабочие исключительно, в острые моменты: «Танечка! Выйдите!» Кормят его сравнительно хорошо, кроме того, Люба[565] покупает еще много всякой еды, которой у нас сейчас очень много и довольно высокого качества. Ест Ю.М. все, аппетит зависит от состояния, состояние от болей, которые накатывают на него волнами, и к которым он очень чувствителен. Врач останавливает боль анальгетиками, на ночь, как мне кажется, дается укол слабого снотворного.

Теперь о людях, которые рядом. Семья как-то в данный момент отдалилась. Миша живет то в Таллине, то в Тарту, когда он в Тарту, то заходит на часик, редко заходят внучки Саша и Маша, сын Леша в Матсалу, где он работает в заповеднике, Кая уехала с 1.10 на 3 месяца в Германию. Гриша заходит раз-два в неделю, но Ю.М. не любит его долгого сидения. Каждую ночь с ним кто-то ночует. Летом часто Люба Киселева, Миша ночевал и

Кая, теперь в основном санитарки, сама доктор Денкс во время своего дежурства и ее знакомые медработницы. Я бываю у него каждый день с 11 утра до 16–17 часов, стараюсь и в выходные дни тоже, хотя получается заброшенный дом – муж и сын. Еще есть Влада Гехтман, которая бывает с ним во вторую половину дня – до вечера, до прихода «дежурного» на ночь. Но сейчас она в Москве, где живет ее жених, и по вечерам у Ю.М. или Люба, или Марина Гришанова, но Ю.М. сейчас и один остается без того внутреннего дискомфорта, который он ощущал в июле-августе, когда чувствовал себя психологически-интеллектуально гораздо хуже, теперь же он прежний Ю.М., но гораздо слабее физически. Приезжали к нему: Б.А. Успенский в августе был два дня, Лена Душечкина, сестры – нет (они сами слабы, насколько мне известно). Наташа – нет. Вот получился какой-то отчет, но это потому, что я пытаюсь не забыть Ваших вопросов.

У меня есть телефон (только что поставленный) – 8-014377-838. Я бываю дома вечерами после 19.00.

Телефон больницы – 74280, больше всего знает о нем Св. Ник. Денкс, Ю.М. и сам подходит к этому больничному телефону, если нормально чувствует себя (недавно говорил с Викторией Михайловной). Но во время операции его перевезут в другую больницу (операция будет в первой половине октября, точной даты не знаю), но потом, я думаю, опять вернут в эту больницу. Ну вот, кажется, и все. Книги Ю.М. я постараюсь выслать, но их трудно вытащить (авторские экземпляры) из вечно пустой квартиры на Лаулупео.

Еще раз извините, что так долго протянула с ответом, впредь постараюсь быть аккуратнее.

Желаю вам всего доброго,

Таня.

Фотографии

Ф.С. Сонкина – студентка Ленинградского университета. 1948

Ю.М. Лотман – студент Ленинградского университета. 1946

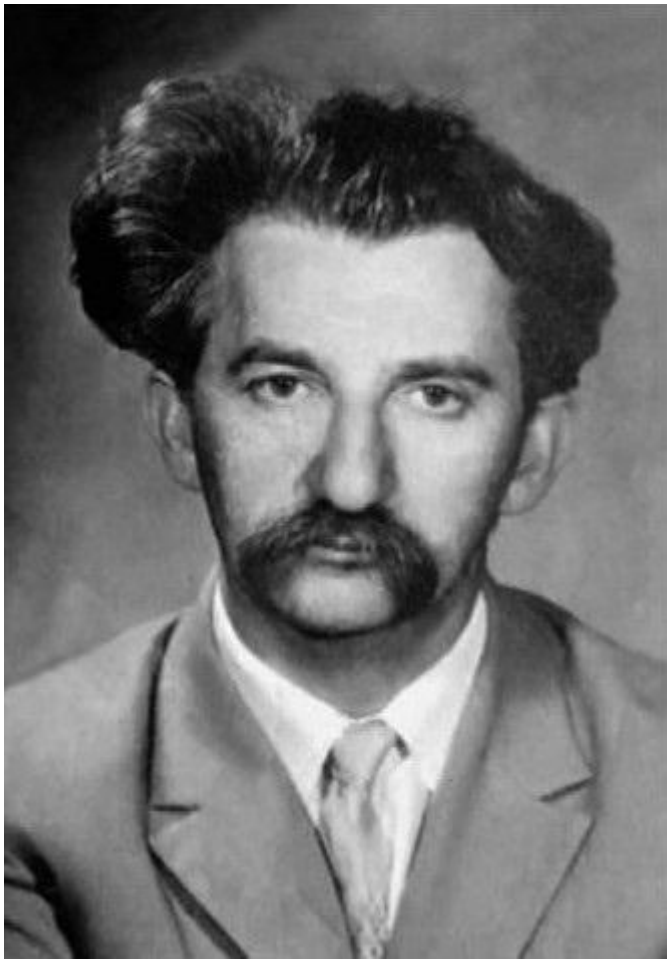
Семья Лотманов. 1930-е

Юрий Лотман с сестрой Лидией. 1940

Юрий Лотман: гвардии сержант, командир отделения связи 1-й батареи 68-го гвардейского армейского пушечного артиллерийского полка, командир отделения связи управления 3-го дивизиона 38-й гвардейской армейской пушечной артиллерийской бригады. Был контужен, за боевые отличия награжден орденом Красной Звезды (22.03.1945), орденом Отечественной войны II степени (17.05.1945), медалью «За отвагу» (05.10.1944), медалью «За боевые заслуги» (10.02.1944). Демобилизован в 1946 году

З.Г. Минц после окончания Ленинградского университета. 1949

Ю.М. Лотман после окончания Ленинградского университета. 1950



Ю.М. Лотман – заведующий кафедрой русской литературы, с 1963 года – профессор Тартуского университета. Середина 1960-х

З.Г. Минц и Ю.М. Лотман с коллегами у дверей Тартуского университета. Середина 1980-х

Фаина Сонкина после окончания Ленинградского университета. 1950

Ф.С. Сонкина. 1962

Ф.С. Сонкина. Ленинград. 1973

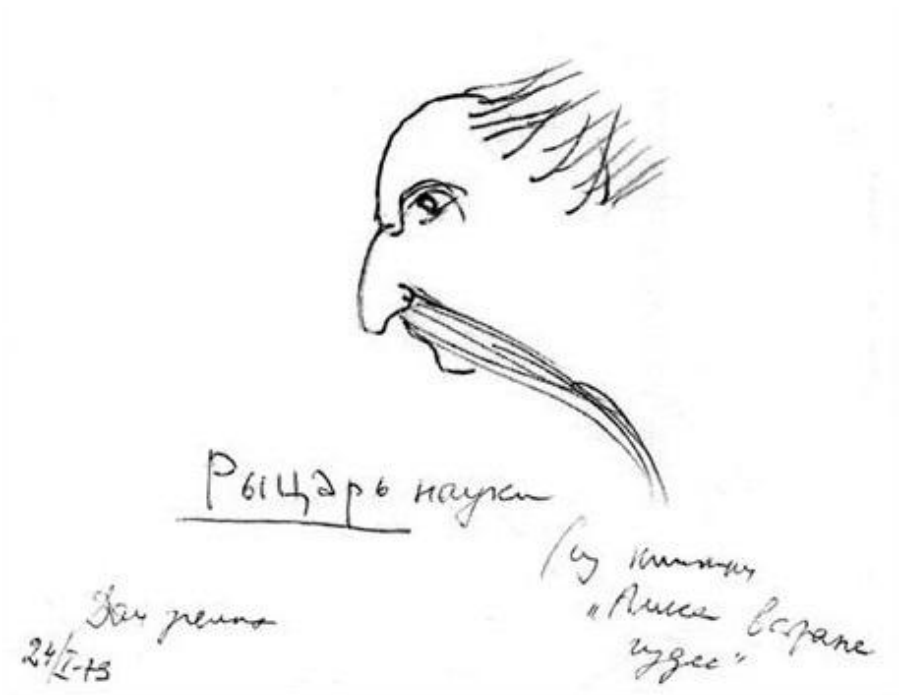
ЛЕНИНГРАДСКАЯ
ПИСАТЕЛЬСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ДОМ ПИСАТЕЛЯ

Выпускники филологического факультета Ленинградского университета на 25-летнем юбилее. В центре Ю.М. Лотман и Ф.С. Сонкина.

Сидит на корточках В.С. Бахтин. Слева от Лотмана М.Г. Качурин.

Сзади за Лотманом Л.А. Дмитриев. Дом писателей, Ленинград. 1975



Автошарж Ю.М. Лотмана «Рыцарь науки». Дом ученых, Ленинград. 1973

Москва. Проспект Маркса

21/IV-67 года

1

Юра! Здравствуй!

Прочитала во вторник в „Известиях" статью о Вас и работе Вашей кафедры и искренно порадовалась за Вас. Я в общем слежу за тем, что Вы печатаете, всегда узнаю, что Вы талантливы и на 10 голов выше наших доцентов на курсе.

В МГУ уже - неофициально - обсуждают на филфаке эту статью: ведь никто подобного дать не смог. И многие об этом сожалеют.

Статья и написана талантливо. Особенно приятно было в конце её упоминание о двух умерших наших профессорах, которые

Письмо Ф.С. Сонкиной Ю.М. Лотману. 1967

Письмо второе

Не успел еще отослать первое письмо, как Закатовое предложение болтается. Только что из библиотеки (Университетской): больше нравится, но работается хуже. Более всего, однако, на меня подействовали аудитории — запах аудиторий. От всего меня колотит как Булгакова запах серы. Еще студенческие годы на меня действовала как труба на старую боевую лошадь. И сейчас он меня взволновал.

У нас дождь — серый, но теплый. Хожу по улицам, но пока без особого „настроения" — вчитываюсь. На „свою" квартиру переедем лишь 1-го мая, а пока — в гостях у декана. Очень мило, заботливо, но своего стола нет, а, след., и нет работы.

Письмо Ю.М. Лотмана Ф.С. Сонкиной. 1989

1977 год

-1-

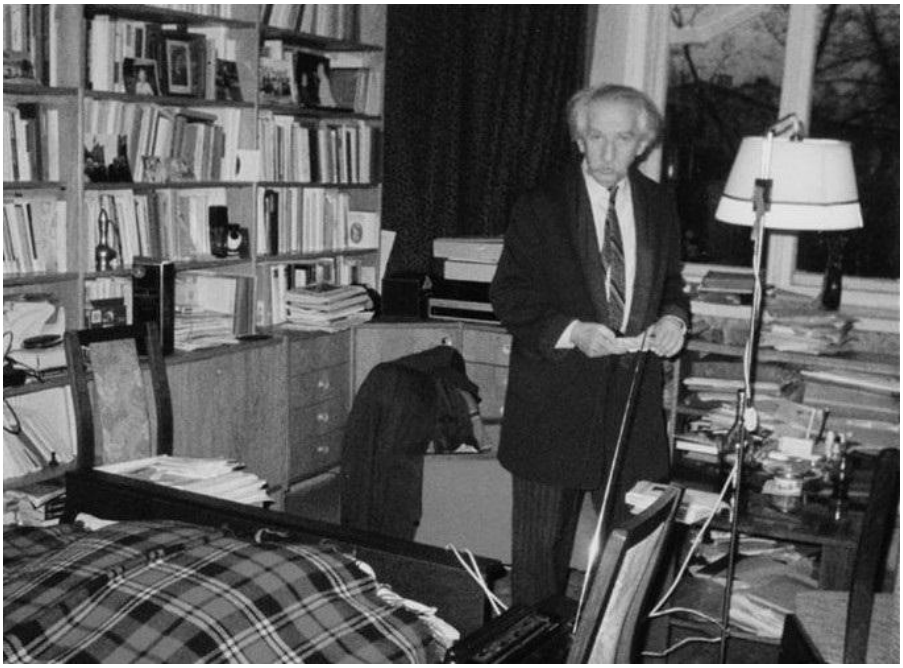
6 сентября

Вот он, тот дождь, о котором писал Сенкевич: дневник не исчерпан, рассказан на тысячи других. На самом деле, как только я сказала Юре, что Надина, в случае моей смерти, даст ему сначала мои дневники, а потом их сожжет, — я стала писать принужденно. И это совсем не нужно: ведь надо это только мне, в радости, когда-нибудь все понять и понять всю мою благодарность...

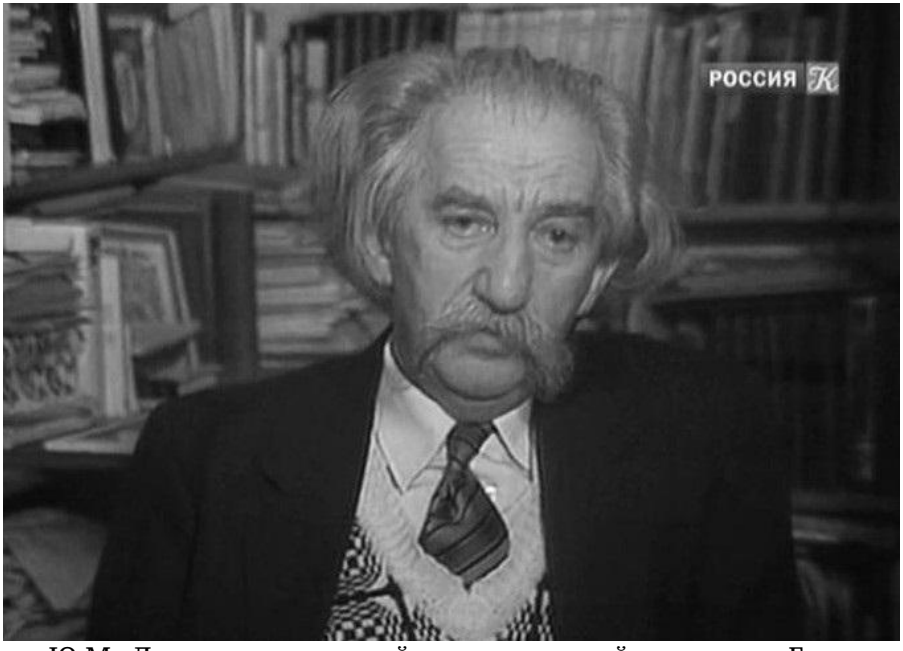
Юра сказал, что при всех своих недостатках, одним он не страдал никогда — завистью, никогда никому не завидовал. Это правда ему нужно. И — в другом ряду — он искренно думал, что судьба ко мне и щедро ему отплатила, ему

Страница из дневника Ф.С. Сонкиной. 1977

Юрий Лотман и Фаина Сонкина на праздновании 30-летней годовщины выпуска филологического факультета Ленинградского университета. 1980



Ю.М. Лотман дома, в своем рабочем кабинете. Тарту. 1991



Ю.М. Лотман в авторской телевизионной передаче «Беседы о русской культуре». 1992

Книги Ю.М. Лотмана:

Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий. Издательство «Азбука». Санкт-Петербург. 2014

Статьи по семиотике искусства. Издательский дом «Академический Проект». Санкт-Петербург. 2002

Беседы о русской культуре. Издательство «Искусство-СПб». Санкт-Петербург. 1994

Об искусстве. Издательство «Искусство-СПб». Санкт-

Петербург. 2005

Бюст Ю.М. Лотмана во дворе Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы. Москва. Скульптор М.А. Яковлев.

Дар Эстонской республики

Могила Ю.М. Лотмана. Кладбище Раади, Тарту

notes

Примечания

1

92 письма Ю.М. Лотмана публикуются впервые.

2

См. письмо от 12 сентября 1975 г.

3

Ю.М. Лотман. Письма. М., 1997.

См. там же.

5

См. письмо от 6 апреля 1989 г.

6

Воспоминания были написаны в 1997 году.

Юра, или Ю.М., или Юрочка – Юрий Михайлович Лотман.

8

С м. письмо от 15 марта 1985 г.

9

Владимир Бахтин (фамилия по матери – Гельман) – филолог, фольклорист. Был близким другом Ю.М. в студенческие годы.

10

См. письмо от 15 марта 1985 г.

11

«Нет ничего столь постоянного, как перемены, ничего столь устойчивого, как смерть. Каждый стук сердца наносит нам раны, и жизнь была бы беспрестанным истечением крови, если бы не было поэзии. Она обнаруживает в нас то, в чем отказывает природа: золотое время, что не ржавеет, весну, что не перестает цвести, безоблачное счастье и вечную юность». (Цитата из речи Людвига Бёрне, журналиста, театрального критика, фельетониста, кон. XVIII – нач. XIX вв., речь на смерть Жана Поля (Рихтера), сентименталиста, предромантика.)

12

Дневник, 18.8.1977: «Он вспомнил, как в бывшем читальном зале публичной б<иблиоте>ки (теперь картографическом) мы занимались вместе (каждый своим, естественно), <…> как это было тогда, видимо, в 47 (или 48?) году. Он тогда сказал: “Я бы хотел получить ответ на свое письмо к вам”. А я в ответ – “К сожалению, ничего быть между нами не может (или – “это невозможно”). Он: “Смешно, очень смешно”. – Я: “Ничего смешного”. – Это впервые было рассказано мне вчера в кухне у меня во время обеда. Он сидел на своем обычном месте, а я слушала, закрыв от стыда рукой лицо…»

13

Дневник, 26.5.1976: «Юрочка мне сказал, что в 48 году представление о любви у него было диккенсовское: “Мистер М., я хотел бы сделать предложение Вашей племяннице и т. д.”».

14

Дневник, 25.2.78: «Я – дура, сказала Юре, что Женька [Евгения Рандмаа – сокурсница Ю.М. и Ф.С.] верит в его вину в истории с нашими профессорами. Ю. очень огорчился, вмиг отрезвел (дело было на кухне). Конечно, подлая она, в этом не может никогда быть его вины. Он, наоборот, выступал против Подгорного. Только в истории с Колмановским он объективно и со взгляда 70-х годов чувствует себя виноватым. Он никогда не изменял себе: вступил в партию в 1942 году, в окружении, когда их политрук разорвал партбилет и закопал его. Ясно было, что до вечера не дожить, вот тогда надо было вступить в партию».

15

См. письмо от 21 апреля 1967 г.

16

В символике цветов, еще внятной поколению Ю.М. и Ф.С., желтый обозначал измену.

17

Ныне Сергиев Посад.

18

См. письмо от 9 мая 1989 г.

19

Иосиф Самуилович Брагинский – востоковед, критик и литературовед, автор трудов по истории культуры и литературы Средней Азии и Ирана, таджикской и персидской литературы.

20

Александр Григорьевич Дементьев – доцент ЛГУ, литературовед. См. о нем у Б.Ф. Егорова («Жизнь и творчество Лотмана», с. 36).

21

Леонид Иванович Тимофеев – литературовед, профессор МГУ, научный сотрудник ИМЛИ, чл. – корр. АН СССР. Занимался проблемами стихосложения. Выступал с критикой идей Ю.М. (см. подробнее «Из дневника Ф.С.», с. 118). Опубликовал в альманахе «Прометей» начало несуществующей 10 главы «Евгения Онегина». Ю.М. неоднократно в своих работах разоблачал эту фальшивку.

22

См. письма от 22 ноября и 2 декабря 1972 г.

23

См. письмо от 12 апреля 1978 г.

24

Ф.С. неточно цитирует Пушкина. См. письмо от 20 ноября 1975 г.

25

См. письмо от 27 мая 1974 г.

26

Инна Соломоновна Правдина – филолог, специалист по творчеству Маяковского, Блока.

Ныне Остоженка.

28

Григорий Лотман – средний сын Ю.М.

29

В Дневнике от 1.5.70 этот эпизод описан более подробно: «… И вдруг 29 мая – он пришел на работу за мной. Поехали ко мне. Не захотел ни о чем вспоминать. Утешал. Я только все повторяла: “Жив, жив”, пока не довела до раздражения: “Что ты меня хоронишь! Господи!” В такой ситуации – твердый тон, надежда. Он мне рассказал, каким был (прекрасным!) связистом на фронте. Умел проложить кабель (обстрел ему не страшен был), поэтому, если понадобится, может вполне работать дворником. “Ты видела где-нибудь на улице голодных, опухших детей? Чего же тогда бояться?” Во время обыска они читали корректуру книжки [название книги вымарано. – М.С.]. И он, и Зара делали вид, что их происходящее не касается. Зара вела себя прекрасно, спокойно. Поддерживала. Алеша, который пропустил школу, сказал, что чем такое, то лучше уж в школу ходить».

30

Имеется в виду вторжение советских войск в Чехословакию в августе 1968 года.

31

Дневник, май 1971: «…может быть, свобода Москвы… но он был так легок, изящен, бесконечно остроумен, развлекал меня каждую секунду. Как летели – и летят сейчас! – отпущенные нам судьбой и Богом часы. Два часа вдвоем – это одно мгновение! Нам постоянно кажется, что это какая-то шутка с часами…»

32

Борис Андреевич Успенский – лингвист, семиотик, историк славянских культур; друг и коллега Ю. Лотмана.

33

Лев Николаевич Гумилев – этнолог, основоположник пассионарной теории этногенеза, сын А.А. Ахматовой.

34

Имеются в виду правнук Льва Толстого, филолог и фольклорист Никита Ильич Толстой и его жена Светлана Толстая – этнограф и филолог-славист.

35

Елеазар Моисеевич Мелетинский – историк культуры, теоретик и исследователь мифологий мира.

36

Виктор Маркович Живов – историк русского языка, литературы и культуры.

37

Дневник, 12.11.1977: «Он ушел со словами “до конца своих дней буду любить тебя”. А я, зная, как он не выносит штампов, как твердо знает, что все зыбко на этой земле, особенно в чувствах, так счастлива этим неотменимым “до конца дней”».

38

Дневник, 15.3.78: «Смотрел на привокзальную толпу и думал: ну неужели в такой огромной толпе не найдется всего одной нужной мне души?..»

См. примеч. 3 на с. 46.

40

Имеются в виду «Труды по знаковым системам» – научный семиотический журнал, издаваемый с 1964 года Тартуским университетом. Главным редактором журнала был Ю.М. Лотман.

41

См. письмо от 13 апреля 1978 г.

Карамзин Н.М. Письма русского путешественника. («Литературные памятники».) Л., 1984.

43

Николай Николаевич Скатов – чл. – корр. РАН, бывший директор Пушкинского дома РАН, специалист по русской литературе нового времени, противник методов Тартуской школы.

44

Яков Семенович Билинкис – литературовед, специалист по творчеству Л.Н. Толстого.

45

См. письмо от 15 марта 1985 г.

46

Алексей Федорович Мерзляков (1778–1830) – русский поэт. В 1959 г. Ю.М. выпустил книгу «Стихотворения А.Ф. Мерзлякова» в Большой серии «Библиотеки поэта», снабдив ее обширным научным аппаратом.

47

Владимир Николаевич Топоров – филолог, академик РАН, один из создателей тартуско-московской семиотической школы.

48

См. письма от 30 марта 1989 и особенно от 19 августа 1988 г., где Ю.М. пишет о своем «вопиющем невежестве» и о том, как ему не хватает языков. При этом Лотман свободно владел эстонским, немецким, французским, английским; пользовался латынью, итальянским, украинским, старославянским; возможно, читал и на других языках.

49

Юрий Константинович Лекомцев – языковед. Работал в Институте востоковедения АН СССР. Автор трудов по проблемам структурной лингвистики (главным образом теория метаязыка) и семиотики (вербальные и визуальные системы), индологии (языки мунда) и языков Юго-Восточной Азии.

50

Александр Павлович Чудаков – литературовед, специалист по Чехову, писатель.

51

Мариэтта Омаровна Чудакова – историк литературы советского периода, писательница, общественный деятель.

52

Роман Осипович Якобсон – лингвист и литературовед, один из крупнейших лингвистов XX века. Участник и исследователь русского авангарда. Автор трудов по общей теории языка, фонологии, морфологии, грамматике, русскому языку, русской литературе, поэтике, славистике, психолингвистике, семиотике и многим другим областям гуманитарного знания.

53

Ольга Михайловна Фрейденберг – филолог-классик, культуролог, фольклорист.

54

Эпистолярный фонд Тартуского архива Ю.М. Лотмана насчитывает более 2 тысяч единиц хранения, что составляет около 17 300 оригинальных писем. См.: Т.Д. Кузовкина. Архив Юрия Михайловича Лотмана // Studia Litteraria PolonoSlavica, 5.Warszawa, 2000. S. 477–490.

55

Марк Григорьевич Качурин – литературовед, методист, профессор ЛГПИ.

Лев Александрович Дмитриев – литературовед, чл. – корр. Академии наук, исследователь древнерусской литературы.

Евгений Александрович Маймин – литературовед, писатель, доктор филологических наук, профессор.

58

См. письмо от 5 апреля 1982 г.

59

Александр Николаевич Веселовский – литературовед, академик, автор «Исторической поэтики».

Борис Соломонович Мейлах – литературовед.

61

Михаил Павлович Алексеев – литературовед, академик, председатель Пушкинской комиссии.

62

Сергей Юрьевич Неклюдов – фольклорист и востоковед, профессор, доктор филологических наук. Один из крупнейших специалистов по семиотике фольклора.

63

Михаил Леонович Гаспаров – литературовед и филолог-классик, историк античной литературы и русской поэзии, переводчик (с древних и новых языков), стиховед, теоретик литературы. Академик РАН, доктор филологических наук. Автор фундаментальных работ о русском и европейском стихе.

64

Борис Михайлович Гаспаров – лингвист, семиотик, литературовед, музыковед. Автор гипотезы лингвистического существования. Доктор филологических наук, профессор.

65

Дмитрий Сергеевич Лихачев – филолог, культуролог, искусствовед, академик РАН.

66

В 1976 году Лихачев отказался подписать письмо против А.Д. Сахарова. Вскоре после этого ученого избили на лестничной клетке его дома, сломав ему два ребра.

67

Виктор Борисович Шкловский – писатель, литературовед, критик, киновед и киносценарист.

Виктор Максимович Жирмунский – лингвист и литературовед, академик АН СССР.

69

Юрий Колокольников – актер театра и кино.

См. письмо от 2 декабря 1972 г.

71

Это состояние Ю.М. описал в письме к Б.А. Успенскому от 20 июня 1979 года. «Простите, что долго Вам не писал и не звонил, – со мной была одна довольно странная штука. После лихорадочной работы весной, имевшей характер “опиума для народа” – я зарылся в нее, отключаясь от всего внешнего, и в короткий срок написал несколько больших статей, на меня вдруг напала с конца мая страшная тоска и апатия. Я не мог себя заставить ни письма написать, ни чем-нибудь заняться и только лишь хотел спать. Читать я тоже не мог <…>. Все это закончилось печеночно-сердечным приступом. К счастью, сейчас я уже выкарабкиваюсь из этого дурацкого состояния – снова бодр, здрав и весел. Первый раз в жизни со мной была такая штука – это не обычная хандра, которая находит на всякого мыслящего человека регулярно, а чувство какой-то душевной ликвидации». Полный текст письма см.: Лотман Ю.М., Успенский Б.А. Переписка. М., 2008.

Дочь Ф.С. Марина преподавала английский язык на факультете психологии МГУ.

73

Письмо это, в числе девяти других, ей адресованных, – тогда она носила фамилию Колокольникова, – было включено Б.Ф. Егоровым в изданный им в 1997 году том писем Ю.М. Лотмана.

См. письмо от 20 марта 1987 г.

75

Игорь Александрович Мельчук – лингвист, создатель лингвистической теории «Смысл ↔ Текст». Профессор Монреальского университета.

76

См. письма от 25 февраля, 12 марта, 14 марта и апреля 1992 г.

77

См. письмо от 19 мая 1991 г.

Владимир Николаевич Орлов – литературовед, специалист по Блоку.

79

Павел Григорьевич Антокольский – поэт, переводчик.

80

См. письмо от 27 апреля 1991 г.

81

Речь идет об Арнольде Коопе, сменившем в 1970 году прогрессивного Федора Клемента на посту ректора Тартуского университета. Кооп препятствовал многим начинаниям Лотмана и его кафедры.

82

Дневник, 30.1.76: «Сегодня у меня утром я сказала Юре, как трудно сделалось что-то написать, послать; он сказал, что это так и бывает, правильно, как на фронте: легкое ранение – сильная боль сразу, тяжелое – никакой, все потом. Так и у нас: было бы что-то легкое – все бы легко и шло. А именно потому, что серьезно, так все тяжело, вот почему он не может теперь, как раньше, легко надписывать мне свои книги».

Имеется в виду «Слово о Полку Игореве».

84

См. «Из дневника Ф.С.», запись от декабря 1971 г.

85

Юрий Яковлевич Барабаш – литературовед и публицист. Профессор, главный научный сотрудник Отдела литератур народов России и СНГ ИМЛИ им. А.М. Горького РАН.

Исаак Григорьевич Ямпольский – литературовед.

87

О кладбищах см. более подробно в рубрике «Из дневника Ф.С.», запись от 24 августа 1977 г.

88

Вероятно, эту книгу Ю.М. передарил потом Б.А. Успенскому. См. письмо Успенского к Лотману в: Юрий Лотман. Борис Успенский. Переписка. М.: НЛО, 2008. Письмо от 22 апреля 1979 г. «Спасибо огромное за книгу японца (потрясающая!)».

См. также письмо от 9 марта 1979 г.

90

Исаак Иосифович Ревзин – лингвист, семиотик, один из основателей Тартуско-Московской школы.

Михаил Борисович Игнатьев – доктор технических наук, профессор, специалист по проблемам искусственного интеллекта.

92

Аксель Иванович Берг – ученый-радиотехник и кибернетик, основоположник отечественной школы биологической кибернетики и биотехнических систем и технологий, адмирал-инженер, заместитель министра обороны СССР. Академик АН СССР.

93

Юлий Анатольевич Шрейдер – математик, кибернетик и философ, занимался проблемами семиотики, структурной и прикладной лингвистики.

Александр Иванович Ревякин – филолог, литературовед, зав. кафедрой теории и истории русской литературы факультета русского языка и литературы МГПИ.

95

См. примеч. 1 на с. 46.

ГИМ – Государственный исторический музей.

ЦГАЛИ – Центральный государственный архив литературы и искусства.

Эти мысли Ю.М. лягут в основу его итоговой книги «Культура и взрыв» (М., 1992).

99

См. письмо от 5 апреля 1985 г.

Всесоюзное агентство по авторским правам.

101

Дневник, август 1986: «Мне было непонятно, почему он вынужден был занимать у меня, получавшей копейки в Книжной палате, с мужем – простым инженером, на покупку машины. Только спустя много лет я узнала из чьих-то рассказов, как много и многим он помогал. Мог подарить целое приданное новорожденному… дарил подарки буквально всем в семье Успенских, росли семьи обоих сыновей, и приходилось помогать им. Тогда же мне было странно, что при двух профессорских зарплатах у него никогда не было денег».

102

См. «Из Дневника Ф.С.», запись за 1971 г.

103

См. письмо от 9 марта 1975 г.

104

См. подробнее «Из Дневника Ф.С.», запись от 19.10.79.

105

Петр Васильевич Палиевский – литературовед, критик, научный сотрудник ИМЛИ.

106

См. примеч. 1 на с. 74.

107

О ней см. примеч. на с. 42. Статья все же вышла в томе «Литературного наследства»: Правдина И.С. Формирование лирической трилогии // Литературное наследство. М., 1987. Т. 92, кн. 4. С. 620–635.

108

Илья Самойлович Зильберштейн – литературный критик, литературовед, искусствовед, коллекционер. Один из основателей и редактор сборников «Литературное наследство».

109

См. письмо от 10 января 1980 г.

Кафедру не удалось закрыть, но Ю.М. заставили уйти, придравшись к тому, что мужу и жене (Лотманам) нельзя работать на одной кафедре.

Лариса Ильинична Вольперт – профессор ТГУ.

112

См. «Из Дневника», запись от 3 марта 1980 г.

113

См. «Из Дневника», запись от 2 сентября 1977 г.

Имеется в виду А.Д. Сахаров.

115

См. письмо от 2 июля 1978 г.

116

См. письмо от 19 сентября 1977 г. и примечание 1 на с. 161, а также «Из Дневника», запись за 1978 г.

117

ЦГАОР – Центральный государственный архив Октябрьской революции, высших органов государственной власти и органов государственного управления СССР.

118

Виктор Юльевич Розенцвейг – лингвист, специалист по теории перевода; организатор науки. Множество работ написал в соавторстве с Ю. Лотманом.

119

Лотман Ю.М. «Фаталист» и проблема Востока и Запада в творчестве М.Ю. Лермонтова // Лотман Ю.М. В школе поэтического слова: Пушкин, Лермонтов, Гоголь: Книга для учителя. М.: Просвещение, 1988. С. 218–234.

120

Ираклий Луарсабович Андроников – писатель, литературовед, мастер художественного рассказа, телеведущий.

121

Наталья Федоровна Иванова – «таинственная незнакомка» Н.Ф.И., чьи инициалы удалось раскрыть Андроникову и несчастной любви к которой Лермонтов посвятил так называемый ивановский цикл. См. также письмо от 16 ноября 1984 г.

122

См. об этом письмо от 20 января 1986 г.

123

Ф.С. Сонкина была лично знакома с Б. Окуджавой.

124

См. письмо, написанное осенью 1985 г.

125

См. письмо от 5 мая 1989 г.

126

См. письма от 17–18 сентября и 8–9 октября 1989 г.

127

См. письмо от 21 ноября 1990 г.

128

См. письмо от 8 декабря 1990 г.

129

См. там же.

130

См. письмо от 12 марта 1992 г.

131

См. письмо от 10 марта 1991 г.

«Он» (здесь и далее) – Юрий Михайлович Лотман.

133

Речь идет о статье Л. Тимофеева «Художественный прогресс» (Новый мир. 1971. № 5). О нем см. примеч. 3 на с. 36.

134

Имеется в виду гибель космонавтов Г.Т. Добровольского, В.Н. Волкова и В.И. Пацаева 30 июня 1971 г.

135

См. примеч. к письму от 9 марта 1975 г.

136

А.Г. Колокольников – бывший муж Марины Сонкиной, дочери Ф.С.

137

В оригинале слово было сокращено до «нем» – предполагаю, что «на немецком», но не уверена. – М.С.

138

Имеется в виду последний день пребывания Ю.М. в Москве в описываемый приезд. – М.С.

139

Федор Колокольников, внук Ф.С. – ныне профессор Дальхаузского университета в Канаде.

Б.А. Успенский.

141

Имеется в виду КГБ.

Оригиналы писем Ю.М. Лотмана находятся в частном архиве Ф.С. Сонкиной. Оригиналы писем Ф.С. Сонкиной находятся в Тартуском и Таллинском архивах Ю.М. Лотмана. В примечаниях используются инициалы адресатов: Ю.М. (Юрий Михайлович Лотман) и Ф.С. (Фаина Семеновна Сонкина). Выдержки из дневников Ф.С. Сонкиной, приведенные в комментариях, обозначены как «Дневник» с указанием даты.

143

Мордовченко Николай Иванович (1902–1950); Гуковский Григорий Александрович (1904–1951).

144

Датируется по штемпелю на открытке с изображением безлюдной аллеи с пустыми скамейками посреди опадающих листьев. Письмо адресовано Гольдман – девичья фамилия Ф.С. Сонкиной.

145

На открытке сбоку приписка рукой Ю.М.: «Это – вид с филфака ЛГУ».

Сын Ю.М. Михаил поступал в ТГУ на отделение русской филологии. Дочь Ф.С. Марина поступала в Институт иностранных языков им. М. Тореза.

147

Датировка на конверте рукой Ф.С.: «Сентябрь 69, Ленинград (в Орше)».

148

На открытке изображено почти безлистое дерево, отраженное в воде. Надпись на открытке: остров Саарема. Озеро Каали.

149

Дневник, 20.8.1970: «Юрочка в Москве. Работает со студентами в запасниках Исторического музея. Семинар по быту – смотрели моды. Утварь начала XIX века».

150

Датировка на конверте рукой Ф.С.

151

Рукой Ф.С.: 19.XII.70 Ленинград. Открытка с изображением трех снегирей, сидящих на сосновой ветке.

152

Дневник, 24.3.71: «Юра обсуждал с Любимовым его сценарий о Пушкине. Придумывал сцены, комментирующие пушкинские стихи “В надежде славы и добра”. А в начале июня читал доклад в Институте истории искусств. И тогда же читал какой-то доклад для “киношников”. Сказал: “Плохо, надул я киношников”».

153

Дневник, 18.8.71 г.: «Ю.М. привез на практику своих студентов – участников спец. семинара по быту России конца XVIII – начала XIX века. Предполагалось посетить, в числе других, Исторический музей в Москве, Бородино, Кусково, а также Троице-Сергиеву лавру в Загорске» (нынешний Сергеев Посад. – М.С.).

Датируется по контексту.

155

Датировка на открытке рукой Ф.С. Открытка изображает перчаточные куклы из спектакля «Черт с тремя золотыми волосами» братьев Гримм.

156

Дата в конце письма: 6.8.72. (Видимо Ю.М. ошибся в датировке: рукой Ф.С.: «? (IX)»

157

На открытке изображен пустой осенний парк в Тарту. Датировка рукой Ф.С.

158

Так как письма могли перлюстрироваться, Ю.М. в качестве шутливой конспирации заменяет фамилию адресата на Сидорова.

159

Конверт без адреса и марки, не запечатан, так как письмо было передано непосредственно в руки дочери Ф.С. Марине, приехавшей в Тарту с письмом и лекарствами от Ф.С. (Правила хорошего тона требовали отдать письмо незапечатанным; обратное подразумевало бы недоверие к «гонцу».) На конверте рукой Ю.М. написано: «Фаине Семеновне Сонкиной». На конверте карандашом рукой Ф.С. написано: «Кажется, декабрь 1972 (в руки Марине)». Подробности о визите М. в Тарту см. в «Воспоминаниях» Ф.С. (глава 14).

Ю.М. тяжело болел инфекционной желтухой.

161

Письмо без даты. Дата устанавливается по смыслу предыдущего письма. На обороте рукой Ф.С. карандашом: «Без даты, в руки Марине».

162

М.В. Сонкина (далее: Марина) хотела писать курсовую работу по английской литературе, но администрация настаивала на курсовой по языкознанию. Ю.М. предлагал тему, которая бы совместила ее интерес к литературе с требованиями деканата.

163

См. с. 141, примеч. 2.

164

25.4.73 г. Ю.М прочитал доклад (подготовленный им совместно с Б.А. Успенским) о культуре XVIII века на конференции в Музее изобразительных искусств имени Пушкина. Подробнее о содержании конференции см. в книге «Юрий Лотман. Переписка. Борис Успенский», п. 182, с. 234 (М.: НЛО, 2008).

165

Письмо без конверта и без даты. На обороте рукой Ф.С.: «май 1973».

Речь идет о защите диссертации Е.В. Душечкиной.

167

На обороте рукой Ф.С.: «25 марта 1973?».

Ф.С. Сонкина родилась 5 июня 1927 г.

169

М. – обращение «маха», или «моя», или «Маргарита» (по Булгакову).

170

См. с. 141, примеч. 2.

171

Письмо отправлено из Тарту в Кемери, где Ф.С. в это время отдыхала.

172

Датируется по почтовому штемпелю Москвы: 31.12.73.

173

Марина ждала ребенка.

174

На открытке рукой Ф.С.: «1974 год».

175

Федор Андреевич Колокольников – старший сын Марины. Родился 6 февраля 1974 г.

176

Из Дневника Ф.С. следует, что доклад был 6 февраля; тему доклада не удалось установить.

177

Речь идет о Летней школе по семиотике, много раз переносившейся и состоявшейся, наконец, в ТГУ 8 – 12 февраля 1974 г. Ю.М. шутил, что она справедливо названа летней: сейчас лето в Австралии. (Примеч. Б.Ф. Егорова.)

178

Ю.М. послал «Историографический сб.» (Саратов, № 1/4, 1973), где опубликована его статья «Н.И. Мордовченко: Заметки о творческой индивидуальности ученого», и «Материалы I Всесоюзного симпозиума по вторичным моделирующим системам» (Тарту, 1974) с его статьей «Динамические механизмы семиотических систем»; получил же он «Ф.П. Толстой. 1783–1873. Каталог выставки» (М., 1973) и какие-то труды А.Л. Чижевского; в те годы вышли в свет две книги Чижевского: «Земное эхо солнечных бурь» (М., 1973) и «Вся жизнь» (М., 1974). (Примеч. Ф.С. и Б.Ф. Егорова.)

179

См. «Воспоминания» Ф.С., глава 7.

Б.А. Успенский.

Там была опубликована статья Ю. М. «Художественный ансамбль как бытовое пространство». (Примеч. Б.Ф. Егорова.)

182

Датировка рукой Ф.С. «Сентябрь 1974».

183

См. с. 141, примеч. 2.

184

Надпись на конверте рукой Ф.С. Сонкиной; дата установлена по штемпелю Ленинграда.

185

Имеется в виду рождение первой внучки Ю.М. Марии-Кристины Лотман.

186

В это время Ф.С. работала над «Словарем издательских терминов», являясь руководителем его авторского коллектива. Подробнее об этом см. ее «Воспоминания».

187

Намек на подаренные дочерью Мариной импортные бутылки и соски, присланные ей норвежской приятельницей. И то и другое было тогда в СССР большим дефицитом.

188

Дневник, декабрь 1974: «Семья Миши с маленькой Машей живут в квартире у Ю.М. Для них он старается в ванной провести горячую воду».

189

На конверте рукой Ф.С.: «31.1.75 – штамп Тарту».

190

В феврале 1975 г. состоялся доклад Ю.М. о «Трумфе» Крылова и проблемах лубочной литературы на научной сессии в ГМИИ им. Пушкина, посвященной памяти Ровинского.

191

Кэрри – собака в семье Лотманов.

Дата устанавливается по контексту.

193

Датируется по штемпелю на открытке: 15.VII.75.

194

Письмо не датировано, дата устанавливается по контексту.

195

См. с. 141, примеч. 2.

196

Дневник, 6.09.75: «Я уезжаю через 2 дня в Саранск, где пробуду 10 дней. Юра велел мне сходить к Кошкину от его имени и просить показать мне, что есть интересного в городе. Я сказала, что стесняюсь, потому что он посылает, а от любого другого бы имени хоть бы что…» И далее, 16.09.75: «Я уже неделю в этом вшивом Саранске: грязно, пыльно и, главное, жарко – мочи нет. Я думаю, что для меня жара – уничтожение не только физических, но и даже душевных переживаний. Не читается, не гуляется, Юры – нет. Не пошла я к Кошкину – что я ему сообщу? Кто я? Да и зачем? Нашла в архиве мало чего – но хочется сегодня-завтра посмотреть фонд саранского монастыря – а вдруг что-нибудь там для Юры. <…> Как всегда усилиями (а ведь он не велел стараться, думал, что и так продается), но у меня без усилий ничего не бывает: “достала” ему каталог женских образов (плохой!) скульптора С.Д. Эрьзи – в обмен обещала прислать “Острова в океане” Хемингуэя. Есть ли они?»

197

Дневник, 6.09.75: «Я теперь поняла, почему тогда в библиотеке [имеется в виду бывшая Библиотека им. Ленина, ныне – Российская государственная библиотека. – М.С.] <…> он, читая дневник Смирновой-Россет, сказал: “Грустно. Читаю дневник. Там ничего такого. Но какой она была несчастной!” – И вот только сейчас, прочитав, я поняла, что в щемящем ее романе с Киселевым (“душа в душе” – Гоголь о Языкове), когда обо всем можно было говорить, все понимать, он увидел нас с ним – и мне стало также грустно. <…> Хоть много раз говорено им, что все “не хуже с годами”, что “праздник”, но ведь тяжело жить, сил нет».

198

Дневник, 29.10.75: «Приехал в понедельник из Ленинграда. Читал доклад у Лихачева. Того власти выкинули из списка награжденных академиков, и надо было “его успокоить”, т. е. нельзя было отказать». 14.12.75: «Всякие тяжелые происшествия, связанные с Лихачевым и его (Юриным) докладом по “Слову” в Ленинграде в ноябре. Он рассказывал притчу Салтыкова-Щедрина о том, что никакие дары не смогли умилостивить градоначальника, который хотел, чтобы жители “просто быть перестали” – это он относит к себе».

199

На открытке рукой Ф.С.: «Январь 1976».

200

На открытке изображены «Старьевщица, будочник, почтальон и слуги» из серии, исполненной по гравюрам журнала «Волшебный фонарь». Завод Гарднера. Первая четверть XIX в. Ленинград. Государственный Эрмитаж. Ю.М. знал о пристрастии Ф.С. к малой скульптуре и выбором открытки давал ей понять, что помнит об этом.

201

Леля Чернявская – однокурсница Ф.С. Какую статью Ю.М. передавал для нее, установить не удалось.

202

О «Круглом столе» см. в «Воспоминаниях» Ф.С., гл. 19. Обсуждаемый круг вопросов не касался книговедения, но таким образом Ю.М. сообщал Ф.С. о планируемом приезде в Москву. См. Дневник, 16.5.76: «6 мая я получила от Юрочки открытку-поздравление с весной, в которой он сообщил, что “Вопр. лит.” совместно с “Вопросами философии” проводят совещание, которое мне “может быть интересно по книговедению”. И видимо, в связи с приездом мамы я так огорчительно далеко была, что приняла это за чистую монету, даже не сообразив, что он сообщает мне о своем приезде 11 мая. <…> Он сказал, что никогда бы не согласился участвовать в такой ерунде, если бы не возможность “хоть поглядеть на тебя”. Там было что-то вроде “Литературоведения и НТР”. Хоть и мрачный, а там развеселился, ибо Лей призывал к “терпимости в то время, как структуралисты ведут активное наступление”. “В доме терпимости!” – посмеялся Юра».

Книгу рецензировали ленинградец Г.П. Макогоненко и москвич Н.И. Громов. (Примеч. Б.Ф. Егорова.)

Ю.М. явно ошибся, поставив «76»: в том году в октябре он только еще заканчивал книгу. (Примеч. Б.Ф. Егорова.)

205

Дневник, 20.8.76: «Когда Юра готовил Гришу к экзаменам в Таллине, он, уезжая, оставил Алеше (средний сын Ю.М. – М.С.) открытки, на которых написал: “Здоровье – Деньги – (Приключенья?)” И Алеша написал на 1: “в порядке”, на 2-е: “кончаются”, на 3: – “привет от Кэрри”».

206

Намек на подаренные Ф.С. перчатки.

207

В Польшу Ю.М. не пустили.

208

Рукопись статьи Е.А. Динерштейна о книгоиздательстве И.Д. Сытина.

209

Речь идет о книге «Роман А.С. Пушкина “Евгений Онегин”. Комментарий. Пособие для учителя». Книга выйдет в 1980 г. в Ленинграде.

210

См. с. 157, примеч. 2.

211

Речь идет о подаренном Ф.С. каталоге выставки работ Татлина, состоявшейся в Центральном доме литераторов в Москве.

212

Дневник, 2.04.77: «Очень тепло и мило поговорил с Мариной насчет ее будущей работы и сказал, что сам будет ею руководить. Он потом и опять вспоминал, как благодарен ей за тот приезд в Тарту (см. “Воспоминания”, гл. 14. – М.С.) Он очень тепло и нежно к ней относится».

213

28 апреля Ю.М. прочел доклад «Карамзин и Французская революция». (Примеч. Б.Ф. Егорова.)

Кяэрику – спортивная база ТГУ в 40 км от Тарту.

215

Упоминание о клещах связано с посещением Ю.М. и Ф.С. бывшего имения Брюса в Монине под Москвой. Дневник, 27.09.77: «Вчера получила письмо от Юрочки из Кяэрику <…> Гуляют в лесу, но не только грибов, но клещей нет (что означает: “Помнишь Монино?”)».

216

Семиотическая сессия в Институте славяноведения была перенесена на 24–25 сентября. (Примеч. Б.Ф. Егорова.)

217

25.1.78 в Доме ученых состоялся доклад Лотмана, на который он и приглашает Ф.С. с дочерью.

218

Письмо Марины связано с ее работой над рефератом о связи детского фольклора с языческими обрядами.

219

Шутка. В том же здании должно было проходить какое-то собрание по поводу обмена жилплощади.

220

Дневник, 29.09.77: «…все на одной волне с моим: и это – “в разговорах мы на ты, а в письмах лишь на вы (меня ведь постоянно мучит невозможность при этой форме обращения хоть что-нибудь выразить), и это: “не забывайте” и “вечно Ваш”. <…> Эти его “вечно Ваш” и др. – это и есть то, что не выразить (в наших отношениях). Не передать словами. А когда пытаешься (дескать, неземное чувство – Марине, Лоре), то получается нечто такое тривиальное, что больно. Это именно выразить нельзя. Только я и Юрочка понимаем, что это».

221

Имеются в виду Б.А.Успенский и его жена Галина. Дневник, 25.03.78: «20-го в понедельник приехал Юрочка, позвонил на работу. У Успенских – несчастье – у Гали опухоль мозга. Оба верят, что доброкачественная. Борис очень нервничает, боится операции. Ее положили в ин<стит>ут Бурденко. Юра сидел с ней в приемном покое – ждал в понедельник же. Борис А. был на лекциях». 11.04.78: «В пятницу 7 числа, в 11 утра позвонил Б.А. Успенский с просьбой о лекарстве. Гале сделали операцию: опухоль большая, есть опасность отека мозга, лежит в реанимации. Я бросилась звонить Берте. В 3 часа в аптеку привезли только одну коробку (это Берта не попросила 3, как надо), я бросилась за ней, – а потом в Сокольниках у метро передала Б.А. Волнения от встречи и общения с ним. Ужас за Галю. Держала себя как-то неловко. Он тоже. Вспомнил? Что подумал? Он страшно похудел и изменился – не узнать. Я так переживаю это все, как свое. Воображаю, что это – Юре – и он ведь не пишет, – что будет? Будет ли она жива? Звонить я туда не могу, естественно. Потом еще звонила по поводу остальных коробок <…>, а потом он звонил вечером, благодарил и сообщил, что еще одну, нужную достали – вот и все. <…> Юрочка, друг мой, я так хочу, чтобы Галя была жива и здорова! Радость моя, будь здоров и сам. И да не навредит тебе моя встреча с Успенским – не дай Бог!»

222

Датируется рукой Ф.С. по штемпелю на конверте.

223

Книга Ю.М. «Н.М. Карамзин. Письма русского путешественника» (Л.: Наука, 1984) первоначально готовилась к изданию в Москве.

224

Дневник, 11.04.78: «9-го Марина моя получила от Юры открыточку с оттиском нужной ей статьи некоего Юсупова с Урала, у которого Юра был оппонентом, с советом прочесть диссертацию этого Юсупова и сообщением, что сам ему написал с просьбой о разрешении читать диссертацию и выслать для Марины оттиски. Боже мой! Это Юра – с его занятостью. Боже мой!» 20.04: «Позавчера, 18 апреля, через 13 дней после операции бедная Галя скончалась. Мир ее праху! <…> Я никаких подробностей не знаю, в 3 часа позвонил на работу Юра: “Здравствуй, Фрина”. Непривычным, совершенно изменившимся голосом. Я сразу спросила: “Несчастье?” У Пирет пока ничего, он “в порядке”, Б.А. держится. Юрочка звонил из морга. Похороны сегодня. М.б., он завтра позвонит мне. Неужели может и не позвонить? Разумеется, буду весь день ждать. Молил, заклинал: “Только ты будь здорова”. Он хочет сразу <…> увезти к себе Б.А. и мальчиков».

225

Датируется по штемпелю на конверте.

226

Письмо содержит рекомендации Ю.М. к подготовляемым Ф.С. «методическим указаниям» к терминологическому стандарту «Издания. Основные виды» по заказу комитета по печати и ВНИИКИ. В приложении Ю.М. приводит примеры разнородных типов полиграфического исполнения на примере сборников «XVIII век» (М. – Л.: Наука).

227

АПН (Академия педагогических наук) отказала Марине в аспирантуре. Общие знакомые, работавшие в АПН, назвали истинную причину отказа: неподходящие анкетные данные.

228

Осенью 1978 г. Ф.С. лечилась в Чехословакии.

229

Ф.С. через В.С. Агриколянского хлопотала в Комитете по печати в Москве о разрешении выпуска 13 тома «Семиотики» (см. об этом в «Записках» Ф.С., гл. 20).

230

См. предыдущее письмо.

231

Речь идет о подаренной Ф.С. книге: Хоцурагаву Хосю «Вести о скитаниях в Северных морях». Подробней см. в «Воспоминаниях» Ф.С., гл. 18.

232

Дневник, 2.07.79: «Юру звали на семиотический конгресс в Будапешт. Москва не послала никого (то есть его одного не послала), а под предлогом Венгрии не пустили в Женеву».

233

Намек на известную песню Б. Окуджавы «Прощание с новогодней елкой».

234

После многочисленных комиссий и проверок, чтобы избежать упреков в «семейственности» на кафедре русской литературы ТГУ (Ю.М. заведовал кафедрой, на которой работала и его жена З.Г. Минц), Ю.М. формально должен был перейти на другую кафедру; была избрана кафедра теории литературы на эстонском отделении факультета; вся нагрузка Ю.М. продолжала оставаться на отделении русской филологии, но пришлось отказаться от заведования кафедрой. (Примеч. Б.Ф. Егорова.) См. также Дневник Ф.С. от 21.1.80: «На кафедре – комиссия, в отсутствии его и З.<ары> – выяснили, что в письменном столе у нее в личном плане вычеркнут Шолохов и вставлен Мандельштам. <…> Он и Вольперт переводятся на кафедру зап<адной> лит. и теории, которая когда-то еще будет. Он не хочет и не может об этом подробно рассказывать – противно. Наступили “ждановские времена”».

235

Речь идет о подготовке к изданию книги Н.М. Карамзина «Письма русского путешественника» в серии «Литературные памятники» (составители Ю.М., Б.А. Успенский, Н.А. Марченко). Книга выйдет в Ленинграде в 1984 г. (Примеч. Б.Ф. Егорова.)

236

Дневник, 23.03.1980: «Юра очень хотел книжку Майорова “Формирование средневековой философии”. Я после его отъезда ринулась к Алексеевой. Разумеется, он перепутал: книжка вышла в “Мысли”, а не в “Науке” (как ему показалось). <…> Л. сказал, что видел книжку в “Журналисте” на Пр.<оспекте> М<ира>. И 6 марта я понеслась, и купила, и отослала».

237

См. предыдущее письмо.

238

Имеется в виду словник энциклопедического словаря «Книговедение» для издательства «Советская энциклопедия», подготовленный Ф.С. Сонкиной. Дневник, 27.3.80: «…Словника специально не посылала, – при его-то занятости! Никак не хотелось его нагружать, обошлась бы, но он помнит…»

239

См. предыдущее письмо.

240

Ю.М. был дважды (в 1980 и 1985 гг.) в Быково под Москвой на встречах военных друзей, с которыми служил в одной батарее. (Примеч. Б.Ф. Егорова.)

241

15 декабря 1980 г. у Марины родился второй сын – Юрий Колокольников.

242

Дата на обороте рукой Ф.С. Ю.М. гостил тогда у Ф.С., поддерживая ее в трудное время госпитализации ее мужа с тяжелым инсультом (см. об этом в «Воспоминаниях» Ф.С., гл. 21).

243

«Вот тут» – вписаны в квадрат.

244

1 июня у мужа Ф.С. произошел тяжелейший инсульт с малыми шансами на выживание.

Ляля – Л.С. Самсонова, сестра Ф.С.

В.С. Агриколянский – старший научный сотрудник отдела книговедения в Книжной палате, сослуживец и приятель Ф.С.

В. – В.И. Сонкин, муж Ф.С.

248

На конверте рукой Ф.С.: «“Перила балкона” – беседка в парке Кемери, которая Ю. очень нравилась».

249

«Тренинг» – тренировочный костюм для больного мужа Ф.С. Видимо, Ф.С. полагала, что в Латвии и Эстонии легче достать товары, отсутствовавшие в Москве, особенно одежду.

250

Статья Ю.М., Н.И. Толстого и Б.А. Успенского «Некоторые вопросы текстологии и публикации русских литературных памятников XVIII века» (Известия АН СССР, серия литературы и языка, 1981, № 4) заканчивалась приложением «От редакции», где все-таки признавалась дискуссионность выдвинутых положений и сообщалось, что при обсуждении проблемы на заседании редколлегии «Литературных памятников» были и другие точки зрения. (Примеч. Б.Ф. Егорова.)

251

Книга Ю.М. «А.С. Пушкин. Биография писателя: Пособие для учителя» (Л., 1981).

252

Датируется по московскому штемпелю на конверте рукой Ф.С.

253

См. письмо от 30 июня 1981 г.

Речь идет о младшей дочери Алексея – Элен.

255

См. с. 170, примеч. 1.

256

Научная конференция, посвященная 75-летию Д.С. Лихачева, состоялась в московском Доме ученых. (Примеч. Б.Ф. Егорова.)

257

В Орехово-Борисове жила Марина с семьей.

Евгения Рандмаа – журналистка, приятельница Ф.С.

259

Вдова В.С. Агриколянского.

260

Имеется в виду книга Ю.М.Лотмана «Пушкин. Биография писателя: Пособие для учителя» (Л., 1981) Дневник: 4.1.1982: «Прочитала биографию Пушкина всю – все знакомо, но все ново: взгляд, факты, осмысление знакомого и, главное, я читала, как будто Юра о себе писал: и продажность литературы, и цензура, и невидимый враг в конце жизни, и смерть как вздох, как бесстрашие и как отмщение – я всегда чувствовала, что Юре Пушкин лично близок. И в биографии это так явственно».

261

Врачебно-трудовая экспертная комиссия (ВТЭК) – орган, осуществляющий экспертизу длительной и постоянной (стойкой) утраты трудоспособности.

262

Вагоноремонтный завод, где работал В.И. Сонкин, муж Ф.С.

В. или Виль – В.И. Сонкин.

Датируется по контексту.

265

Такая печатная книга И.Е. Вольперта неизвестна. (Примеч. Б.Ф. Егорова.)

266

См. письмо от 20 декабря 1981 г.

267

Ф.С. поступила на курсы автоводителей, чтобы заменить за рулем заболевшего мужа.

268

Статья о словаре издательских терминов в информационном издании ВНИИКИ.

269

Ю.М. имеет в виду предисловие Ф.С. к словарю издательских терминов, который готовился к выходу в издательстве «Книга».

270

Дневник Ф.С., 24.3.82: «Получила от Юры письмо + газету со статьей (любовной!) И. Чернова (название статьи неразборчиво. – М.С.). Именно там сказано, что он часть университетского города и что город без него немыслим. То же от сотрудницы М. Гореликовой – в городе все ему кланяются».

271

Предисловие – см. примеч. к письму от 14 марта 1982 г.

Е.А. – Ефим Абрамович Динерштейн, непосредственный начальник Ф.С., ведущий научный сотрудник Всесоюзной Книжной палаты, доктор исторических наук, автор книг о Маяковском. См. о нем также в «Воспоминаниях» Ф.С.

273

См. примеч. к письму от 14 марта 1982 г.

Макогоненко Г.П. (1912–1986) – литературовед, профессор ЛГУ.

То, что Ю.М. принял за почечную колику, видимо, было ранней стадией рака почки, которую ему удалят в Германии в 1989 г.

Подпись обозначает «Маха» или «Маргарита» (по Булгакову) – имена, которыми Ю. Лотман называл Ф.С. и которыми она иногда подписывалась.

Маймин Е.А. Пушкин. Жизнь и творчество (М.: Наука, 1982).

Динерштейн. См. с.191, примеч. 2.

В. Гельман (он же Бахтин), филолог, фольклорист – друг и сокурсник Ф.С. Сонкиной, в студенческие годы – друг-конфидент Ю.М. См. о нем также в «Воспоминаниях» Ф.С.

280

Датируется по почтовому штемпелю Москвы.

281

Речь идет об отдыхе Ф.С. в Кемери, куда Ю.М. несколько раз приезжал.

282

Аркадий Эммануилович Мильчин – книговед, редактор, составитель словарей и справочников в помощь автору и редактору. Подробнее о словаре см. письмо от 14 марта 1982 г.

283

Ю.М. родился 28 февраля 1922 г.

284

См. письмо от 14 марта 1982 г.

285

15 том «Семиотики».

286

См. «Из Дневника», запись от 25.2.78.

287

Ф.С. Сонкина родилась 5 июня 1928 г.

288

Речь идет о книге: Карамзин Н.М. Письма русского путешественника. (Литературные памятники. Л., 1984).

289

Сын Ю.М. Гриша упал с лестницы во время реставрации церкви, что привело к травме черепа.

290

Дневник Ф.С., 31.10.1983 г.: «…В Лейпциге – доклад для читателей “Reclam Verlag” и в Берлине в А.Н. Там даже были диспуты, и, хотя он думает, что говорил по-немецки плохо, но говорил вовсю. Привез по моей просьбе (до конца моей жизни хватит!) – массу многолетних цветочных семян». Из комментариев Ф.С. к письму: «В октябре Ю.М. с женой по приглашению четы Шульц посетили Германию (тогда ГДР). Ю.М. шутил, что супруги много раз расходились и сходились. В последний раз сошлись, “ибо кто же будет Лотмана переводить?”».

291

Скайдра – хозяйка, у которой много лет останавливалась Ф.С., отдыхая в Кемери.

292

«Альпийский цветок» – намек на прозвище, которое Ю.М. дал Ф.С. в студенческие годы.

293

После многих трудностей книга «Письма русского путешественника» Н.М. Карамзина, подготовленная к изданию Ю.М., вышла наконец в Ленинграде в серии «Литературные памятники». (Примеч. Б.Ф. Егорова.)

294

И.Г. Древлянская, редактор издательства «Наука». Из письма Ю.М. к Б.А. Успенскому (1980, 17 марта): «Вообще же если Карамзин выйдет из этого зверинца – будет диво. А тут, между прочим, Макогон [Г.П. Макогоненко] переиздает двухтомник, а “Огонек” – “Письма русского путешественника”, так что Карамзин вышел в люди. (Как говорила Древлянская, вполне приличный писатель, только вот его причесать надо: прямо не издательство, а парикмахерская!)» – Лотман Ю.М. Письма, 1940–1993. М., 1997. С. 598.

295

Такая книга не обнаружена; возможно, она не была напечатана. (Примеч. Б.Ф. Егорова.)

Борис Ильич Краснобаев – советский историк, исследователь отечественной истории и культуры XVIII в., руководитель лаборатории истории русской культуры исторического факультета МГУ.

297

Рецензия на 1-е изд. книги С.Л. Абрамович «Пушкин в 1836 году (Предыстория последней дуэли)» (Л., 1984). Редакция «Нового мира» сочла невозможным сохранить строки о гомосексуальных наклонностях Дантеса в рецензии Ю.М. и отказалась ее печатать. Ю.М. опубликовал рецензию в журнале «Таллин», 1985, № 3.

А.Г. Колокольников – муж Марины, страдавший алкоголизмом. Она оставит его в 1984 году.

299

На открытке воспроизведена картина Дега «Сидящая танцовщица, поправляющая туфли». Дневник Ф.С., 12.9.84: «Побывала в Кемери… А сегодня Юра позвонил мне на работу: 1) сделал операцию грыжи – всех разослал, отправился один в больницу. Под местным наркозом. Разумеется, все дома недовольны… Сейчас много спит, отлеживается».

300

По штампу Москвы (рукой Ф.С.).

301

Дневник Ф.С.: 7.12. 1984: «Венгрия: триумф. <…> и в ночь приготовленный на французском языке доклад на симпозиум по XVIII веку».

302

Начальная строка из стихотворения Э.Э. Найдича, мужа сестры Ю.М. Лидии. Дневник Ф.С., 7.10.1984: «Мы гуляли на этот раз в Сокольниках, и Юрочка кормил меня мороженым, – и <…> прочитал прекрасные стихи, которые написал муж сестры Лиды (они потом расстались): Войди в осенний лес, / Не бойся горьких истин, / И умирать, и голову сложить… / И сердце обожгут желтеющие листья / И душу обновят / И ты вернешься жить».

303

Ю.М. очень не любил занимательность и популяризацию в науке, поэтому скептически и иронически относился к соответствующим трудам коллег, хотя и уважал их научные заслуги. (Примеч. Б.Ф. Егорова.)

Н.В. Бахтина тяжело болела (лейкемия) и скончалась в декабре 1984 г. (Примеч. Б.Ф. Егорова.)

305

1-й том «Сочинений» Н.М. Карамзина (Л., 1984), где публиковались комментарии Ю.М. к «Письмам русского путешественника», вышел в издательстве «Художественная литература»; название «Ленгиз» существовало в довоенные времена. (Примеч. Б.Ф. Егорова.)

306

Речь идет о книге Н.Я. Эйдельмана «Последний летописец» (М., 1983), посвященной Карамзину. (Примеч. Б.Ф. Егорова.)

307

Ю.М. неточен: ему заказали книгу вообще о жизни и творчестве Карамзина. Она выйдет в 1987 г. под названием «Сотворение Карамзина». (Примеч. Б.Ф. Егорова.)

308

Операция на мозг не дала положительных результатов.

309

Неточная цитата из письма Пушкина к А. Плетневу от 22 июля 1831 г. (в подлиннике: «…были бы мы живы, будем когда-нибудь и веселы»). (Примеч. Б.Ф. Егорова.)

310

Имеется в виду письмо к А.А. Толстой от 30 июля 1873 г. Но речь там идет не о придворных делах, а о голоде в Самарской губернии. (Примеч. Б.Ф. Егорова.)

311

См. с. 205, примеч. 6.

312

Речь идет об опубликованной в «Новом мире» (1985, № 2) статье-рецензии Ю.М. «Биография – живое лицо» (о книге А.А. Гастева «Леонардо да Винчи», М., 1984). Редакция журнала отвергла предложенное Ю.М. первоначальное заглавие статьи «Портрет в стиле sfumato». (Примеч. Б.Ф. Егорова.)

313

См. письмо от 10 июля 1984 г.

314

Имеется в виду И.Л. Андроников. Нелюбовь Ю.М. к «занимательному» литературоведению была известна.

315

Николай Иванович Мордовченко – литературовед, профессор ЛГУ. Преподавал у Ю.М. и Ф.С.

316

Ю.М. вспоминает аналогичное заседание в ЛГУ 13 декабря 1975 г. «Левка» – Л.А. Дмитриев. (Примеч. Б.Ф. Егорова.)

317

С м. «Воспоминания» Ф.С., гл. 12.

318

См. предыдущее письмо, а также «Воспоминания» Ф.С., гл. 12.

319

Имеется в виду Е. Динерштейн.

320

Из стихотворения Саши Черного «Переутомление» (1908). (Примеч. Б.Ф. Егорова.)

321

Георгий Мокеевич Марков – в 1977–1986 гг. Председатель правления Союза писателей СССР.

322

Ю.М. читал в Одесском университете лекции (см. следующее письмо). (Примеч. Б.Ф. Егорова.)

323

Речь идет о будущей книге «Сотворение Карамзина» (М., 1987). (Примеч. Б.Ф. Егорова.)

Ю.М. имеет в виду редакторов своих книг.

325

С любовью (итал.).

326

Неточная цитата из «Отрывков из путешествия Онегина». Первая строка у Пушкина: «Чего ж вам более, друзья?» (Примеч. Б.Ф. Егорова.)

327

Дневник, 21.10.85: «Юра приехал из Батума 17 вечером. Виделись 18 в пятницу: гуляли по Гоголевскому бульвару, обедали в Доме ученых. Сговорились в субботу от 3 до 4 часов встретиться у Марины. Он приехал точно и что началось… Сначала Юра – “а это что?” (на ручку в кармане) – и Юра отдал ручку. Потом играл с ним. Результат (маме на ухо): “Спроси у этого дяди, он не хочет стать у нас папой?” Марина спросила, Юра мне потом передал, резануло ножом по горлу от жалости к детям, к Юре. Потом долго сидели, ели, пили чай, тепло, по-домашнему, и он советовал Марине все забыть, начать новую жизнь, ведь жизнь не ограничена только Андреем… И рекомендовал начать ей читать Мэри Шелли, чтобы м.б. когда-нибудь выйти на проблему “женская культура Англии” (ни в России, ни во Франции такая проблема не возникала)».

328

Обратный адрес на конверте: «Одесса, проездом».

329

Устанавливается по контексту.

330

См. «Воспоминания» Ф.С., гл. 23.

331

Поскольку прежнюю тему диссертации, над которой М. Сонкина работала под руководством Ю.М., аспирантура не утвердила, Ю.М. предложил тему по австралийской детской литературе. Детские книги могла прислать ее подруга О. Морева, эмигрировавшая в Австралию.

Книга все же была издана. Это сборник статей Ю.М. «Пушкин. Лермонтов. Гоголь. В школе поэтического слова: Книга для учителя» (М., 1988). (Примеч. Б.Ф. Егорова.)

333

См. комментарий к предыдущему письму, а также письма к М.В. Колокольниковой (Сонкиной) в книге «Ю.М. Лотман. Письма» (М., 1997). (Примеч. Б.Ф. Егорова.)

Зигфрид – герой немецкого эпоса («Песнь о Нибелунгах», ок. 1200). (Примеч. Б.Ф. Егорова.)

335

Намек на известную строку «На свете счастья нет, но есть покой и воля» из пушкинского отрывка «Пора, мой друг, пора!..» (1836). (Примеч. Б.Ф. Егорова.)

336

Поздравления с днем рождения Ю.М. 28 февраля.

337

На открытке надпись: «Высокие Татры – вид на группу Ломницкого пика».

338

См. «Воспоминания» Ф.С., с. 87.

339

Намек на иронический образ из философской повести Вольтера «Кандид, или Оптимизм» (1759). (Примеч. Б.Ф. Егорова.)

340

Дочь Ф.С. Марина получила разрешение на выезд из СССР.

341

Речь идет о выборах Ю.М. в академики АН СССР. И слухи, и реальные попытки коллег, к сожалению, кончались ничем: слишком не любили Ю.М. в официальных «научных» кругах. (Примеч. Б.Ф. Егорова.)

342

Из стихотворения Пушкина «Стансы» (1826). (Примеч. Б.Ф. Егорова.)

343

Речь идет о книге «Сотворение Карамзина» (М., 1987). (Примеч. Б.Ф. Егорова.)

344

Датируется по штампу на конверте.

12 июня 1987 г. Марина с детьми эмигрировала.

Дата устанавливается по контексту.

347

Марина получила работу ведущей на канадском радио CBC.

Имеется в виду Монреаль.

349

В.И. Сонкин, муж Ф.С.

350

Датируется по штемпелю Тарту на конверте.

351

Цитата из пушкинского «Евгения Онегина» (гл. 1, строфа L).

Возможно, речь идет о будущей книге: Lotman, Yuri M. The Universe of Mind. A Semiotic Theory of Culture. London – New York, 1990. Эта книга в 1996 г. вышла на русском языке в издательстве «Школа “Языки русской культуры”»: Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров: Человек – текст – семиосфера – история. (Примеч. Б.Ф. Егорова.)

353

На итальянской открытке с данным письмом – Пизанская башня.

В.И. Сонкину.

355

Последние четыре фразы написаны на оборотной стороне открытки.

356

Год определяется по почтовому штемпелю г. Тарту.

357

См. с. 227, примеч. 2.

Ю. М. получил немецкую стипендию им. Гумбольдта и собирался большую часть 1989 года жить в Германии. Одной из главных целей поездки была операция З.Г Минц, жены Ю.М.

359

Открытка, вложенная в конверт, изображает троих мужчин в карнавальных костюмах и масках. По штемпелю на конверте письмо послано из Тарту.

Датируется по контексту.

361

Ф.С. собиралась навестить дочь в Канаде.

362

Ф.С. вместе с мужем собирались уезжать в Канаду и ждали визы.

363

Родители Марины могли слышать ее голос по канадскому радио, где она ежедневно вела передачи.

28 февраля – день рождения Ю.М.

365

Письмо послано в Мюнхен из Москвы.

Владимир Гельман – Бахтин.

Майкл Мейкен – славист, профессор Мичиганского университета.

Сокольники были излюбленным местом прогулок Ю.М и Ф.С.

369

Е. Краснощекова – филолог, литературовед, приятельница Ф.С.

370

Письмо послано в Мюнхен из Москвы.

371

Когда Марина эмигрировала в 1987 году, книги вывозить не разрешалось.

Нет, еще нет (нем.).

До востребования (нем.).

См. письмо от 30 апреля 1989 г.

Гостиница «Украина», где Ю.М. и Ф.С. снова встретились по прошествии 20 лет в 1968 г. (см. «Воспоминания», гл. 5).

376

В конце 1947 г. Ю.М. пригласил Ф.С. на балет «Жизель» с Г. Улановой в Мариинский театр (см. «Воспоминания», гл. 1).

Ф.С. собиралась навестить дочь в Канаде.

378

См. письмо от 30 апреля 1989 г. Предстоящая операция З.Г. Минц – главная цель поездки Лотманов в Германию – будет отложена, так как в результате инсульта Ю.М. сам попадет в больницу; во время обследования у него обнаружат рак почки, требующий срочной операции.

379

Ф.С. была в Хотьково, на даче.

380

Почтового отделения в Хотькове не было. Письма отправлять можно было только из Москвы.

381

См. письмо от 30 апреля 1989 г., а также комментарий к предыдущему письму.

382

В результате утечки газа из трубопровода под Уфой взорвались два проходящих мимо пассажирских поезда. В катастрофе погибло около 600 человек и столько же было ранено.

Днепропетровск.

384

Имеется в виду предстоявшая операция З.Г. Минц (подробнее см. письмо от 30 апреля 1989 г.).

385

«Молодой гусар» – во время прогулок в Кемери вместе с Ф.С. Ю.М. рвал для нее цветы на семена.

Почту можно было отправить только в Москве (см. примеч. к письму от 6 июня 1989 г.).

387

Речь идет о крупных волнениях в Армении и Нагорном Карабахе, а также глубинных переменах в обществе, вызванных перестройкой.

388

Вероятно, имеется в виду, что Марина сумела получить отпуск в нужное ей время.

389

В гости к дочери в Канаду.

Ю.М. или забыл, что Мюнхен находится не в Саксонии, а в Баварии, или просто так обозначает Германию в целом (страна саксов). (Примеч. Б.Ф. Егорова.)

391

Виль – В.И. Сонкин, муж Ф.С.

Загорск – нынешний Сергиев Посад.

393

Речь идет об обезболивающем, которое Ф.С. привезла из Канады.

394

Предметы обихода, оставшиеся на даче после эмиграции Марины.

395

Юра (сын Марины) вернулся к отцу в Россию.

Бывший муж Марины – А.Г. Колокольников.

397

Умерла З.Г. Минц.

В.М. Лотман – сестра Ю.М.

Кая – жена младшего сына Ю.М. Алексея Лотмана.

400

Сыновья Ю.М.

401

«Память» – ультраправая антисемитская монархическая организация, возникшая в России в 80-х годах XX века.

402

«Ус» – плюшевый человекообразный львенок с пышными усами, подаренный Ю.М. как шарж и напоминание о себе.

403

Имеется в виду кончина жены Ю.М – З.Г. Минц.

Наташа – Н.Ю. Образцова, племянница Ю.М.

405

Имеется в виду отъезд сына Марины Ю. Колокольникова в Россию с последовавшими искусственно созданными препятствиями в общении с ним.

406

Датируется по штемпелю на конверте.

Власти, как обычно, не пустили тогда Ю.М. заграницу.

Речь идет о первом варианте книги Ю.М. «Культура и взрыв», которая первоначально была отдана в ленинградское отделение издательства «Советский писатель», но из-за развала последнего в расширенном и исправленном виде вышла в свет в Москве (издательство «Гнозис») в 1992 году. (Примеч. Б.Ф. Егорова.)

409

Начало стихотворения Е.А. Баратынского (без заглавия, 1838 г.). (Примеч. Б.Ф. Егорова.)

410

Неточная цитата из записки Городничего к жене («Ревизор», д. III, явл. III). (Примеч. Б.Ф. Егорова.)

411

В Тарту тогда приезжала для работы с Ю.М. над книгой «Культура и взрыв» редактор ленинградского издательства «Советский писатель» Е.М. Гушанская. (Примеч. Б.Ф. Егорова.)

412

День встречи Ф.С. и Ю.М. в Москве через 20 лет после студенческого периода их знакомства.

413

Евгения Рандмаа – журналистка, приятельница Ф.С.

414

Война в Персидском заливе (январь-февраль 1991 г.) – война с Ираком за освобождение и восстановление независимости Кувейта.

415

О чем идет речь – не ясно: возможно, о введении нового налога на услуги и товары, разного в разных канадских провинциях.

416

Булат Окуджава.

417

Приписка на полях.

28 февраля – день рождения Ю.М.

419

Сборник до Канады так и не дошел.

См. об этом в «Воспоминаниях» Ф.С., гл. 21.

421

В ленинградском отделении издательства «Искусство» находилась книга Ю.М. «Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII – начало XIX века)»; в связи с финансовыми трудностями она вышла уже после кончины Ю.М., в 1994 г. Первоначально в ленинградском отделении издательства «Советский писатель» должна была выйти и книга «Культура и взрыв». (Примеч. Б.Ф. Егорова.)

422

Датируется по почтовому штемпелю Тарту.

423

Датируется по контексту.

424

В связи с сокращением бюджета на канадском радио CBC Марина оказалась в числе нескольких сотен сотрудников, потерявших работу.

425

Имеется в виду американская религиозная организация «Institute in Basic Life Principles». После распада СССР представители многих американских протестантских церквей устремились в Россию. С собой они везли религиозную литературу, в срочном порядке переведенную на русский. Несмотря на то, что поначалу американские миссионеры были с энтузиазмом встречены российской молодежью, уже к 1995 году Русская Православная церковь запретила деятельность американских протестантов и вынудила их покинуть Россию.

Сборник был отправлен, но до Канады так и не дошел.

427

В.В. Иванов.

См. с. 275.

429

См. с. 272, примеч. 1.

Так Ю.М., вероятно, называет небольшую книгу «Культура и взрыв»; но пройдет еще полтора года до ее выхода (см. с. 256, примеч. 1.). (Примеч. Б.Ф. Егорова.)

431

Имеется в виду роман Дмитрия Фурманова «Чапаев», написанный в 1923 году.

Ус – см. примеч. на с. 250.

433

См. с. 276, примеч. 1.

434

В конверт вложена открытка с изображением Большого театра в Москве (1830-е годы) неизвестного художника первой половины XIX века. (Гос. Центральный музей имени А.А. Бахрушина). На обороте открытки следующий текст: «7 января 1825 года в Москве открылся Большой театр, самое крупное театральное строение в России. Его автор – архитектор О.И. Бове, возглавлявший Комиссию для строения Москвы после пожара 1812 года, – сделал монументальное классическое здание большого театра центром архитектурного ансамбля Театральной площади.

8 сентября 1826 года Пушкин по распоряжению Николая I был доставлен из Михайловского в Москву, а 12 сентября он впервые посетил Большой театр. То было время зенита славы поэта. Едва он вошел в партер, “мгновенно пронесся по всему театру говор, повторивший его имя: все взоры, все внимание обратилось на него… У разъезда толпились около него…” – писал Н.В. Путята. В тот вечер игралась комедия А.А. Шаховского “Аристофан, или Представление комедии “Всадники” с участием С. Молчанова. 28 сентября 1826 года Пушкин снова присутствовал в Большом театре, шла опера Россини “Итальянка в Алжире”.

Приезжая в последующие годы в Москву, Пушкин бывал на спектаклях Большого театра.

Но там, где Мельпомены бурной
Протяжный раздается вой,
Где машет мантией мишурной
Она пред хладною толпой,
Где Талия тихонько дремлет
И плескам дружеским не внемлет,
Где Терпсихоре лишь одной
Дивится зритель молодой.

«Евгений Онегин», глава седьмая.

435

Е. Краснощекова – приятельница Ф.С., литературовед, автор книг о Гончарове.

Шостакович умер в августе 1975 года.

См. с. 274, примеч. 2.

438

Колледж, в который поступил Федя, находился далеко от дома, и Федя снял квартиру у пуэрториканца ближе к колледжу.

439

Один из ведущих московских невропатологов А. Шнайдер, спасший жизнь мужу Ф.С. Впоследствии эмигрировал в Израиль.

440

Высокий технологический уровень медицины приучил канадских врачей при постановке диагноза полагаться на технические показатели, а не интуицию. Эта отстраненность от реального больного резко отличает их от российских медиков, на что, видимо, и сетует в письме Ф.С.

441

Имеется в виду книга «Культура и взрыв».

442

Датировка по штемпелю Тарту. На конверте рукой Ф.С. «Пришло 30.7.91 Всего 8 дней!»

443

День рождения Ф.С. 5 июня.

Имеется в виду решение об окончательном переезде в Канаду.

Фотографии дошли и находятся в архиве Ю.М. Лотмана в Тарту.

446

День рождения Ф.С. Сонкиной 5 июня.

447

Работа Марины над переводами для американской протестантской организации.

Ленинград был в 1991 году переименован в Санкт-Петербург.

449

Андрей Колокольников – бывший муж Марины и отец Феди.

450

В письмо вложена фотография Ф.С., на обороте которой написано рукой Ф.С.: «…Ты ведь мне опишешь кратко, как все там выглядит? Твоя жизнь, твоя комната, твои тропинки, вид из окна, еда – чтобы я тоже немножко пожил с тобою». Ф. Кафка. Из «Писем Милене»

451

См. письмо Ф.С. от 20 июля 1991 г.

452

Имеется в виду книга «Культура и взрыв», которая выйдет в 1992 г.

453

Точно такая цитата у Пушкина отсутствует. (Примеч. Б.Ф. Егорова.)

Оба кодовые названия должны быть на одну букву, вот я и Морковка, если ты Монреаль! (Примеч. Ю.М. Лотмана.)

455

Ф.С. обещала писать каждые две недели. По записям Ф.С. в августе и сентябре 1991 г., ею были отправлены 6 писем, но в архиве Ю.М. они не сохранились.

456

Город в Эстонии, недалеко от Тарту.

Владимира Гельмана – Бахтина.

458

Речь идет о консервативном «коммунистическом» путче 19–21 августа, организованном в Москве так называемым ГКЧП («Государственный комитет по чрезвычайному положению»), пытавшимся отменить перестройку в СССР и вернуть страну к прежнему режиму. Путч провалился. (Примеч. Б.Ф. Егорова.)

459

20 августа Эстония объявила о выходе из СССР, и если бы путчисты в Москве победили, то можно было бы реально ожидать ввода советских войск в Эстонию. (Примеч. Б.Ф. Егорова.)

460

Цитата из стихотворения Н.М. Языкова «Пловец» (1829). (Примеч. Б.Ф. Егорова.)

461

Имеются в виду события 1968 г., закончившиеся вторжением советских войск в Чехословакию.

462

Датируется по содержанию и записям Ф.С.

463

Цитата из «Арбатского романса» Б.Ш. Окуджавы.

Об общей любви Ю.М. и Ф.С. к дождю и грозе см. «Воспоминания» Ф.С., гл. 7.

465

В письмо вложен кленовый листок.

Имеются в виду дневниковые записи Ф.С.

467

О первых двух книгах: см. с. 272, примеч. 1. Трехтомник – Избранные статьи в 3-х т. Они выйдут в Таллине в 1992–1993 гг. (Примеч. Б.Ф. Егорова.)

Имеется в виду расширенный вариант книги «Культура и взрыв». (Примеч. Б.Ф. Егорова.)

469

Цитата из «Песенки о Моцарте» Б.Ш. Окуджавы (1969). (Примеч. Б.Ф. Егорова.)

См. об этом в книге Ю.М. «Сотворение Карамзина» (М., 1987, с. 313–314). (Примеч. Б.Ф. Егорова.)

471

Из стихотворения Тютчева «Накануне годовщины 4 августа 1864 г.» (1865). (Примеч. Б.Ф. Егорова.).

472

Нагульнов – один из героев романа М. Шолохова «Поднятая целина». Ниловна – героиня романа М. Горького «Мать». Оба романа – типичные образцы соцреализма – считались обязательным чтением для школьников советского времени.

473

В устных беседах Ф.С. не раз утверждала, что преподавание в школе было ее настоящим призванием и составило лучшую часть ее профессиональной жизни. См. также ее «Воспоминания».

Неточность: почасовая оплата в университетах меньше, но штатная работа в университете оплачивается выше, чем в университетских колледжах, которые имеет в виду Ф.С.

475

Датируется по новогодней открытке, приложенной к письму. На ней дата: 21. XII.91.

Речь идет о книге «Культура и взрыв».

Бывший муж Марины, А.Г. Колокольников.

Марина не решилась идти с этим письмом-рекомендацией к И.А. Мельчуку.

479

Из стихотворения-песни Б.Ш. Окуджавы «Песенка о Моцарте» (1969).

Евгения Рандмаа – журналистка, приятельница Ф.С.

481

20 августа 1991 года Эстония вышла из состава СССР, став независимым государством.

482

Строка из стихотворения Тютчева.

483

Слова из песни Окуджавы.

Л.С. Лагун – близкая подруга Ф.С.

485

Из устных воспоминаний Ф.С., март 2014 г.: «Мы обедали в Доме ученых недалеко от моей работы на Кропоткинской. Юра вернулся с какого-то семиотического заседания. Мы долго ждали заказа, и я сказала: “Тебе, должно быть, так скучно со мной. Все твои коллеги – такие умные и интересные люди. А я ведь набитая дура”. Он тут же изобразил мне “набитую дуру” на салфетке».

Ф.С. тут ошибается. Провинция Квебек – единственная в Канаде, где по закону выпускники школы должны были два года учиться в колледже, прежде чем поступать в университет.

487

Видимо, по ошибке Ю.М. датировал письмо мартом. Почтовый штемпель (9.02.92) относит его к февралю.

488

Неточная цитата из стихотворения Н.И. Глазкова «Лез всю жизнь в богатыри да гении…». (Примеч. Б.Ф. Егорова.)

489

Вероятно, описка Ю.М. К этому времени у него было уже девять внуков.

490

См. письмо от начала февраля 1992 г.

у вас… у себя дома (фр.).

492

Научная конференция, посвященная 70-летию Ю.М., состоялась в ТГУ 20 марта. (Примеч. Б.Ф. Егорова.)

493

Датируется по содержанию (лекция в Доме писателей). (Примеч. Б.Ф. Егорова.)

Б.Ф. Егоров.

495

Левушка – Л. Дмитриев; В. Гельман – друг и сокурсник Ф.С. в студенческие годы именовался по отцу, а затем взял фамилию матери – Бахтин.

Имеется в виду И.А. Мельчук.

497

См. предыдущее письмо Ю.М.

498

В 90-е годы улицы и здания Ленинграда не ремонтировались и город пришел в упадок.

499

Евгения Рандмаа.

500

Мельчук.

501

После окончания войны в Потсдаме, когда войска еще не были демобилизованы и находились в бездействии, Ю.М. устраивал самодеятельный театр: писал сценарии и расписывал декорации.

Нужно ли говорить, что М.В. Сонкина не намерена исполнить столь опрометчиво данное обещание?

503

М.И. Гореликова – подруга Ф.С., филолог.

Ю.М. был уже очень болен и поехать в Англию не смог.

505

Аллюзия на роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита».

506

Письмо написано под диктовку Т.Д. Кузовкиной. Рукой Ю.М. – от слов «Сердечно твой…» и до конца.

507

В.М. Лотман – сестра Ю.М.

Ф.С. советовалась по поводу последствий инсульта Ю.М. с канадскими врачами.

509

Провинция Квебек хотела отделиться от Канады, в результате чего экономическая жизнь главного города Квебека Монреаля пришла в упадок, жители спешно покидали город, рабочие места сокращались.

510

В конверт с письмом вложена фотография Ф.С. На обороте фотографии написано: «С. – Агат – место отдыха, лето 1992. Эти холмы и озера так напоминают мне Отэпя. Только вилл таких я не видела в Эстонии». На обороте второй фотографии написано: «А это мой дом в Монреале. Сильный ветер… Лето 1992».

511

В.М. Лотман – сестра Ю.М.

512

Речь идет о Королевском Военном колледже Сен-Жан, где кадеты получали высшее образование. В 1994 году колледж закрыли в связи с сокращением военного бюджета Канады. С 1993 года началось сокращение программ, в том числе обучение русскому языку.

513

См. с. 204, примеч. 3.

514

Письмо написано секретарем Ю.М. Т.Д. Кузовкиной. От слов «Твой всегда..» и до конца – рукой Ю.М.

515

Письмо написано рукой Т.Д. Кузовкиной; рукой Ю.М. – последние четыре слова.

Это Америка, это Новый Свет (нем.).

517

День кончины З.Г. Минц.

518

Референдум о выходе провинции Квебек из состава Канады прошел в октябре 1995 года. Квебек близко подошел к отделению от Канады, но, при небольшом перевесе голосов, все же остался в ее составе.

519

Е.А. Краснощекова – литературовед, приятельница и коллега Ф.С.

520

Письмо под диктовку написано Т.Д. Кузовкиной; последняя часть, от слов «Милый друг…» и до конца, – рукой Ю.М.

521

Вероятно, Ю.М. ошибся: З.Г. Минц скончалась 25 октября 1990 г.

522

Письмо написано на открытке с надписью: «Que Noël et le Nouvel An soient, cette année, toute en beuaté» («Пусть в этом году Рождество и Новый год будут прекрасными»).

523

См. об этом в «Воспоминаниях» Ф.С.

524

См. письмо Ф.С. от начала февраля 1992 г.

525

Справка о диссертационных занятиях с Ю.М.

526

Сведения не точны: из-за сокращения бюджета количество гуманитарных курсов действительно уменьшилось, но все курсы не закрыли.

527

В какой связи упоминается Кая, невестка Ю.М., не совсем ясно. Справку о диссертационных занятиях Марины подготовила помощница Ю.М. Елена Погосян.

528

Имеется в виду должность продюсера и ведущего на канадском радио CBC.

529

Письмо продиктовано Т.Д. Кузовкиной. Последняя часть, от слов «Обнимаю тебя…» и до конца, написано рукой Ю.М.

530

На конверте пометка, видимо, рукой секретаря: «Обязательно ответить!»

531

Американо-русский журнал, издававшийся в Балтиморе.

Ошибка Ф.С.: справка не сыграла никакой роли.

533

Сведения ошибочны. См. письмо от 28 февраля 1993 г.

534

Л.А. Дмитриев (1921–1993) – филолог, чл. – корр. АН СССР, сокурсник Ф.С. и Ю.М.

535

Письмо написано под диктовку Т.Д. Кузовкиной. От слов «Обнимаю тебя» и далее – рукой Ю.М.

536

Письмо под диктовку напечатано на пишущей машинке кем-то из секретарей Ю.М. Заключительные строки, от слова «Обнимаю…» и до конца написаны его рукой.

537

Цитата из пушкинского «Евгения Онегина» (глава 8). (Примеч. Б.Ф. Егорова.)

538

Письмо под диктовку написано В. Гехтман; последняя часть, от слова «Всегда…» и до конца – рукой Ю.М.

539

Письмо под диктовку написано В. Гехтман. Последняя часть, от слова «Сердечно…» – рукой Ю.М. (Примеч. Б.Ф. Егорова.)

540

Из стихотворения А.Т. Твардовского «В случае главной утопии…» (1969). (Примеч. Б.Ф. Егорова.)

541

«О своем решении» – см. письмо от начала февраля 1992 г.

542

Скайдра – домохозяйка, у которой Ф.С. снимала комнату, приезжая в отпуск в Кемери, где Ю.М. ее навещал.

543

Внучка Ю.М.

В каждом колледже нужно было вести три курса по трем различным дисциплинам, в общей сложности – шесть курсов за семестр.

Приписка на полях от руки.

546

Ошибка Ф.С. Видимо, от того, что в Кейп Коде было много детей, автору письма показалось, что это – детский курорт.

После того как Эстония вышла из состава России, преподавание русского языка значительно сократилось, и будущее кафедры русской литературы Тартуского университета представлялось неясным.

548

Приписка от руки на полях: «Будь здоров, здоров. Марина кланяется. Она огорчена, что не повидает тебя. О-о-чень».

549

Очевидно, что Ю.М. сознательно скрывал от Ф.С. тяжесть своего положения, прикрываясь, по его же словам, шутками «как броней». Более подробно, см. вступительную статью М.С.

550

Письмо под диктовку написано Т.Д. Кузовкиной; последняя часть, от слов «Всегда жду…» и до конца – рукой Ю.М.

551

Вероятно, имеется в виду книга: Ивинская О. Годы с Борисом Пастернаком: В плену времени.

552

Письмо под диктовку написано Т.Д. Кузовкиной. Последняя часть от слов «Обнимаю тебя» и до конца – рукой Ю.М.

553

Неточная цитата из стихотворения «Разговор с фининспектором о поэзии» (1926). У Маяковского – не «с размаху», а «с разбегу». (Примеч. Б.Ф. Егорова.)

См. с. 218, примеч. 2.

555

Из песни А. Галича «Облака плывут, облака…».

Последние пять слов написаны рукой Ю.М.

557

См. письма Ю.М. лета-осени 1972 г. и «Воспоминания» Ф.С.

558

Письмо под диктовку написано В. Гехтман. Последняя часть от слова «Сердечно…» и до конца – рукой Ю.М.

559

Из песни Б. Окуджавы «Заезжий музыкант». (Примеч. Б.Ф. Егорова.)

560

Из стихотворения Б. Пастернака «Быть знаменитым некрасиво…» (1956). (Примеч. Б.Ф. Егорова.)

Ю.М. находился в больнице, из которой уже не вышел. Он скончался 28 октября 1993 г.

562

Это последнее письмо Ю.М. к Ф.С. и, судя по опубликованным материалам, последнее письмо, написанное Ю.М.

563

Последние пять слов письма – рукой Ю.М.

564

Неточный пересказ французского эпиграфа к стихотворению «Журналист, читатель и писатель» (1840). В переводе на русский язык у Лермонтова: «Поэты похожи на медведей, сытых тем, что сосут лапу. Неизданное». Конечно, Лермонтов сам сочинил эпиграф. (Примеч. Б.Ф. Егорова.)

565

Л.Н. Киселева, ученица и коллега Ю. Лотмана, возглавившая после его смерти кафедру русской литературы Тартуского университета.